



Дружба народов

5/2021



В номере:

Энергия боли

Повесть Ольги ПОГОДИНОЙ-КУЗМИНОЙ «Птицы войны» — вариация на тему советского детектива — о событиях вокруг Олимпиады 1952 года в Хельсинки. Буквально накануне произошел значимый международный инцидент — над водами Балтики, у западной границы СССР, исчез шведский самолет-разведчик. В Хельсинки стекаются секретные агенты разных стран, в числе которых и агент американских спецслужб Сайрус Крамп, в годы войны занимавший видный пост в Гестапо. Среди его преступлений — расстрел немецких и французских коммунистов в июне 1941 года. Его разоблачает советский спортсмен Алексей Нестеров. Но это только один из начальных эпизодов холодной войны, которая продлится не одно десятилетие и не будет остановлена даже с распадом СССР.

Подавляя инстинкт войны

Рассказы Игоря КОРНИЕНКО «Месопотамия» и Анны ПЕСТЕРЕВОЙ «Ящик, ящер, я щит» — о неизживаемых последствиях другой войны — Чеченской. Когда жертвами ее становятся и федералы, и мирные жители, одинаково казнящие себя собственной памятью. Невыдуманные рассказы Александра РЫБИНА вырастают из впечатлений, полученных на Балканах, в Сирии и Иракском Курдистане, — это военные сюжеты, которые редко освещают масс-медиа.

Памяти беспримерной отваги

«Женщины, зачастую умиравшие от голода и пыток, проявляли храбрость и дерзость. У некоторых из них была возможность спастись бегством, но они ее отвергли, а иные даже предпочли вернуться в это пекло и сражаться. Меня преследовал вопрос: как бы поступила я в подобной ситуации? Боролась бы или убежала?...» — признается Джуди БАТАЛИОН в книге «Свет грядущих дней», размышляя об историях женщин — участниц Сопротивления в гитлеровских гетто. В этом номере — фрагмент книги в переводе с английского Ирины Дорониной.

Говоря о войне

Внуки солдат Великой Отечественной — поэты Ян БРУШТЕЙН, Иван ВОЛОСЮК и Александр ОРЛОВ пытаются представить «то, что прошли отцы и деды/ на главной, страшной той войне».

«Как дышишь — пой!»

«Беззащитный, полный музыки Слова, живший всегда в пламенных метафорах своего бытия...» Памяти Рамиса РЫСКУЛОВА, великого киргизского поэта и художника, посвящена публикация его удивительных верлибров в переводах Вячеслава ШАПОВАЛОВА. На нашей вклейке — картины Рыскулова и эссе Владимира ЛИДСКОГО о его наивной живописи.

Провинцией оказывается вся страна

Писатели Александр МЕЛИХОВ и Олег МАКОША в диалоге «Здесь и там. Письма из провинции в провинцию» сопоставляют век нынешний с веком минувшим.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomrk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.03.2021.
Подписано в печать 26.04.2021.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 8192. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА
Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ
Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Валентин
КУРБАТОВ
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Иван ВОЛОСЮК. Масштабы тропы муравейной. <i>Стихи</i>	3
Ольга ПОГОДИНА-КУЗМИНА. Птицы войны. <i>Повесть</i>	6
Александр ОРЛОВ. Говоря о войне. <i>Стихи</i>	55
Владимир ЛИДСКИЙ. Умри-воскресни. <i>Повесть</i>	58
Ян БРУШТЕЙН. Группа риска. <i>Стихи</i>	77
Игорь КОРНИЕНКО. Месопотамия. <i>Рассказ</i>	79
Анна ПЕСТЕРЕВА. «Ящик, ящер, я щит». <i>Рассказ</i>	90
Игорь МАЛЫШЕВ. Память моя, мошек рой. <i>Стихи</i>	98
Андрей ВОЛОС. Мешалда́. <i>Книга семейных рецептов. Окончание</i>	101
Анна МАРКИНА. Жёрдочка-человечек. <i>Стихи</i>	164
Сергей МАСЛОВ. Два рассказа	168
Екатерина КУДРЯВЦЕВА. Мелкая моторика рук. <i>Рассказ</i>	177

ПРОЗА.ДОС

Джуди БАТАЛИОН. Свет грядущих дней. <i>Неизвестные истории женщин — участниц Сопротивления в гитлеровских гетто. С английского. Перевод Ирины Дорониной</i>	182
Александр РЫБИН. Подавляя инстинкт войны. <i>Рассказы</i>	202

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Пой, манасчи! Памяти Рамиса РЫСКУЛОВА Вступительное слово и переводы с киргизского Вячеслава Шаповалова	220
--	-----

MODUS VIVENDI

Олег МАКОША, Александр МЕЛИХОВ. Здесь и там. Письма из провинции в провинцию	225
---	-----

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Господи, вспомни, ведь это же я...». О сборнике стихов Ефима Бершина «Мёртвое море» размышляют Андрей ПЕРМЯКОВ и Нина ГАБРИЭЛЯН	238
---	-----

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Дмитрий СТАХОВ. «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые...» (Павел Полян. «Если только буду жив...»)	248
Николай АЛЕКСАНДРОВ. Интересная Фаина и нарративные практики (Алла Хемлин. «Интересная Фаина»)	252
Сергей ШАБАЛИН. Время тревоги нашей (Геннадий Кацов. «На Западном фронте: Стихи о войне 2020 года»)	255
Ольга ГЕРТМАН. Не путайте мурмурацию с мурмуригом (Словарь культуры XXI века. Первое приближение / Сост. Игорь Сид)	258

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Свои претензии адресуйте дьяволу (А.Иванов. «Тени тевтонов») ...	262
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. СКТВР и другие города	268
---	-----

SUMMARY	272
----------------------	-----

Иван Волосюк

Масштабы тропы муравейной

* * *

Человек державой съеден,
брошен под ноги судьбе,
балалайки и медведи
на его живут горбе.

За его душой наружка
смотрит синей красотой,
речь его — смешной Петрушка
или, может, несмешной.

В остальном больное тело
заберёт военкомат,
чтобы музыка звенела,
как невидимый собрат.

Как неведомый защитник,
тихий ангел лёгких нот.
Этот день тебе засчитан,
новый сразу настаёт.

* * *

За что согласился в нездешнем краю
шагать балалаечным строем?
Ушёл из страны, потому что люблю
величье её никакое.
Изнеженный ум захотел тетивы,
а лука ему не берите.
Но шапка побольше моей головы,
зачем мне тогда ленинградские львы
и злое стекло Moscow city?

Волосюк Иван Иванович — поэт, литературный критик. Родился в 1983 году в городе Дзержинске Донецкой области. Окончил филологический факультет Донецкого национального университета. Публикации в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Юность» и др. Участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Дипломант XVII Международного литературного Волошинского конкурса. Живет в Подмосковье.

Он эти богатства вражине снесёт,
закусит тушённой трофейной.
Кто был человеком, тот вряд ли поймёт
масштабы тропы муравейной.

Отсюда такие открыты виды,
где мы копошимся у края.
Да, будут слова — но они не слышны,
да, будут стихи — но они сочтены,
не больше, не меньше — я знаю.

* * *

...сердце просит музыки вдвойне

В.И.Лебедев-Кумач

Там спросили меня: не видал ли мужей киммерийских
в той степи, где всегдашний туман расстилается низко?
Я смотрел в темноту. Оставался последний блокпост,
но опять я не знаю ответа на вечный вопрос:
что КамАЗы везут: соболей или беличьи шкурки?
Пробивая строку, лишний гласный застрял в штукатурке.

Там воитель, перстом указав на задымленный юг,
всё хотел разузнать, кто живёт в этом диком краю,
где фугасный анапест, хорей с обеднённым ураном.
Кто на ощупь идёт и губами касается крана,
кто прикинулся мёртвым, чьё тело лежит на земле,
сам теперь вещество, но поэзии просит вдвойне?

Плоть — космический мусор, ошмётки взорвавшихся звёзд,
не смотри в микроскоп, ничего не увидишь от слёз.

* * *

В бесплатном поезде пора
лететь, куда глаза,
там будет в августе жара
и в феврале всегда.

Где Виктор Цой троллейбус пел,
Высоцкий пел дурдом,
я злым молчанием смотрел
и жил иным трудом.

Но с нашей улицы, как снег,
убрали таксофон,
он был мне правом на побег,
но после отменён.

Осталось космосом дышать,
что русский, что еврей,
и тонким телом не мешать
закрытию дверей.

* * *

Маленький мальчик по полю гулял,
он анархист, экстремист и вандал,
смотрит свои запрещённые сны,
носит ботинки большой глубины.

Мальчику русские птицы поют,
лысину сверху его узнают.
Думают пташки: не может придурок
в городе места найти для прогулок.

Так продолжалось не год и не два,
мальчик забыл человечьи слова,
вот он идёт и щебечет, как встарь,
чижигов мелких нехитрый букварь.

«Чу!» — это пробует голос пока он,
«Фыть!» — обретает звучание в рост.
Скоро всё кончится, думай о малом,
пой этот мир, задыхаясь от слёз.

Ольга Погодина-Кузмина

ПТИЦЫ ВОЙНЫ

Повесть

*Благодарность за идею, тему и материал автор выражает Юрию Суходольскому.
Посвящается Феликсу Дмитриевичу Сутырину.*

Глава 1. ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Завороженный обыденностью смерти, Ким пристально разглядывал крошечные розовые ладони, младенческие пальчики и коготки, открытые, словно бы удивленные черные глаза погибшего зверька, его шкурку с серебристым отливом. Маленькое существо, словно вылепленное искусным игрушечным мастером, было прихлопнуто железной скобой ровно поперек невесомого тельца.

Мальчик почувствовал, как слезы подступают к глазам. Вчера, помогая дяде Лёше устанавливать мышеловку, он не успел задуматься о том, чтомышь и правда может в нее угодить, и не предполагал, что зверек окажется таким прекрасным.

— Попалась? — дядя Лёша вышел из ванной, вытирая полотенцем голову. Ким перевел взгляд на крепкие плечи, на шрамы от ранений на груди отчима.

Перед ним, героем войны, было стыдно распускать нюни, и Ким изо всех сил попытался сдержать рыдание. Но сухой комок в горле не давал вздохнуть, и что-то сильное, неодолимое, распирало грудь.

— Ну, ну, — Нестеров потрепал мальчика по волосам. — Давай-ка выкинем ее в ведро.

Но Ким уже рыдал, стыдливо уткнувшись лицом в локоть, сотрясаясь всем своим худеньким телом.

Алексей опустился на табурет, чтобы быть вровень глазами с десятилетним Кимом.

Ольга Погодина-Кузмина (род. 1969) — писатель, драматург, сценарист. Окончила Санкт-Петербургскую Академию Театрального Искусства по специальности театроведение. Автор поставленных на театре пьес: «Мармелад», «Сухобезводное», «Толстого.нет», «Глиняная яма» и др. Автор нескольких романов, в том числе «Ласковая вечность» (2016), «Герой» (2016), «Уран» (2019).

Лауреат драматургических премий «Новая драма» (2004) и «Евразия» (2007), а также кинопремий «Золотой Феникс», «Золотой жасмин» и др. Финалист литературных премий «Нонконформизм» и «Национальный бестселлер» (2013). Живет в Санкт-Петербурге.

— Ну, развел мокрое дело... Мне ведь тоже мышку жаль. Убивать — работа нелегкая.

Взял из кармана пиджака, висящего на спинке стула, свой отглаженный, одеколоном пахнувший платок, протянул мальчишке.

— Но есть в жизни правило, Ким: на чужую территорию не заходи. Если ты мышшь — живи в поле, в лесу, мы тебе не причиним вреда. А раз пришла в наш дом, не обессудь. Тут уж мы с тобой как с оккупантом... Вроде как с Гитлером, понимаешь?

Утирая лицо, мальчик кивнул. Нестеров открыл мышеловку, сбросил зверька на старую газету, завернул и выкинул в мусорное ведро. Накинул старую куртку и пошел выносить мусор во двор.

Вернулась Анна, мать Кима, — бегала снимать мерки к заказчице, принесла с рынка свежих яиц, плетенку с маком. Сели завтракать.

Вчера Алексей за вечерними хлопотами забыл, а скорее, не стал торопиться сообщать вроде бы и важную, но в неопределенность будущего направленную новость. Однако утром появилось стойкое чувство, что предназначенное свершится именно так, как он предполагал, словно бы за ночь стрелка его жизненного компаса выбрала направление и материя времени оформилась в непреложный факт.

Он проговорил, словно между прочим:

— Помнишь, Лысогоров — кучерявый такой, недотепа? Руку вывихнул на тренировке!

Анна повернулась к Нестерову. По ее лицу, словно тень пролетевшей птицы, скользнула тревога.

В черных глазах этой молчаливой, бледной, хрупкой, словно подросток, женщины обитала целая стая трепетных птиц: беспокойство, тревога, ожидание новой какой-нибудь беды. Нестеров знал, что птиц не обманешь улыбкой или показной беспечностью. Нужно быть честным, не фальшивить даже из самых добрых побуждений, все выкладывать начистоту.

— Срочно ищут ему замену... Если не найдут, придется ехать мне.

Ким, уже забывший о недавних слезах, с аппетитом уплетал бутерброд.

— Куда ехать, дядя Лёша?

— На Олимпиаду, в Хельсинки.

Анна молча, непонимающе моргала, словно пыталась перевести слова Нестерова с чужого языка. А Ким задохнулся от радостного изумления.

— На Олимпиаду!? Вот прямо сейчас?

— На той неделе. Сначала на базу в Эстонию, а оттуда...

Обхватив прозрачными ладонями чашку с синими цветами — почти в цвет голубым жилкам на ее руках, — Анна сделала несколько глотков остывшего чая. Вскочила, начала суетливо убирать посуду со стола.

Голос Кима звенел счастливым отчаянием.

— Вот здорово! В школе скажу — ведь не поверят! Дядя Лёша! Ты будешь там стрелять?

— Да, Ким, буду стрелять... А в школе скажи — я, как вернусь, к ним сам приду, все расскажу, пускай не сомневаются.

Нестеров поднялся, взглянул на Анну, пытаясь продолжить молчаливый разговор с тревожными птицами. Женщина отвела глаза.

* * *

Алексей Нестеров, тридцати восьми лет, мастер спорта, инструктор стрелкового клуба, войну окончил в звании капитана, начальником батальона в войсках связи. Был трижды ранен, имел боевые награды.

Внешность свою считал самой обыкновенной — темно-русые волосы, серые глаза, рост чуть выше среднего, руки и ноги на месте. Внимание слабого пола к своей персоне объяснял вполне понятным дефицитом мужчин в послевоенное время. Глазастые сестрички в медсанчасти, разбитные хохотушки в рабочих бригадах, томные буфетчицы с начесами и совсем юные, вошедшие в пору уже после войны, дочки партхозактива — Алексей мог выбрать любую. Но полгода назад, под новогодние праздники, в жизнь его случайно вошла и осталась рядом неприметная мать-одиночка с вечно опущенными ресницами и плотно сжатыми губами.

Жалел ее? Да. Хотел отогреть, заслонить собой от призраков страшного прошлого. Привязался к ее парнишке, видел свою общественную задачу в том, чтобы Ким вырос хорошим, правильным человеком с душой и совестью. Да что лукавить, Алексей и сам питался их нерассуждающей беззаветной любовью, вокруг себя выстраивая стену. Потому и выбрал Анну, что она ничем не напоминала ту давнюю, виной и болью застрявшую в сердце, погибшую в двадцать лет...

Нестеров думал об этом, пока шел по Гоголевскому бульвару на спортивную базу, чтобы узнать решение комиссии.

После дождя выглянуло солнце, осветило мокрую листву. Москва нарядная, мирная, сытая. Пенсионеры играют в шахматы на скамейке. С лотка продают мороженое — вафельные брикеты в пергаментной бумаге. Гуляют женщины с колясками. Взявшись за руки, парами, идут-щебечут школьники, не знавшие войны. Даст бог и не будут знать.

Мужчина в строгом пиджаке, высокий, седоватый, в роговых очках, вдруг привстал со скамейки.

— Товарищ Нестеров! Видел вас на базе... Вы на комиссию?

— Да.

— Пойдемте, я провожу. Меня зовут Серов, Павел Андреевич, спортивный клуб «Динамо». Назначен в руководство тренерского штаба, заведующий по общим вопросам. Алексей протянул руку.

— Нестеров, Алексей Петрович. Спортивный клуб Советской Армии.

Вместе пошли вверх по бульвару.

— Посмотрел вашу анкету. Войну прошли. Войсковая разведка, операции в тылу противника... А до войны успели послужить в Германии. И языками владеете.

Нестеров уже догадался, что за человек его поджидал на бульваре. Но куда повернет разговор, еще не понимал.

— Алексей Петрович, вы включены в состав сборной. Поздравляю.

Нестеров кивнул.

— Благодарю.

— Не буду говорить красивые фразы... Сами понимаете — в Хельсинки под видом дипломатов, журналистов съедутся сотрудники всех западных спецслужб. Возможны провокации, вербовки. Да что угодно может быть!

Серов достал серебряный портсигар с красивой чеканкой — Кремль, Красная площадь. Открыл и протянул Нестерову. Алексей мотнул головой.

— Спасибо, бросил полгода назад. Сразу предупреждаю — доносить на товарищей не буду, не приучен.

Серов остановился, чтобы прикурить папиросу.

— Неравнодушных граждан у нас хватает, Алексей Петрович, даже с избытком... Тут другое дело. — Серов выдержал паузу. — Впрочем, поговорим в спокойной обстановке. Сможете зайти к нам в приемную, Кузнецкий мост, 22? В понедельник, около шестнадцати ноль-ноль. Там коммутатор, мой служебный 30—25. Давайте, я вам запишу.

Нестеров сделал отрицательный жест.

— Не надо, я запомнил.

Попрощался кивком. Разошлись.

* * *

День в редакции хельсинской «Рабочей газеты» начался как обычно. В кабинете главного редактора Ярвинена обсуждали план субботнего номера: интервью с министром спорта, репортаж о готовности стадионов, расписание радиотрансляций футбольных матчей.

Пухленькая, лупоглазая, с ямочками на щеках секретарша Лемпи, встряхивая светлыми кудряшками, делала пометки в блокноте. Ее нарядная блузка цвета нежной бирюзы оживляла сумрак кабинета, захламленного книгами, бумагами, газетными подшивками.

Ярвинен, бывший бригадир рыбацкой артели, могучий, с крупными чертами лица, с вечно озабоченным выражением — спорил с выпускающим редактором, близоруким и въедливым Раймо Ранта, который, не прекращая спора, привычно просматривал полосы, выискивая «блех», пропущенных корректором. Штатный репортер и фоторедактор Матиас Саволайнен, худощавый, высокий, лет сорока на вид, так же привычно отбирал иллюстрации под материал.

То и дело входили и выходили репортеры, открывалась дверь, от сквозняка шевелились гранки, прикрепленные к пробковой доске, а в кабинет врвался шум редакции — голоса, телефонные звонки, стук печатных машинок.

— Где этот Линд? — хмурился Ярвинен, поглядывая на часы. Редактор отдела новостей по обыкновению запаздывал на планерку.

Наконец вместе со сквозняком в кабинет вкатился человек небольшого роста, с переломанным носом, напоминавшем утиный клюв, с торчащими на макушке черными волосами. Мешковатые штаны и засаленный пиджак подчеркивали его сходство с комиком Чарли Чаплиным.

— Где тебя носит, дьявол поberi? — без церемоний набросился Ярвинен на давнего соратника и приятеля. — Где обзор по воскресным ярмаркам?

Линд не отвечал, он явно был взволнован. Плотно прикрыв дверь, оглянулся на бирюзовую Лемпи, словно прикидывая, стоит ли при ней сообщать важную новость. Но дело не терпело отлагательств.

— Русские обстреляли над Балтикой два шведских самолета... Машины затонули. Летчиков подобрало торговое судно. Направляются в порт. К нам, в Хельсинки...

Ярвинен, человек взрывного, холерического темперамента, мгновенно пришел в раздражение.

— Черт поberi! За две недели до Олимпиады... Зачем Советы это делают?!

Линд развел руками.

— Кто может знать?

Раймо Ранта, протирая очки, по обыкновению нарисовал самый пессимистический сценарий.

— Сейчас поднимется шумиха, заявления послов, выступления в Совбезе... США объявят бойкот состязаниям, к нам никто не придет.

— Не каркай! И без тебя знаю, чем все может обернуться!

Дождавшись, пока Ярвинен выплеснет первое раздражение, Линд толстым пальцем нарисовал в воздухе вопросительный знак.

— Еще успеем дать новость в тираж?..

Ярвинен в раздумье схватился за подбородок. Молодые репортеры любили тайком передразнивать эту его привычку мять и трогать пальцами щеки, словно проверяя, хорошо ли он выбрит.

— Шведы искали свой пропавший самолет-разведчик, — вдруг произнес глуховатым голосом фотограф Саволайнен, до этого молчавший.

Линд и Ярвинен удивленно переглянулись.

— Их самолет потерял связь и пропал в этом районе над Балтикой два дня назад, 13 июня.

Словно купаясь в морском отсвете бирюзовой блузки, Лемпи захлопала белесыми ресницами.

— Матиас, а ты откуда все это знаешь? Мы про это не писали!

Саволайнен отложил пачку фотографий, которые перебирал, словно карты таро.

— Мне звонила Хильда Брук, журналистка из Стокгольма. Была у нас на практике в прошлом году.

— Да, помню! Такая, в штанах, с короткой стрижкой, — оживился Ярвинен.

— Фигурка — отпад, — себе под нос, но довольно внятно пробормотал Ранта. Лемпи скривила губки, выражая свой скепсис в отношении этого утверждения.

— Брат Хильды, инженер-радиотехник, работал на военном аэродроме, — продолжил Саволайнен. — В ночь на 13-е он вышел на смену, на другой день не вернулся домой. Вроде бы, они испытывали какое-то новое оборудование... Радиолокаторы или что-то в этом роде. Возможно, американские.

Повисла пауза, Ярвинен отчаянно чесал подбородок пятерней.

— Но Швеция — нейтральная страна! Ты думаешь, они пустили американцев на свой борт, чтобы слушать территорию Советов?

Матиас Саволайнен пожал плечами.

— Ничего я не думаю. Знаю только, что брат Хильды не вернулся домой. И шесть других радиотехников, штурман и пилот, тоже не вернулись к своим семьям.

Ярвинен набылчился, уставясь в одну точку, — верный признак, что решение будет неожиданным, но окончательным и не подлежащим обсуждению.

— Вот что, Матиас, позвони этой Брук. Пусть приедет.

Линд оживился.

— Если сделать материал — будет бомба!

Ярвинен вздохнул.

— Дело рисковое, большая политика... Но мы постараемся что-то узнать. Запросим Москву через руководство Компартии... Только ничего не обещаю.

Кивнув, Саволайнен взялся за фотографии, а Ярвинен повернулся к Линду.

— Дьявол побери, так где твой обзор воскресных ярмарок, который ты мне обещал еще во вторник?

* * *

Бум-бом, бум-бом. Дождь стучал по жестяному подоконнику, словно траурный барабан. За окном был виден шпиль древнего собора, площадь с торговыми навесами, мокрые кусты.

Девушка двадцати двух лет в зеленом джемпере, с рыжеватыми, коротко стриженными волосами, с бледными веснушками на щеках и переносице, говорила по телефону. Голос звучал устало и раздраженно.

— Я журналист, Хильда Брук. По поводу пропавшего самолета...

И снова ей отвечали формальной, ничего не значащей фразой. «Мы не занимаемся этим вопросом». Или: «У нас нет информации». А чаще всего: «Звоните в другое ведомство».

Эта уклончивость возвышалась над ней, словно глухая стена, бетонное цунами. Все, что прежде казалось понятным, «своим» — люди, город, любезные полицейские на улицах, деловитые чиновники в кабинетах и знакомые депутаты в Риксдаге, — вдруг

обернулось страшной, ледяной, нечеловеческой машиной по производству бессмысленных фраз.

— Что значит «нет информации»? — кричала в отчаянии Хильда. — Я звонила везде, мне дали ваш номер!.. Мой отец был депутатом парламента!

— Нет, это не к нам.

— Но самолет не мог просто так исчезнуть! Вы должны сказать, что там произошло!..

И снова в трубке длинные гудки, и траурный дождь за окном — бум-бом-бум-бом...

Мать, растерянно озираясь, словно потерявшаяся девочка, зашла в комнату.

— Хильда, ты узнала, почему он полетел на этом самолете? Ведь он не летчик, он просто инженер... Он чинит рации в диспетчерской.

Они с матерью будто бы поменялись местами, пришел черед дочери заботиться, опекать, решать проблемы. Хильда нахмурилась, возвысила голос.

— Мама, нельзя сдаваться! Я добьюсь, я все узнаю! Я пойду к премьер-министру!..

Потоптавшись в комнате, словно не найдя того, что искала, мать отрешенно повернулась к двери.

— Отец так любил Томаса... А теперь его нет на свете. Его больше нет...

Звук рыдания надрывает душу, но вдруг звонит телефон, и Хильда бросается к аппарату одним прыжком, как зверь к добыче, хватая трубку.

— Да, слушаю, Хильда Брук! Что?! Хельсинки? Саволайнен?..

У вдовы Брук глаза как дождевые капли — серые, прозрачные, с дрожащим в них отражением комнаты. Ей всего пятьдесят два, но у нее большое сердце, она едва оправилась после смерти мужа, известного политика и журналиста. Секундная вспышка надежды погасла, нет сил больше плакать, она вышла на кухню, машинально поставила пустой кофейник на плиту.

— Мне нужно быть с мамой, — слышится голос Хильды. — Ну хорошо, я с ней поговорю. Я постараюсь приехать...

Вдова Брук открыла холодильник. В голове рассеянно мелькали мысли: «Томас пьет кофе со сливками. Нужно пойти на рынок, взять хорошие сливки. И зелень, и немного козьего сыра. Магазинные продукты все же не те, в них мало вкуса, только красивая упаковка».

В ту же секунду она понимает: нет смысла идти на рынок за сливками. Томаса больше нет.

* * *

Степан Касьянович Шимко так и ходит в выцветшей гимнастерке, будто только вчера уволился в запас. Ему под семьдесят, на фронт не взяли, но всю войну в учебке старик готовил снайперов, и кое-кто из них прославился, попал в газеты.

— Спокойней, Лёша, мягче. Кисть не напрягай.

Говор у Шимко южнорусский, звучит в голосе ласковость днепровской ночи, будто видишь дивчат и хлопцев, идущих с гулянки пыльным проселком, слышишь запах дымка, что поднимается над костром, над крышами белых мазанок.

— Ты не спеши, примерься. Осознай. Тебе еще надо форму набрать...

Нестеров и сам понимал: задача, ему предстоящая, требует не столько техники и верности глаза — это, допустим, имеется, — но и морально-волевых, первейших в спорте качеств. В соревнованиях победителем выходит тот, кто не утратил самообладания и хладнокровно отработал цель. Впрочем, холодная голова требуется не только в спорте, — в любой жизненной ситуации. На той же войне.

Нестеров прищурил глаз, выровнял дыхание. Расслабил руку, привычно представляя пистолет продолжением пальцев, тяжелым и послушным сгустком нервов, крови, мышц.

Выстрелил, выбивая пять мишеней из пяти.

— Как в масле вошли! — обрадовался тренер. — Вот так бы и на стрельбище...

Нестеров перезарядил обойму. На нем наушники, спортивная рубашка со значком спортивного клуба Армии, широкие брюки из тонкого габардина. Аня обшила, отгладила, модником отправила на улицу, не думая о том, что провоцирует интерес к хорошо одетому мужчине в посторонних девушках.

Вот и Нина Ромашкова перед тем, как открыть дверь в подвальный зал, где проходят тренировки по стрельбе, пальцами разгладила брови, одернула кофточку на могучей груди. Забежала, крикнула зычным голосом, огрубевшим от привычки отдавать спортивные команды.

— Товарищи, поднимайтесь в главный зал! Общее собрание команды!

Нина — метательница диска, крупная, плечистая, русоволосая. Веселая, как псковитянка Василиса из фильма «Александр Невский». Та сражалась в битве наравне с мужчинами, и Нина за словом в карман не полезет и за дело постоит. По вечерам с красной повязкой дружинницы патрулирует улицы; было дело, защитила подростка со скрипочкой от хулиганов, одна двоих балбесов притащила в отделение милиции.

Пока сдавали оружие, запирали зал, Нина успела обежать еще несколько комнат. Поднимаясь по лестнице, все оглядывалась на Нестерова, играя ямочками на щеках. Алексей подумал: «Вот какие чудеса творит твой, Аня, габардин».

В большом спортивном зале собралось человек сорок. Тут в основном «армейцы», но есть ребята из «Динамо», «Спартака», других спортклубов. Сидят на скамейках, стоят у шведской стенки. Слушают молодого инструктора партхозактива. Тот, румяный, высокий, в полосатой рубашке, говорит хорошо поставленным голосом:

— Товарищи! Участие в Олимпийских играх — это не веселая прогулка, а громадная ответственность. Наша задача — не осрамиться перед капиталистами и доказать, на что способен советский массовый спорт!..

Ромашкова села на скамейку к девушкам, те подвинулись, давая ей место. Нина осторожно толкнула худенькую Машу Гороховскую, гимнастку.

— Это кто?

— Инструктор, из Горкома комсомола, Юрий Бовин, — отвечает Маша. — Говорят, холостой.

Обе тихонько прыскают о чем-то своем, девичьем, перешептываются.

Видно, что Бовин старается говорить доходчиво и просто, но получается немного выскока, будто воспитатель с детьми.

— За границей всё для вас будет внове. Вы впервые увидите жизнь в зарубежной стране. Эта жизнь вам может показаться сладкой. За яркой витриной не все разглядят кризис перепроизводства, оглушение трудовых масс, разложение нравов...

Мускулистый Ваня Удодов, тяжелоатлет, негромко шутит с места, подмигивая товарищам:

— О нравах можно подробнее!

Бовин хмурится, услышав негромкие смешки.

— Товарищи, это серьезная тема! Не все еще готовы к встрече с порочным миром капитализма.

Гимнаст Грант Шагинян подает голос.

— А мы, товарищ инструктор, капитализма не боимся. Он ведь все равно одной ногой в могиле!..

Грант слова не скажет без шутки, любит повеселить народ; утверждает, что все смеются только из-за его армянского акцента, который действует на безусловные рефлексы смеха в гипоталамусе. Штангист Николай Саксонов, крепкий, приземистый, с бритой головой, негромко добавляет:

— Да и в капстранах многие бывали.

Инструктор Бовин вскинул брови.

— В каком это смысле?

— Вон, Ваня Удодов в Тюрингии два года. Повидал сладкую жизнь... В лагере Бухенвальд.

Удодов кивнул, улыбнулся.

— Было такое... Сам ходить не мог, весил двадцать шесть килограмм. А теперь — вот! — Иван показывает бицепсы. — Триста десять выжимаю...

Бовин повысил голос, перекрывая звучащие в зале смешки.

— Товарищи, я сам люблю юмор... Но тут дело серьезное. Никто из вас не участвовал в международных состязаниях.

Саксонов возразил, но негромко, будто про себя:

— Не только участвовали, а еще и победили. В международных состязаниях по стрельбе...

Удодов тоже решил успокоить растерянного инструктора.

— Вы, товарищ Бовин, не переживайте. Капиталистам нас не взять, зубы обломают.

Ромашкова вскинула руку.

— Покажем буржуйам, что советский человек не только воевать — и в спорте побеждать умеет!..

Зал ответил одобрительным гулом.

Под этот гул в зал вошел главный тренер команды, а с ним, в числе сопровождающих, Серов — тот самый темноволосый с проседью человек, который окликнул Алексея на бульваре. В темно-сером костюме, в крупных роговых очках, Серов был похож скорее на научного работника, чем на офицера госбезопасности. Встретившись с ним взглядом, Нестеров слегка кивнул.

— Простите, задержался, прямо от министра, — объявил тренер, оглядывая спортсменов. — Если кто не знает — меня зовут Борис Андреевич Аркадьев, я тренер сборной по футболу... Назначен главным тренером команды.

Тут все поняли, что надо встать и аплодировать. Сухощавый Аркадьев выждал, поднял руку.

— Ну что, ребятки, дело нам предстоит новое, ответственное. Выбрал вас советский народ — лучших из лучших. И не ради прошлых заслуг, а ради будущих побед...

И снова Нестеров аплодировал вместе со всеми — волна энтузиазма охватила зал.

— Как ни крути, Олимпиада — тот же фронт, ребята... Спортивный фронт.

Отбивая ладони, Нестеров оглянулся на Серова. При этом он заметил, как Евдокия Платоновна, врач команды пятиборцев, посмотрев на золотые наручные часы, вышла из зала.

Глава 2. ХУТИН И МУНИН

Дорога отвлекла и немного подбодрила Хильду. С мамой осталась практичная, здравомыслящая тетя Агата, которая взяла отпуск на работе и приехала из Треллеборга; за них можно было не волноваться. А на переполненном пароме Хильде встретилась компания знакомых аспирантов.

Всю ночь на палубе они пили пиво, орали песни, делали ставки на исход футбольных матчей, которые собирались смотреть. Долговязый застенчивый Эрик еще во время учебы в университете пытался ухаживать за Хильдой, а теперь снова

смотрел печальными влюбленными глазами. Под утро они оказались вдвоем в узком лестничном пролете, ведущем на нижние палубы, и когда Эрик неумело поцеловал ее, Хильда вдруг расплакалась, уткнувшись в его плечо.

— Я все знаю, — просто сказал ей парень. — Если тебе нужна моя помощь, я сделаю все, что могу.

Молодость приказывала жить дальше, переступить через боль.

Паром подходил к Хельсинки. Стоя на палубе рядом с Эриком, который бережно обнимал ее за плечи, Хильда словно мысленно нырнула в прошлое. Вспомнила практику в «Рабочей газете», свои первые репортажи на финском, над которыми смеялись всем отделом, когда Линд зачитывал их вслух. Вспомнила свою глупую детскую влюбленность в фоторепортера Матиаса Саволайнена. Интересно, как он — изменился, постарел? Все такой же верный муж и любящий отец или завел интрижку с хорошенькой секретаршей?

Аспирантов встречал автобус, они ехали в университетский кампус, расположенный неподалеку от стадиона. Хильда оставила Эрику свой чемодан и пошла в редакцию пешком, чтобы побыть наедине с собой и городом, в котором всего каких-то два года назад она была так счастлива, хотя и казалась себе самой несчастной.

В редакции все было по прежнему. Стук печатных машинок, старомодные телефонные аппараты на деревянных подставках, запах кофе и крепкого трубочного табака, массивный письменный стол в кабинете Ярвинена, весь заваленный бумагами.

Ей обрадовались. Девушки-машинистки принялись рассматривать, расспрашивать, угощать лимонадом. Потом появился Ярвинен, устроили заседание. Хильду посадили на стул посреди кабинета, пришли редакторы отделов — еще больше располневший и полысевший Линд, все такой же подтянутый, такой же непроницаемый Саволайнен.

Хильда готовилась к этой встрече, но не могла справиться с нарастающим волнением, рассказывая о том, что ей удалось узнать.

— Брат говорил, что работает в диспетчерской, обслуживает радиотрансляторы. Еще рассказывал, что собирает отпугиватели для птиц, чтобы они не попадали в двигатели самолетов. Только теперь мы с мамой узнали, чем он занимался на самом деле. Мне рассказала жена одного из пропавших инженеров... Ее муж был не такой скрытный, как Томас.

Ярвинен слушал, посасывая трубку, мрачно глядя на Хильду.

— Значит, ты говоришь, разведка?..

— Да. Все это очень страшно. Я не могу называть имен. Они все служили в каком-то секретном подразделении F. Совершали полеты вдоль советской границы, перехватывали радиосигналы... На самолетах были американские радары и какие-то новые штуки, которыми управлял инструктор из Пентагона.

— Чертовы янки! — пробормотал Линд.

Саволайнен ободряюще кивнул Хильде, она продолжала.

— Этот парень говорил жене, что их вынуждают рисковать, вылеты становятся все опаснее. Он хотел уволиться, но не успел. Я пыталась узнать об этом подразделении F, но везде — в министерствах, правительстве, в дирекции аэродрома — все говорят, что такой структуры у них нет и не было.

Трубка Ярвинена погасла, он придвинул большую керамическую пепельницу, которая от табачного пепла давно из рыжей превратилась в серую.

— Даже не знаю, что тебе сказать на это...

— У меня есть интервью, ответы из военного министерства...

Хильда поспешно достала из своего портфельчика бумаги — записи разговоров, план аэродрома, вырезки из шведских газет. Нужно было доказать, что она провела серьезное исследование и объективно рассмотрела проблему.

Тесемки как назло не поддавались, Хильда дернула со всей силы, и плотно набитая картонная папка разорвалась по шву — бумаги вывалились на пол, разлетелись по кабинету. Саволайнен и Линд бросились собирать упавшие листки. Хильда едва сдерживала слезы.

— Все шведские газеты отказались заниматься нашим делом! Но вы, вы можете дать этот материал... Вот, я все записала! Здесь фотографии... рассказы людей... Один из инженеров вел дневник, жена обещала, что передаст его мне, если я договорюсь о публикации...

Повисла пауза. Ярвинен тяжело поднялся из-за стола, подошел к Хильде, взял ее за плечи своими большими жилистыми ручищами.

— Ты смелая девочка, Хильда. И хорошая журналистка. Но мы не будем заниматься этой темой. Я говорил с нашим министром печати, звонил в Москву. Они не хотят обнародовать эту информацию... Прости.

Хильда, запрокинув голову, сквозь пелену слез смотрела на «дядюшку Ярвинена», как называли его машинистки.

— Но ведь это люди! Восемь человек экипажа... И среди них мой брат. Что с ними стало? Я должна узнать правду...

Ярвинен тихонько сжал ее плечо, отвернулся. Линд сочувственно шмыгнул своим утиным носом.

— Хильда, слезами горю не поможешь. Давай рассуждать спокойно. Стокгольм никогда не признает, что занимался разведывательной деятельностью для американцев. Если самолет захватили русские — заставили сесть на своем аэродроме, — возможно, экипаж предложат обменять...

— Такие случаи были, — оживился Саволайнен. — Мы можем сделать запрос через МИД...

— Не можем! — оборвал его Ярвинен. — И не будем касаться этой темы!

Он резко повернулся к Хильде.

— Ты понимаешь, какие силы тут замешаны? На носу открытие Олимпиады, никому не нужен международный скандал! Дипломаты обменяются нотами, родным выплатят пенсии. А потом, лет через семьдесят, может быть, правда всплывет...

Хильда проглотила слезы, собрала, сунула папку с документами в портфельчик. Она чувствовала себя униженной, и в сердце поднималась злость — на Ярвинена, на молчаливого Матиаса, на все правительства и государства мира.

— Ваше дело! — она встряхнула волосами и вздернула свой круглый, крепкий подбородок. — Я знаю, за такой материал ухватятся в любой редакции! Это будет сенсация! А вы еще пожалеете, что оказались банальными трусами.

Чеканя шаг квадратными каблуками туфель, Хильда вышла в коридор. Слезы снова подступили к глазам, и она шагала, не видя ничего вокруг, заставляя себя не разреваться на глазах у всей редакции.

Матиас догнал ее уже на лестнице. В руках он держал пиджак и летнюю шляпу.

— Постой... Скажи, сколько редакций ты уже обошла?

У Хильды задрожали губы.

— Десять... В Стокгольме. Я думала, что здесь...

Саволайнен смотрел отстраненно, не пытаясь ее утешить или подбодрить, — и это заставило Хильду собраться.

— ...Что здесь кому-то интересно независимое расследование! Но, оказывается, редактор коммунистической газеты такой же засранец и приспособленец, как издатель дешевого рекламного листка!

— Ярвинен хороший человек. Но он не хочет неприятностей.

— Зачем ты вызвал меня? Я бросила маму, примчалась...

Вместе они вышли на улицу. Саволайнен надел пиджак.

— Вот что, Хильда, оставайся в Хельсинки. Будет много работы — Олимпиада, политика. Приедет советская команда. Они захотят показать себя в лучшем свете.

В его голосе послышалась странная неопределенность, из-за которой Хильда обернулась и вопросительно заглянула ему в лицо.

— Ты хочешь сказать?..

— Просто оставайся. Я знаю, надежда есть всегда. — Приподняв обшлаг пиджака, Матиас посмотрел на часы. — Пойдем, пообедаем в ресторанчике на Эспланаде. Я познакомлю тебя с женой. Она будет рада.

— Ты так уверен? — со злой насмешкой спросила Хильда.

— Да, уверен.

Саволайнен взял у Хильды портфель и аккуратно защелкнул замок.

* * *

Бульвар, ведущий от центра города к порту, в солнечный день чем-то напоминает Париж. На скамейках старики играют в шахматы, гуляют женщины с колясками, играют дети. Вот прошел пожилой господин со старомодной тростью, приподнял шляпу навстречу дородной даме с терьером на поводке. Кажется, в Хельсинки все знакомы друг с другом, и это дает ощущение общей семьи, но вместе с тем немного огорчает юную Айно, продавщицу тканей в Ателье мод на бульваре Эспланада.

Сквозь стекло витрины, на котором черной и синей краской отпечатана реклама ателье, пухленькая, белокожая Айно наблюдает за прохожими и думает о том, что ее родной город, в сущности, большая деревня, провинциальный угол Европы, куда слишком поздно доходят и модные выкройки, и голливудские фильмы, и парижские манеры.

Айно темноволосая, с чуть раскосыми черными глазами, в ней течет лапландская северная кровь. В свободную минуту Айно вечно торчит у окна и глазет на публику, мечтая бог знает о чем — о тропических странах, жгучих танцах под кастаньеты, о больших кабриолетах, сверкающих лаком, или огнях ночного Нью-Йорка.

Ей нравится работать в ателье, хозяйка добра и можно научиться швейному делу, но в погожий летний день торчать за стойкой, отмеряя ткани, — та еще мука. И вот Айно снова тяжело вздыхает, а из-за ширмы, слышав вздох, выглядывает старая швея, эстонка Лииде, или Лидия Оскаровна, и тут же находит работу продавщице.

— Айно, вымети за прилавком, смотри, сколько пыли набралось!

Лииде вечно ворчит, когда девчонка томится от безделья. Ох уж это новое поколение, не знавшее голода, бесприютности, подлинной тоски, разрывающей сердце — всего того, что выпало на долю русских эмигрантов, оказавшихся в Финляндии. Вот одна из них, госпожа Мезенцева, немолодая, но все еще элегантная дама со следами былой аристократической красоты, стоит сейчас перед Лииде и примеряет недошитый костюм из шевиота с лавандовым отливом.

Чуллок заштопан, подол нижней юбки обтрепался и пожелтел, но Мезенцева смотрит в зеркало с видом великой княгини, которую прислуга наряжает на придворный бал. Одергивая полы пиджака, с брезгливостью отзывается на брошенную фразу:

— Олимпиада! Набьется полный город всякой швали... Арабы, африканцы. А с ними проститутки и прочий пьяный сброд. Конечно, в магазинах вздуют цены!

Лидия Оскаровна дипломатично возразила:

— Говорят, это хорошо для экономики.

Мезенцева дернула плечом.

— Вот помяните мое слово: придут Советы и покажут вам экономику! Хлеб и масло по карточкам, спекулянты на толкучке, а в ресторанах комиссары в кожанках

с толстыми шляхами... Моя сестра в России. Они живут ужасно. Разруха, нищета. Я ненавижу коммунистов!..

Айно, лениво выметая из-под прилавка шерстяную пыль, решила поспорить. Бабка, малограмотная попадя, научила ее говорить по-русски, но избавиться от акцента не помогла.

— А я слыхала, в Советах все не так уж плохо. В журнале были фотографии ВДНХ — это лес, то есть парк с огромными чудесными постройками.

Мезенцева фыркнула.

— Фальшивка, видимость! — злым голосом она передразнила стиль газетных статей. — «Приветствуем советскую сборную в дружной семье северных народов!». И это пишут в тот же день, когда Советы сбили два шведских самолета. Как мух прихлопнули!

Айно увидела сквозь стекло витрины хозяина, который подходил к дверям. С ним была рыжеволосая стриженная девушка в синих брюках и безрукавке с яркими пуговицами, по виду иностранка. В мечтательной головке Айно тут же вспыхнул интерес — кто эта девушка, любовница Саволайнена? Ну нет, он не привел бы ее в ателье. Значит, коллега... Но все его коллеги — мужчины. Может, дочь от первого брака?... Айно терялась в догадках.

Рыжая осталась ждать на бульваре, а Саволайнен зашел и обратился к Айно по-фински.

— Моя жена здесь?

Продавщица присела в книксене.

— Госпожа с вашим сыном пошли в ресторан «Эспланада», — здесь, чутьем служанки догадалась Айно, уместна будет восторженная лесть. — Ваш мальчик такой чудесный! Он знает разные стихи...

— Очень умный мальчик, — поддакнула Лииде. — И так похож на вас!

Мезенцева выглянула из-за ширмы.

— А, господин Саволайнен, добрый день! Почему вы не напишете в своей газетке, что коммунисты обожают сбивать чужие самолеты? Не делайте вид, что не слышали! Я знаю, вы отлично говорите по-русски! Вы коммунист! Вы получаете деньги из Москвы. Но почему хоть раз не написать правду?..

Сдержанно кивнув, Саволайнен вышел из ателье. Мезенцева засмеялась ему вслед злым, каркающим смехом.

— Пошел куда-то со стриженной девкой! А жenuшка, небось, считает, что он будет вечно держаться за ее юбку. Принцесса на горошине! Наполовину немка — в них всех сидит пустое чванство. Я их повидала во время войны. Это сентиментальные болваны без воображения. Машины для эвтаназии... Я сразу поняла, что они проиграют.

Лииде подумала, как было бы приятно воткнуть в бок Мезенцевой булавку, но вместо этого с улыбкой попросила госпожу клиентку повернуться к зеркалу. Айно снова подошла к окну и посмотрела в небо — над водами Балтики пролетал самолет.

* * *

Сквозь витрину ресторанчика можно было видеть, как за столом оживленно болтали Саволайнен, рыжеволосая Хильда и женщина в светлой кофточке, которая сидела спиной к окну. Мальчик лет десяти ел мороженое и тоже глазел в окно на проходящую мимо старуху в больших лакированных туфлях, в берете и в черных перчатках. Она держала в руке бумажный пакет из соседней булочной и, отщипывая на ходу, с аппетитом жевала.

Мезенцева не видела наблюдавшего за ней ребенка, но слышала веселые вопли детей, играющих на бульваре. «Поймать бы всех да заклеить пластырем рты», — при

этой мысли она криво усмехалась. Впрочем, нелепо было думать о таких мелочах, когда ее ждала важнейшая, решительная встреча.

Пройдя по набережной в сторону порта, она села на скамейку, достала из пакета и съела сэндвич, сухошавой ногой в лакированной туфле отгоняя назойливых голубей.

Крупный, тучный мужчина в помятом сером плаще, подходя, обратился к ней, коверкая финский.

— Вы мне позволите присесть?

Кравец — все такой же тупица и хам. С годами его грубое лицо все больше напоминало кабанью морду. Жесткий волос торчал из ушей и ноздрей, оспины на щеках превратились в морщины. Сломанный нос придавал ему сходство с неудачливым боксером или с вышибалой из дешевой пивной.

С презрением покосившись на соседа, Мезенцева обронила:

— У вас ужасный акцент, Кравец. Лучше говорите по-русски — здесь никого нет.

Тот недовольно хмыкнул, сел рядом, развернул газету.

— Не называйть имен! Я пожелаю, что у вас направде важный вопрос. Я вылетаить из Стокгольм четыре утра...

— Да, у меня срочный вопрос, — пиная голубя, Мезенцева брезгливо поморщилась. — Даже три вопроса, Кравец. Извольте послушать.

Она стала загибать пальцы в черных перчатках, будто рефери отсчитывает время нокдауна.

— Во-первых, мне обрыдло сидеть в этой промозглой дыре! Во-вторых, надоело следить за дурачками из красной газетенки, где ровным счетом ничего не происходит. Во-третьих, мне нужны деньги! Много денег. И раз уж вы не нашли мне достойного применения, я все устроила сама.

Кравец, слушая, удивленно и мрачно смотрел на Мезенцеву.

— Что вы задумайть?

Подождав, пока мимо пройдет влюбленная пара, она проговорила, чеканя слова:

— Передайте Шилле: я, Глафира Мезенцева, одна подготовила и сама проведу операцию, которой позавидует любая разведка мира.

— Не называйть имен!

— Плевать на ваши запреты! Слышали, русские готовят мощную систему воздушной обороны Москвы? Скоро этот план будет у меня в руках.

Мезенцева поднялась, отряхивая с юбки крошки и снова отгоняя налетевших голубей.

— В який способ?

Кравец тоже встал. Как бы прогуливаясь, они направились в сторону доков, где виднелись портовые краны.

— Допустим, мой информатор работает в конструкторском бюро. Допустим, он имеет любовницу. Остальное вас не касается.

— Вы втягните нас в провокацию! Как пешка в игре Советов, — зашипел Кравец. Мезенцева усмехнулась.

— Эти люди ненавидят Советы так же, как и я. Они хотят бежать. Но не на пустое место. Квартира или домик в пригороде Парижа. Счет в швейцарском банке на предъявителя, чтобы жить безбедно на проценты... Только не ждите, что я продамсь по дешевке! Пусть Шилле готовит полмиллиона долларов наличными. И после этого, Кравец, мы расстанемся навсегда.

Они свернули в пустынный переулок, Кравец вдруг сделал шаг и с угрожающим видом прижал Мезенцеву к стене.

— Не называйть имен! Не смейть так мовить до мене!

— Эй, уберите руки! Я закричу, здесь за углом охрана порта. А в полиции расскажу, что вы никакой не чертежник Мартин Хьюз, а бывший советский подданный, перебежавший на службу к нацистам!..

— Пржеклята стара курва!

Рожа Кравеца скривилась от недовольства, он отступил, но на лице было написано: «Свернуть бы тебе шею в темном углу!»

— Мне плевать на ваши угрозы. Передайте Шилле, что я готова продать документы. Но если он не поспешит, микрофильмы уйдут в другие руки.

— Вы маєте микрофильмы? Гдже взято?

— Я все сказала, Кравец. Адё.

Мезенцева повернула обратно в сторону набережной. Навстречу шли докеры в рабочих спецовках. Кравец остановился, прикурил сигарету. Понимая, что ни уговорами, ни угрозами не победит упрямство старой ведьмы, он с ненавистью посмотрел ей вслед.

* * *

Перед фильмом показывали киножурнал — к радости Кима, про Олимпиаду. Звучал спортивный марш, перемежались виды города Хельсинки и наших стадионов, показали тренировки спортсменов и передачу Олимпийского огня.

Комментатор рассказывал, что столица Финляндии выиграла право принять мировые состязания еще в 1940-ом году, но эти планы отменила война. И вот наконец этим летом отложенные игры должны состояться: шестьдесят девять стран, почти пять тысяч спортсменов, примут участие в международных соревнованиях. Будут разыграны сто сорок девять комплектов наград в семнадцати спортивных дисциплинах. Среди них фехтование, парусный спорт, бокс, гимнастика, тяжелая атлетика... Включены в программу и командные игры.

Развевалось алое знамя, тренерский штаб докладывал, что советские спортсмены готовы к борьбе за медали. Диктор с особым волнением объявлял: «Девятнадцатого июля алые стяги Советской страны поднимутся над столицей страны Суоми. Пятнадцатым Летним Олимпийским играм быть!»

Потом пустили новый фильм «Садко». Анна вышла из зала в полном восторге. Хвалила артистов, костюмы, декорации. Как хорош древний город, царские палаты! И заморские земли, и птица Феникс... А прощание с Любовью на стенах крепости! А встреча в березовой роще...

Ким дернул плечом.

— Любовь — для девчонок!

— А я-то думал, тебе понравилось, — удивился Нестеров.

Весь фильм парнишка просидел, открыв рот, но теперь вдруг отрекся от своего детского восхищения.

— Да ну, какая-то сказка для малышни. Вот «Чапаев» — это я понимаю. И киножурнал был интересный. Про Олимпиаду.

Дома ужинали. Киму в школе задали читать Гайдара, «Сказку о военной тайне». За столом, дождавшись минуты, когда Анна вышла бросить фартук в стирку, мальчик наклонился к Нестерову:

— Дядя Лёша! Я хотел... ну, в общем, спросить... А ты знаешь военную тайну?

— А ты почему интересуешься? — так же заговорщицки ответил Нестеров.

— Просто я подумал... Если снова будет война и немцы нас угонят в лагерь, я там скажу, что знаю от тебя важную тайну, — Ким оглянулся, не идет ли мать. — Я подниму восстание. И спасу всех, взрослых и детей. Ведь раньше, когда маму угнали, я был маленький. А теперь большой.

Нестеров помолчал. Ответил негромко, серьезно.

— Войны не будет, Ким. Никто нас больше не посмеет тронуть.

Анна вошла, услышала обрывок разговора.

— Потому что у нас бомба? — спросил Ким.

— И бомба, и танки, и самолеты. И радиолокаторы, — Нестеров перешел на веселый тон. — И все наши тайны под строгой охраной!..

В десять уложили Кима, вдвоем на кухне допили вино.

Квартира на Чистых прудах, всего двадцать метров, бывшая дворницкая в доходном доме, первый этаж. Сырая, тесная, но своя, с газовой колонкой и совмещенным санузелом. Когда переселялись из общежития, они вместе с Анютой вымели, вычистили всю грязь, купоросом вывели грибок, покрасили полы и стены, спальню оклеили обоями. Анна сочинила занавески, нашла наволочек, одеял из разноцветных лоскутов. Дом небогатый, но чистый, уютный. Одна беда: как ни заделывай щели цементом с битым стеклом, мыши проедают половицы и лезут в дом — в тепло, к запасам хлеба и крупы.

Алексей не говорил об этом, но он не любил старый портновский манекен, который Анна выкупила у артели, где работала прежде. Вот и сейчас в полутьме манекен маячил возле их постели белым крепдешиновым платьем; безголовый призрак — то ли давно умершая женщина, то ли сама смерть.

Анна уже легла, невесомо скрипнула панцирная сетка. Нестеров стал раздеваться, чтобы лечь. Они привыкли к шепоту — не разбудить мальчишку. Анна снова вспоминала «Садко», потом вдруг спросила:

— Я все думаю... Как же вы к ним поедете, Алёша? После всего — блокады, налетов, сожженных городов... Как это можно простить?

Нестеров сам для себя давно нашел ответ.

— Простить нельзя. А жить дальше — нужно.

Но, как бывает часто, отвечая на вопрос, ты будто бы обмениваешь свою уверенность на сомнения другого человека. Так и сейчас, когда Анюта поправляла одеяло, взгляд Алексея скользнул по тыльной стороне ее предплечья, где был наколот лагерный номер. А может и верно сказано в Библии: «Мне отмщение и аз воздам».

Анна поймала его взгляд, прижала руку к груди. И Нестеров именно в эту минуту решил рассказать о встрече на бульваре, которой тяготился почти неделю. Мало ли что случится завтра, жена должна знать, если он не вернется домой.

— Меня вызвали в Комитет безопасности.

Анна села на постели, прижала руку к губам. На бледном виске пульсировала жилка.

— Зачем? Они узнали про меня?..

— Ты тут ни при чем. Это связано с поездкой. И с моим прошлым.

Анна покачала головой.

— Алёша, я так боюсь, что у тебя будут неприятности... из-за нас. Стук в дверь, или машина проедет ночью — я все вздрагиваю. Сердце болит. У них ведь там есть списки. Неблагонадежных...

Нестеров прижал ее к себе, поцеловал в висок, рядом с завитком волос.

— Как думаешь, в понедельник ЗАГС работает?

— ЗАГС? Не знаю...

— Если работает, — пойдем и распишемся. Возьмешь мою фамилию. И никто тебя больше не найдет.

Анна зажмурилась, закусил губу. Отрывисто зашептала, будто с мясом отрывая от себя слова.

— Алёша, ну какая я тебе жена... Я в лагерях была, сперва в немецком, после в нашем. Сын у меня, — совсем беззвучно выдохнула: — от насильника, полиция...

— Кима я усыновлю. Тут нечего обсуждать.

Словно выполнив тяжелую, но необходимую работу, Алексей опустил голову на подушку. Тревога уходила, и сон наваливался ватным одеялом.

— Ты хороший. Добрый... Да только на одной жалости, Лёшенька, счастья не наживешь. Для этого любовь нужна, — шептала Анна, гладила по волосам. — А так за мужика цепляться гордость мне не позволяет...

Нестеров спал уже, а женщина все смотрела на него в темноте, и не ему — сама себе рассказывала мирно, без упрека:

— Ты меня чужим именем вчера опять назвал, даже не заметил. Мне больно, а что поделаешь. Ты в своей любви не виноват, и я не виновата...

Нестеров спал, и вздрагивали во сне ресницы, и вырастал вокруг него цветущий сад. И оживала тень юной девушки в крепдешиновом платье. Она звала во сне:

— Алёша-а!..

— Мария-а! — голос отдавался эхом. — Мария-а! Где ты?

— Я здесь!

Падали с дерева лепестки, облетала цветущая яблоня. Алексей смотрел в синее небо, видел белые гроздья цветов. Душа наполнялась счастьем, полноводным широким течением первой в жизни любви.

На поляне под деревом — девушка в белом платье, с легкими светлыми волосами. Ей недавно исполнился двадцать один год, она добра и прекрасна, как воплощение весенней природы. Подняв руки к солнцу, она восклицала:

— Солнце-Гелиос, божественный космос! Сфера небес! Вам я клянусь, что буду вечно любить, вечно любить одного человека!

Нестеров делал шаг вперед, протягивал руки. Но Мария убежала в зеленый сумрак.

— Скорей! Догони!

Близкий друг, которого Алексей не видел много лет, стоял на берегу озера. Он в белой рубашке, льняные волосы зачесаны назад. В руках — массивный черный фотографический аппарат.

— Почему Сталин не требует от Гитлера освободить политзаключенных? — он прямо смотрел в лицо Алексея. — Почему не потребует вернуть коммунистов в Рейхстаг? Я читал письма Тельмана из застенка... Он тоже не понимает. Почему?

Мария с букетом полевых цветов шла рядом с ними по лесной тропинке.

— Мы такие глупые, Алёша... У нас любовь, а кругом убийства, облавы. В тюрьме Плетцензее казнили Мориса Баво — помнишь, швейцарский активист, который покушался на Гитлера? Ему отрубили голову... В той же тюрьме мой отец.

Ее речь горяча и немного бессвязна, но Нестеров все понимал без слов, и чувствовал во сне свое бессилие, отчаяние, боль.

— Нацисты заставляют отца работать на войну... Они понимают, как важны его открытия. Теория ядерной цепной реакции...

С неба падали лепестки, словно белые мухи — нет, смотри, это черные мухи, откуда они налетели?

— Гитлер хочет получить новое оружие огромной мощности... Он готовится к большой войне.

Высокий худощавый фотограф в белой рубашке отгоняет муху с лица. Что там чернеет в сумраке, в глубине леса?

— Войны не будет. Английские газеты пишут, что Сталин на днях приедет в Германию. Уже шьют красные флаги для встречи... Москва и Берлин заключат военный пакт и вместе нападут на Англию.

Слышится гул самолетов. Облетают цветы... Нет, это падают бомбы.

Мухи роем выются над ямой, а в яме — белое платье. В размокшую грязь погружается женское тело, видны только руки, и светлые волосы на затылке спеклись от черной крови. И солнце-Гелиос черной звездой прожигает в небе дыру.

* * *

Пока Серов доставал с полки книгу, Нестеров изучал обстановку. Массивный стол, довоенный письменный прибор серого мрамора, большой портрет вождя на стене. В шкафу — тома собраний сочинений, юридические книги, в том числе на иностранных языках. Несколько изданий серии «Литературные памятники». Все говорило об основательности, надежной приземленности хозяина кабинета. Такой человек не станет полагаться на первое впечатление, проверит каждое слово, будет копать до самого дна.

Книга, которую Серов взял в руки, тоже оказалась большой и весомой. На обложке буквы, стилизованные под древние руны — трудно прочесть издалека.

— Алексей Петрович, вот о чем я вас хотел спросить. Вы знакомы со скандинавской мифологией? «Старшая Эдда», «Легенда об Олафе Святом»?

— Признаюсь, нет.

Нестеров решил не скрывать своего удивления. Проявляя искренность в мелочах, ты даешь собеседнику ложное впечатление о своем простодушии, так проще усыпить его бдительность.

Серов открыл книгу, нашел нужное место. Прочел неторопливо, с выражением.

Хугин и Мунин, не зная усталости,
в дальние земли летают.
Мне тревожно за Мунина,
больше за Хугина —
возвратятся ли вороны?

Нестеров вопросительно смотрел на комиссара государственной безопасности третьего ранга — так значилось в удостоверении, которое перед началом разговора показал ему Серов.

— Хугин означает «Мысль», а Мунин — «память». В скандинавских мифах так называют воронов бога Одина. Они летали по миру и сообщали хозяину обо всем происходящем.

«Сейчас вынет козырь из колоды», — подумал Нестеров. И правда, Серов открыл аккуратную папку в синем переплете и достал фотографию молодого мужчины в белой рубашке, с фотоаппаратом в руках.

— Вы знаете этого человека?

Нестеров взял фотографию, но не торопился отвечать. Всем нутром он чувствовал, что тут дело поважней благонадежности или вербовки.

— Это Матиас Саволайнен, финский репортер, — подсказал Серов. — Коммунист, сотрудник «Рабочей газеты» Хельсинки. Вы встречались в Германии, незадолго до войны. Вспомнили?

Нестеров кивнул.

— Да, мы были знакомы по линии Коминтерна, когда я служил в Берлине.

Серов не стал уходить в околичности, спросил прямо:

— Алексей Петрович, вы сможете снова наладить с ним контакт? Это не вызовет подозрений. Саволайнен фоторепортер, он будет освещать Олимпиаду для «Рабочей газеты».

Алексей пожал плечами.

— Павел Андреевич, мы с ним не виделись с сорок первого года... Конечно, я готов помочь. Но скажите, для чего это нужно?

Серов убрал фотографию в папку.

— Скажу и даже не буду брать с вас расписку о неразглашении — сами все понимаете. Нам сообщили, что в Хельсинки должен прибыть важный чин американской внешней разведки. Его цель — выйти на связь с представителями советской сборной. (Пауза.) Предполагаем, что в нашей команде есть завербованный американцами агент.

— Кто? — Нестеров снова дал волю непосредственному чувству.

— К сожалению, мы этого не знаем. Но американцы ищут любую зацепку, чтобы добраться до наших военных секретов. А шведы хотят получить информацию о своем пропавшем самолете-разведчике...

В голове Нестерова наконец сошлись скандинавские руны, Один, финский репортер.

— Два ворона?

Серов бросил на Алексея одобрительный взгляд, дав понять, что тот прошел первую проверку на сообразительность.

— Хугин и Мунин, так шведы называли два самолета, под завязку набитые американской шпионской аппаратурой. Их задача — перехват сигналов советских кораблей и систем радиолокации. Тринадцатого июня, во время разведывательного полета, «Хугин» был потерян шведскими диспетчерами.

Нестеров не стал спрашивать, куда исчез самолет. Это не меняло сути, а праздное любопытство в подобных делах не проявляют.

Серов аккуратно поставил книгу обратно на полку.

— Поможете вычислить агента, Алексей Петрович? Что поделать, не получается у нас «Олимпиада вне политики». Боюсь, и не получится никогда — до полной победы коммунизма на всей планете.

Глава 3. БОЛЬ И ПАМЯТЬ

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, и всем советским представительствам был дан приказ в течение трех суток подготовиться к депортации — должен был пройти обмен дипломатических сотрудников Берлина и Москвы.

Разговоры про войну велись постоянно, обе стороны вооружались, но никто не мог поверить, что нападение и правда случится. Нестеров часто вспоминал тот день: утром оцепили особняк, который занимало их торгпредство, в помещение ворвался отряд гестапо. Обыски, аресты, изъятие бумаг, в том числе договоров, по которым через Минск и Киев в Берлин продолжали идти составы с зерном, углем и минеральными удобрениями.

Каким-то чудом в особняк пробрался Саволайнен, уловив момент в суматохе, и сообщил Нестерову, что Марию арестовали.

— Она в тюрьме Плетцензее. Задержали за шпионаж и госизмену вместе с группой французских коммунистов.

От чувства страшного бессилия и злости сводило скулы.

— Что мне делать, Матиас? Сбежать, остаться в Берлине? Наши решат, что я дезертир... Да и здесь найдут и схватят, — Алексей в отчаянии сжимал кулаки. — Чертов Гитлер, будь он проклят!

Матиас хорошо говорил по-русски, выучил язык еще когда жил в Выборге, до финской войны. Выдавал его происхождение только легкий скандинавский акцент.

— Мне передали — завтра ночью партию заключенных повезут на Веймар... Кажется, в лагерь. Мария и ее отец должны быть в этой партии.

Алексей понимал, как уцепился за его слова, в которых блеснула надежда.

— Что ты задумал?

— В тюрьме есть охранник, поляк... Он хочет бежать в деревню — боится, что его отправят на восточный фронт. Ему нужны деньги и поддельные документы.

Разговор шел в помещении котельной, ключ от которой по случайности оказался у Нестерова. Алексей пообещал, что раздобудет паспорт из запаса документов Коминтерна, и отдал Матиасу две тысячи марок, которые были при нем.

— Риск большой. Но мы должны попробовать, — обнадежил его Саволайнен, назначив место встречи.

Нестеров из окна показал ему забор, где в неприметном месте были раздвинуты прутья решетки ровно настолько, чтобы мог пролезть худощавый человек.

Уже тогда их план казался абсолютным безумием. Берлин тех дней вспоминался как черный, безвременный сгусток смерти и страха. Многие подробности начисто стерлись, и лишь короткие вспышки озаряли провал.

Нестеров помнил, как выбрался из особняка через ту же дыру в заборе. Помнил мотоцикл, который вел Саволайнен, а он сидел позади, помнил лесную дорогу. Два «Хеншеля» с брезентовыми бортами маячили вдалеке, и Нестеров представлял в одном из них Марию, испуганную и продрогшую, а рядом с ней мужчин и женщин, знакомых ей по работе в Коминтерне.

Что они хотели сделать? Подъехать к лагерю во время передачи заключенных и, показав поддельные бумаги, при помощи знакомого охранника увезти Марию и ее отца якобы на допрос в контрразведку. Им обещал помочь товарищ из местного подполья, кажется, ждала машина... Скорее всего, их расстреляли бы на месте — это Нестеров понимал сейчас. Но в тот момент они оба утратили способность трезво рассуждать. Казалось, что в обезумевшем мире сыграет только жизнь, поставленная на карту. И вот они ехали на мотоцикле вслед за «Мерседесом» сопровождения и «Хеншелями», в которых перевозили три десятка людей.

Машины отклонились от маршрута и повернули в лес, к военному аэродрому.

Шел поезд, задержавший мотоцикл. Нестеров и Саволайнен сбились с дороги, слетели в кювет. В сумерках заблудились в лесу, не зная, в какую сторону двигаться, пока вдалеке не послышались выстрелы.

Грузовики стояли у кромки болота, брезентовые тенты были откинuty, внутри — пусто.

Прожектор освещал поляну, на которой возились солдаты с лопатами. Нестеров запомнил полиция со сломанным носом, который шагал по краю ямы и ногами спихивал вниз трупы людей.

В его сознание впечатались и резкие птичьи черты офицера, который достреливал раненых из пистолета — кажется, из люгера.

Целую вечность Нестеров и Саволайнен лежали в кустах, ослепленные низким светом прожектора, и ждали, пока грузовики уедут.

Лаяли собаки. Или нет, там не было собак?

Эсесовцы закончили работу уже под утро, расселись по машинам. В лесу настала тишина, лишь заливались трелью птицы. И Нестеров попытался разрыть могилу. Он видел женщину с отверстием от пули в центре лба — нет, это было позже, под Москвой. Торчащие из глины пальцы, пуговицы на одежде. И это тоже не в тот раз, потом.

Алексей не помнил, как они вернулись в Берлин, почему их не схватил патруль, как удалось объяснить отлучку. Помнил только, что в голове пульсировала, воспалялась, перекатывалась одна единственная фраза: «Они убили всех».

* * *

На площади перед собором старуха в капоре кормила голубей. Мезенцева брезгливо прикрыла нос платком и обошла шумную стаю, поднявшую тучу пыли.

Пыль осела на туфлях и нарядной лаковой сумке, которую Глафира по случаю купила на распродаже и берегла для особых случаев. Пришлось остановиться на ступеньках и протереть платком блестящий лак.

Ей показалось, что два толстых индуса, глазевших на собор, провожают ее восхищенными взглядами. Что ж, фигуру она сохранила, а под вуалью не видно морщин, — ей можно дать не больше сорока. Наверное, приняли за французенку или англичанку. Эй, прочь пошли — колониальным обезьянам не пристало пялиться на госпожу.

Она зашла в собор, поправив шляпку. Там пахло воском, ладаном и прочей похоронной дребеденью — за это Глафира не любила церкви. Шаги ее, как стук по рельсу, разносились гулом под сводами, и это тоже было неприятно. Она увидела, как худой человек в легком пальто, сидевший к ней спиной в левом приделе, слегка передернул плечами.

Мезенцева села на скамейку неподалеку от мужчины. Он заговорил по-немецки.
— Вы опоздали. Данные у вас?

Глафира посмотрела на икону — они сидели под темным ликом Николая Угодника.

— Мой связной прибудет в ближайшее время.

— Кто ваш связной?

— Надежный человек.

— Кто-то из советской сборной? Спортсмен, тренер?

Святой Николай напоминал затрапезного старикашку из эмигрантов, вроде бывшего министра Временного правительства, который на благотворительных ужинах читает пламенные речи, а потом украдкой прячет в карман салфетку с пирожками.

— Видите ли, группенфюрер... Ох, простите, я ошиблась, господин Шилле...

Мужчина обернулся. В его лице было что-то птичье — глубоко посаженные черные глаза, хищный нос, впалые щеки. Мезенцева невольно вспомнила прежнее время, когда этот человек внушал ей и всем окружающим животный страх.

— Мое имя Сайрус Крамп. Я коммивояжер из Луизианы. И я попрошу вас впредь не ошибаться...

«Нет уж, голубчик, прошло твое время командовать», — весело подумала Мезенцева и поднялась, взяла со столика восковую свечу.

— Что ж, мистер Крамп, в этом деле вам придется довериться мне. И своему чутью... Но игра стоит свеч, поверьте.

Она обошла затрапезного Николая и встала перед образом Всех Скорбящих Радость, который еще в гимназии развлекал ее во время долгих церковных служб: можно было разглядывать одеяния и лики, пересчитывать камни на короне Богородицы, представляя себя царицей, перед которой склоняются народы.

— Так что насчет денег?

В собор вошли зеваки, выползли откуда-то церковные старухи, приставленные соскребать воск с подсвечников.

— Вы получите свою цену.

Шилле бросил пару монет в ящик для пожертвований и, не оглядываясь, направился к выходу.

* * *

Для стран соцлагеря построена своя Олимпийская деревня — жилые корпуса, столовая, тренировочная база. Рядом роща с дорожками для бега, озеро, конный клуб. Финляндия лесная, хуторская, малолюдная. Но каждый встречный долгим взглядом провожает колонну автобусов с красными флагами на лобовых стеклах.

Спортсмены в дороге поют: всем известные мелодии из фильмов и народные — тут каждый старается себя показать. Украинские, грузинские, армянские, молдавские напевы веселят, очаровывают, радуют душу. Не обходится и без военных песен, и Нестеров сливает свой голос с общим хором, пусть не всегда впадет.

Дорога долгая, но нет усталости. Все охвачены бодрым волнением, ожиданием праздника, надеждой. На въезде в Олимпийскую деревню установлены флагштоки, красное знамя поднимается первым среди флагов других государств.

К автобусам советской сборной спешат журналисты. Камеры снимают выход тренеров и спортсменов. Нестеров думает, что в какой-то мере происходящее можно назвать новой встречей цивилизаций. Так дружина Олега прибывала в Константинополь; так Афанасий Никитин ходил за три моря. И куда веселей такой вот повод для встречи, чем разглядывать друг друга сквозь прищел.

— Товарищи, все вопросы на пресс-конференции! — отбивается от журналистов Аркадьев. — Спортсмены должны отдохнуть... Потом, товарищи, потом!

Переводчики повторяют его слова по-английски, по-фински. Но журналисты не отступают, тянут микрофоны, выкрикивают вопросы. Сверкают вспышки фотоаппаратов.

Нестеров, Саксонов, Булаков пристроились у задней двери выгружать из автобуса сумки и рюкзаки, заодно glance по сторонам, оценивают обстановку. И тут прямо к ним с другой стороны автобуса выскакивает девчонка в синих штанах, с короткой стрижкой. Симпатичная, с прямым изящным носиком, с рыжеватыми, коротко стриженными волосами. На плече на широкой ленте висит большой и тяжелый на вид прибор с двумя катушками и подключенным к нему микрофоном.

— Are you Russians?

Саксонов добродушно улыбнулся.

— Терве! — произнес заученное слово, показывает на магнитофон. — Шикарная машинка. Фантастик! Окей!

Но вместо улыбки лицо девчонки вдруг исказилось ненавистью — словно бес укусил.

— You, Russians! You kill people! My brother is dead! Monsters!!

«Вы, русские, убийцы! — про себя переводит Нестеров. — Чудовища! Убили моего брата!»

Кто, интересно, ее брат — какой-нибудь фашист, угодивший в мясорубку под Сталинградом или в Курляндском котле? Да нет, слишком живое в ней чувство, чтобы так переживать за события десятилетней давности. И совсем молодая, в сорок пятом ей было от силы четырнадцать. Губы прыгают, дрожит подбородок, вот-вот сорвется в рыдания. На шее карта с журналистской аккредитацией, а на карте — шведский флажок. Похоже, не зря Серов рассказал Алексею про воронов Одина.

Ребята застыли в замешательстве, не зная, как реагировать на такое явление, но тут подбежал другой журналист с фотокамерой, и Нестеров вспомнил дедовскую присказку: «Про волка речь, а он навстречу».

Саволайнен вытарашил глаза, будто увидел покойника. Алексей подмигнул незаметно — мол, шума не поднимай. Матис взял за локоть рыжую девчонку, забормотал по-шведски, оттаскивая ее от автобуса. Она расплакалась, зашла в

истерике. Трудно таким живется, все близко к сердцу принимают. Ищут правды и справедливости, а не найдя, бросаются в крайности, ненавидят весь мир.

Тут как тут нарисовался инструктор Бовин.

— Что у вас происходит? Это провокация! Что она сказала?

Саксонов пожал плечами.

— Да я откуда знаю? Я по словарю всего три фразы выучил... А эта кинулась, как бешеная, «рашенс, рашенс»!

— Припадочная какая-то, — согласился Булаков.

Бовин, любитель раздавать приказы, навел строгака:

— Все, быстро в корпус, и по номерам! Видите, что здесь творится? Больше никаких контактов с иностранцами! По территории ходим в сопровождении!

Нагрузив на спины несколько сумок, Саксонов и Нестеров двинулись к жилым корпусам.

— Ты-то понял, что она сказала? — глянул на Алексея Саксонов.

— Мол, мы все убийцы... Убили ее брата.

— Это что, про войну?

Нестеров пожал плечами:

— А здесь все время будет про войну.

* * *

В своей квартире, в небольшой кладовке рядом с ванной, Саволайнен обустроил фотомастерскую. Проявка фотографий — почти священнодействие. Ты колдуешь с пленкой в полутьме, в тусклом красном свете, вдыхая химический запах реактивов. Придвигашь увеличитель, колышется в кювете вода. И вот на белом листе проявляется изображение — дом, дерево или лицо человека.

Матиас машинально отбирал, проявлял, обрезал фотографии встречи советских спортсменов, но вспоминал совсем другой день. Тогда, в июне сорок первого, в Берлине, после провала безумной попытки спасти профессора Шваба и его дочь, он пролежал два дня, заглушая горе анисовой водкой, то засыпая, то просыпаясь в полубреду. С улицы слышались грубые окрики, пулеметные очереди, лай собак. Пару раз он хотел выйти к ним, крикнуть в голос ругательство или проклятье, чтоб получить пулю в сердце и разом все покончить.

На третий день поднялся, чтобы пойти в ванную комнату, тогда служившую ему лабораторией. И остался там на несколько часов, увеличивая, проявляя, обрезая фотоснимки. Окружил себя портретами улыбающейся Марии, грустной Марии, поющей, бегущей, читающей книгу Марии Плещеевой-Шваб.

Он первым полюбил ее, дочку немецкого физика и русской артистки, а Нестеров отнял его любовь, кажется, даже не зная об этом. Саволайнен тогда сотрудничал с Die Rote Fahne, а Мария со старших классов школы занималась делами отца; втянулась в работу Коминтерна, была избрана в совет Комитета трудящихся женщин, выступала на Бернской партконференции в тридцать девятом году.

После поджога рейхстага и начала гонений на коммунистов Саволайнен остался в Берлине, хотя мог и должен был уехать. Он работал в финском рекламном агентстве, ночами помогая издавать подпольные агитлистки и бюллетени Коминтерна.

Нестеров появился в Берлине в октябре тридцать девятого, после Пакта и раздела Польши. Официально он числился закупщиком при русском торгпредстве, на деле — занимался установлением связей между отделами Коминтерна и Москвой.

Почему Мария влюбилась в этого русского, симпатичного, но в общем-то зауядного парня? Женщин трудно понять, а спрашивать об этом не имеет смысла.

Но пока она была жива, Матиас жил надеждой, что все еще изменится и он получит шанс.

А теперь все было кончено, и он сидел в тесной ванной, окруженный портретами мертвой возлюбленной, задавая себе вопрос: как, для чего жить дальше?

Услышав стук в дверь, он даже почувствовал облегчение — за ним пришли. Он тут же решил, что усыпит их бдительность, изобразит покорность, а на улице бросится бежать, и его застрелят в спину — быстро, насмерть, без мучений.

За дверью стоял тот чешский охранник, Веслав, с которым они договаривались о паспорте и деньгах.

— Ты один?

Саволайнен кивнул.

— Прости, что тогда не вышел на связь. Тем вечером мы получили другой приказ.

Саволайнен догадался — Веслав должен выманить его на улицу, наверняка уже дал показания. Чех слегка замаялся.

— Меня отправляют в разведшколу. Хотя бы пока не на фронт... Пришел попрощаться.

— Прощай, — машинально ответил Матиас.

Веслав сунул ему в руку пакет.

— Возвращаю деньги... Я взял половину, ничего? И там записка для тебя.

Матиас, все еще уверенный, что участвует в полицейской игре и через минуту будет арестован, развернул обрывок конверта и пробежал глазами наспех нацарапанные буквы.

«Отец покончил самоубийством. Французские товарищи расстреляны. Мне огласили приговор. Я беременна, расстрел заменили на лагерь. Передай А., что я очень люблю его».

Саволайнен потрясенно уставился на Веслава.

— Мария Шваб жива?..

Охранник кивнул.

— Да. Их отправляют в Аушвиц в начале сентября.

И снова стук в дверь заставил Матиаса вздрогнуть. Память прошлого, разбуженная встречей с Алексеем Нестеровым, оказалась мучительно живой. Но, хуже всего, эта встреча могла перевернуть всю его налаженную сегодняшнюю жизнь.

— Папа, ты здесь? — послышался детский голос.

Саволайнен ответил.

— Да, сынок! Я скоро закончу...

Задумался, не услышал, как жена с сыном вернулись домой — и это плохо, сейчас может дорого стоить любая оплошность.

Саволайнен быстро достал из кюветки фотографии Нестерова, разорвал на мелкие клочки и выбросил в корзину — словно прятал следы преступления. Развесив сушиться оставшиеся фотографии, погасил лампу, сбросил с двери крючок.

В темноту кладовки словно обрушился солнечный свет. Слегка ослепленный, Матиас прикрыл глаза, и сквозь ресницы увидел силуэт женщины, с которой он жил девять лет, так и не привыкнув считать ее своей.

— Извини, я проявлял фотографии.

— А мы с Алекси собрали железную дорогу! — сообщила Мария.

* * *

Утром на пробежке вокруг озера Нестерова догнал крепкий, бритоголовый Николай Саксонов.

— Привет, снайпера! — понизил голос. — Нестеров, не знаешь, как бы нам по-тихому в город смыться?

— Почему ко мне вопрос?

Они остановились на поляне, делая наклоны и махи руками. Николай подмигнул.

— Ты, я вижу, парень бывалый. Языки знаешь... А мне бы в клуб филуменистов попасть. Я с одним по почте списался, привез кое-что на обмен...

— Так ты филателист?

Саксонов привычно поморщился.

— Да нет, говорю же — филуменист. Спичечные коробки собираю. Давно еще, со школы...

Они повернули и снова побежали по дорожке мимо тренерского стола, за которым, разложив бумаги, что-то обсуждали Киреев и Шимко.

— Не боишься, Бовину доложу? — сощурился Нестеров.

— Да вроде не похож ты на стукача.

— Ладно. Подумаем, как быть. Мне и самому бы в город надо. Одной женщине подарок привезти.

Саксонов понимающе улыбнулся.

Саволайнен и Хильда с утра засели в кустах у озера. Саволайнен делал репортажные снимки, Хильда наблюдала за тренировкой советских спортсменов в бинокль.

— Они держатся вместе... Все время рядом тренеры и вон тот человек в полосатой рубашке. Наверняка это надзиратель! Мы не сможем с ними поговорить...

— Надо ждать, — Саволайнен прикусил травинку. — Всегда бывает случай.

Спортсмены снимали одежду у берега пруда, собираясь купаться; Саволайнен с Хильдой рискнули подобраться ближе. Почти у всех мужчин, входивших в воду, на теле виднелись затянувшиеся рубцы. Журналистка, раскрыв рот, в бинокль рассматривала следы разрезв и швов, синие пятна ожогов, келоидные стяжки.

— Смотри, они все... в шрамах? Почему?

— Потому что война, — пожал плечами Саволайнен.

Хильда потрясенно замолчала.

Матиас, конечно, ожидал, что их могут заметить, и готовился предъявить журналистские карточки, но появление Нестерова застало его врасплох. Кусты раздвинулись внезапно и бесшумно, Алексей поднырнул под ветки и лег на землю рядом с Саволайненом, протянул для рукопожатия широкую шершавую ладонь.

— Полчаса вас тут наблюдаю... По маскировке — неуд. Сразу видно, в боевых не участвовал.

— Не участвовал, — признался Саволайнен.

Нестеров улыбнулся весело и просто — Матиас помнил эту обаятельную улыбку с тех, берлинских времен.

— Вот и хорошо! Хорошо, что не с фашистами, — Алексей без церемоний взял у Хильды бинокль и начал смотреть на заплыв советских спортсменов, одновременно спрашивая. — Как живешь, Матиас? Построил дом, родил сына?

— Да. У меня сын.

Они говорили по-русски и Хильда, поначалу оторопевшая от внезапного вторжения, дернула Саволайнена за рукав.

— О чем вы говорите? Я не понимаю... Спроси его про шведский самолет! Скажи, мой брат пропал...

Со стороны озера слышались крики тренеров, счет, всплески прыжков.

— Алексей, нам нужна помощь, — проговорил Матиас. — Это Хильда Брук, журналист из Стокгольма. Ты слышал про шведский самолет, который пропал у советской границы? Ее брат был там... Мы пытаемся хоть что-то узнать.

Нестеров развел руками.

— Ты же понимаешь, Матиас, нет у меня доступа к такой информации. Скорее всего, самолет залетел в наше воздушное пространство и его просто сбили...

— Но тут ходят слухи, что машину могли взять под конвой и увести на советский аэродром. Значит, экипаж жив... Нам нужно только это! Узнать, что стало с экипажем.

Хильда жадно слушала, пытается по лицам Саволайнена и Нестерова понять смысл разговора.

Нестеров усмехнулся, пристально глядя на Саволайнена.

— И с оборудованием?

— Что? Я не понимаю...

— Шпионское оборудование могло попасть в руки советских спецов. Про это вы тоже хотите узнать?

Матиас очень убедительно покраснел, затряс головой, отрицая саму возможность такого интереса.

— Нет, нет! Это личное дело. Я не работаю на разведку, если ты это имеешь в виду...

— Да ничего я не имею в виду, — снова усмехнулся Нестеров и отдал Хильде бинокль. — Хотя, если честно, очень похоже на то.

Саволайнен выглядел подавленным.

— Нас многое связывает, Алексей. И если ты можешь помочь — ради нашей прежней дружбы, — просто помоги этой девушке узнать правду.

Хильда попросила по-шведски:

— Скажи ему, что я не хотела обидеть спортсменов. Зря я на них набросилась. Я бы могла сделать с ними интервью...

— Хильда просит прощения, — перевел Саволайнен.

— Да, я понял, интервью... Ну, посмотрим.

На прощание Нестеров протянул руку.

— Увидимся на пресс-конференции.

Он кивнул Хильде и, придержав ветку, скрылся в кустах.

Через минуту он уже бежал по берегу озера вместе с командой пятиборцев в сторону тренерского стола.

* * *

Для пресс-конференции сборной СССР предоставили Дворец государственных приемов в Хельсинки. Зал большой, но и зрителей набилось под завязку. У сцены толкаются операторы, расставляют камеры, переговариваются на разных языках. Шелкают зал — то и дело работают вспышки. Атмосфера наэлектризована, много охраны.

Зал поделен на две части. Слева члены советской делегации, спортсмены, справа — журналисты, представители общественных организаций, тренеры и персонал других сборных.

— Народу сколько, ужас, — шепчет Нина Ромашкова, оглядывая публику.

— Всем любопытно посмотреть, что за зверь такой: советский человек, — усмехается Шагинян.

Между рядами пробирается Бовин, садится рядом со спортсменами, строго поглядывая, как бы кто не нарушил инструкции.

На сцене — столы, микрофоны. Наконец появляется финский представитель Олимпийского комитета, за ним наши тренеры, административный состав. Все заметно нервничают, Аркадьев время от времени промокает лоб платком.

— Дамы и господа! Начинаем пресс-конференцию олимпийской сборной Советского Союза. Я рад представить вам господина Аркадьева, главного тренера сборной, а также...

Гулко разносится под сводами речь ведущего, голоса переводчиков. Серов читает вступительный текст, заглядывая в записи.

— Товарищи! Как вы знаете, советская команда впервые согласилась на участие в Олимпийских играх. Решение об участии было принято по инициативе генерального секретаря Центрального комитета партии Иосифа Виссарионовича Сталина...

«Советская» часть зала аплодирует, «западная» хранит молчание. Серов продолжает:

— В 1951 году по предложению товарища Сталина был создан советский Олимпийский комитет, который стал полноправным членом Международного Олимпийского комитета...

Один переводчик повторяет речь по-английски, второй по-фински. Зал постепенно теряет внимание, публика начинает переговариваться, скучать.

Нестеров оглядывает «фирмачей». Есть люди как люди, а некоторые сидят с чванным видом, изображая недовольство всем, что слышат со сцены. Вот молодой американец в дымчатых очках вытянул ноги в проход и демонстративно жует жвачку, работая челюстями, как дворник лопатой. Вот седой канадец с кленовым листком на лацкане пиджака брезгливо поглядывает на «русских медведей» — тяжелоатлетов, сидящих в третьем ряду. Вот дама в кружевной накидке, с черными волосами, похожими на парик, высокая и прямая как палка, не мигая, смотрит на докладчика. Ее глаза полны холодной, еле сдерживаемой ненависти. Нестеров задерживает взгляд на ее элегантные туфлях. Сколько ей — лет пятьдесят? А ноги в шелковых чулках стройны и красивы. У ног стоит довольно большой старомодный саквояж.

Тренер Аркадьев читает по бумажке:

— ...Наша делегация — самая многочисленная на Олимпиаде. Завтра во время открытия игр на стадион выйдут двести девяносто пять спортсменов...

Не дав переводчику закончить, американский журналист, перекатывая жвачку во рту, выкрикивает с места вопрос.

— Почему ваши спортсмены ходят в красных галстуках? Мы знаем, что это форма советских скаутов, пионеров?..

Со сцены отвечает Серов:

— Пионеры означает «первые». Мы здесь впервые... И, конечно, рассчитываем стать первыми в олимпийском зачете.

Тут же другие журналисты начали выкрикивать с мест по-английски, по-фински, по-французски.

— Почему советские спортсмены живут отдельно от других?

— Чего вы боитесь?

— Это личное распоряжение Сталина?

— Если ваша команда проиграет, всех посадят в тюрьму?

Тренеры растерянно переглядываются. Переводчик начинает переводить вопросы. Рыжеволосая Хильда машет рукой, привлекая внимание:

— Хей! Расскажите про сбитый шведский самолет! Люди должны знать правду!

Ведущий призывает к порядку. Нестеров оглядывает зал и краем глаза замечает, как дама в черных туфлях наклоняется, открывает свой саквояж и вдруг начинает кричать как в припадке.

— Убийцы! Горите в аду!.. Под трибуной заложена бомба!!

Нечто страшное, будто кровавый ошметок мяса, вылетает из саквояжа. Слышится женский визг.

— Крысы! Крысы!..

Да, это крысы, измазанные чем-то красным, разбегаются по залу.

— Крысы! Бомба! Бегите! Спасите! Взорвется! Открывайте двери!..

Визг, паника, через ряды бархатных кресел люди бросаются к выходу. А Нестеров видит, как дама с саквояжем быстро поднимает с пола спичечный коробок.

Когда она успела сбросить парик и накидку, надеть темные очки? Неузнаваемая, она поднимается до конца прохода и скрывается за служебной дверью, прикрытой занавеской.

Коробок! Нестеров бросается вслед за дамой, проталкиваясь сквозь толпу. За его спиной со сцены Серов пытается призвать к порядку.

— Товарищи, не надо паники! Это провокация, никакой бомбы нет! Выходите из левой двери, не толпитесь...

Повсюду на полу кровавые следы, оставленные крысами. Нестеров толкает дверь, за которой скрылась дама, но кто-то уже запер ее на ключ.

* * *

У выхода из здания, пробравшись сквозь толпу, Нестеров догнал Серова.

— Павел Андреевич, надо поговорить.

— Хорошо, садитесь в машину...

Было видно, что комиссар крайне раздражен произошедшим на пресс-конференции.

— Столько охраны, и не могли проверить сумку... А нам оправдываться, почему допустили, почему отреагировали не так, как надо! Сумасшедший дом!

— Она не сумасшедшая. Эта женщина с крысами действовала очень расчетливо, — возразил Нестеров. — Я думаю, она — опытный агент. Организовала панику, быстро сменила внешность и вышла через служебную дверь, которую заперла за собой... Она не просто так устроила представление, у нее была цель.

— Какая?

Серов слушал сосредоточенно, без тени насмешки или недоверия.

— Кто-то из наших бросил ей спичечный коробок. Вероятно, контейнер с секретной информацией.

— Вы сами это видели? — Серов подался вперед, вглядываясь в лицо Алексея.

— Да. К сожалению, не заметил, кто бросал... Но этот человек сидел в седьмом или восьмом ряду. Нужно составить список... Так, чтобы не спугнуть.

— Хорошо, мы этим займемся.

Нестеров решил рассказать и о встрече с Матиасом во время тренировки.

— У меня был контакт с Саволайненом. Как вы и говорили, они хотят узнать про шведский самолет. По их легенде, на борту был брат этой журналистки...

— Хильды Брук. Мы узнали, это правда — ее брат, радиотехник, служил на аэродроме.

Все нити сходились, и где-то в глубине паутины сидел паук, который ее сплел.

— Нужно найти эту женщину с крысами... Не знаю, можно ли доверять Саволайнену. Но я готов включиться в игру...

— Хорошо, действуйте по обстановке. Но держите меня в курсе...

— Что, если устроить интервью для финских репортеров? И еще — мне нужно выйти в город. Проверить одну версию...

Серов кивнул без раздумий.

— Мы организуем для спортсменов экскурсию на главный стадион. У вас будет возможность незаметно уйти. Личность этой дамы выясним, я думаю, быстро. Установим наблюдение, — Серов снял очки и поднял на Нестерова близорукие глаза. — Значит, коробок?

— Да. Обычный советский спичечный коробок с самолетом.

Глава 4. НА ВЫСОТЕ

Со смотровой башни Олимпийского стадиона открывается прекрасный вид на Хельсинки. Парк с живописными озерами, жилые кварталы, широкая чаша спортивной арены. Мезенцева поднимается по лестнице, тяжело дыша, — она уже не рада, что назначила встречу с Шилле именно здесь, из одной любви к эффектам. Глупо, надо было встречаться в рыбном ресторане и заказывать лобстеров — пусть начальство платит, — как раньше ей это не приходило в голову? Впрочем, раньше она побаивалась Шилле и не хотела его раздражать. Но теперь-то у нее все козыри в руках, и нечего церемониться.

Глафира остановилась на верхнем пролете, успокаивая дыхание. Все, вот уже площадка башни. Стекла ограждения приоткрыты, ветер треплет волосы и шарф. Шилле в клетчатом плаще стоит, глядя в сторону залива, держит в руке шляпу. Группа туристов, какие-то пестро одетые азиаты, глазуют по сторонам, делают фотографии.

— Для чего вы устроили этот цирк? Крысы, паника, срыв пресс-конференции... Теперь вас разыскивает полиция.

У Шилле неприятный, сиплый голос, в раздражении звучащий будто клекот, на затылке проглядывает лысина. Глафира думает: «Неужели когда-то она была до дрожи, страстно влюблена в этого самодовольного болвана? Вот дура!»

— Наплевать... В полиции давно знают, что я всего лишь сумасшедшая старуха, ненавидящая русских. Дело замнут.

Шиле помолчал.

— Надеюсь, это имело смысл. Вы получили данные?

Толстяк со шкиперской бородкой фотографировал группу студентов. Он прицелился объективом в Мезенцеву, она поспешила отвернуться.

— Видите ли, группенфюрер... Ох, простите, мистер Крамп. Это предприятие дорого далось мне. Пришлось заплатить порядочную сумму информатору — золото, камни. Я переправила в СССР фотографическое оборудование. Я оплатила перевоз контейнера через советскую границу — мои помощники рисковали жизнью...

— Вы набиваете цену?

— Натюрлих. Париж стоит мессы.

Шилле издал горловой звук — этот его фирменный кашель, знак недовольства, когда-то заставлял людей бледнеть.

— Признаться, я уже жалею, что связался с вами. Я рискую своей репутацией...

— Репутацией?! — расхохоталась Глафира. — Каким щепетильным вы стали после сорок пятого года... Впрочем, чтобы вы понимали, какие козыри у меня на руках...

Мезенцева открыла сумочку, достала спичечный коробок, в котором было устроено двойное дно и там, под спичками, между слоями папиросной бумаги, лежали десять микропленок, которые с огромным риском добыла для нее сестра.

— Здесь первая часть документов. Можете проверить, проконсультироваться с вашим начальством... Но самые секретные сведения я получу чуть позже.

Шилле протянул руку в перчатке, но Мезенцева не спешила отдавать коробок.

— Аванс?

Шилле достал из кармана небольшой потрепанный молитвенник.

— Пятьдесят тысяч. Остальное зависит, интересен ли нам материал.

— Хорошо. В четверг встретимся в парке, в ресторане «Берег». Надеюсь, к этому времени вы приготовите мой гонорар — триста тысяч в долларах, остальное в золотых изделиях. Я предпочитаю кольца с крупными бриллиантами, изумруды, рубины. Их проще вывезти из страны. Только не вздумайте подсунуть мне подделки!

Шилле посмотрел на Мезенцеву долгим и мрачным взглядом.

— Да вы и правда сумасшедшая старуха.

Глафира придвинула к нему лицо и зашептала, брызгая слюной:

— О нет, мой господин... Просто я безумно хочу выбраться из этой чухонской дыры! Всего-то жалкие полмиллиона за «Буревестник» — роскошный военный план, который разрабатывали лучшие умы страны Советов! Это шикарная сделка. Без обмана. Клянусь, ваше начальство будет счастливо заполучить эту добычу!

Шилле брезгливо отстранился, платком вытирая щеку.

— Мы изучим документы, вскоре вы получите ответ, — он повернулся, чтобы уйти, но застыл, поднял руку в перчатке: — Кстати, где вы взяли столько крови, чтобы измазать этих крыс?

Мезенцева снова расхохоталась.

— Я вылила на них бутыль томатного соуса... Отборного немецкого кетчупа!

Шилле начал спускаться по ступеням вниз.

* * *

У подножия смотровой башни — кассы стадиона. Туристы и местные толпятся в очереди за билетами, счастливчики забирают из окошка заранее оплаченный заказ. Мария Саволайнен, стройная блондинка в красном дождевом плаще поверх приталенного узкого платья, отходит от окошка с билетами в руках. Они с сыном будут смотреть футбол, плавание, конные состязания — Алекси любит лошадей. Два дня назад Матиас почему-то стал отговаривать ее идти на стадион, даже предложил купить путевки и отправить их с Алекси к морю на время Олимпиады. Это звучало странно, ведь раньше он говорил, что такое событие нельзя пропустить.

Матиас прекрасный муж и любящий отец, их многое связывает. Они почти не ссорятся — это удивляет закройщицу Лидию Оскаровну и продавщиц, работающих в ателье Марии. Но удивляться нечему, ссоры бывают в семьях, где страстно любят или ненавидят, а Мария давно живет с замороженным сердцем, не испытывая ни сильной радости, ни печали. В этой северной земле ей спокойно, нет желания стремиться куда-то, что-то менять. Она охладела к политике, разочаровалась в идеях, которым так пылко служила в юности. А смыслом существования стал единственный сын, выношенный в нацистском лагере и рожденный в бараке, чудом спасенный в голоде и болезни.

Война прожевала ее и выплюнула — бесплодной, застывшей, жаждущей только покоя и мирных домашних занятий.

Рассеянно перебирая билеты, она чуть не столкнулась с мужчиной в клетчатом плаще. Он приподнял шляпу и произнес с сильным американским акцентом:

— Pardon me...

Лицо со впалыми щеками, цепкий птичий взгляд. Нет, этого не может быть. Ужас неуверенности был страшнее узнавания, Мария оглянулась и поняла, что мужчина тоже узнал ее.

Ошибки быть не могло. Ей перешел дорогу Готлиб Шилле, офицер СС, начальник тюрьмы Плетцензее.

* * *

Открытие XV Олимпийских игр в Хельсинки состоялось девятого июля. Был пасмурный день, накрапывал дождь, но голос комментатора звучал бодро и торжественно.

— Честь зажечь олимпийский огонь предоставлена финскому легкоатлету Пааво Нурми. Его рекорд в беге на длинные и средние дистанции — двенадцать олимпийских медалей, из которых девять золотых. Вот он появляется на беговой дорожке стадиона с олимпийским факелом... Взлетают голуби. Вспыхивает огонь в олимпийской чаше... Слышны аплодисменты и восторженные крики зрителей.

Ким прильнул к радиоприемнику, жадно слушает трансляцию с открытия игр. А посреди кухни стоит Елена Наркисовна, жена заведующего какой-то базой, постоянная заказчица Анны, и примеряет то самое белое платье из легкого крепдешина.

— На стадион выходят советские атлеты и представители Олимпийского комитета СССР, — объявляет комментатор. — Женщины — в бело-голубых костюмах, на мужчинах белые костюмы с ярко горящими на груди красными галстуками. Знаменосец сборной — украинский штангист Яков Куценко. Пожелаем нашим спортсменам побед и медалей!

Зазвучал спортивный марш.

— Все активней внедряется механизация в колхозных хозяйствах Кубани...

Ким вздохнул, прикрутил громкость радио.

— Ничего толком не сказали...

Елена Наркисовна ядовито усмехнулась своими изогнутыми, как две гусеницы, накрашенными губами.

— Что же вы думаете, про вашего Алексея будут по радио говорить? Пятиборье и стрельбу даже не транслируют! Всех интересует только футбол.

Ким посмотрел на женщину, не скрывая неприязни.

— Про дядю Лёшу будут говорить! Потому что он станет чемпионом... Его наградят в Кремле! Мы с мамой тоже пойдем.

Анна смутилась.

— Ким, я же тебя просила... не мешай нам! Сядь спокойно, книжку почитай.

Ким послушно взял книгу, сел у окна — не хотел спорить с матерью при чужих.

Платье облегалo пышные формы Елены Наркисовны, она подняла руку.

— Вот здесь, под мышкой, тянет.

Анна немного распустила шов, придержала булавкой.

— Так лучше?

Заказчица вскрикнула.

— Осторожнее! Вы меня чуть не укололи!

— Простите ради бога... Вот так хорошо?

— Все равно тянет!

Анна распустила всю наметку.

Ким, уткнувшись в книгу, молча сердился на мать — вечно она робеет, извиняется перед этой буржуйкой. А та и рада издеваться над людьми.

Нет, с женщинами не сваришь каши! Ким перелистал книжку, которую почти что выучил наизусть, нашел любимый отрывок.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Чёрных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию...

Анна украдкой смотрела на сына, а Елена Наркисовна смотрела в зеркало и, оправляя белое платье, недовольно повторяла:

— Ну хорошо, хорошо.

* * *

— Посмотрите на меня...

Рука в черной лайковой перчатке берет за подбородок и поднимает голову Марии. Они вдвоем в одиночной камере в тюрьме Плетцензее, она сидит на железной койке, отрешенно глядя в стену. Колет в бок, саднят разбитые ноги, губы распухли и онемели.

Отец любил повторять, что в любой трудной ситуации на помощь приходит математика, и Мария мысленно рисует в воздухе тождество Эйлера — E , I грек, I кс равняется косинусу I кс I грек S инус I кс...

Затянутый в серый мундир, будто в корсет бального платья, Шилле стоит перед ней, заложив руку за спину, другой рукой сжимая ее подбородок.

— Вас били? Какой безвкусыный метод. Красивой женщине нужно позволить сохранить хотя бы лицо...

Острая боль пронизывает надкостницу, Мария отталкивает руку. Шилле ждал этого, чтобы с удовольствием, с отяжкой хлопнуть ее по щеке. Удар головой о стену, вспышка, звон в ушах.

«Косинус Пи равняется минус единице»...

— Вы можете меня изуродовать, даже убить. Но вы ничего не добьетесь... Отец никогда не согласится работать на вас.

Он снова бьет. Его бритый кадык движется под кожей, как при глотательном движении.

— Ваш отец сегодня ночью повесился в камере.

Шилле впиается взглядом, чтобы снова глотнуть, насладиться энергией боли. Мария прижимает руку ко рту, сдерживая крик.

— Вы нам больше не нужны... Я подписал документы на отправку в лагерь Аушвиц — вы, коммунисты, распространяете мрачные слухи про это место. Слухи лгут, на деле все гораздо страшнее...

Он изящно поворачивается на каблуках.

— Но вы можете купить себе свободу, — он снова наклоняется к Марии. — Нам нужен архив. Научные записи, тетради вашего отца. Сообщите, где они хранятся. И мы отпустим вас в СССР. К вашему русскому любовнику...

«Сумма корней из единицы n -ой степени при n меньше единицы равна нулю»...

Мария вскидывает голову.

— Отец уничтожил свой архив.

Шилле по-собачьи обнажает верхнюю губу и хватает ее за одежду, рвет залитую кровью рубашку на ее груди.

— Жидовская подстилка! Коммунистка! Завтра я отдам тебя в казарму, к солдатским отбросам из зондер-команды. Они будут насиловать тебя без остановки несколько часов! Никто не заметит, как ты сдохнешь, и пьяные скоты будут продолжать насиловать твой труп...

«Тождество Эйлера как символ единства математики, соединяет три основные математические операции и пять фундаментальных математических констант, принадлежащих к четырем классическим областям... и часто приводится как пример математической красоты»...

Сон, бред, искажение памяти? Но ей отчетливо представляется, как Шилле рычит и набрасывается на нее, чтобы впиться зубами в ее шею, перекусить артерию. Откуда взялась могучая сила в слабых руках, как удалось его оттолкнуть? Помнила только, что в отчаянии стучала по железной двери кулаками.

— Помогите! Помогите!..

Открылась «кормушка», показалось грубое лицо унтер-офицера Кравца.

— Нужна помощь, господин группенфюрер?

Шилле сделал знак, Кравец отпер дверь.

— Заключение 15/41 включить в списки на отправку в Аушвиц.

Мария помнила, как стояла, прижавшись к стене, тяжело дыша.

— Вы будете прокляты... Вас будет ненавидеть весь мир. Вы можете убить тысячи, миллионы людей... Но вам не победить! Никогда! Никогда!.. Вас ждет расплата.

Нет, конечно, ничего этого она не могла ему сказать. Избитая, напуганная, растерянная девочка...

Дверь в камере захлопнулась, в замке повернулся ключ.

Мария вздрогнула, услышав поворот ключа в двери. В коридоре вспыхнул свет.

— Я дома! — крикнул Саволайнен. Зашел, щелкнул выключателем в комнате. — Прости, задержался. Ярвинен никого не отпускал, срочно переверстывали номер...

Матиас снял пиджак, понюхав ткань.

— Прокурили мне весь костюм. Скорей бы развязаться с этой Олимпиадой... А почему ты сидишь в темноте?

Мария посмотрела на мужа.

— Я видела Шилле.

— Что? — Саволайнен опустился на диван. — Ты ошиблась. Шилле давно убит.

— Это был Шилле. Мы столкнулись у кассы стадиона... Он тоже узнал меня.

Матиас помотал головой.

— Но я видел выписку о его смерти, когда искал тебя по лагерям, в сорок пятом году...

Мария поднялась, плотнее прикрыла дверь в комнату сына.

— Мне страшно, Матиас. Я закрываю глаза и вижу тюрьму. Допросы, камеру. То утро, когда выводили людей... Шилле стоял во дворе. Старики падали, Кравец бил их рукояткой пистолета... Там были женщины, старухи, дети.

Саволайнен обнял Марию, поцеловал ее легкие светлые волосы.

— Милая, я с тобой. Я люблю тебя... Все плохое осталось в прошлом. Нужно забыть.

— Нет, забывать нельзя! — проговорила она с внезапным, не свойственным ей ожесточением. — Пока он жив, я буду думать обо всех тех людях, которых он убил. Пока он жив, мы все в опасности — ты, я, Алекси!

Матиас потрясенно замолчал. А если это правда, и жена не ошиблась?

— Хорошо. Я попробую навести справки. Попрошу редакцию сделать запрос...

Тревога, вдруг охватившая его, заставила подойти к шкафу и достать высоко спрятанную обувную коробку.

— Здесь лежит пистолет. Просто, чтобы ты знала.

Матиас открыл коробку. Мария подошла, взяла и осмотрела пистолет привычно и деловито. Саволайнен невольно подумал, как мало знает о женщине, которая живет с ним бок о бок столько лет.

Они почти не говорили о лагере, она никогда не вспоминала тюрьму, хотя он догадывался, какой ад ей пришлось пережить.

— Я купила билеты на футбол и конные соревнования, — голос Марии снова звучал привычно, немного устало. — Но мне уже не хочется никуда идти. Не оставляй меня одну, прошу тебя...

Саволайнен порывисто обнял жену. Она уткнулась лбом в его плечо.

— Поскорей бы кончилась эта Олимпиада!

* * *

— Показатели в норме.

Нестеров, голый по пояс, сидя на стуле, ощущал прикосновение к коже теплых женских рук и холодного кружка стетоскопа. Глубоко вдыхал, задерживал дыхание. Наконец врач отложила стетоскоп, раскрыла свою тетрадку для записей. Неодобрительно покосилась на кипятильник в стакане, на банку кильки в томате, прикрытую льняной салфеткой.

Евдокия Платоновна — крашеная брюнетка лет сорока восьми, с красивым, но каким-то застывшим, всегда непроницаемым лицом. Видимо, строгая манера и категоричность выработались в ней от долгой работы в мужском коллективе, где в ходу и насмешки, и соленые шуточки.

— Показатели в норме. Одевайтесь.

Нестеров натянул майку, освободил место Саксонову. Коля, садясь на стул, украдкой заглянул в тетрадь докторши Гусевой.

— Хоть сейчас жениться, Лёша!

Чемпион-пятиборец Дечин, который у окна разминал плечи немолодому уже спортсмену Андрееву, высказал мнение:

— Вот отстреляется на медаль, тогда и женим. — Подмигнул Нестерову: — Девочек-то много, в очередь стоят. Хоть за валюту продавай!

Гусева пристально, с научным интересом посмотрела на Алексея.

— А вы что, не женаты, товарищ Нестеров?

Он улыбнулся.

— Да уже почти женат. Подали заявление перед самыми играми...

Саксонов обернулся.

— Да ну? Долго ты держался, Лёша, а все равно приплыл!

— На свадьбу приглашай! — пробасил Андреев. — Так не отделаешься!

Гусева жестом приказала Саксонову молчать, стянула его руку манжетой аппарата для измерения давления.

В комнату без стука зашел инструктор Бовин с какими-то бумагами.

— Товарищи, важное объявление! — Бовин принялся. — А чем у вас так пахнет?

— Скипидар! — Дечин плеснул из бутылочки на руки, растер, снова взялся за плечи Андреева. — Самое лучшее средство — мышцы разогреть. А то у этих западников кремы всякие — химия!

Андреев как бы в оправдание указал на врачу.

— Вот и Евдокия Платоновна одобряет!

Не достаивая ни Дечина, ни Андреева взглядом, Гусева проронила:

— Медицина признает народные средства, но только как дополнение к научным методам лечения и профилактики.

Дечин посетовал:

— Строгая женщина Евдокия Платоновна. Живем как в пионерском лагере. В шесть — подъем, в десять — отбой. Свет вырубает, и все, не поспоришь...

— Вот и не надо спорить! — одобрил Бовин. — Товарищи, важное объявление! Сегодня после ужина в «красном уголке» пройдет встреча с финскими журналистами. Будьте осторожны! Все ваши ответы могут быть использованы в целях капиталистической пропаганды...

Инструктор замолчал на полуслове, глядя под стол. Нагнулся, ногой придвинул к себе пластмассовое мусорное ведро и двумя пальцами достал «улику» — стеклянную бутылочку из-под кока-колы. Демонстрируя находку, он оглядел спортсменов с возмущением и укоризной.

— Товарищи, вас же предупреждали! Незвестные напитки употреблять запрещено!

Саксонов попытался отшутиться — он, дежурный по комнате, забыл вынести ведро к общему мусорному баку.

— Да разве мы употребляли? В ихней кока-коле даже градуса нет. Что пил — что на баяне играл...

Бовин повысил голос.

— Вам все шуточки, а тут серьезное дело! В субботу еще экскурсия на стадион! Учтите, за самовольную отлучку будем серьезно наказывать...

— Попросите их еще в комнате прибрать, — добавила Гусева. — Гантели, сумки на проходе. Нарушена пожарная безопасность.

Она показала на кипятильник.

Нестеров, убирая свою сумку под кровать, случайно увидел раскрытый чемодан Саксонова. В нем лежали пачки спичечных этикеток и коробков.

Алексей натянул через голову олимпийку и вышел в коридор.

* * *

Серов в своей комнате, напоминавшей кабинет, сидя за столом, заполнял какие-то бумаги.

— Алексей Петрович, вот хорошо, что зашли. Есть новости по нашей даме с крысами.

Он запер дверь, показал Алексею отпечатанную на машинке выписку.

— Глафира Мезенцева, эмигрантка, из семьи богатых фабрикантов. После Кронштадтского мятежа бежала по льду в Финляндию. Имеет связи с белоэмигрантским подпольем, жила в Берлине, в Париже. По некоторым сведениям, во время войны служила переводчицей в одной из тюрем Гестапо... Вернулась в Финляндию пять лет назад.

Алексей пробежал глазами справку.

— Наверняка остались родственники в СССР.

— Проверяем, — кивнул Серов. — Кстати, вы знали, что жена Саволайнена — тоже русская? Держит швейное ателье, где одеваются дамы из эмигрантской среды. И Мезенцева там тоже бывает.

Алексей пожал плечами.

— Нет, он не говорил. Но я могу спросить.

— Вот что... Сегодня, во время интервью журналистам «Рабочей газеты» попробуйте договориться с Саволайненом о встрече. Мы вам организуем выход в город... Постарайтесь как можно больше разузнать про эту Хильду Брук, ну и прочее, по обстановке. Не мне вас учить...

Нестеров кивнул.

— До вечера.

Серов напоследок сообщил самое важное.

— Да, во время пресс-конференции в восьмом ряду у прохода сидели Саксонов, Гороховская и Гусева, а на седьмом — Шагинян, Ромашкова и Бовин.

* * *

— А я почти не волновался, — говорит улыбчивый Витя Чукарин, гимнаст. — Ну Олимпиада... Что такого? Просто вышел и выполнил программу.

Чемпионов собрали в «красном уголке», посадили на фоне знамен, выпелов и портретов. Тренеры, спортсмены — всего человек тридцать — стоят у стен и окон, готовы выступить в поддержку товарищей.

За столом сидит главный редактор финской «Рабочей газеты» Ярвинен, перед ним крутятся бобины солидного, отделанного хромом магнитофона. Переводчик из советского посольства чешет по-фински как на родном. Тут и Саволайнен с фотоаппаратом: шелкает спортсменов, ловит удачные, живые кадры. Рыжеволосая Хильда тоже напросилась, пообещав, что будет молчать и записывать — и правда, сидит в углу, делая пометки в блокноте.

Переводчик ставит микрофон перед Ниной Ромашковой.

— Я? А что говорить?..

— Что вы почувствовали, когда поняли, что побили рекорд?

— Помню, посмотрела на табло, увидела свой результат... Подумала — наверное, тут какая-то ошибка. То есть, я на тренировках бросала и на пятьдесят четыре, но здесь волнуешься сильно... А девочки уже ко мне бегут. Кричат: «Рекорд, рекорд!» А я ничего не понимаю... Тренер им говорит — погодите радоваться. Может, они еще все пересчитают...

Ярвинен спрашивает через переводчика.

— Кто пересчитает?

— Ну, судьи, организаторы... А потом слышу, объявляют... мое имя!

Нина вдруг, без всякого перехода, заливается слезами. Она прячет лицо в ладони. К ней бросаются подружки. Саксонов смеется.

— Плачь, Нинка, плачь! Тебе можно, ты теперь навек в истории. Первая олимпийская чемпионка СССР!

Бовин приподнимается.

— Товарищи, посерьезнее! Времени мало, не отвлекайтесь!

Ярвинен говорит по-фински, переводчик спрашивает:

— Это правда, что гимнаст Грант Шагинян имеет повреждение ноги?

Шагинян смущенно прячет глаза.

— Было дело... Ранило в сорок третьем году, на фронте. Думал, не то что гимнастикой, ходить не смогу. Инвалидом жизнь закончу...

Тренер перебивает гимнаста.

— Видали инвалида? Да у него соскок с коня — это же песня армянской зурны! Он же в Будапеште шесть золотых медалей взял на гимнастическом турнире. Сразу на четырех снарядах! И здесь уже золото и серебро...

Шагинян улыбается.

— И еще возьму. Завтра на брусьях...

Саволайнен фотографирует Шагиняна, Ромашкову, Саксонова. Ярвинен спрашивает:

— А всего — сколько фронтовиков в вашей команде?

Бовин пожимает плечами.

— Мы не вели подсчет. Что вы хотите — военное поколение...

Гимнастка Маша Гороховская поднимает руку, как в школе. Оглядывается на спортсменов.

— Можно, я скажу, ребята? Многие из вас сражались на фронте, были ранены, контужены... Кто-то — как Ваня Удодов, как Витя Чукарин, — чудом выжили в нацистских лагерях смерти. А кто-то работал в тылу, на заводе. Или, как я, пережил блокаду Ленинграда. В пустом холодном общежитии, когда нет сил подняться с постели... Но ты встаешь, идешь на крышу тушить зажигательные бомбы.

Саволайнен делает фотографии. Нестеров встречается с ним взглядом, сжимая в руке записку, в которой назначено время и место встречи. Когда все потянутся к выходу, Алексей найдет случай сунуть записку Матиасу в карман.

— Знаете, что я думаю? Мы все фронтовики, — продолжает Маша, оглядывая ребят. — Вся страна, от мала до велика. Только война не сломила нас, а закалила. Сжала в тугие пружины. Мы узнали большое горе, но не перестали мечтать и дерзать. И мы будем бороться за то, чтобы жизнь наша была по-настоящему счастливой!

Спортсмены хлопают в ладоши — не по разрядке, от души. Ярвинен смотрит на девушку.

— Я хотел спросить... В Советском Союзе до сих пор испытывают ненависть к Германии? И к тем странам, которые воевали на стороне Гитлера?

Бовин с тревогой оглядывается на Серова, но тот молчит, молчат и спортсмены. Нестеров, сам не зная почему, вдруг вспомнил эти стихи, начинает негромко читать отрывок из Гейне.

— Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten, — и сам переводит. — Новую песню, лучшую песню, друзья мои, я напишу для вас...

Гороховская подается вперед, показывая на блокнот Хильды Брук.

— Запишите там себе... У советских людей нет ненависти к другим народам. Мы ненавидим только нацизм. Только нацизм!..

Глава 5. ОШИБКА МАСКИРОВКИ

Лобстеры медлительно шевелят клешнями, словно монахи возносят молитвы морскому богу. Рядом аквариум с рыбой. Карпы и сазаны, перебирая плавниками, сквозь зеленоватое стекло наблюдают за сухопутными чудовищами. Слышен стук ножей и вилок, на террасе играет оркестр.

Перед Мезенцевой на белоснежной скатерти бокал белого вина, соус, мисочка с лимонной водой для ополаскивания пальцев. Перед Шилле стакан виски со льдом.

— О! Manific! Великолепно... Я мечтала об этом два года, — Глафира с наслаждением разломил лобстера, наклонилась, чтобы высосать сок из клешни. — Мы здесь живем в нищете и убожестве, господин Крамп... В нищете и убожестве.

Шилле любитель маскировки — в этот раз надел парик, золотые очки с круглыми стеклами, приклеил пшеничные усы и, кажется, засунул за щеки вату, чтобы выглядеть полнее. Поэтому не ест, а только глотает виски.

— Много русских осталось в Хельсинки после войны?

Мезенцева до дна выпила бокал вина, сделала знак официанту «повторить».

— Хватает...

— Вы знаете всех?

Немец рассеянно оглядел помещение ресторана. Он задает вопросы как бы между прочим, но Глафиру не проведешь.

— Я не рыба, господин Крамп, не подводите свой сачок. Кто конкретно вас интересует?

Шилле сделал глоток виски.

— Не вспомню имени, Марта или Магда... Дочь русской певички и немецкого физика. Она жила в Берлине перед началом войны... У нас было что-то вроде интрижки. Я слышал, она переехала в Хельсинки.

— Может быть Мария? Ее девичья фамилия Шваб. Жена репортера из коммунистической газетенки. У нее швейное ателье на Эспланаде. Я у нее шила жакет... Ужасная обдираловка!

Шилле поморщился.

— Нет, ту звали Магда... Впрочем, забудьте. Нет смысла ворошить прошлое.

Кельнер в белой livрее сачком вылавливал из аквариума рыбу. Крупный сазан повернулся в воде, ударил хвостом, но тут же был ловко закручен в сетку.

Мезенцева сладостно обсасывала хвост лобстера.

— Прекрасно! Жаль, что меня не видят старухи из «Русского дома». Они бы лопнули от зависти... Что скажете о деле, Крамп?

Он ответил после паузы.

— Что ж, я посмотрел материалы. Пожалуй, ваши сведения представляют некоторый интерес.

— Некоторый интерес! — передразнила Мезенцева. — Да это настоящее сокровище! А скоро я получу всю документацию. Средства связи, радары, передающие устройства.

Глафира подметила, как алчно блеснули его глаза за стеклами очков.

— Повторяю: мне нужно знать, как к вам попали эти сведения. Кто ваш связной?

— Хотите, чтобы я сдала вам курицу? Ну нет. Сначала купите золотые яйца.

— Вы получите свой гонорар, если выведете нас на всю цепочку от агента до курьера.

Мезенцева задумчиво отодвинула тарелку с остатками панциря.

— Зря вы отказались, лобстеры божественны. Что ж, в общем мне все равно, как вы будете дальше разбираться с этой историей. Вы все узнаете... Только деньги вперед.

Шилле допил виски и щелкнул пальцами, подзывая кельнера.

— Счет!

— Но я собиралась взять десерт.

— Я не располагаю временем. Вы ставите передо мной нелегкую задачу, но так и быть. Вам соберут деньги — часть наличными, часть в ювелирных изделиях, как просили. Встретимся в субботу в пять часов, у входа в парк Эспланада.

Принесли счет, Шилле внимательно изучил бумагу и полез за портмоне. Мезенцева по-фински обратилась к парню в белой ливрее.

— Вызовите мне такси. Цветочная улица, дом девять. И включите сумму в счет. Официант вопросительно глянул на Шилле. Тот холодно кивнул.

* * *

В ателье тоже пили белое вино, загородив ширмой витрину, поставив бокалы и бутылку на раскроечный стол. Хильда и Мария сидели на диванчике, Саволайнен примостился на высоком табурете.

— Они все время говорили о войне, — недоумевала рыжеволосая Хильда. — Я понимаю, это было страшное время. Но почему русские не хотят поскорее все забыть?

— Если на твоих глазах убивают ребенка, старую женщину, брата... Ты будешь это помнить всегда. Русские потеряли миллионы жизней.

Хильда хмурила тонкие брови.

— Значит, это будет продолжаться вечно! Мы ненавидим и боимся их, поэтому готовим новое оружие... Они в ответ боятся нас, ненавидят. И самолет над нейтральными водами — для них угроза. Его уничтожают...

Саволайнен попытался подбодрить девушку.

— Я уверен, надежда есть. Дай мне время, на днях я что-то узнаю...

Хильда допила вино и поднялась, расправляя юбку.

— Матиас, Мария, я хочу вас поблагодарить за участие. Вы мне стали как родные, помогли пережить это трудное время. Знаете, я рада, что приехала в Хельсинки. Иначе, наверное, мы бы не встретились с Эриком. Не знаю, что бы я делала без него!

Мария крепко обняла Хильду.

— Эрик отличный парень, смотри — не упусти.

— Уж постараюсь, — впервые за весь вечер улыбнулась девушка. — Мне пора. Саволайнен открыл дверь в кабинетик Марии, где стоял телефон.

— Хильда, мне нужно сделать звонок в редакцию. Подожди, мы тебя подвезем до отеля.

Девушка взяла свою сумку.

— Спасибо, Матиас, я хочу пройтись.

— Но на улице дождь!

— Ничего. Я люблю такую погоду.

Мария сняла с вешалки свой красный плащ с капюшоном.

— Возьми хотя бы плащ.

Хильда, поблагодарив, обняв на прощание финских друзей, накинула на голову капюшон и вышла из ателье.

Накрапывал дождь, шелестели мокрые кусты, улицы были безлюдны. Хильда шла по бульвару, думая о словах Марии. Да, боль, которую нам причиняют, отнимая близких, невозможно забыть. Война, как древний скандинавский уроборос — змей, кусающий себя за хвост. Как вырваться из этого убийственного круга? Простить врага? Но разве это не признание слабости? Эрик говорит, что мы должны восстановить доверие, которое когда-то было у России и Европы. Он пацифист и выступает за сокращение вооруженных сил и расходов на оборону, за прекращение военного сотрудничества с Америкой. Пока это только студенческие выступления, но ведь они и меняют политику. Так говорил отец.

Если Эрик решится делать политическую карьеру, Хильда поможет ему. Такие

люди нужны в парламенте — честные, добрые, скромные. Конечно, будет непросто пробиться, это дело нескольких лет...

Думая об этом, Хильда подошла к железнодорожному мосту, за которым начиналась улица, ведущая к университетскому кампусу. Выходя из ателье, она не заметила, как за ее спиной из-под навеса автобусной остановки шагнул коренастый мужчина в шляпе. Из-за шума дождя она не слышала его тяжелой поступи и, поднимаясь по скользким ступеням моста, не подумала обернуться, когда за ее плечом возникла тень незнакомца.

— Нет ли спичек?

— Простите...

Недоумение, попытка осознания, ужас, погружение в кошмар — Хильда пережила этот переход за две или три секунды, которые понадобились Кравцу, чтобы опрокинуть ее на перила, схватить за лодыжку и сбросить с моста.

Она летела, и ее мозг перестал анализировать реальность, воспринимая происходящее как внезапно случившийся сон. Хильда увидела рассвет над бескрайним пространством свинцово-серой воды, низко над водой летящий шведский самолет-разведчик «Дуглас». Сквозь радиопомехи звучал голос диспетчера. Это был чужой язык, но Хильда понимала каждое слово:

— Экипаж ДС-3, вы нарушили воздушную границу СССР... Экипаж ДС-3 — следуйте за бортом пограничной службы... Экипаж ДС-3, требуем подчиниться приказу.

Но шведский самолет не поворачивал, он уходил в сторону нейтральных вод. И тогда в небе показался советский истребитель, стремительно приближаясь, накрывая «Дуглас» своей тенью.

— Огонь!

Хильда упала на рельсы. Боль взорвала ее изнутри, но за мгновение до гибели она успела увидеть, как шведский самолет, охваченный пламенем, падает в воду.

* * *

— Башня Олимпийского стадиона имеет высоту семьдесят два метра семьдесят один сантиметр. Именно на такую длину метнул копье рекордсмен Матти Ярвинен на Олимпийских Играх 1932 года, — молодая женщина-экскурсовод подвела группу советских спортсменов к башне стадиона. Мужчины задрали головы, оценивая высоту, а девушки-спортсменки продолжали украдкой разглядывать костюм и туфельки экскурсоводши.

— Чаша стадиона достигает в длину двести сорок три метра и в ширину сто пятьдесят девять метров. Внутренний вид арены напоминает древние стадионы античности...

Нестеров встал поближе к Саксонову.

— Ну что, Коля? Айда? Лучше момента не будет...

Саксонов почесал бритый затылок, украдкой глянул на часы.

— Бовин узнает — убьет.

— Дрейфишь? А еще фронтовик!

За стенами стадиона слышался гул толпы болельщиков, голос комментатора оглашал результаты, — шли соревнования по легкой атлетике. Экскурсоводша с приятным северным акцентом продолжала рассказывать:

— Стадион построен по проекту двух архитекторов: Юрьё Линдегрена и Тойво Янтти. К нынешней Олимпиаде все спортивные объекты были обновлены и перестроены.

Нестеров потянул Саксонова за рукав.

— Пошли, пока они на башню лезут... Лучше случая не будет. Скажем, что потерялись.

— Ладно. Черт с тобой!

Когда группа подошла к башне, Нестеров и Саксонов незаметно отделились от экскурсии, замешались в толпу возле кассовых окошек и уже через минуту скрылись за углом здания.

Они прошли через парк, глаза по сторонам. Коля заранее нашел на карте адрес клуба коллекционеров — недалеко, в прогулочной части города. Нестеров проводил Саксонова и двинулся вниз по бульвару.

Портновский манекен, выставленный в витрине небольшого ателье, привлек его внимание. Молоденькая продавщица с чуть раскосыми глазами говорила по-русски. Она принесла ему целую стопку модных журналов с выкройками, и Нестеров купил четыре штуки, кое-как засунул во внутренний карман пиджака.

Он вышел на набережную чуть раньше назначенного времени, но Саволайнен уже ждал его, сидя на парапете, покуривая сигарету. Матиас поднял глаза на Алексея и сказал вместо приветствия:

— Вчера погибла журналистка Хильда Брук. Я не верю, что она покончила с собой. И не хочу думать, что это сделали ваши... из-за этого чертова самолета!

Нестеров не знал, что сказать, но Саволайнен и не ждал ответа. Он развернулся и пошел в сторону бульвара.

— Куда ты?

Матиас махнул рукой.

— Пойдем, выпьем пива.

Потом они сидели на заброшенном причале в портовой заводи. Нестеров разулся, опустил ноги в воду. Он с удовольствием потягивал прохладное пиво из стеклянной бутылки с длинным горлышком, слушал нервную, сбивчивую речь Матиаса.

— Почему не признаться, что ваши сбили самолет? Вот за это не любят политику Советов — вы скрываете, отрицаете очевидное... Поэтому вас все боятся!

— Пускай боятся. Лишь бы не лезли к нашим границам, — Нестеров неторопливо отпил из бутылки. — Ты хоть понимаешь, что сегодня даже одиночный самолет может причинить противнику серьезный вред? А если он прорвется с ядерной бомбой?..

— У вас тоже есть бомба! Никто в здравом уме не станет на вас нападать!

Вдалеке у небольшой отмели на воду сели три большие белые птицы. Неужели лебеди? Нестеров вдохнул всей грудью, чувствуя непривычный покой и отрешенность.

— Скажи мне, Матиас... На кого ты работаешь? На американцев?

Саволайнен, не в силах сдержать раздражения, вскочил, размахивая руками.

— Ты совсем дурак? Я коммунист! Я жизнь отдал этой партии!

Он прошелся по причалу, взъерошил волосы.

— Русские! Вы весь мир втянули в свою затею! Построить рай на земле! Но оказалось, что вместе с раем непременно надо строить ад для всех, кто не соответствует вашей картине будущего!

Нестеров усмехнулся.

— Ничего себе, разошелся! Что тебя так припекло?..

Саволайнен, немного успокоившись, снова сел рядом.

— Не будем спорить, Алексей. У меня к тебе серьезный разговор, — он полез в карман и достал вырезку из немецкой газеты. — Помнишь его? Готлиб Шилле, начальник тюрьмы Плетцензее...

Нестеров сощурился на солнце, разглядывая фотографию Шилле.

— Я все помню, Матиас. И тот лес, и тот день... И ту могилу, где осталась Мария. Саволайнен торопливо перебил.

— Захоронение перенесли. В тюрьме хотят открыть музей... Я делал запрос в архив, и мне написали, что в феврале 45-го года Шилле погиб на линии Курляндской обороны.

Саволайнен помолчал. Затем достал другую фотографию. У большого стеклянного окна стоял человек с залысинами на лбу, с небольшими усиками. Шилле постарел, усох, но это был тот самый нацистский офицер, который летом сорок первого года расстреливал французских коммунистов в лесу рядом с военным аэродромом. За его плечом виднелся профиль женщины с заостренным носом. Нестеров узнал Мезенцеву.

— А эту фотографию несколько дней назад случайно сделал наш репортер. На башне Олимпийского стадиона...

Нестеров быстро взглянул на Саволайнена, взял фотографию, пристально разглядывая.

— Значит, Шилле жив?

— Да. Пришлось провести целое расследование... Он въехал в страну как Сайрус Крамп, американский фабрикант. Цель — туризм и отдых.

Нестеров показал на Мезенцеву.

— Эта женщина — та, с крысами, на пресс-конференции.

Саволайнен кивнул.

— Мадам Мезенцева. Я ее немного знаю. Эмигрантская община устраивает акции у русского посольства, она всегда участвует...

Нестеров почесал переносицу.

— Знаешь, у нас в газетах пишут — США принимает нацистов, дает им работу в спецслужбах, на военных заводах... Я думал — так, преувеличение.

— Не «так»... В ФРГ год назад проходили слушания по делам двадцати пяти командиров айнзацкоманд. К реальным срокам приговорили только двоих... Остальные были отпущены на свободу.

— Ну... Зато пиво у вас хорошее, ничего не скажу.

Нестеров поднялся на ноги и начал надевать носки и ботинки.

— Мне пора идти. Дай мне эти фотографии. Поговорю с нашими... Подумаем, как быть.

— Я решил сделать репортаж о тайном расстреле французских коммунистов, — сказал Матиас. — Отправлю материал в Париж, в еврейские организации. Попробуем возобновить дело, подать в суд. Шилле не должен оставаться на свободе.

Вместе они двинулись по набережной в сторону парка.

— Вот ты говоришь, мы, русские, перенесли на землю рай и ад. А разве Шилле не заслуживает ада? Не когда-то там, в загробной жизни, предположительно, а прямо здесь, на земле? Чтоб как следует ад, чтобы наверняка? За Марию, за всех невинно убитых и замученных? За чудом выживших?

Все это время Саволайнен осознавал, что поступает бесчестно, и страшно тяготился своим положением. Он понимал, что должен рассказать Нестерову, как отыскал Марию в конце войны и помог выехать из Германии. Должен сообщить, что она жива. Но страх, который Матиас испытывал при мысли, что может потерять эту женщину, буквально парализовал его волю. Уже понимая, что Нестеров сейчас уйдет и другого шанса открыть правду не будет, Саволайнен решительно повернулся к нему.

— Алексей, я хотел тебе сказать...

Но Нестеров озабоченно взглянул на часы.

— Прости, Матиас, спешу! Автобус отходит в пять. Завтра придешь на стрелковые состязания? Мы выступаем в Мальми.

Пружинистой спортивной походкой Нестеров удалялся по набережной. Саволайнен смотрел ему вслед и думал: «Так лучше. Пусть они оба ничего не знают».

Три большие белые птицы поднялись над водой и полетели в сторону заповедника.

* * *

Снова лил дождь, начинались сумерки. Шилле в рыбацьем брезентовом плаще, в резиновых сапогах, сунув руки в карманы, шагал по берегу пруда. У Мезенцевой мгновенно промокли туфли, зонт сломался и обвис.

— Охота вам гулять в такую омерзительную погоду? Меня ждет такси. Деньги при вас?

— Кто ваш агент? Где назначена встреча? — снова спрашивал Шилле с дотошностью, наводящей скуку. — Я должен отчитаться в центр. Я отвечаю за расходование средств.

Порыв ветра пробирал до костей, Мезенцева поежилась в своей легкой накидке — она выходила из дома, не имея намерения разгуливать под дождем.

— Шут с вами, я скажу. Завтра, в четыре часа, у нас назначена личная встреча на стадионе в Мальми. Никаких паролей и посредников. Я получу документы сама, в женском туалете...

— Курьер — женщина? — Шилле резко повернул голову. — Спортсменка?

Глафира почувствовала злость.

— Шилле, какого черта вы устраивает мне допрос? Где деньги?

Он пожал плечами.

— Глупо гулять по парку, набив карманы долларами, мадам Мезенцева. Деньги в машине. Там, у бокового входа.

— Так идемте!

Дождь усилился, но за деревьями показались огни ресторана, слышалась музыка. В зале танцевали — тени кружащихся пар виднелись сквозь стекла, залитые дождем.

— Дьявол, неужели наконец все закончится? — пробормотала Глафира. — Париж!.. Так хочется еще пожить! По утрам пить кофе на террасе с видом на Сену, завести себе любовника — араба или африканца... У вас есть любовник, Шилле? Ведь вы, кажется, не по женской части...

Мезенцева не успела договорить — ее ударили сзади по голове чем-то тяжелым. Парик смягчил удар, с ловкостью кошки она отскочила, и, увидев Кравца с монтировкой в руке, мгновенно оценила опасность и бросилась бежать в сторону ресторана с криком:

— На помощь! Помогите!

Страх придал ей сил. Глафира стремилась под электрический свет, к ресторану, но завидев Шилле, который бросился ей наперерез, вынуждена была свернуть на боковую дорожку. Она попала в западню. Каблуки тут же увязли в глине, она поскользнулась на мокрых листьях, упала, и Кравец настиг ее, зажал рот и своими огромными ручищами умело свернул ей шею.

Пока тело содрогалось в агонии, из темноты появился Шилле. Он поддел носком ноги и поднял сумочку убитой, вытряхнул в карман своего плаща содержимое — деньги, документы, ключи.

Затем Шилле и Кравец привычно взяли труп за ноги и за руки и, раскачав, сбросили в озеро.

Все дело заняло не больше минуты. Силуэты мужчин и женщин все так же двигались в танце на веранде ресторана, звучал саксофон. Дождь усиливался.

Одежда Мезенцевой, пузырясь, набирала воду, и труп, образуя черную воронку, погружался на дно.

Глава 6. ДАМА ИЗ БАШНИ

— Вы не имеете права снимать спортсмена с соревнований! Он же все объяснил! Хватит уже везде искать шпионов... Богом прошу!

Пожилой тренер Шимко, покрывшись краской от усилия, то и дело проводил пальцем под тугим воротом рубашки, где скапливался пот. В небольшой комнатке без окон, выделенной советским тренерам, было жарко, душно, но Бовин не давал открыть двери — а вдруг до чужих ушей дойдет их важный, политической значимости разговор?

— Бога нет! А есть — нарушение дисциплины! Побег с мероприятия! Ладно Саксонов... филуменист! А ваш Нестеров где шатался два часа? С кем встречался? Что у него на уме?

Нестеров стоял у стеллажа с журналами, косился на корешки. Все на финском, и в основном про спорт.

— Да сказал же он: гулял, покупал жене выкройки. Оставьте вы парня в покое! — Степан Касьянович умоляюще сложил руки. — Миленькие, у вас свое начальство, у меня свое. С вас требуют шпионов, а с меня — медалей! Дайте выступить спортсмену, а потом забирайте куда хотите!..

— Что значит — куда хотите? Вы на что намекаете?

Шимко сообразил, что ляпнул лишнее и придется снова извиняться, но тут открылась дверь и в комнату зашел Серов.

— Что у вас происходит?

— Снимаем Нестерова с соревнований, — категорично заявил инструктор Бовин. — За самовольную отлучку и нарушение дисциплины.

Серов молча взял из рук Бовина бумаги, перелистал, нашел разрешение Нестерова на участие в соревнованиях. Достал из кармана перо и сделал росчерк.

— Товарищ Нестеров допущен к соревнованиям. Он отлучался в город по моей просьбе. — Серов обратился к Нестерову. — Почему вы не сообщили, Алексей Петрович?

Нестеров вздохнул.

— Да как-то не догадался...

Тренер всплеснул руками.

— Ну слава тебе, Господи!

Бовин напоследок сорвал на нем злость.

— Снова про бога?! У вас что там в команде, религиозная секта?

Шимко потянул Нестерова за рукав, открыл дверь.

— Пойдем, Алексей. А то еще каких-нибудь грехов навешают... Подготовиться спортсмену не дают!

— Степан Касьянович, я буквально на два слова с Алексеем, — попросил Серов. — И вы, товарищ Бовин, можете идти.

Оставшись вдвоем с комиссаром, Нестеров виновато поежился.

— Как-то глупо получилось... Думал, Бовин в курсе, а тут такая ерунда.

Серов прикрыл дверь. Поправил очки.

— Алексей Петрович, хочу сообщить, что в Москве арестован шпион, который похищал сведения о наших важных военных разработках. Благодаря вам удалось вскрыть эту цепочку. Я буду ходатайствовать о представлении вас к государственной награде.

Алексей глубоко вдохнул, чувствуя нехватку кислорода, — и правда, надо бы

проветрить помещение. Небось, шведам и финнам дали комнаты с окнами, а советских можно и в угол запихнуть.

— Значит, спичечный коробок?

Серов кивнул.

— Да. Шпион сознался, что пошел на преступление под влиянием любовницы. Вместе они планировали бежать из СССР.

— Значит, женщина, — Нестеров огорченно покачал головой. — Неужели это Маша Гороховская?

— Нет, — Серов выдержал многозначительную паузу. — Мы выяснили, что у нашей «дамы с крысами», Глафиры Платоновны Мезенцевой, в Петрограде оставалась младшая сестра, Евдокия. Она поменяла фамилию, поступила в медицинский техникум... Стала врачом.

— Евдокия Платоновна? Докторша?!

— Да.

Нестеров попытался уложить в голове услышанное.

— Значит, коробок... микрофильмы... Ну, хорошо. А как же Шилле? Вы докладывали о нем? Он ведь как-то связан с этим делом?

Серов помолчал.

— Пока мы ничего не сможем предпринять. Сайрус Крамп имеет дипломатический иммунитет. Нужно еще доказать, что он и Шилле — одно лицо. Или поймать его на передаче агентурных сведений... Но я обещаю, мы не оставим это дело. Отправим запрос в международные организации...

Нестеров пристально посмотрел на Серова.

— Понятно. Я могу идти?

Павел Андреевич со вздохом пожал плечами.

* * *

Примерно в то же время Мария Саволайнен в своем ателье обсуждала с продавщицей Айно новый заказ на ткани. Ее десятилетний сын с русским именем Алексей, или по-фински Алекси, сидел у стеклянной витрины и смотрел, как на бульваре дети играют с большой белой, по виду доброй собакой. Девочки обнимали, тискали пса, и он покорно давал садиться на себя верхом, но научить его скакать, как лошадь, у детей пока не получалось.

День снова выдался солнечным, и зелень была яркой после вчерашнего дождя. И когда тень заслонила свет, Алекси не испугался. Он смотрел на игрушку, которую держал в руках незнакомец — это был слон из лилового плюша, с бивнями из валяной шерсти и стеклянными глазами. Лицо человека, который держал слона, было скрыто в тени, но сама игрушка оказалась на солнце. Слон смущенно улыбался, в уголках его глаз виднелись морщинки, и выражение плюшевого лица было немного растерянным, но очень, очень милым.

Айно прикладывала пуговицы к тканям, а Мария записывала, какой запас необходимо сделать. В последнее время заказчицы стали выбирать большие пластиковые пуговицы, которые придавали нарядности костюмам и пальто. Скоро осень, пойдут заказы на верхнюю одежду, нужно заранее сменить ассортимент тканей и фурнитуры.

Делая пометки в книжечке, Мария вдруг осознала, что давно не слышит мурлыканье сына, который обычно, если играл один или смотрел на улицу, что-то напевал себе под нос. Женщина обернулась.

Маленький Алекси прильнул к окну, завороченно разглядывая игрушку, которую держал коренастый человек в сером плаще, с грубым, недобрым лицом. Мария сразу узнала — это был Кравец, надзиратель в тюрьме Плетцензее.

Сквозь стекло Кравец прямо смотрел на Марию из-под нависших бровей, и его

тяжелый остановившийся взгляд явно предупреждал ее о чем-то ужасном, что должно совершиться.

Звонкий стук — это рассыпались пуговицы из коробки. Голос Айно — Мария не различала, не понимала слов. Она бросилась к сыну, подхватила, унося от окна.

— Что случилось, роува Мария? *Mika pelotti sinua niin?* Что вас испугало?

Мешая финские и русские слова, пыталась добиться ответа продавщица.

Мария опомнилась, оглянулась. За стеклом уже никого не было, Кравец исчез.

* * *

Готлиб Шилле по материнской линии происходил из древнего рыцарского рода. В эпоху наполеоновских войн его предки лишились баронского титула из-за семейных интриг вокруг наследства. Но мать с ранних лет внушала мальчику мысль о его блестящих перспективах, и он привык считать себя аристократом — по праву крови, личной доблести, талантов и ума. Это и заставило кадрового офицера в тридцатом году примкнуть к национал-социалистам, несмотря на то презрение, которое он испытывал к уличному сброду и, в глубине души, к самому Гитлеру, фанатику и вырожденцу.

Решив, что в его личной войне хороши все средства, Шилле перешел на службу в СС, но не оборвал связей с военной элитой. Он разделял их надежды на то, что аристократия, сметенная с политической сцены в итоге Первой мировой, должна восстановить свои исконные права на управление Европой. Он лично знал и несчастного графа фон Штауффенберга, совершившего покушение на Гитлера в 1944 году; в глубине души восхищался его поступком.

Гитлер закономерно проиграл, но не выиграла и ставка Шилле. Германия, расчлененная и поверженная, одна приняла на себя весь позор капитуляции, а ее элиты пошли в услужение — одни к большевикам, другие — к американцам и англичанам, которые весьма успешно строили новый, англосаксонский Рейх.

Триумф торгашей, наступивший вслед за поражением великой немецкой идеи, был противен Шилле. Но Готлиб служил этому новому миропорядку из чувства высшей справедливости. В нем кипела ненависть к победившему плебсу, презрение волка к стаду баранов. Именно это общее чувство свело их с Глафирой Мезенцевой много лет назад.

Сейчас, изучая ее тесную, сумрачную квартирку, заставленную старомодной мебелью, завешенную второсортными картинами в облупленных рамах, Шилле впервые задался мыслью — не устарел ли так же и он сам с его рыцарским духом, верой в высшее предназначение, ненавистью к победителям, изрядно поизносившейся за послевоенные годы?

Нет, — он поспешно отверг эту мысль. Глафира, выжившая из ума старуха, окружила себя портретами родни, чьи кости давно сгнили на разоренных большевиками погостах. Она жила прошлым, он же, Готлиб Шилле, созидает будущее. Он готовит возрождение Германии. Когда-то, может, после его смерти, а может быть и на его веку, объединенная Европа должна сбросить с плеч красного плебея и подняться на небывалую высоту, чтобы по своим законам править миром, как это не раз бывало в истории.

Шилле стоял посреди комнаты в одном белье и в женских чулках, разглядывая поблекшие фотографии девиц в гимназических платьях, мужчин в мундирах русской царской гвардии, и мысленно отвергал этот пыльный умерший мир. Нет, не обветшалой мишурой приманит и обманет новых плебеев Европа. Она предложит им комфорт, стремительные автомобили, морские курорты, домашние машины, заменяющие прислугу. Европа создаст новый мир ярких, привлекательных, избыточных игрушек; мир видимой свободы для рабов и утонченного разврата для их господ. Мир грамотной, необходимой, действенной лжи для всех и блистательной правды для избранных — тех, кто управляет ложью.

Шилле включил радио и открыл платяной шкаф. Его идея была проста и великолепна в своей смелости. Он собирался стать Мезенцевой, чтобы пойти на встречу с информатором.

Любой мужчина может изобразить женщину, нужна лишь небольшая практика. Но не наоборот — лишь редкий тип женщин убедителен в мужской роли. Не нужно много косметики, иначе лицо становится клоунской маской. Увлажнить кожу, дать впитаться тональному крему, осторожно вбивая подушечками пальцев, заполняя грубые поры. Черный карандаш придает чертам грубость, лучше использовать серый или коричневый. Легкими движениями, будто рисуешь картину, выделить брови, подвести глаза. Нанести тени кисточкой, растушевать. Тонкие губы обвести карандашом в цвет неяркой, телесного цвета помады.

Шилле застегнул пуговицы блузки. На нем прекрасно сидел новый темно-лиловый костюм — тот самый, который Мезенцева заказала в швейном ателье на бульваре Эспланада. Пиджак чуть тесноват в плечах и пояс юбки врезается в бока, но этот легкий дискомфорт даже нравился Шилле. Он полюбовался на свои выбритые ноги, изящные и сухошавые в тонких чулках. Туфли нужного размера он захватил с собой.

Переодетых мужчин выдает походка, они вихляют бедрами и шатаются на каблуках, как портовые потаскухи. Но Шилле долго упражнялся и достиг естественности, копируя движения матери, которые с детства пленяли его грациозной плавностью.

Парик он тоже подобрал заранее — оттенок благородной серебристой седины.

Воскрешенная Мезенцева подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Да, при жизни она не держалась с таким достоинством. Осталось припудрить лицо — легким прикосновением меховой пуховки.

Шилле отдернул занавеску, в комнату хлынул солнечный свет. Он постоял, глядя на улицу, и, дождавшись, пока Кравец, куривший сигарету возле автомобиля, поднимет вверх глаза, махнул рукой — как дама из башни замка подает знак призрачной надежды безнадежно влюбленному в нее простолыдину.

* * *

Круглое здание старого аэропорта в Мальми стало местом проведения соревнований сразу по нескольким видам. На взлетной полосе еще садились и взлетали самолеты, но прилегающая территория была отдана спортсменам и болельщикам. На стоянке перед входом — машины, автобусы, велосипеды. Вокруг толпился народ, слышны были звуки музыки. На фасаде здания — большие круглые часы показывали половину четвертого.

Мария подъехала к зданию аэропорта на своем темно-зеленом Saabe-92. В редакции ей сообщили, что Матиас в Мальми на стрелковых состязаниях, и она решила найти мужа, чтобы рассказать о случившемся.

Стрельбы уже начались, из-за ограждения был слышен голос комментатора, выкрики тренеров и зрителей. Мария вышла из машины, взяла за руку сына. Торопливо двинулась через площадь к входу на трибуны. Алекси потянул мать в сторону лотка, где продавали сладости.

— Мама, я хочу мороженого.

Мария оглянулась по сторонам.

— Хорошо, сынок! Сейчас мы найдем папу, и он купит тебе мороженое... Немного потерпи.

Стрелковые соревнования проходили на огороженной площадке за зданием аэропорта. На открытом воздухе были установлены мишени, расчерчены стрелковые позиции. Вокруг площадки — зрительские трибуны, почти заполненные. Мария увидела зону для журналистов и стала пробираться туда, где были расставлены камеры, и репортеры смотрели в бинокли, что-то записывали, болтали между собой.

Диктор объявил новый этап соревнований. По именам вызывали спортсменов.

Мария подошла к входу на трибуны, возле которого стоял полицейский. Она увидела Матиаса — тот проходил вдоль стрелкового поля с фотокамерой, делая снимки.

— Там мой муж. Мне нужно с ним срочно поговорить.

Позвали Саволайнена, он обернулся. Встревоженный, начал пробираться к выходу. Показал охране свою аккредитацию, и Марию пропустили за ограждение.

— Что случилось?

— Они нашли меня.

— Кто?

— Кравец, надзиратель в Плетцензее... Он приходил в ателье.

Саволайнен провел Марию в журналистскую зону и усадил на скамейку. Алекси сразу встал у перил, с интересом наблюдая за стрельбой.

— Он угрожал вам?

— Он подошел к окну и показал Алекси игрушку... Это было очень страшно! Теперь я уверена, это они убили Хильду, а хотели убить меня. Она взяла мой плащ...

Алекси подбежал.

— Папа, можно мне бинокль?

— Конечно, милый, — Матиас снял с груди бинокль и передал сыну. Взял за руку Марию. — Успокойся. Здесь ты в безопасности... Я переговорю с охраной. Потом поедем в полицию.

Саволайнен направился к охране стадиона, Мария осталась сидеть на трибуне. Она подозвала Алекси и усадила к себе на колени.

— Никуда не убегай, понял? Есть люди, которые хотят нам зла, мы в опасности. Мальчик кивнул.

— Мама, а почему дяди стреляют?

— Это соревнования, милый... Они соревнуются, кто лучше попадет по мишени.

— А зачем?

Диктор объявлял выход новой группы спортсменов.

— Ерхо Саар... Збигнев Сметан! Ханс Нордстрем... Алексей Нестеров!

Мария вздрогнула. Не такая уж редкая фамилия, наверняка в СССР тысячи, десятки тысяч Алексеев Нестеровых, и вот один из них сейчас выходит на поле. Но, подчиняясь любопытству, Мария взяла у сына бинокль. Как он выглядит, этот Алексей Нестеров — старый или молодой?

Журналисты подтаскивали штативы ближе к мишеням. На поле выходили спортсмены — разминали руки, делали приседания. Тренер в бело-синей форме что-то помечал в своих листках. Мария слышала русскую речь.

— Дечин, Нестеров, приготовиться!

Мария никак не могла поймать поле в бинокль, все расплывалось перед глазами. Наконец она сообразила покрутить колесико настройки, увидела ряд мишеней, спины, затылки стреляющих. Старый, молодой? Вот этот, с рыжими бакенбардами? Или тот, в зеленой куртке? Наушники на спортсменах делали их всех похожими.

Команда. Спортсмены подняли руки с пистолетами, прицеливаясь. Команда. Раздались выстрелы.

Мария прошептала.

— Не может быть... Нет, этого не может быть.

Она опустила бинокль. Второй слева, плечистый, с темным стриженным затылком, повернулся, и ей показалось... Нет, лучше не смотреть. Снова зазвучали выстрелы.

— Мама, когда мы пойдем есть мороженое? — напомнил Алекси.

Мария взяла его за руку и поднялась с места, оставив на трибуне бинокль.

Арбитры снова подбежали к мишеням. Нестеров и Дечин ушли с позиции, сняли наушники. Киреев записывал результаты. Шимко хлопал спортсменов по плечам.

— Дечин — молодец! Обстрелял норвежца! Нестеров, идем на бронзу!

— В раздевалку! — отправил всех Киреев.

Но Алексей уже заприметил за ограждением Саволайнена и протиснулся к выходу. Нужно найти Матиаса и сообщить ему новости насчет Шилле. И адресами, что ли, обменяться, а то снова потеряют друг друга на десять лет.

Зрители уходили с трибун на перерыв, который объявили до выступления винтовочников. Награждение позже. Бронза в командном зачете — ну что ж, хорошо!

Народ толпился на небольшой площади перед зданием аэропорта, покупали сладости и лимонад. Ребятня кружилась на каруселях, у входа в детский городок возвышался огромный гусенок и, чуть поменьше, мыш в красных трусах, с круглыми ушами. «Вот бы Кима с Анютой сюда», — подумал Нестеров, осознавая вдруг, что успел соскучиться по жене и сыну. Сын... Он вернется, сядет и поговорит с Кимом. Скажет, что он — его настоящий отец, что знал его мать до войны. Есть неправда, которая рано или поздно становится правдой, и это будет самая правильная правда из всех.

Саволайнен стоял у лотка с мороженым, в небольшой толпе зрителей.

— Матиас! — окликнул Нестеров, но тот не услышал.

В небе развевались разноцветные флаги, звучал финский спортивный марш.

Кравец наконец припарковался, заняв освободившееся место рядом с зеленым Саабом, вышел из машины, открыл дверь и галантно подал руку даме в темно-лиловом костюме.

Дама огляделась и неторопливой плавной походкой направилась в сторону детского городка.

Большие часы на здании аэропорта показывали без пяти минут четыре.

Врач Гусева, бледная, внезапно постаревшая, с глубоко очерченными складками носогубных морщин, медленно поднималась по ступенькам к уборной. Пережитый ужас разоблачения, выматывающий многочасовой допрос, подробный инструктаж перед операцией — она спала этой ночью не больше двух часов и двигалась механически, словно в тумане.

1. Подняться по ступенькам, подождать.

2. Встретить Глафиру, взять драгоценности (сестра обещала, что принесет кольца, серьги с крупными бриллиантами, которые легко спрятать в вещах).

3. Передать коробок с микропленкой.

Евдокия понимала, что документы успели подменить и, значит, она вовлекает сестру в опасную игру спецслужб. Но в эту минуту ее меньше всего интересовала судьба Глафиры. Гусева слишком хорошо понимала, что ждет ее по возвращении в СССР. Она оглянулась на сотрудницу, которая на небольшом удалении сопровождала ее к уборным. В голове стучало одно только слово: «Побег, побег»...

Румяная молодая лоточница быстрым круговым движением скрутила шарик шоколадного пломбира и отправила в конус вафельного стаканчика. Алекси взял мороженое, вежливо поблагодарил. Саволайнен протянул продавщице купюру.

— Матиас! — раздался голос Нестерова.

Молодая женщина в синем платье, стоявшая в очереди за мороженым, обернулась, и Нестеров подумал, что впервые видит человека, который был бы так похож на другого, давно умершего. Но вдруг ее глаза расширились, на лице отразился ужас узнавания.

Нестеров застыл на месте.

Саволайнен продолжал искать по карманам сдачу, продавщица наполнила мороженым еще один стаканчик. Матиас машинально взял его.

— Здравствуй, — сказала Мария по-русски.

— Здравствуй, — эхом ответил Алексей.

Они стояли, глядя друг на друга, не находя слов. Наконец Нестеров перевел глаза на мальчика. Почти ровесник Кима, но выражение лица такое детское, беспечное.

— Это твой сын?

— Да, — Мария взяла под руку Саволайнена. — А это мой муж...

Нестеров посмотрел на Саволайнена. Спросил без злости, по-дружески:

— Почему ты мне не сказал? Ведь это ничего не изменит...

Матиас молчал.

Алекси разглядывал Микки-Мауса, раздумывая, стоит ли просить родителей покатать его на карусели или он уже слишком взрослый для этого. Потом он увидел девочку с красным воздушным шариком, которая шла вместе с родителями в сторону автомобильной стоянки. Алекси загляделся на шарик, сам не замечая, что идет вслед за девочкой, облизывая мороженое, ни о чем не думая, просто озираясь по сторонам.

Со стороны уборной послышался истошный крик. Мужчина в юбке и в женских туфлях, петляя, бежал сквозь толпу. Парик упал с его коротко стриженной головы, он смешно перебирал тонкими ногами.

«Это клоун, — подумал Алекси. — Смешной клоун из детского городка».

Люди почему-то отскакивали от него, а сзади бежали какие-то мужчины.

«Это представление, как в цирке. Сейчас они придумают что-то смешное, и все удивятся и будут хлопать в ладоши».

Другой клоун в костюме полицейского тоже бежал, на бегу вынимая пистолет.

— Стой! Буду стрелять!..

Алекси не боялся, поэтому не отскочил и не испугался, когда клоун на бегу схватил его за плечи, поднял вверх и прижал к себе.

— Не стреляйте ради бога! — кричала мама, Алекси узнал ее голос.

— Пусти, — попросил он противного клоуна, но тот не слышал. Он пятился к машине, прижимая мальчика к своей груди.

Мама и какой-то незнакомый мужчина бежали и что-то кричали. В машине сидел еще один клоун с толстым красным носом. Алекси уже не нравилась эта игра, но он не знал, как ее остановить.

Совершенно потерянный Саволайнен, не понимая, что произошло, продолжал стоять возле лотка. Мороженое в его руке таяло и капало на землю.

* * *

Зеленый сааб Марии летел по дороге. Увидев, как Шилле схватил ее сына, не помня себя она бросилась к машине. Нестеров оказался рядом.

Сааб то и дело заносило, сигналили встречные.

— Давай я сяду за руль?

— Нет, я сама... Там, возьми, пистолет...

Он открыл бардачок, взял привычный руке макаров. Черный опель показался впереди за поворотом, он быстро уходил по трассе.

— Алекси! — вскрикнула Мария, увидев голову мальчика на заднем сиденье опеля.

Нестеров открыл окно.

— Уйдут. Надо стрелять.

— Только не убей *его*, — взмолилась Мария.

— Я снайпер. Я буду стрелять по колесам.

Мария надавила на газ. Опель съехал с трассы, повернул в сторону леса.

Нестеров вытянул руку с пистолетом в окно и выстрелил.

Мария увидела, как опель занесло, крутануло на дороге, машина мордой въехала

в дерево. Задняя дверь распахнулась и Шилле в женской одежде схватил Алекси и потащил в заросли.

Мария подъехала, остановила сааб. Нестеров выскочил из машины и бросился наперерез убегающему нацисту.

— Отпусти ребенка!

— Попробуй забрать!..

Нестеров, пробегая мимо опеля, увидел раненого Кравеца, который разбил лбом стекло и теперь пытался вытереть залитые кровью глаза. Нестеров выстрелил без раздумий. Прозвучал еще один выстрел, боль обожгла плечо.

— У него оружие! — закричала Мария.

Шилле, ковыляя, приближался к зарослям ольхи, за которыми тянулась лесополоса. Левой рукой прижимая к себе мальчика, в правой он держал люгер.

— Отпусти ребенка, гнида! — снова потребовал Нестеров.

— Забери!

Шилле, прикрываясь ребенком, снова сделал выстрел. Нестеров вскинул пистолет.

— Не-ет! — вскрикнула Мария.

Пуля коммуниста Нестерова вошла ровно в середину лба Голиба Шилле, несостоявшегося барона, разоблаченного агента и несмешного клоуна. Алекси вырвался из его ослабевших рук и бросился к матери с криком:

— Мама!..

Нестеров стоял на опушке леса и смотрел на женщину, которую он по-прежнему любил больше жизни, на мальчика, который мог быть его сыном, и мысленно прощался с ними навсегда.

Все ближе звучала сирена. Подъехали полицейские машины, первым выскочил Саволайнен.

«Я же ранен», — вспомнил Нестеров, увидев, как кровь течет по руке. Кружилась голова, он уронил пистолет и упал на мягкую землю.

Мария склонилась над ним, и пока полицейские не подбежали, Нестеров успел прошептать:

— Нам ничего не изменить.

ЭПИЛОГ

Первое послевоенное выступление советской команды на Олимпиаде кардинально изменило соотношение сил в мировом спорте, наши чемпионы установили несколько мировых рекордов. Сборная СССР завоевала 22 золотые, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей, уступив в медальном зачете только США.

Олимпиада в Хельсинки вошла в историю как Игры, которые формально не были завершены. Президент МОК Зигфрид Эдстрем во время своей заключительной речи забыл произнести формулу, предусмотренную Олимпийской хартией: «Объявляю Игры XV Олимпиады закрытыми».

Шведский самолет «Huginn», сбитый советским истребителем, был найден в нейтральных водах неподалеку от острова Готланд и поднят только в двухтысячных годах. В самолете были обнаружены останки четырех членов экипажа. Судьба четырех других до сих пор остается неизвестной.

Александр Орлов

Говоря о войне

* * *

Я говорил в тиши с пустой дорогой,
Что есть во мне, и в ней, и в нас двоих.
Она казалась мне вдовой убогой,
Деливший всех на мёртвых и живых.

Но кто она? Истоптанная пажить?
Иссохшая от старости тропа?
Она покой готова взбудоражить,
На ней коряги, ямы, черепа.

Она ведёт куда? Кто дал ей право
В крутых извивах за собой вести?
Она грязна, обрывиста, лукава,
На ней пропали воины и вожди.

И я иду по ней, и шаг за шагом
Растрачиваю время, а потом
За лесом, за полями, за оврагом
Раскрытый вижу настежь отчий дом.

* * *

Сень родовых крестов
Слышу зовёшь, зачем?
Мне не найти слов,
Будто бы глух и нем.

Скрыта среди домовин,
Превращена в труху,
Что тебе за помин?
Нужен как на духу.

В душу ко мне не лезь,
Что тебе до меня?
Молвь, почему я здесь,
Может, моя родня?

Выли меж круч ветра,
Прошлого слышу зов,
Это в золе костра
Сень родовых крестов.

Орлов Александр Владимирович — поэт. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище №1 им.И.П.Павлова, Литинститут им.А.М.Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории в ГБОУ Школа 1861 «Загорье». Автор шести книг стихов и трёх книг малой прозы. Лауреат многих литературных премий. Живет в Москве.

Бабые горе

В ночь я сбился с пути
И зашёл в крайний дом,
Запах мёда, кутьи
Расползается в нём.
И старушка Яга
Накрывает на стол,
Говорит: «Ходока
Господь Бог, зная, привёл.
Что стоишь иль не рад
Что попал на помин?
Это древний обряд,
Ты сворачивай блин,
Помяни горькой всех,
Не забудь и своих —
Пей до дна, то не грех.
Ты остался в живых,
И поэтому знай:
За тобою должок,
Ну, милоч, выпивай,
Ты не свалишься с ног.
А должок твой таков:
Вплоть до Судного дня
Поминай мертвецов,
Лица в сердце храня,
Сток прошлого вкуса,
Только это твой крест.
Вижу я: ты не трус.
Если вдруг надоест,

Приходи ещё раз,
Созову вековых,
Чтоб услышал их сказ,
И твой взгляд не потух,
Чтоб ты понял, внучок,
Что такое война,
Сердце слёзно прожёт
Бабым горем сполна,
Чтобы тысячи звёзд
Твой забрали покой,
Чтоб ты встал в полный рост
С неушедшей войной.
И на ней ты пропал,
Скрылся, сгинул, погиб,
И у всех, кто так ждал,
Голос мигом охрип,
Чтобы годы прошли,
И ко мне на помин
Не пришёл весь в пыли
Нарождённый твой сын».
Я сидел и молчал,
И не брал меня хмель.
Я пошёл на прогал,
В ближний к звёздам тоннель.
И встречали меня,
Говоря о войне,
Стражи Судного дня
В солнцеликом огне.

* * *

Наступит вскоре паутины лёт,
Покажется, что лето здесь напрасно
Связало мои дни крестообразно.
Они останутся, когда оно уйдёт
И будет на сырых дорогах грязно.

И на прощальный сев озимой ржи
Туманы приведёт летопроводец,
В поля заступит время безработиц,
Коротких дней и холода души,
И звёзд, сковавших до весны колодец.

И буду говорить с душою вслух,
И в ожидании скорого ответа
С печальной улыбкой домоседа
Почувствую тепло весны, и вдруг
Вернётся в сердце неземное лето.

* * *

Чародейные речи
О грядущем отлёте
Журавлиное вече
Заведёт на болоте.

Прокурлыкают птицы
Тростнику и осоке,
Одиноким влюбиться
Уготовлено в сроки.

Эти сроки настали,
Но выходят, однако,
В листопадном запале
По следам полумрака.

Посбиваются клином
Журавли над землёю,
Я небесным тишинам
Своё сердце открою.

Владимир Лидский

Умри-воскресни

Повесть

...ее вывели из дворца и через весь Кремль повлекли к какой-то дальней стене, — за спиной ее шли два стрелка с немислимо длинными *винтарями*; шинели стрелков хлопали на ветру, и оба они кашляли в кулаки, красные от мороза, обветренные и задубевшие; поодаль шли двое в штатском, — с повадками племенных вождей, они бубнили бесцветно, перебивая друг друга, — в их голосах слышала тетя София отчаяние, злобу и неизбывное горе, — бубнили так, что слов было не разобрать, лишь звуки-окатыши ссыпались с обветренных губ, и тетя София нервничала, вслушиваясь в раздраженную перебранку начальников и сухой кашель стрелков, ветер выл, гоняя поземку, несущуюся, как сор по маслянистым спинкам обледенелых булыжников, жег плечи, ноги и онемевшее на морозе лицо, тетя София шла, время шло, вечность шла, но стояла на месте, и смерть шла рядом с тетей Софией, тетя София шла и почти равнодушно думала: убьют! убьют почему зря, ни за что, без вины... ну, какая моя вина? кто может воскресить почившего? я же не Господь... Он мог, Он сказал: *талифа куми!* а начальнику синагоги сказали те, кто хотел предварить Его: не утруждай Учителя, дочь умерла! но Он взял ее за руку и сказал: талифа куми! что я могла сказать?... я воскрешаю наложением рук, но вселенная спит, повернувшись ко мне глухим ухом, — трижды могу сказать я: талифа куми! но уснувший навеки уже не проснется... никто не воскреснет, ибо есть причины распада белка... меня убьют и никто не скажет: талифа куми! ибо не Господь воскресил дочь Иаира, а цепь случайностей, причудливо сошедшихся пазлов, велений судьбы, прихотливо уронившей свои песчинки в строгом порядке, который один только и приводит к чуду! я умру и памяти по мне более не будет в мире... и начальники, шедшие за тетей Софией, те самые, которые с повадками племенных вождей, перестали бубнить, перейдя на шипение, и, как две змеи, стали шипеть друг другу шумным шелестящим шепотом, едва сдерживая яд в своих ядовитых зубах; стрелки кашляли, племенные вожди шипели, ветер выл, поземка мелась, и стаи

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Живет в Бишкеке. Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

сухих замороженных катышков перебегали с места на место; тетя София плелась ко своей гибели и думала: меня воскресят, меня еще воскресят, ибо не зря сказано — талифа куми! я воскресну, меня не забудут, расскажут обо мне, и я буду жить дальше назло и в пику простуженным всмерть стрелкам и начальникам с повадками племенных вождей... ее подвели к стене и приказали стать противу стрелков, она стала, и один из начальников приказал: товсь! она внезапно замерзла, оледенела... так замерзла, как замерзает человек, рухнувший в мерзлоту, и тысячи ледяных искр пронзили все ее существо, сковали мозг, скрутили параличом тело... сердце ее остановилось, и она подумала... что могла подумать бедная моя тетя София? ничего не подумала, а просто в ужасе закрыла глаза и... вовсе не желая того, увидела: день окончания гимназии, и уже тепло, и ольхи над Лидейкой и Каменкой опушились зеленоватым, и она в тот день была в выпускном — в прекрасном белом платье с пелериной и белым бантом, белые нарукавники — выше локтя, — вот она идет по Виленской в сторону костела в окружении однокашниц, это такая, как говорят, стайка легких птичек, беззаботных, веселых, счастливых от сознания того, что жизнь началась, и уже можно... что можно? все! можно все! и можно просто идти навстречу дню, солнцу, молодому лету и прекрасным юношам в сюртуках, жилетах или рубашках навывпуск, и какие же юноши! высокие, смуглые, огнеглазые! перейдя Виленскую возле костела, девочки подходят к шикарному «Гранд-отелю» Беньямина Ландо, — здесь арендует ателье господин Мулер, и это элитное, исполненное аристократического шика место! юные дамы щебечут, ожидая приема фотографа, а тетя София заходит внутрь, становится спиной к заднику, щедро изрисованному южными пальмами, и опирается на ампирный столик, с краю которого стоит псевдоримская ваза с золотыми кариатидами... в руках у тети Софии книга, — это строго запрещенный Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль», но ведь уже свобода, а господин Мулер и вообще лишен предрассудков! это он дает гимназисткам книгу, толстую солидную книгу, — дабы подчеркнуть степень учености фотографируемых девиц и — снимает, укутавшись в плотный полог, так точно, как укрывается в субботний талит, — вот память, которая ляжет в альбомы и, может быть, останется в чьих-то руках, а может, полежит век, мирно подремывая под обложечным бархатом, и отправится в мусорный бак, уgomонившись, успокоившись среди чужого дрязга и праха, и — канет; тетя София бежит между тем домой, на берег Лидейки, где стоит ветхая, но любимая, строенная еще дедом халупка, в которой ждут ее и скучают братья, младшему из которых — два года, он поскребыш, последний сын пожилых родителей, — знали б родители аппетиты эпохи, жрущей младенцев скопом, оптом, не стали б рожать одиннадцать малышей, которые — мечталось им — вырастут и родят внуков; да, мало кто родил внуков, ибо беспокойная была жизнь — сын Богдан погиб на Чукотке, пытаясь осчастливить аборигенов благами Советской власти, сын Саша, скрипач-виртуоз и любимец голландской королевы, чудом уцелев в 1919-ом в ледяном Петрограде, умер в Амстердаме от коварной испанки, сын Авессалом, друг мятежного Кучек-хана, пропал в талышских горах, — все почти дети сгинули в бомбовых воронках эпохи и не оставили будущему малышей, а старики так хотели новых детей! вот и тетя София, бежавшая с Виленской от «Гранд-отеля» Беньямина Ландо, очень хотела своих детей, — привыкнув нянчить братьев-сестер, хотела своего малыша, лучше девочку, с которой можно будет возиться, как с куклой, любить, нянчить, но... не суждено было ей детей, не так что-то сплелось в ее женской сути, — как старался Анджей, любимый пожилой муж ее! — детей не было, но это уже годы спустя; ездили они в Краков, Лодзь и даже Варшаву, да врачи только руками вели, и так дожила тетя

София до конца века, в серьезных уже летах решив наконец не ждать милостей Бога, — попеняла отцу на судьбу, и отец, наведя справки в соседней Хрустальной, велел носить ей думку на животе, а потом — несколько месяцев спустя — убрать думку и носить подушку, на девятом же месяце отец поехал в Хрустальную, одолжив у свояка лошадь с подводой, там, в Хрустальной жила чистая женщина, тяготившаяся детьми, и дети гарантировали ей нищету, вот как раз с месяц до визита отца родила женщина девочку и кормила ее, — отец явился, долго толковал с ней, и она смирилась, — сахарная голова, корзина яиц, большой кусок нанковой ткани и незначительная сумма денег удовлетворили ее скромные желания; договорившись о дне выдачи ребенка, отец вернулся в Лиду, дождался дня, снова одолжил у свояка подводу, взял тетю Софию и в ночь поехал в Хрустальную; женщина, держа ребенка в свивальниках, вышла с крыльца и сказала, обращаясь в пространство: нешто покормить напоследок? но отец, резво спрыгнув с телеги, подошел к женщине, взял младенца и грубо ответил: мать покормит! — так тетя София обрела ребенка, и отец за деньги оформил его, то есть ее — девочку, которую назвали Агнешкой, и Анджей любил дочку самозабвенно, животной какой-то любовью на грани с безумием, тряся над ней, баловал ее и позволял все, что она только хотела, но она ничего не хотела и была равнодушна к жизни, — как птенец, которому не судьба летать, — тетя София, когда дочь явилась, была равнодушна, но держала ее в руках, — Агнешка без остановки вопила, требуя молока, и отец тети Софии пожалел о своем решении в Хрустальной, когда не дал кормить ребенка, — вся семья думала уже, где взять молока, — отец с матерью пошептались, и мать даже хотела дать девочке свои старые и, разумеется, пустые соски, но утром грудь тети Софии надулась и тетя София стала ощущать явственные уколы невидимых иголок, — грудь пухла, иголки кололи изнутри, и тетя София плакала от боли... тут пошло молозиво, и рубашка тети Софии стала мокрой, она все плакала, Анджей метался, но вдруг у тети Софии открылось молоко и она стала кормить; Агнешка стихла и весь день висела на груди тети Софии, покряхтывая, сопя; молока приходило столько, что можно было кормить еще одного, а то и двоих, — все банки, крынки, кастрюльки в доме были полны, и тогда отец позвал знакомую женщину из Полицейского переулка, у которой не было молока, но был младенец, и она носила младенца, тоже девочку, которую тетя София кормила ради избавления от болей в груди; Агнешка была странная — с каким-то посторонним взглядом, и с рождения смотрела на мать так, будто знала что-то незримое; ее младенчество сделало тетю Софию и Анджея богачами: тетя София носила на шее бронзовое кольцо, найденное когда-то в развалинах замка, и пан Шломо Хоскевич, единственный в Лиде антиквар и редкий знаток старины, на полном серьезе уверял тетю Софию, что кольцо ни больше ни меньше времен Гедимины, а может, и сам князь владел им или некто из его семьи; однажды Агнешка, играясь, схватила кольцо, свисавшее с материнской шеи, и оно изменило цвет; сначала это осталось без внимания, потому что никто не заметил смены цвета, но спустя время Анджей сказал, что кольцо как-то играет, его сняли с нитки и понесли пану Шломо, лавка которого была на Базарной площади возле синагоги; пан Шломо долго рассматривал кольцо в лупу, цокал языком, хмыкал и сказал наконец: оно золотое! — бронзовое, сказал Анджей, вы сами уверяли! — пан Шломо вынул из недр своего стола большой магнит и приложил к кольцу: видите? спросил он, — так ведь и бронза не магнетит, парировал Анджей, — добра, сказал пан Шломо и достал склянку с уксусом, — после двух минут в уксусе кольцо продолжало играть, — не убеждает, сказал Анджей, — добра, снова сказал пан Шломо, роясь в своем

столе, — я таки докажу вам, — и вытащил невзрачный цилиндр, — ляпис, торжественно объявил он и провел цилиндром по кольцу, — и что? спросил Анджей, — не реагирует, сказал пан Шломо и картинно развел руки в стороны, — вашему здоровычку, сказал Анджей, взял кольцо, кивнул тете Софии, и они вышли на площадь; любой немагнитный металл превращался в руках девочки в золото, и Анджей нарочно скупал бронзу, латунь и все такое ради безумного гешефта, дававшего новые тайные возможности, но... тетя София боялась золота, зная его коварную силу, и когда ребенок болел, думала: золото тянет из ребенка жизнь, и это спустя годы стало очевидным, но до смерти Агнешки и даже до рождения ее была у тети Софии история, способная всякому атеисту сообщить много пользы, передав редкий опыт понимания смерти не как окончания сущего, а как начала вечного взаимодействия с будущим и пролога общения с потомками: тетя София решила стать медиком и в восемьдесят шестом, девятнадцати лет, поступила в Московский университет; спустя два года стала она ученицей Клейна, который был ординарным профессором кафедры паталогической анатомии; Иван Федорович научил ее любить мертвецов, потому что мертвец есть непостижимая тайна, требующая, безусловно, разгадки, и когда впервые в прозекторской увидела она на мраморе секционного стола разъятое женское тело, с ней случился почти припадок, — с тех пор всегда, находясь в секционной, испытывала она экстатическое чувство причастности к загадочному миру мертвых, которые — она знала точно — рано или поздно воскреснут, ибо помнила она слова от века: *истинно говорю вам: грядет время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, оживут и изыдут, творившие добро — в воскресение жизни, творившие зло — в воскресение осуждения*; внутренний мир человека — в прямом смысле выражения — восхищал ее своей удивительной сутью — гармонией, порядком и божественной красотой, ей хотелось вернуть сие чудо к жизни, — и она пыталась сделать это посредством наложения рук, но... знаний было катастрофически мало, и она часами говорила с учителем, который уверял, что воскрешение невозможно, ибо плоть конечна и разрушение белка есть необратимый процесс; в это время на Девичьем поле строился Клинический городок, а в нем — здание Патологоанатомического института; Иван Федорович звал ее по завершении учебы к себе — в качестве ассистента, но она, пытаясь понять правила воскрешения мертвых и не понимая их, думала учиться дальше, что привело в конце концов в Берлин, где она застала гениального Вирхова, сильно повлиявшего на ее осознание природы, а главное, — давшего ей истинное понимание жизни согласно знаменитому тезису *omnis cellula e cellula*, то есть «клетка происходит от клетки»; сначала она подробно изучила воззрения древних, чтобы понимать движение мысли от века к веку, — может быть, думала она, в их открытиях, предположениях, догадках есть рациональные зерна, и с упрямством неопита пыталась сыскать их, но логика пионеров науки страдала такими изъянами, какие просто не вписывались в естественно-научные представления конца девятнадцатого века; Фалес Милетский, к примеру, полагал: явлению жизни способствуют атомы огня во взаимодействии с землей, Эмпедокл уверял, будто рождение живых организмов происходит в речном иле благодаря подземным миграциям тепла, Платон в свою очередь убеждал современников в духовном происхождении материи, то есть неживая материя, по его мнению, становилась живой как только сходил на нее горный дух... что за дух, откуда сходил и какова вообще природа его, Платон не объяснял; Аристотель меж тем поддерживал идеи Платона, но тетя София при всем уважении к обоим не могла слепо довериться авторитетам; так же категорично отвергла она и учение

Блаженного Августина, который подводил под свою теорию религиозную базу; находясь в полной растерянности, тетя София пыталась нащупать твердую научную почву, но тут Вирхов, подливая масла в огонь, посоветовал критически осмыслить Парацельса, дабы убедиться в полной несостоятельности великого медика в вопросах зарождения жизни, — Парацельс и вовсе нес какой-то околonaучный бред, граничивший со средневековым мракобесием: возьми, дескать, говорил Парацельс, *известную человеческую жидкость, то есть сперму, и помести ее в закрытую тыкву на семь суток, после чего храни сорок недель в лошадином желудке, добавляя каждый день крови;* результат, уверял Парацельс, будет налицо: *по истечении срока явится живой ребенок, имеющий все члены, — как дитя, рожденное женщиной, но весьма маленького роста;* тетя София в отчаянии обращалась к учителю, но тот лишь издевательски хмыкал, отсылая ее в новый поиск; в конце концов Вирхов ознакомил ее с трудами Спалланцани и посоветовал уделить пристальное внимание работам здравствующего в Париже Пастера, после чего тетя София пришла к мысли, что воскрешение человечества возможно — пока в теории, но и практических результатов, думала она, когда-нибудь удастся достичь; она и достигла, но это было годы спустя, уже после рождения Агнешки, а до этих событий, задолго до них, она шла быстро-быстро по Виленской и даже бежала, потому что весенний день переполнял ее, и счастье переполняло, и предчувствие грядущего, она бежала по Виленской от «Гранд-отеля» Беньямина Ландо и думала о любви, предчувствуя любовь, ведь любовь должна была явиться, как мечталось, в образе стройного военного, — молодого, красивого и в романтическом смысле безупречного, она и явилась, то есть любовь, а было в ту пору тете Софии восемнадцать лет; ее избранник, носивший имя Анджей, был именно строен, красив и романтически прекрасен, но — не молод! и было ему тогда, пожалуй, за сорок; родом он был из Брест-Литовска и принадлежал к шляхетской фамилии; отец его избирался в свой час уездным предводителем дворянства, благодаря чему мог влиять на местное сообщество и умягчать по мере сил своих нравы земляков, воспламенившихся в 1831-ом; с началом пожара многие горячие головы решительно стали собираться в Беловежскую пушу и даже брали оружие, предполагая сражаться с русскими за новое возрождение Речи Посполитой; благодаря страстным речам осторожного предводителя дворянства потенциальные инсургенты оставались вполне мирными обывателями, сберегая жизни свои и ближайших родных; предводитель же дворянства был богатым отцом, вдовым и не желавшим наново жениться, родителем пяти сынов, которые получали образование в усадьбе: наставником служил у них ксендз Мастюк из Вильно, тайный убийца и бандит, ливший русскую кровь еще под штандартами Наполеона; русские были для него враги, сломавшие границы прежней Польши, и вот спустя два десятилетия от начала войны двенадцатого года он вновь взялся за оружие и в самой гуще первого восстания изрядно наломал дров, но минули года, он поучился в семинарии, образовался, получил рекомендации и стал репетировать подростков, — так и попал в семью брестского предводителя дворянства, где давал детям закон Божий, историю Польши, польский язык и арифметику, — он, впрочем, не был охоч до наук, зато был предерзок в отношении прекрасных дам, кои хлопотали в поместье предводителя, — на кухне, в комнатах, а также в саду, парке, в конюшнях и на псарне, — как ловко задирали он время от времени сутану, не видел предводитель, но хорошо видел Анджей, любивший следить за проказами ксендза; тот отличал еще и хозяйское винцо: скрадется между уроками в буфетную, оглянется на стороны, откроет шкафчик, достанет графинчик, возьмет лафитничек, булькнет втихаря да и

опрокинет! такой был затейник, но ненависть горела в нем, ненависть к русскому укладу, и снова прошло довольно лет, а он, будучи уже не млад, снова стал в шестьдесят втором году поборником старых границ Речи Посполитой и такую нехорошую роль сыграл в судьбе Анджея, что тот проклинал ксендза много еще лет по смерти его, а любил Анджей другого человека: был в учителях у сыновей предводителя также пан Казимеж, наставник в рисовании и живописных упражнениях, под руководством коего Анджей достиг больших высот, — учитель прочил ему славный путь, — пан Казимеж был молод, горяч, но и рассудителен, и многожды приходилось ему спорить с Мастюком в присутствии учеников относительно будущего Польши, — пан Казимеж в согласии с ксендзом искал прежней Речи Посполитой и хотел свободы стране, не думая, однако, будто ее следует добыть кровью, — в этом они с ксендзом сильно расходились, а ксендз, против того, мечтал о крови, горел кровью и жаждал крови, — пан Казимеж, не соглашаясь и противореча, приглашал ксендза к мирной дороге созидания, которую непримиримый Мастюк гневно отвергал; Анджей склонялся к мнению Казимежа, и даже не в силу расположения к нему, а единственно потому, что не терпел насилия, казавшегося враждебным живой жизни человека; в пятьдесят втором году Анджей вступил в кадетский корпус в Бресте, что вызвало ярость и возмущение ксендза, ведь то был корпус императора, но отец Анджея имел свои резоны и наставлял сына впредь учиться с сердцем, налегая пуще всего на русский язык, и постичь его, ибо с ним только и могут войти в ум молодого человека идеи человеколюбия и братства; ксендз Мастюк был очень против, но высказывать свое мнение не смел, посему спустя время стал ездить в корпус и, испрося свидание, внушать подопечному кадету зажженные ненавистью к русским патриотические мысли, — друг мой, говорил Мастюк, держись католического строя, люби отчизну и помни Стефана Батория, победителя Ивана Грозного, помни Ходкевича, воевавшего русских, и Владислава-королевича, гостя московского престола, помни Жолковского, разбившего князя Шуйского при Клушине, Собеского и короля Сигизмунда, ты поляк, и судьба, стало быть, тебе любить польское, — он любил польское и учился ненавидеть русское, но русский язык учил прилежно, — как просил отец, — русские повести читал исправно и имел русских друзей среди кадет, — польское, впрочем, каменело в нем, и под влиянием Мастюка, чей пригляд был строг, он вдохновлялся всякий день, восторженно возбуждаясь победами Костюшки; будучи кадетом, Анджей ходил в тайные собрания, где пели «Марсельезу» и польские песни, вместе со всеми бузил в корпусе, а когда началась буза на улицах, принимал живое участие и в ней; в шестьдесят втором году, выйдя из корпуса, поехал он в Варшаву искать службы, но был захвачен необъяснимым городским брожением: в улицах клубился народ, разодетый со странною претензией — кругом мелькали кунтуши, конфедератки, революционные эмблемы, дамы были в трауре, простоволосые и убранные терновыми венцами; костелы жужжали, как ульи, и в каждом из них собирали *народову офяру*, то есть пожертвования ради революции, — Анджей изумленно смотрел: подносы начищенной меди споро наполнялись бриллиантовыми кольцами, золотыми серьгами, жемчужными ожерельями, всюду гремели патриотические песни и слышались крики *Polska, Polska, Polska!* — свое платье стало казаться ему бледным, то было обычное платье, без патриотического лоска, и он, сыскав портного, заказал у него *чамарку* с шароварами, — влиться в народ могли помочь также сапоги и конфедератка, что вообще не было проблемой — сапоги были у него свои, а конфедератками торговал в Варшаве всяк галантерейщик; блуждая по городу, Анджей вдыхал воздух свободы и пьянел без вина,

до того чудной казалась ему атмосфера горячего города, — в Саксонском саду гремела демонстрация, и молодой шляхтич жег толпу вдохновенною речью о приезде Гарибальди, взявшего диктатуру и ставшего во главе революции, — братья-поляки! вопил оратор, пришел час свободы! как один взойдем под руку Гарибальди! долой москалей, долой москальскую власть! — и толпа отвечала: доло-о-ой! — в сад между тем входили новые толпы, ведомые ксендзами, чамарки братались с кожухами, мешались сословия, и не было более панов и крестьян, были братья и верные сыны забитой *ойчизны*, вдруг вставшей ото сна и продравшей горло, — все разом кричали, кресты, хоругви, ветки плыли над толпами, то тут, то там возникали сбойки людей с кипящими ораторами внутри... страшные слова говорились и проклятия сыпались на империю чохом; отпор не был силен, — Велепольский, помощник наместника, готовил реформы, желая примирить умеренных с партией радикалов, чтобы избежать мятежа, но два покушения на него заставили торопиться: в январе шестьдесят третьего он объявил рекрутский набор и определил в списки всех, кто был причастен к бунту, манифестациям или враждебности Государю, — служить империи пошли двенадцать тысяч *накупленных*, — потенциальных убийц и головорезов... но тут все и загорелось, — посыпались манифесты, декреты, указы Временного правительства и следом — вооруженные стычки; Анджей был в возбуждении и уже видел Польшу свободной; в Бресте, куда он поехал навестить отца, встретился ему Мастюк, — ксендз горел, без конца говорил и во весь разговор был близок к истерике, — глаза его блистали, руки двигались, он брызгал слюной, дергался, гримасничал и никак не мог пресечь в себе поток отборной брани, наконец собрался и развязным тоном предложил Анджею вступить в шайку, — в шайке командовал он сам; оружия у нас нет, говорил он, но мы добудем его, есть окропленные святой водой ножи, — станем резать русских и помещицьи глотки! — надо ли? вопрошал Анджей, пугаясь решительности Мастюка, — надо! уверял ксендз, уверенно разрубая рукой воздух, — и папашу твоего зарежем, для чего русских привечал? — тут Анджей пугался больше, ибо действительно в тридцать первом году отец стоял на стороне русских и, будучи предводителем, пытался утишить *патриотический* жар друзей и соседей, год спустя писал прошение к Государю ввести бытование языка русского — там как раз, где всегда торжествовали белорусский с польским; за то радение местные помещики не любили отца, а ксендз Мастюк и вообще не стеснялся в присутствии соседей очернять его; жалованье у предводителя он между тем получал и не считал зазорным класть губы в чужое вино, — ты думай, говорил Мастюк, у меня шайка в двадцать душ, завтрашний день идем на Гродно! — Анджей не желал идти, бросать отца и становиться *двадцать первым*, — хорошо подумай, улещал ксендз, в Лидском уезде стоит, ожидая нас, полковник Нарбутт, а с ним знаешь ли — кто? — кто? спрашивал Анджей, — друже твой Казимеж, сам Андриолли его вызвал; Анджей был убит: пан Казимеж в отряде Нарбутта? хотел он разве воевать? — и до самого утра думал Анджей, идти или не идти: с одной стороны, он горел свободой Польши, с другой — отрицал насилие, к тому же — не хотел бросать отца... но и мечтал обелить его, отмыв герб рода своим мятежным делом, — отец слыл *сомнительным*, и в условиях бунта ему нельзя было жить в поместье; утром Анджей просил отца уехать — в Германию, Францию, куда угодно, а сам решил стать *двадцать первым* примкнул к разбойной шайке, в которой было два шляхтича из мелкопоместных и крестьяне, вооруженные косами, впоследствии их звали — *косиньеры*; взяв продовольствие, отряд выступил в поход и спустя время явился у Жабинки, где наткнулся на двух конных казаков, — казаки принялись стрелять, но спас лес, и никто

не был уязвлен, — мятежники, против того, имели успех, вытеснили их в лошину, косами сняли с коней и отобрали оружие; никто не хотел забирать казачьи жизни, но Мастюк вынул нож и, подойдя к поверженным, хладнокровно раскрыл им глотки; ружья, лошади, одежда были добычей; все дружно радовались штуцерам, открывавшим возможности и облегчавшим путь, лишь Анджей, хмурясь, мрачно попенял ксендзу: зачем убил? чего же не оставил? — но ксендз сказал: нужно было убить, и папа позволяет, и Бог простит... а ты как думал? — дорогой к шайке ксендза прибывали новые люди — из сел, местечек, фольварков, шайка росла, являлись бунтовщики с ружьями, и со временем отряд превратился в грозную силу, но знал уже о нем и противник, были стычки, раненые, и двоих даже схоронили в лесу, некий генерал уже искал жизни Мастюка, и ксендз, думая срезать путь, бросил Гродно и двинулся на Лиду; по пути было поместье в управлении знакомого Мастюку Вспольского, принявшего мятежников; Вспольский стал потчевать гостей, чтоб шибче убрались, а тут, как назло, и донеслось: следом прет генерал, мечтающий ксендза, — Вспольский, недолго думая, выслал генералу вина, три бочки чистопородного *бимбера*, дабы остановить спорое движение войска, — ясно же было, что помещик виновен, привечая у себя мятежных гостей, да генерал, надо полагать, был не прост, — встретив бочки, порубал их шашкой, разбил в щепы и, не говоря худого слова, пошел дальше, — через два-три часа достиг цели и всею мощью войска обрушился на Вспольского; пространство окрест пришло в смятение, — грохот артиллерийской канонады, стук пуль, горький дым и вопли солдат... усадьба превратилась в месиво, и хозяин в неразберихе был убит... бедный Вспольский! — думал Анджей, спустя неделю, когда поредевший отряд Мастюка кое-как ушел в леса, — бедный Вспольский... хотел остановить судьбу бимбером... как фатально и прозаично теряет жизнь бедный человек! не разлей командир вина, может, и пожил бы еще несчастный помещик... дозволю генерал солдатам напиться, они бы увалились в кусты, уснули, а шайка Мастюка тем временем ушла б, — все живы, и помещик жив... но ведь не случилось! генерал, впрочем, отвалил, и несколько времени отряд шел без боя, ночуя в лесах либо в поместьях хозяев, благоволивших бунту, — проходя деревни, Мастюк обыкновенно становился и, говоря громкие речи, воспламенял патриотов, подспудно горевших возмущением к москалям, — крестьяне брали спрятанные в схронах косы и становились под знамя Мастюка; косы, надо сказать, назначены были для снятия голов, лезвия их крестьяне ставили в продолжение косовищ, снабжая со стороны обушков крючками для стаскивания врагов с коней, — вот эти *косиньеры* обычно шли в арьергарде, прикрывая обоз, впереди шла кавалерия, а посередке — стрелки со штуцерами, — так от местечка к местечку армия Мастюка прирастала бойцами, и каждый фольварк давал двух-трех патриотов, ибо ксендз не знал удержу в речах, и огненные слова его взжигали всякого, кто мечтал свободу Польши; впрочем, не все и мечтали, предпочитая вседневный покой сомнительной военной славе, — таких Мастюк вешал, — входил в село, искал крестьян и, ежели которые виляли, — совал без разговоров в петлю! но противников смуты было, против ожидания, довольно, не только в крестьянах, но и в помещиках, духовенстве, — их вешали, резали, а Мастюк воспитывал подручных, со счастьем исполнявших приговоры, — позже, под Лидой, те люди, или, говоря точнее, нелюди, стали в строй *кинжальщиков*, официальных убийц Жонда народовца, то есть, правительства, которое гнездилось в Варшаве, — Мастюк брал силу и, будучи в Щучине, получил с нарочным грамотку о возведении в военные воеводы и полковники, — победы его дошли в столицу, а пуше — слухи об усмирении крестьян,

ибо достигнутое не полагал он достижением, а, изобретая новые революционные формы, дошел до учреждения даже жандармов-шпионов и жандармов-вешателей: первые искали *нахмуренных*, а вторые, недолго думая, казнили их, — так возле Хрустальной по наущению ксендза казнили унтер-офицера, отставника русской армии, а с ним — жену с детьми за то лишь, что унтер сей подозревался в шпионаже и почитал православие правильной верой; как можно? — спросил Анджей Мастюка, желая остановить казнь, — разве доказал ты? а детей за что? а бабу за что? — стружкой же мужик! с досадой сказал Мастюк, *подозревался!* для чего ж не казнить? — так Мастюк шел, сметая по пути своих, чужих и не особо разбираясь в правоте виновных; Нарбутт тем временем успешно воевал под Лидой, ожидая подмоги, хотя отряд его и без подмоги рос — являлись к нему бойцы, слышавшие об успешной борьбе и желающие прославиться в боях, — он принимал всех, и в лесных стычках удача всегда благоволила ему: в конце февраля у Рудников царский полковник Тимофеев был разбит Нарбуттом и потерял штуцера, продовольствие, боевые припасы; Нарбутт, как Мастюк, получил из Варшавы звание полковника и был назначен главным революционным комиссаром Лиды и Лидского уезда, — вообще, в случае поимки он был бы незамедлительно казнен, поскольку противной стороной считался предателем, ибо недавно еще служил в русской армии и вышел поручиком в отставку, — то был нестарый человек — суровый, малословный, полный амбиций, — грозные черты Нарбутта, страшные усы, холодный взгляд палача пугали всякого, не знавшего его близко, но солдат своих он любил, и они верили в его любовь; договоры были у Нарбутта с двумя шайками — Мастюка и Кульчицкого; Мастюк с боями шел в леса, а Кульчицкий, который в мирное еще время был начальником гродненской станции железной дороги, атаковал со своей группой вокзал в Гродно, пытаясь угнать паровоз и достичь Лиды, но был разбит в прах пехотным полком штабс-капитана Макарова, — лишь с десяток мятежников избегли гибели и уже без боев стали пробиваться в Лидский уезд; спустя время партизаны сошлись в лесу под Поречицей, и Анджей был рад видеть дорогого друга Казимежа, познакомившего его с Андриолли, который хоть и бежал впоследствии смерти, но попал под суд и едва скрылся в Англии, — судьба охранила агитатора, а если б не судьба судьбе, — мир не видел бы его картин, запечатлевших Людвика Нарбутта, комиссара Лиды, и Леона Кульчицкого, начальника гродненской станции, и Казимежа, коллегу и друга, и Анджея, безымянного героя эпохи... мятежники праздновали сход, думая торжествовать новые победы, но противная сторона тем часом не спала, и борзой Тимофеев уже готовился к реваншу, да и взял его: после разгрома у Рудников силы полковника выросли в разы и были подкреплены даже артиллерией; пока Нарбутт громил и грабил продовольствие в Поречице, Тимофеев стянул войско и взял в клещи лагерь инсургентов; лагерь был в укывище, по сторонам от него стояли местечки, а в тылу плескалось озерцо, блокирующее пути к ретираду; штурм лагеря не оставлял повстанцам шансов, и они пошли на прорыв, — Анджей рубился спина к спине с Андриолли, кругом шелкали штуцера и горел лес, подожженный пушками врага, и вот уже упал сбитый пулей боец, вдалеке — другой, за краем поляны — третий, картечь стучала непрерывно, и среди грохота, дыма и ржания коней Анджей терял путь, крутясь на месте в пылу боя, шашки звенели вокруг него и залитые кровью лезвия мелькали у глаз, — русские жали и шли по трупам, тесня пехоту к озеру, но тут... за дальней опушкой явилась кавалерия, осененная трехцветным флагом Жонда и алым знаменем Ягайло, — неровной лентой в сопровождении грохота копыт кавалерия вырвалась из леса и ринулась в прорыв, разворачивая по ходу фронт... протрубил бой

трубач и лошади ринулись вперед! русские убрали пушки, двинули кавалерию... все смешалось: кони, шашки, знамена! и возгласы гнева вспыхивали среди боя, и крики отчаяния, азарта и ужаса тонули в хаосе звуков, — Анджей рубился, кидаясь влево, вправо, и кони толкали его влажными крупами, — кавалерия втягивалась в поле боя, и сам Нарбутт летел вперед на взмыленном жеребце, истерически воя: пошли! пошли! пошли! — выставив перед собой шашку, неся, как смерч, и опять звал трубача: атаку! атаку! атаку! — трубач трубил, и мятежники очертя голову, как в омут, бросались на врага... клубы пыли, кровь — в плеск! и вот уже кавалерия, растолкав вражьих коней, порубав всадников, сорвав глотки, ринулась на цепи русской пехоты и... прорвала их! бой закипел в тылу врага, и слышно было в редком осиннике, как клокочет ярость в сердцах бойцов... русские наседали, и вот уже упал на корни осин Игнаций Мельчинский, командир десятки, и рухнул разрубленный шашкой Винцент Сосновский, шеф тыловой стражи, и схватился за грудь ксендз Мастюк, полковник и сотский, а Адам Карпович, косиньер из Ружан, обхватил разбитую голову и свалился без чувств под ноги бойцов... что, впрочем, описывать бои! достанет ли перьев описать? вряд ли! столько батальи впереди, столько людей следует положить еще ради достижения цели или, быть может, добывания славы... достичь цели или не достичь... ведь цель призрачна, недостижима, нелепа: убить врага, истребить до корня, до праха, свести в могилу, в небытие, — без права воскресения, и надо ли петь о герое, чей силуэт (якобы) растворяется в тумане эпохи, или рассказывать, как доводца сделал его казначеем отряда, доверив монеты, слитки золота и мешочек с камнями, оправленными в серебро? — все это мало значения имеет в сопоставлении с пустотой, в которую от века валяются без счета погибшие в сраженьях воины и породившие их города, страны, цивилизации, потому коротко, хоть и мимоходом, но следует сказать: нагнав бунтовщиков спустя десять дней возле Кротов, полковник Тимофеев наполовину истребил вояк Нарбутта; предводитель утратил в битве коня и приобрел пулю, застрявшую в плече; а там финал: попавший в плен косиньер Адам Карпович выдал упрямому полковнику место хранения отряда, стоявшего на берегу Дубицкого озера, и Тимофеев решил разом кончить с врагом, так надоел ему строптивый Нарбутт, — три пехотные роты вкупе с казачьим эскадроном уверенно свершили дело: остатки отряда повстанцев были изрублены в хлам, а сам комиссар взял три пули вдобавок к одной, доставшейся ему в первой баталии, взял — и не выдержал ноши... тут кончилась борьба за обманную свободу, и Анджей, не желавший более борьбы, вышел из нее вчистую и, с миром приняв личную свободу, которой у него и без того было вдоволь, отправился в Лиду, надеясь укрыться в многолюдном местечке: здесь нужно было ему прибрать казну, — время было лихое и люди бродили окрест лихие: он выбрал замковые руины, куда боялись соваться не только пришлецы, но и местные старожилы, и безлунной ночью надежно спрятал отрядное золото, доверенное ему недавно ксендзом, в развалинах одной из сторожевых башен древнего замка Гедимины; как тетя София сошлась с Анджеем, история не донесла, и я могу лишь констатировать сей факт, — есть письмо Анджея к тете Софии с пометкой «1885» — фривольного даже содержания; обстоятельство это сообщает: у восемнадцатилетней тети Софии с сорокадвухлетним Анджеем уже были отношения, — никто не знает какие, но факт знакомства, разумеется, налицо; спустя год тетя София жила в Москве в опеке у ординарного профессора Ивана Клейна и, горько переживая разлуку с Анджеем, писала ему исполненные горячечной любви послания, уверяя любимого в преданности, верности и неодолимой своей тяге ко всей его необычайной жизни; венчались они в

девяносто втором, зная уже о поездке в Германию, — произошло это, однако, не вдруг, так как тете Софии пришлось ради венчания принять католичество; Анджей любил ее без ума, то есть с умом, но теряя ум, рассудок и чувство реальности от любви, когда она просто на него смотрела — карими глазами, чудными глазами цвета ореховой скорлупы; он был в возрасте и понимал, что она — последняя любовь, лебединая, как говорится, песня, и иных песен в жизни его уж не случится, — он ревновал, мучился и пел любовь каждой минутой жизни, которой немного оставалось: он знал — сроку его не быть долгим, а ты, голубчик Софочка, душа моя и свет сердца моего, ты будешь жить век — счастливо, беззаботно, даже и одна, но *положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь*; он любил ее так, как любят последний (первый) день жизни, как любят ускользающую жизнь, как все счастье, случившееся в жизни, как любят смысл ее, назначенный роком, ведь в назначении жизни и есть смысл человека, — обнимая ее, ощущал он трепещущее тело, пылкое, горячее, вдыхал аромат ее волос и с вожделением целовал голубую жилку, дрожащую на шее... тетя София не хотела в католичество, а костел был супротив венчания: стань католичкой, и после того уже изволь; Анджей говорил ей: давай! к тому ж мы и не разведемся впредь, ибо ксендзы не позволяют же развод, — словом, свершилось — переход в католичество, венчание, великая любовь, ведь и тетя София готова была жизнь отдать за мужа, души не чая в пожилом избраннике, который любому юнцу в любом начинании мог дать очки вперед, впоследствии непременно обогнав его; *молодые* пожилы у родителей, и спустя время, не умея сдерживать порывы в части науки воскрешения людей, тетя София возжелала Германии, Берлина и патологоанатома Вирхова; денег на дорогу не было и, немного подумав, Анджей отправился в замок Гедимины за спрятанной там давным-давно казной, порученной ему в год усмирения смуты теми, кто в земной жизни не потребует отчета, не спросит расходных бумаг и уж не заявит своих прав; копая землю, сыскал он кирасу, шлем и средневековый меч, забытые тут неизвестно кем века назад, а казну — не смог сыскать, — может быть, кто-то до него сыскал; нашлись, впрочем, несколько александровских монет в пятьдесят злотых, которые и были потрачены на берлинский вояж, а доспехи Анджей принес в дом и, несмотря на протесты тещи с тестем, прибрал в сенцах, намереваясь позже как-нибудь предложить их главному интересанту — пану Шломо, лидскому антиквару и знатоку лидской старины; так тетя София с мужем смогли поехать в Германию; семь лет в Берлине научили тетю Софию парадоксально и нелепо мыслить, — благодаря Вирхову она поняла, что основа всего — клетка и никакого *самозарождения*, о котором с завидным упорством твердили малограмотные ученые темного прошлого, в природе быть не может, значит, и воскрешение, с недавних пор ставшее для нее психозом, без живой клетки невозможно, но! рассуждая мистически, любое зерно, брошенное в землю, должно прорасти и дать потомство, потому предки наши, закапывая покойников, были интуитивно правы: тело должно дать другое тело, — мысль эту тетя София пыталась донести Вирхову, на что тот резонно возражал: мертвое тело не может быть семенем, я же говорил вам, коллега, — распад белка есть необратимый процесс! — хорошо, парировала тетя София, но может ли ваше утверждение опровергнуть мысль о невозможности полного исчезновения белка? — конечно, отвечал Вирхов, — а как быть с прахом, который разлагается до атомов? не унималась тетя София, ведь прах, в атомах которого *живет* умерший, можно собрать, и *воссоздать* покойника, — во-первых, отвечал Вирхов, искомые атомы могут находиться за пределами вашего воображения... к примеру, в траве,

выросшей на могиле почившего, — в траве, склеванной случайной птицей и унесенной ею за тридевять земель... как будете атомы-то собирать? во-вторых, а лучше сказать, — в главных: ну, соберете вы оболочку, вместилище, как говорится, или сосуд, а потом что? как привлечете душу, дух и кто знает вообще, где место обитания этих невозможных для изучения субстанций? — но клетка! восклицала тетя София, ведь вы сами говорили: в основе всего живого — клетка, стало быть, добыв хотя бы одну клетку предка, можно воссоздать его, дать новую жизнь и воспользоваться тем опытом, который нажил он в прежней жизни; каждый живущий должен искать возможности воскресить родителей, а те, воскреснув, будут воскрешать своих, и дальше, дальше мы будем идти в глубь веков, чтобы вернуть к жизни ушедшие поколения с их уникальными накоплениями, знаниями и нравственными законами, — утопия! в раздражении возражал Вирхов, ибо и в этом случае нечем будет заполнить воссозданную оболочку, — восстановление физиологии и жизненных функций повлечет разве за собой воспроизведение интеллекта, памяти, морали, этики? — но ведь человек не может исчезнуть навсегда! в отчаянии отвечала тетя София, может быть, мы изобретем приборы, способные читать, точнее, считывать код предка, формулу его бытия, и тогда... Леонардо будет творить вечно, Гомер напишет новые поэмы, а Иисус сделает человека высокодуховным и нравственным, — но зачем? спрашивал Вирхов, все, что дали нам предки, и без того в нас, в нашем *фундаменте*, мы есть сумма ушедших жизней, продукт истории, эволюции и совершенствования во времени, и не лучше ли вообще, оставив, может быть, на время фантастическую идею воскрешения, обратиться к продлению жизни человека и поискам путей бессмертия? ведь протопласт живет вечно, клетка может делиться неисчислимо количество раз, а еще есть бессмертные существа — плоские черви, медузы, инфузории и гигантские черепахи, — человек, стало быть, в силу своей уязвимости, слабости и тонкой кожи гибнет не вследствие старости, а от внешних воздействий, к коим следует отнести в первую очередь болезни, которые и необходимо изучать, объяснять и побеждать, что мы с вами и делаем в прозекторской... кстати! ведь смерть — все-таки атавизм! короткий срок нашей жизни есть только приспособительная функция природы, явившаяся ради прогресса эволюции: чем быстрее сменяются поколения, тем эффективнее улучшение человеческой породы... но сегодня у человека есть разум, он крепок, могуч, так для чего же смерть? человек сам может улучшать себя и свой мир! к чему эволюция? мы не должны умирать! время — не критерий жизни, и ведь его нет... дайте мне пощупать время, — и Вирхов энергично потер пальцы о пальцы, словно призывая тетю Софию показать деньги, — где это время? не вижу его, не слышу, не ощущаю... смена времен года — астрономическое явление, старение — физиологическое, так где же время? — обновление человеческого организма может продолжаться вечно, для этого нужно понять механизмы обновления клеток, — ежели клетки будут делиться бесконечно, то человек станет бессмертным... а воскрешение... нет, оставьте эти затеи! — но тетя София была упряма и не хотела оставить *эти затеи*, тем более что жизнь вскоре дала ей направление, подсунув мимоходом убитую собачонку, щенка, которого она подобрала на улице; причину смерти щенка было не понять, но в шерсти его засохла кровь, значит, решила тетя София, был удар; тельце животного еще не остыло, и тетя София, укутав щенка шалью, быстро пошла домой, положила его, ощупала и решила действовать: взяв собачонку за ноги, подняла и слегка хлопнула рукой, — так, как это делают акушерки, чтобы заставить младенца орать, но щенок не проявил жизни, продолжая безвольно висеть головою вниз; из кухни явился Анджей и, цокнув языком,

взялся помогать, но тетя София, не глядя на него, качнула рукой и осторожно спустила щенка на пол; он лежал, протянувшись, и то было мертвое тело, но тетя София, став на колени, сделала наложение рук: протянула ладони и медленно стала перемещать их вдоль собачьего тела... у шеи почувствовала она едва уловимое тепло, напрягшись, тетя София остановилась, но тепло ушло, она двинулась дальше и успела заметить, как между ладонями и головой щенка в доли мгновения мелькнула золотая искра! она сдвинула руки к шее и снова ощутила с трудом осязаемое тепло жизни... еще усилие, еще! и тетя София почувствовала, как что-то сместилось внутри нее, будто бы душа, скрежетнув, сделала оборот и стала в аккурат супротив мира... веки щенка дрогнули и он открыл один глаз! глаз так поразил тетю Софию, что она, застыв в изумлении, долго еще не могла очнуться, — черный зрачок внутри желто-коричневой радужки просто гипнотизировал ее, и она с ужасом вглядывалась в эту мистическую бездну; щенок между тем открыл второй глаз, пошевелил головой и попытался встать, — тетя София помогла ему, и он, покачиваясь на слабых лапах, с трудом утвердился, но почти сразу и лег, не в силах вынести бремя судьбы; со временем он окреп, и жизненные дерзновения его так были велики, что он пытался даже проникнуть иной раз в прозекторскую, где работали тетя София с Вирховом, его не пускали, он лез, его снова не пускали, он снова лез, и в итоге настырный пес находил компромисс: его оставляли в покое у входной двери, где он смиренно и в полном сознания чувства собственного достоинства ожидал хозяйку, чтобы по окончании работы сопроводить домой; в девяносто девятом, уезжая в Лиду, тетя София оставила пса Вирхову, и еще три года, до самой смерти профессора собачий феномен жил при нем, а когда его попечитель покинул мир, — последовал за ним — в буквальном смысле, — переселившись на могилу Вирхова в берлинском Шенеберге, пес две недели сидел, охраняя земляной холм, потом лежал, уже обессиленный, а потом и умер, оставив по себе память, едва не сгубившую мою наивную, доверчивую и простодушную тетю Софию, которая думала, что нашла единственно верный протокол воскрешения — в волховании и эманации духа, но гипотеза та не могла стать универсальной, ведь парадокс воскрешения бездомного пса был только случайным опытом конкретного человека, хотя и естествоиспытателя, но все-таки человека, скованного религиозными догмами, — трудно было тете Софии примирить в себе позиции католички, хоть и обращенной, и — богоборца, укротителя натуры, беззастенчиво посягающего на исключительные права Господа; тем не менее спустя семь лет она дерзнула повторить свой еретический опыт: когда ее баснословная дочь, та самая, что была привезена из Хрустальной, не захотела более терпеть страшный мир и, задохнувшись, сгорела в течение трех дней, — в миг смерти ее накопленное семьей тайное золото стало трухой, и даже кольцо князя Гедимины, всю жизнь висевшее на шее тети Софии, сошло прахом прямо на коченеющее тело Агнешки; тетя София билась в истерике, но, вспомнив давнюю победу в Берлине, наложением рук попробовала воскресить дитя: от Анджее не было никакого толку, он просто рыдал, упав на колени перед постелью дочери, а Агнешка лежала в простынях бледная и чужая, — тетя София, привычно ощупав тело, отметила апное, асистолию и отсутствие пульса на магистральных артериях... инстинкт приказал ей реанимировать, и она все сделала согласно учебникам, понимая однако: к истинно научному протоколу нужно бы добавить наложение рук, ибо она хорошо помнила, как возвращала к жизни убитого пса; Агнешка была мертва, вентиляция легких и массаж сердца не дали результата, и тогда тетя София подняла руки и наложила их на вселенную, — вселенная содрогнулась, сдвинувшись в пустоту, которой не было

края, — звезды сыпались в бездонную бездну, земля гудела, смыкая горы и грохоча камнями, а на равнинах текли новые реки — чайные, кофейные и кипящие молоком... теть София же, не видя мира в безумии дерзости, сложила руки над дочкой и повела ладони вдоль недвижимого тела, — оно — было — ледяным... теть София в отчаянии думала: нет, нет, нет! и, всматриваясь в глубину остывающей плоти, видела мириады клеток, дрожащих от холода, пыталась согреть их, укрыть, заслонить от смерти, дышавшей морозом и мороком непроглядной тьмы, но ощущала лишь равнодушную силу, безжалостную, непримиримую, жесткую, — ладони тети Софии горели, и крайним напряжением воли пыталась она разогреть их еще... искры трещали под пальцами и то тут, то там вспыхивали в комнате золотые огни... руки тети Софии остановились над грудью дочери и вдруг... синяя жилка на шее Агнешки — дрогнула! теть София застыла... почудилось? нет! жилка дрогнула и другой раз, а искры под руками тети Софии сыпанули снопом... еще усилие! теть София кричала, не в силах вынести боль огня, гудящего в ее пальцах, и видела: тепло проникает под кожу дочери, и что-то мерцает уже вглубине ее тела... Анджей привстал и, пристально глядя в лицо Агнешки, жарко молился, глотая слова, путаясь в словах, захлебываясь словами, шептал, вскрикивал, выл, вопил, и дочь слышала! преодолевая дремоту смерти, открыла глаза и с ужасом посмотрела в ладони матери, — с ладоней ссыпалось золото искр! — так теть София второй раз доказала Вирхову свою правоту, поправ смерть и положив в копилку знаний своих бесценный опыт воскрешения человека, но мечта была у нее — воскрешение предков, восстание поколений, — глобальность замысла пугала ее, но и делала бесстрашной и уверенной в своих силах; собрав в домике родителей маленькую лабораторию, она работала сутками, пытаясь найти то, что рождало искры, ту субстанцию, вещество, лекарство, дающие жизнь уже угасшей плоти, билась, как средневековый алхимик над неразрешимой задачей, понимая все-таки: Вирхов, несмотря ни на что, прав, — гибель белка необратима и можно ли вообще подчинить природу, заставив ее плодоносить без границ? решив задачу, человечество достигнет такого прогресса, какой необходим будет для открытия иных миров, путешествий в космосе, освоения планет, постепенного заселения пропасти мироздания... будет ли это? вряд ли! да и раз заведенный порядок Божий нельзя же пересмотреть, ведь как умирал человек, так и дальше назначено ему, стало быть, — ни прогресса, ни освоения космоса, ни переселения в иные миры, тем более, что наложение рук как-то и вообще избирательно, однако ж судьба после чуда с Агнешкой вошла в колею, и дружная семья снова зажила размеренной жизнью: Анджей работал на железной дороге, в Лидском паровозном депо, отец — в кузнице на задах участка, мать хлопотала по хозяйству, а теть София все не бросала свою *алхимию*, продолжая исследования и опыты в домашней лаборатории; ребенок рос, учился в гимназии, дедушка с бабушкой клонились к земле, по миру прокатилась большая война, в России случилась революция, началась Гражданская, а потом советско-польская, Лида отошла к Польше, и все в городе как-то поменялось, хотя и осталось по большому счету неизблемым; теть София таскала в дом трупы животных, птиц, жуков и все колдовала над ними, погружая в кислоты, стирая в пепел, делая из них вытяжки и субстраты, и отец ее уже не раз в сердцах говаривал: это невыносимо! сетуя на зловоние и присутствие в доме опасных веществ, — теть София мало обращала внимания на пени отца и совсем забросила дом, мужа и дочку, которая вообще отбилась от рук, дразнила мальчиков и все время свое проводила в забавах; зимой любила коньки и дни напролет проводила в Деканке, где были замерзающие к концу ноября Большие

пруды, а то каталась в руинах замка, где к Рождеству заливали каток, — там играл духовой оркестр, сверкали лампочки и под густым снегом весело носилась по льду пестрая толпа лидчан; после катка Агнешка тащила к себе друзей и подружек, которые весь вечер шумели в комнатах, мешая тете Софии в ее занятиях: крутили патефон, слушали музыку, танцевали, играли в *фанты*, в *сорви вишню* и в *умри-воскресни*, — «умри-воскресни» всех занимала чрезвычайно, — если «сорви вишню» была игрой эротической, то «умри-воскресни» считалась философской; сорвать вишню было непросто, но заманчиво: какая-нибудь девушка становилась на стул, а юноши по очереди подпрыгивали пред ней, пытаясь поцеловать, и это всегда была веселая суматоха; в «умри-воскресни» гости должны были бесчинствовать и беситься, пока ведущий не воскликнет «умри!» и тогда все должны повалиться на пол, изображая умерших, — временно покинувшим жизнь нельзя было шевелиться, чихать, кашлять или хотя бы на йоту менять положение тела, — нарушивший уговор выбывал из игры, но как только ведущий провозглашал «воскресни!» все должны были вскочить и продолжить бесчинства; надо сказать, что те, кто не принимал тайного смысла игры, нарочно идиотничали в стадии *умирания*: то фыркнет кто-нибудь, то хрюкнет, то станет скулить, стонать, взвизгивать, а то смелый юноша как бы случайно положит руку на грудь лежащей рядом подруге, которая поднимет крик да заведет такую потеху, какую остановить уж нельзя; словом, резвилась молодежь, как могла, и все в доме терпели этот беспокойный уклад, — родители, бабушка, дедушка, — ведь то было бытие Агнешки, жившей *вторую жизнь*, — пусть девочка делает что хочет, говорил Анджей, не видевший мира вне дочки, не понимавший его устройства в ее отсутствие, пусть живет, а как она будет жить — ее дело и никому никогда не будет дозволено вмешиваться в ее судьбу, — так же думала и тетя София, считавшая свои достижения великими, хотя и знала как обращенная католичка сотни случаев воскрешения людей в христианстве — задолго до нее, более того, путеводной звездой своей считала она Константинопольский Символ веры, члены которого гласили *чаю воскресения мертвых и жизни будущего века*; но ревизия ее шаткой доктрины была мимоходом сделана в двадцать пятом году, когда за ней пришли незнакомые люди в самых что ни есть прозаических одеждах, увели прочь и спустя неделю доставили в другую страну, звенящую от мороза и вселенской скорби, — так тетя София впервые увидела Москву и Красную площадь; ей дали отдохнуть и сопроводили до странного сооружения у Кремлевской стены, — оно напоминало торжественный и богатый деревянный сарай, — стены его были обшиты дубовыми панелями и декорированы массивными коваными гвоздями, шляпки которых имели сходство с заклепками на корпусах морских броненосцев, двери и колонны портика были глубокого черного цвета, лак блеснул на панелях, и здание целиком внушало тете Софии даже необъяснимый ужас... ее сопровождала свита из нескольких человек, одетых в шинели, кожанки и богатый драп; группа прошла сквер с низкой чугунной оградой и, миновав двери, оказалась внутри здания: в центре полутемного зала на постаменте из камня стоял хрустальный саркофаг, в котором лежал мертвец, — увидев его, тетя София все поняла и сказала: *воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал Мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день*, — да, да, ответил ей человек в драповом пальто, но только бросьте свои религиозные штучки, — как же? сказала тетя София, ведь мы говорим о религиозных понятиях, — но нас интересует наука, возразил человек в пальто, — немыслимо и невозможно, сказала тетя София, ведь он давно умер и в жилах его — формалин, хлорид цинка и, думается мне, глицерин, но гибель белка

необратима, — возможно, сказал человек в пальто, однако пророк Иезекииль, собрав в свое время кости умерших, облек их в плоть, а потом оживил, — вы предлагали бросить религиозные штучки, сказала тетя София, где же логика? — хватит демагогии, сказал человек в пальто, делайте свое дело и будь что будет! — немыслимо и невозможно, повторила тетя София, — но ведь вы воскресили пса в Берлине, вы дочь воскресили! — нет, тихо сказала тетя София, не воскресила, а оживила, вернула к жизни, потому что пес был в шоке, а дочь, скорее всего, — в состоянии клинической смерти, — это медицинская практика, не мистическая... мертвое тело оживить нельзя... но я мечтаю, мечтаю об этом... все смотрели на тетю Софию с состраданием, жалостью и каким-то церковным сожалением, — как смотрят на нищих, усыпавших паперть в ожидании подаяния, — тетя София хотела продолжить, но тут стоявший позади всех невзрачный человек сказал: уберите ее! и тетю Софию увели прочь; она прошла с провожатыми в сторону огромного краснокирпичного здания со множеством шпилей и повернула влево, в ворота башни с золоченым орлом, — старинные здания, соборы, церкви, часовни, переходы и переулки... наконец ее ввели в красивое дворцовое здание и оставили в маленькой комнате со сводчатым потолком; еды не дали, спать было не на чем, и тетя София, задумавшись на мгновение, легла на пол; наутро за ней пришли, велели одеться, вывели из дворца и через весь Кремль повлекли к какой-то дальней стене, — за спиной ее шли два стрелка с немыслимо длинными *винтарами*; шинели стрелков хлопали на ветру, и оба они кашляли в кулаки, красные от мороза, обветренные и задубевшие; поодаль шли двое в штатском, — с повадками племенных вождей, они бубнили бесцветно, перебивая друг друга, — в их голосах слышала тетя София отчаяние, злобу и неизбежное горе, — бубнили так, что слов было не разобрать, лишь звуки-окатыши ссыпались с обветренных губ, и тетя София нервничала, вслушиваясь в раздраженную перебранку начальников и сухой кашель стрелков, ветер выл, гоняя поземку, несущуюся, как сор по маслянистым спинкам обледенелых булыжников, жег плечи, ноги и онемевшее на морозе лицо, тетя София шла, время шло, вечность шла, но стояла на месте, и смерть шла рядом с тетей Софией, а потом стояла рядом с ней у красной стены, семь лет назад посеченной свинцом, и один из штатских уже сказал: готовься! и тетя София успела подумать: воскресенья не будет, ибо не родился безумец, способный молекулу праха дорастить до души, не говоря уж о полноценной плоти, а стрелки между тем, подняв винтари и положив красные пальцы на ледяные курки, в нетерпеливом ожидании искоса поглядывали на хмурых начальников, злобно препирающихся друг с другом: он не сказал — убить, простуженно хрипел один, — он сказал — убить! возражал другой, — нет! он сказал — убить! это не означает убить! — именно означает! — нет! убить это лишь убить, если бы он хотел убить, то так и сказал бы — убить! только убить, а это, стало быть, убить — с глаз — долой! — и так они спорили, а тетя София стояла на ветру, стрелки дрожали и стволы винтовок дрожали, выл ветер, неслась поземка, и тетя София слышала внятный космический гул, который приближался, приближался и приближался... да она ничего не знает, какой смысл? продолжали начальники, уедет домой и забудет! — нет! она может дискредитировать нас! — чем? ведь она видела только то, что видели все, а разговоры... так ведь это лишь разговоры... убьем и сожжем, как Фанни, — с Фанни была месть народа, а этой — за что мстить? — тетя София заledenела, стрелки заledenели, пальцы стрелков заledenели, космический гул нависал над страной, а начальники спорили и все никак не могли сговориться... через месяц тетя София была в Лиде, живая, но слегка поврежденная в уме, — все делала невпопад,

не в лад, роняла предметы, лила чай мимо чашки, спотыкалась на ровном месте, падала в поле, терялась на улицах, а раз даже подожгла дом; лабораторию Анджей закрыл на ключ, от греха подальше и стал внимательнее приглядывать за женой, да недолго приглядывал: в двадцать седьмом умерла Агнешка, и даже наложение рук в этот раз не спасло ее, долго лежала, угасая, и наконец угасла; Анджей смерть дочери не снес и спустя полгода отправился вслед за нею; в тот же год ушли и родители, — друг за другом, как будто желая и в смерти быть вместе, — похоронив семью, тетя София осталась одна — без денег, без разума и без смысла; как она жила — один Господь знает, и только бродила по Лиде в поисках пропитания и добывала его не всякий день, пользуясь лишь состраданием соседей, старых знакомых и незнакомых; вечерами садилась она возле печи, в которой потрескивал собранный накануне хворост, и долго-долго беседовала с сидящими рядом родителями, Агнешкой, Анджеем, пропавшими (пропавшими!) братьями, сестрами, которые приходили и слушали ее жалобы на судьбу, жизнь и болезни, — они были живые, ведь тетя София умела же воскрешать умерших, они для нее были живые, ибо наши родные не уходят от нас, а лишь отлучаются ненадолго, мы с ними всегда, всегда... она видела степи, укрытые саванами туманов, пойменные луга за Лидейкой, чайные, кофейные и молочные реки, текущие вспять, словно тяжелая карамель, и все шепталась, шепталась, шепталась с родными, а они внимательно слушали и степенно кивали... надо просить прощения, думала тетя София, просить прощения у родных, которых нет уже, но которые — в сердце, и здесь я с ней заодно: прошу прощения у мамы, бабушек, дедушек, дочери, у женщин, любивших меня, ибо я в вечном долгу перед теми, кто ушел раньше, и, как тетя София, хотел бы воскресить всех! но уже понимаю, что мало воскресить одного кого-то или только *своих*, надо ж воскресить друзей, соседей, сослуживцев и собутыльников, случайных знакомых и попутчиков в поездах, собаку, кошку, ворону, которая спала на шкафу в нашей коммуналке, и жемчужных гурами, живших в аквариуме, когда мне было двенадцать лет, надо воскресить Васю-алкаша, грузчика нашего продмага, моих учителей и вожатую, в которую был влюблен, дрожащую на ветру сирень, горную жимолость и первую клубнику... все, всех надо воскресить, но как, как? я спрашиваю у тети Софии, и она ответит мне, конечно, ответит, хотя и лежит много лет немая и недвижимая на лидском католическом кладбище, справа от сгоревшей в девятьсот пятом каплицы Святой Барбары, покровительницы, между прочим, легкой смерти, и — рядом со своими родными; на камне Анджея высечены едва видные сегодня слова: *возлюбленная, положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь*; неподалеку спят Стефан Буткевич, лидский маршалок, евангелист Эрнст Медема, сын русского посланника в Персии, генерал-лейтенант Иосиф Заржецкий с супругой, урожденной фон Гревенс... хорошая компания у тети Софии, заслуженные люди, умершие, правда, *легкой смертью* под рукой Святой Барбары, чего не скажешь, конечно, о тете Софии, которая приняла последний бой с мраком семнадцатого сентября тридцать девятого лихого года, когда проголодав несколько дней, оделась в рубище и вышла к Крестовоздвиженскому костелу, — весь день она простояла при входе в надежде на подавание и видела, как улицы наполняются людьми, лошадьми, подводами... в клубах пыли плыли орудия, грузовики... гудя и газуя, рвались вперед похожие на черных жуков автомобили начальства... солдаты брели в колоннах, и тетя София дивилась их виду: они были измождены, грязны, серы, одежда их зияла прорехами, а обувь просила смены, — многие были без обуви, — в жалких обмотках, обертках, обносках; она смотрела и думала: это нашествие ада; в самом

деле, солнце садилось, и весь этот клубящийся, смердящий, гремющий зловещим железом поток неумолимо, неукоснительно шел куда-то вперед, — к ведомой только ему загадочной цели, — лязг, дребезг и дрызг, сопровождали его, и грозный грозový гул грязным масляным пологом накрывал Лиду... солнце сочилось кровью, и тете Софии казалось, что кровь вливается в город вместе с войсками... ад! думала тетя София, в ужасе втягивая голову в плечи, а войска все шли, и пыль висела над ними, подсвеченная кровавым фонарем солнца... случись мне подняться вверх и облететь близлежащие улицы и домишки окрест, чахлые деревца, сухие кусты, я увидел бы со своей высоты плывущий, словно корабль, костел, расплзающиеся по сторонам войска, технику и — сквозь пелену розовой пыли — маленькую фигурку тети Софии, последнего в этом мире борца со смертью... ни гроша не было в ее подаянии, только в вечер, когда солдаты сошлись в дворах и стали раскладывать костры, двери костела открылись, и из полутьмы его вышла старушка, — костел надвинулся, сник, словно предупреждая, — много было смысла в этом костеле, — он говорил: смерть, посылаю тебе смерть в лице старушки, старушка несет яйцо, которое не есть начало, есть же — конец, довольно тебе страдать, умри уже ради воскресенья и жизни будущего века: старушка подошла и дала тете Софии яйцо, которое та с великой благодарностью и коленопреклонением приняла, завернула в тряпичку и, вождедая явств, отправилась восвояси; голод давно мучил ее, и она думала святым подаянием поскорее утишить его, но... зайдя в дом, увидела разор и смуту: кто-то из красных армейцев, взломав дверь дома, успел поживиться нехитрым скарбом бедной вдовы, — тетя София кинулась в посудный шкафчик, надеясь взять сковороду для яйца, но сковороды не было! — яйцо! тетя София хотела пожарить яйцо, но не на чем было его пожарить... волна гнева окатила тетю Софию, — она поняла: ад надвигается на нее! стало быть, нужна оборона! как, чем сражаться?... она металась по дому, хватала предметы, и совсем уже мутный ум ее твердил ей: атака! атака нужна, не оборона, и, значит, необходимо оружие! она зашла в сени и извлекла из угла доспехи, найденные когда-то в земле замка, — кирасу позеленевшей меди и почти изумрудный шлем, сплошь крытый окислами цвета зрелой травы — поверх искусной чеканки древнего чекана; тут же лежал и меч, почти не тронутый ржою; она надела кирасу, укрыла голову шлемом и взяла в руки меч... тут в небе зарокотало, и тетя София почувствовала в себе неукротимый гнев, — пылая, она подошла к двери и сильным ударом ноги вышибла ее вон; ночь спустилась на Лиду, стал накрапывать дождь, и дальние огни костров в замке мерцали во влажной темноте; стоя на крыльце, тетя София глядела вдаль, — небо снова ворчалось, будто гигантский кот, вольно раскинувший облака-лапы, и тут сверкнула молния, а спустя мгновение громыхнул гром! тетя София вздрогнула, крепче сжала рукоять меча, упершись пальцами в шершавую гарду, и — шагнула с крыльца; путь ее лежал в замок, к кострам и запаху мяса в углях, — она шла под дождем, и каждый шаг отдавался гневом в ее воспаленном мозгу; дождь шел, тетя София шла, время шло, вечность шла, но стояла на месте, и смерть шла рядом с тетей Софией, — в безумной ярости стала она у замка, вглядываясь в костры и в красноармейцев, похитивших сковородку; в развалинах жарили мясо, и тетя София почувствовала дурноту, но, скрепившись, решительно подняла меч, — за речкой раздался грохот и над темными купами речных ольх снова засверкали молнии, — в полном безумии тетя София пошла вперед и, поравнявшись с первым костром, смела его! красноармейцы схватили винтовки, но не стреляли, в недоумении глядя на старуху в кирасе, а она меж тем шла вперед, круша костры, котелки и даже задевая солдат древним мечом; возле руин башни увидела она в куче

сучьев сковороду, и красноармейцы, сидевшие у костра, в ужасе отшатнулись, когда тетя София схватила сковороду и воздела ее в грозное небо, — странная картина, дикая, страшная: старуха в лохмотьях и в позеленевшей кирасе, размахивая средневековым мечом и обугленной сковородкой, теснит в черноту ночи изумленных солдат, нехотя поднимающих свои винтари... тетя София визжит... вспыхивает молния, гремит гром... тетя София ступает... красноармейцы вскидывают оружие и наводят его на безумицу... но она с размаху бьет мечом ближайшего к ней стрелка, и в эту минуту, совпадая с небесным громом, грозно грохочут грубые трехлинейки! тетя София неуязвима, — кираса еще крепка, и пули лишь оставляют вмятины в ней, шлем защищает голову, и сковорода, как щит, отражает пули! ад! тетя София видит мерзкое шевеление ада: земля вывернулась наизнанку и ад рядом, близко — вон там режут кого-то, там жрут человечину, там растлевают детей, там пытаются, выворачивая кишки, там расстреливают, сажают на кол, топят в дерьме, а на сковородах жарят женщин... мои сковородки! вопит неистовая тетя София, верните мне сковородки! в нее стреляют, но она бессмертна, и не кираса охраняет ее... ад клокочет у нее под ногами, она уже стоит в углях и гром гремит, а молнии откалывают куски изумруда с ее медного шлема, и тут ад говорит: убейте ее! но она хохочет, и дикий хохот ее несется по развалинам замка... убейте!! и вот сквозь ночь, звезды и пламя костра, сквозь россыпь рубиново-рыжих искр она видит нож, резко блеснувший у ее глаз... смилуйся надо мной, Господь! говорит ад, и вонзает нож тете Софии в шею — сбоку, в артерию... кровь отворяется и шумным потоком рвется наружу... умри! говорит ад... воскресни! говорю я, открывая свой фамильный альбом: тетя София изображена тут на карточке в гимназической форме, и я, медленно проводя ладонью по карточке, всматриваюсь в ее лицо: оно прекрасно... тете Софии здесь лет пятнадцать, не более, она в белом, кажется, выпускном платье с белой пелериной и белым бантом, белые нарукавники — выше локтя; она опирается на ампирный столик, занятый псевдоримской вазой с золотыми кариатидами... эта юность и чистота еще ничего не знают, тетя София думает: жизнь впереди! и какая жизнь! но спустя годы эти глаза тускнеют, кудри секутся, проходит двадцать лет, тридцать, и только наложением рук на вселенную может теперь тетя София воскресить прошлое — из двадцать пятого года, из тридцать девятого... я переворачиваю страницы альбома, и снова передо мной дед Иосиф, бабушка Паша, дядя Богдан, дядя Авессалом, дядя Саша и какие-то безымянные родственники, чей фамильный статус потерян навеки в катаклизмах эпох... но ведь я владею опытом тети Софии: наложением рук на вселенную я воскрешаю их... тетя София! красивая гимназистка, безумная старуха... тетя София! я смотрю на ее карточку, осторожно трогая пальцами девичьи губы, и тихо говорю: воскресни! и она — воскресает...

Ян Бруштейн

Группа риска

* * *

Порой снаряд ложится близко.
Мне много лет. Я в группе риска.
Однако ж это не война,
Не кровь и ярость рукопашной,
Не смертный чад над бывшей пашней,
Не перед мёртвыми вина.

Я помню схватки у Амура,
Где штык был друг, а пуля — дура.
Мы дрались, как в последний раз.
И в этой маленькой войнушке
Не выжил бы ни злой, ни ушлый,
Ни тот, кто прятался за нас.

И всё ж, друзья мои, и всё же,
Все наши битвы подытожив,
Всю боль, живущую в стране,
Представим в этот День Победы
То, что прошли отцы и деды
На главной, страшной той войне.

* * *

Моя родня лежит во рву
Под городом Лубны.
Бывает, я во сне реву —
Последыш той войны.

Там по ночам горит земля,
Не забывая зла.

Моя еврейская семья
Бурьяном проросла.

Под ними горя три версты,
Над ними свет ничей...
И не приносят им цветы
Потомки палачей.

Полустанок

Женщина пела на полустанке,
Голос был хриплым, но вёл он точно.
Мятая, синяя после пьянки —
Было ей сладко, и было тошно.

Люди и нелюди пёрли мимо,
Злые и скользкие, словно мыло.
Бомжик, в тельнике наизнанку,
Дал ей китайской тушёнки банку.

Мы же, солдатики-первогодки,
Время сжигавшие в эшелоне,
Лили холодную злую водку
Прямо в подставленные ладони.

Где же мораль? Вот и нет морали.
Наш эшелон пересчитывал шпалы.
Мы под гитару всю ночь орали:
«Счастье моё, ты опять запоздало...»

Заволжье

А в Заволжье реки, как вожжи,
И грибы — хоть косой коси.
Хорошо там спится, тревожно.
Там Земля на своей оси
Поворачивается со скрипом,
Как старуха в пустой избе.
Там привольно живётся рыбам,
Снам и птицам в печной трубе.
Где деревни пусты и серы,
Лес и небо — в одной горсти,
Я оставил когда-то сердце
И с тех пор не могу найти.

Игорь Корниенко

Месопотамия

Рассказ

Стены, как люди, — уют любят. И чтобы покрасившее, понаряднее, в узор или цветочек... Верила, бубнила под нос Гуля и гладила огрубевшей ладонью чужие стены. Потому как своих стен не имела.

— Имела, — бубнила, — только сто лет назад имела. Тыщу лет назад. Вечность назад.

И плакала глубоко в себе, где сердце и душу охраняют стены из потерь, боли и печали... Плакала не подавая виду.

— Всегда улыбается и «здрате» скажет, и поможет, — расхваливали Гулю в поселке. — А уж как квартиру преобразит, когда обои поклеит, — глаза приклеятся не отклеятся, волшебница одним словом Гуля, золотые руки...

А откуда такая золотая волшебница взялась в поселке никто толком не знал.

Знали, Гуля беженка. Но вот откуда: с Азербайджана, Казахстана, Армении, может, с Украины?

Начальник ЖЭКа отвечал коротко, потому как сам не знал:

— Оттуда!

Резко, грубо, недовольно, будто гавкая, пресекала любопытство посёлковых. На этом и успокоились, — вот и хорошо, что оттуда. А-то ведь и не оттуда могла быть.

Гуля — беженка оттуда.

Начальник любил таких работников из ниоткуда с сомнительными документами, прошлым, репутацией...

— За копейки согласны работать, — лоснящиеся щеки блестели пуше прежнего, готовые, вот-вот взорваться маслом, кровью, жиром.

Но не взрывались.

Гуля получила заказ поклеить обои в комнате общежития. Заказ получила в аккурат на Пасху, так и пришла к клиенту в тот же день.

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса им. Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Живет в Ангарске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 6.

Из комнаты номер 22 — рев музыки, пьяные голоса, звон стекла.

Гуля закрыла себя стенами век, сомкнула стены вокруг сердца и души, — окружила стенами себя, тихо постучала.

Музыка вспыхнула взрывом, голоса пьянее, оглушительнее зазвенело стекло.

Гуля открыла глаза.

Постучала громче, смелее, толкнула дверь, дверь приоткрылась, поползла по инерции дальше, распахнулась.

В нос ударил резкий мужской пот вперемешку с застойным перегаром, в глаза — голая, непривычно белая спина мужчины, исхлестанная неумело набитыми синими татуировками.

«Или это шрамы?» — ёкнуло, но Гуля не отступила, Гуля улыбнулась исполосованной спине и сказала настолько громко, насколько смогла:

— Здравствуйте, мужчины!

Спина обернулась волосатой тощей грудью, лицо — желто-коричневый контраст спине, — сраженное злоупотреблением алкоголем и табаком, ничего не выражало. Гнезда глаз, впалые щеки, изъеденные по молодости оспой, тонкие губы показали гнилые зубы:

— О-о-о! — длинные, обвитые жилами виноградных лоз руки хозяина выключили музыку, выстреливавшую из черной коробки на столе между бутылками водки, тарелками с салатом и разбитыми вареными яйцами, эти руки потянулись к женщине: — Христос Воскресе!

Собеседником, сидящим напротив мужчины, оказался совсем не мужчина. Собеседник, за которого хозяин сам и говорил, и отвечал, и задавал вопросы, делая голос пискляво-противным, была потрепанная резиновая женщина в парике блондинки и когда-то белом медицинском халате.

Раскрытый рот надувной женщины пугающей пустотой смотрел на гостью.

Гостья не отступила. Гостья сказала:

— Я Гуля, обои вам поклеить пришла.

Мужчина отрыгнул и будто протрезвел:

— Нехристь, что ли?!

Гуля ответила:

— Воистину Воскрес!

Хозяин одобрительно сжал кулак, потряс им:

— То-то. Вижу теперь, что не нехристь. Это они да бесовские отребья всякие не христосуются и в святой праздник работу работают. Когда сказано же, раскудрить ерыгу, русским языком говорено, радоваться воскресению Христа надо, а не это...

Заказчика зовут Грихой, Григорием, знала Гуля. В подробности посвятила малярша Светка Спиридонова, местное «би-би-си»:

— Он, значит, в давнем разводе, а может, и не был никогда женат, а может, и есть где отпрыск какой, тут тайна покрытая мраком, как и то, на каких войнах Гриха-Григорий этот, значит, воевал. Афган, Чечня — это точно, Карабах под вопросом, Донбасс маловероятно, хотя кто знает. Кто шепчет, с войн этих нетрадиционным он, мол, вернулся по части секса, по мальчикам, по солдатам то бишь, а кто говорит, наоборот бабником-лядуном, да таким неистовым, что одно время на каждую юбку быком бросался, и плевать, какого цвета юбка была. Лет на вид за сорок, но и не факт, что не под пятьдесят. Ты, Гуля, разузнай у него хоть чё и мне сразу по секрету.

Получив «исчерпывающую» информацию, Гуля клятвенно пообещала, что сможет — разужнает, а то ведь не отстанет Светка-бибиси, язык без костей...

Черноокая, черноволосая, хотя волосы и спрятаны под косынку, только Греха кровь из носу уверен, что волос смоляно-черный, изящная женщина, смотрящая — не моргнет — в глаза, ему не понравилась:

— Кукольная какая-то, — отвернулся к своей Клавe — она же Бл...а, Соска, Шмара, тетя Мотя — и сказал тонким голосом за резиновую собеседницу: — Чё это она приперлась в такой день-то? Трезвая еще, а на часах час дня уже как.

— Я ненадолго, замерить, посмотреть, что да как... На глаз. Минутки на три... — выпалила Гуля, намётанно осмотрела полупустую, стол два стула, комнату, ободранные стены; стены на удивление ровные, без сколов и ран; увидела рулоны обоев в углу: — Вы обои, вижу, купили...

Матюгнулся Греха, спохватившись, ойкнул, постучал звонко ладонью по тонким губам:

— Купили, агась, раскудрыть ерыгу, попросил соседку-дуру купить обоев, она их под себя, дура, и купила, в цветочек аленький, теперь буду на лугу жить, в раю, мать, — налил в новую нечистую рюмку водки, протянул Гуле.

— Спасибо, только я не пью.

Греха поперхнулся:

— Спаси и помилуй, — перекрестился и выпил. — Чтоб с такой жизнью и работой еще и не пить — это уже не диагноз, это клиника.

И писклявым голосом:

— Сразу видно, не наша. Да и баба при том, как те, ну, которых, ты помнишь, это самое...

И хриплым басом:

— Заткнись, сука! Заткнись!

Вздрогнула Гуля от этого неожиданного, неподдельно истощного вскрика, торопливо, но без дрожи в голосе отчеканила:

— Клей для обоев я свой сделаю, принесу, намешаю, склеивает насмерть, не оторвете, если даже захотите, ни в век. Завтра, с понедельника, начну работу и за два дня управлюсь. Хорошего праздника вам.

Вышла, не давая и шанса ни хозяину, ни его кукле возразить. Для Гули самое главное — работа, качественная, за которую не стыдно, работа на совесть.

Все, что делаешь, делай как для себя. Как для Бога делай!

А за закрытой дверью крик:

— Ты ничего не знаешь о той моей жизни! Вот и заткнись, тварь! Я таких, как ты, голыми руками душил! Штыком дырявил! Гнида ты крашенная! Мразота надушенная! Заткнись!

Гуля не побежала, что сделала бы любая женщина не задумываясь, Гуля закрыла глаза, выдавила из себя весь воздух и увидела, как острое тело штык-ножа пронзает ее кукольное тело насквозь. «Нехристь». В сердце и глубже, и дальше, и ночью, во сне, этот же штык-нож, примкнутый к автомату, кромсал голое, оскверненное тело Гули, распластанное на пожухлой траве родной земли, кромсал до кроваво-черной каши.

Привыкшая к кошмарам, она не проснулась, укрытая стенами сна, она возвращалась в детство, во время, когда была самой собой, настоящей, любимой, живой...

Приду к десяти, решила Гуля, пускай проспится хозяин. Приготовила клей из муки, для крепости, уже перед работой, добавит в раствор немного ПВА. Валики сложила букетом в ведро, туда же отправился канцелярский нож с рулеткой, ножницы, губки, тряпки... Подвязала вороной волос темно-зеленой косынкой и пришла чуть за девять, ноги сами понесли мимо ЖЭКа к дому заказчика, к общежитию.

— Раньше начну, раньше закончу, — сказала резиновой Клаве. Сдутая, голая, без парика и халата, она валялась неприятным моллюском на голом матрасе, кроме нее, в комнате никого.

Гуля убрала со стола, стол с табуретом и стулом, матрас вынесла в коридор. Укоризненно наблюдающую куклу свернула в абстрактный ком, приткнула на подоконнике к черной музыкальной коробке и ополовиненным бутылкам.

Вымыла пол, протерла и только потом развернула рулон многослойных, плотных обоев, вернула из коридора табурет, работа забурлила под прицелом подведенного синими тенями глаза собеседницы хозяина комнаты № 22.

Хозяин объявился в начале второго рулона.

— Раскудрить ерыгу, — выплюнул, бултыхаясь в дверном проеме. — Я ж тебя застрелю, — с трудом ворочал язык. — Я ж вас таких знаешь сколько уколошил? Знаш?.. Я их еб...л, отец на Чёрном их контузил. Да, говном буду, я четыреста женщин зарезал. Не меньше, — и как подрезанный рухнул в рулоны обоев.

Гуля посмотрела с табурета на тело внизу, неживое, грязное, вонючее тело. И впервые за многие годы сказала, сказала вслух, сказала на своем родном языке одно слово, но быстро поправилась и уже по-русски, громко на всю тишину комнаты:

— Свинья!

Что-то из невозвратного всколыхнуло душу, пробежало мурашками по коже, кольнуло сердце иглой верблюжьей колючки, щемящим запахом полыни наполнилась комната, цикадным жаром августовской степи... Гуля сняла платок, вытерла пот с лица, спустилась, села на табурет.

Иногда стены пропускали ветер минувшего, свет и тьма прошлого проникали сквозь бетонную кладку, и Гуля-гора сдавалась слезам, сдавалась, вот и сейчас уронила голову в платок, заплакала, заплакала тихо, беззвучно, и лишь резиновая Клава стала свидетельницей этой минутной слабости. Минута, и вновь скалы стен и горные хребты опоясали, спрятали, защитили беженку оттуда. Гуля спрятала волосы, завязала платок, поднялась.

Гриха громко храпел, распластавшись на полу морской звездой, знаком окончания работы. Гриха ворчал в пьяном сне, снова и снова убивая и погибая. Гриха скрипел зубами, стонал, кричал. И крик его ранил. Резал. Крик убивал.

Гуля закрыла уши руками, крик крошил стены, нечеловеческий крик загнанного, агонизирующего животного, для которого все кончено, покрывал стены паутиной трещин, стены дрожали, стены кричали, отзываясь на крик эхом. Гуля долго не решалась переступить через кричащего, свинья обрела человеческую форму, тело — судьбу, прошлое...

Снова закричал, и Гуля решилась, закрыла глаза и в темноте пугающей, страшной присутствием непоправимого, переступила слепо через человека. Вслепую выбежала из комнаты под умирающий вопль:

— Убью-у-у-у!

Вспомнила, что забыла на подоконнике оставленные на хранение резиновой Клаве связку ключей и сотовый. Это значит возвращаться в крик. Возвращаться в боль раненого... Переступать через кричащего — это ли не преступление?! Предательство?!

Наисмертельнейший грех?! И стены ходуном, танец смерти, а делать нечего, без ключей ей не попасть в дом, Гуля снова закрыла глаза, выдохнула. Темнота за веками, другая темнота, сотворенная тобою, она может как погубить, так и спасти, все зависит от тебя, — если пять минут назад эта темнота пугала и не терпелось распахнуть глаза, то сейчас тьма помогает вернуться в комнату, где крик и плач, и скрежет зубов, помогает идти вперед, не глядя, под защитой мрачных стен...

По памяти, выставив руки, высоко поднимая ноги и шагая через невидимые препятствия, прошла до подоконника, пальцы коснулись окна, Гуля приоткрыла щелочки век, ключи и телефон перебрались в карманы ветровки.

Гриха откатился к стене и теперь кричал в бетон. Стена терпеливо слушала, стена принимала все в себя, стена поглощала человеческий вопль и боль, и пьяный бред...

Грихе снилась война, она снится ему последние двадцать пять лет. Трезвый он, под алкоголем или совсем в хлам — неизменно снится война, войны, спаянные воедино в огромный кровавый треш, абсурд, бесконечный и беспощадный, где вместо людей оторванные части тела и крики женщин — песнями сирен заманивающие на растерзание... Вместо птиц — пули, вместо листьев на деревьях — лезвия ножей... Гриха кричит, кричит все двадцать пять лет и никогда не просыпается.

В трезвой реальности, что редкость, Гриха осознается:

— Сны — награда за прошлое, мои ордена и медали. Все мертвецы — снами мстят своим убийцам. Иначе никак, только так, через сны... Это невидимая война, которую убийцы проигрывают по умолчанию. Потому как не убий! Я умру во сне, чуйкой чую, вижу себя с закрытыми глазами, бездыханного, кратковременный сон станет сном вечности... Я готов. Хоть сегодня. Хоть сейчас, — Гриха демонстративно складывал руки на груди, крест-накрест, закрывал глаза, но тут же открывал, — внутренняя темнота чудовищна, и в сотни, тысячи раз ужасней темноты внешней.

Гриха выдыхал:

— Не, хочу умереть с открытыми глазами. Умереть со светом!..

Гуля шла с сомкнутыми веками, считала шаги, на третьем шаге она поднимет ногу и сделает широкий шаг к двери, на всякий случай, если Гриха вновь решит откатиться на середину комнаты.

Тишина зловещая, страшнее крика, с тишиной, убеждена Гуля, приходят перемены не в лучшую сторону. В тишине она покидала родину, ни оклика, ни всхлипа... ни вздоха. Беззвучно перечеркнула прошлое... Тишиной распяв, разбив, развевая себя истинную...

Тишина парализовала, и Гуля не сразу поняла, что Гриха схватил и крепко держит ее за щиколотку.

Тишина заговорила пьяно, едва разборчиво:

— Я выпотрошу тебя и съем твои кишки сырыми, поняла меня ты?! Думаешь, сегодня выжила и завтра получится?! Не получится! Вы Сашку моего убили, голову отрезали, теперь пришло время резать вас. Слышишь, сука черномазая?! Иди и передай своим, я для вас сюрприз приготовил... Я вас всех за Сашкиной головой отправлю! Пошла!

Пальцы освободили ногу, только Гуля не пошевелилась.

Произошло это все сейчас, на самом деле, в реальности солнечного апрельского дня, или все это ей представилось? Почудилось, привиделось?..

Гуля открыла глаза.

Гриха храпит, уткнувшись в голую, залатанную тут и там свинцовой штукатуркой стенку.

И кожа на щиколотке горит, кожа покалывает, кожа пульсирует...

Нагнулась Гуля к спящему, окунулась в ядовитые пары застарелого перегара, прошептала на ухо:

— Я выпотрошу тебя и съем твои кишки сырыми, понял меня ты?!

Гриха в ответ протяжно и тонко заскулил...

— Завтра приду рано, часов в восемь! — громко закончила Гуля и прикрыла плотно за собой дверь.

Светка-бибиси караулила возле подъезда, весь день мечась между ЖЭКом и домом, где жила Гуля:

— Фуф, думала проворонила, — выпалила, подбегая, на одном дыхании. — Ну чё он там? Как? Не пристаёт? Пьяный, поди, в хламину, вот и не пристаёт. Дрыхнет, наверное, и не помогает. Я так и думала. С Грихой кашу не сваришь, контуженый же еще... Говорят, в голову раненый, зачем тебе такой мужик нужен?

Гуля успевала только кивать и поддакивать.

— Чаем ведь даже не напоил, угадала же я? Не напоил ведь?! Я этих кобелей насквозь вижу. Ты, главное, ухо остро держи и в спецовке работай, никаких юбок, ну и если что разознаешь, не забудь уж подругу. Я же от искреннего желания помочь стараюсь. Глядишь, и присмотрю тебе какого мужичка. Одной ведь тяжело. Как никто понимаю... Гриха вон тоже один, но какой из него муж? Ни возраста, ни прошлого, ни полиса, ни медицинской карты... Комната в общежитии, да и все тут, как у латыша — хер да душа, — хохотнула Светка, перевела дыхание. — Да и злой он, жестоко-нервный, не в себе, руки распускать, колотить тебя будет, ну на кой он такой нужен?! Его как-то Чеченцем всё кликал, так одному пареньку за этого «Чеченца» он рот порвал. Да-да, как есть порвал, сама видела потом эту жуть. Стреляный, короче, твой Гриха, его б в больничке полечить, а он бухает как не в себя, видать, забыть прошлые темные делишки пытается, да куда там, от прошлого никому не избавиться. Не убежать от того, что не исправить...

Гуля кивнула в последний раз, вздохнула.

Светка-бибиси спохватилась:

— Ох ты ж ёлки, заболтал этот Гриха, а у меня ж панели еще не докрашены, черт бы его побрал. Ты давай, Гуль, отдыхай, завтра ведь снова к нему обоим клеить, может, баллончик перцовый тебе дать, на всякий, с похмелья-то Гриха страшнее чёрта... Хотя, он этим баллончиком спиртягу свою занюхивает, тот еще мутант, дегенерат. А ты, Гуля, случаем не чеченка?..

Улыбнулась Гуля:

— Из СССР я, — и пошла к подъезду.

Светка ойкнула, прокричала вслед:

— Все мы беженцы из СССР! И жертвы! Жертвы Перестройки! — и тише: — Гриха вон один чего стоит, как начал воевать, так остановиться не может. До сих пор воюет не понятно с кем. — И еще тише: — С собой, что ли?..

Этой ночью двум женщинам и мужчине снилась война.

И если одной женщине снились немецкие солдаты, от которых она пряталась в темном бомбоубежище, а потом под канализационным люком, и была точной копией радистки Кэт из фильма «Семнадцать мгновений весны», то другой женщине и

мужчине снилась знакомая, пережитая война. Война на двоих. Как и сон. Мужчина и женщина видели один и тот же сон. Одну и ту же войну.

Заправленная с раннего утра до краев алкоголем действительность отбивалась от рук, становилась неконтролируемой, будто за него этот момент проживает некто иной, другой, чужой...

Чеченец?

Гриха избегает своего отражения, и зеркала в его камерке не водятся с возвращения из последней горячей точки.

— Зеркало смотрит в тебя настоящего, видит изнанку, заглядывает в раны, под коросты... В темноту твою. Отражает твой мрак. Твое прошлое... На хрен зеркала! На хрен прошлое!

По тому же адресу Гриха посылал настоящее и будущее.

— Если нет прошлого, нет и не может быть никакого будущего!

И действительность шла на хрен и дальше с каждым глотком алкогольного зелья.

Утро паялилось на Гриху аляпистой стеной, сотней глазастых аленьких цветочков.

Допивал остатки вчерашних злоупотреблений, разглядывал обновленную стенку, подходил к стене трогать обои, гладил, нюхал, прикладывал щеку, ухо... Гриха мог поклясться, что слышит ветер в цветах, словно он на лесной поляне, словно вернулся в детство, в дом бабушки среди леса, где он провел всего одно лето, самое счастливое лето. Новые обои пахли тем самым летом, пряно-сладким ароматом жарков и клевера, медом и бабулиной стряпней...

— И ведь ни одного пузыря, — снова и снова разглядывал Гриха обои, — ни морщинки, — обои делились с ладонями своим теплом, домашним, родным...

Дверь распахнулась раньше, чем кулак Гули коснулся окрашенного в белый цвет клеймённого двадцать вторым номером дерева.

— Признайся, что ведьма, — вывалился в коридор Гриха.

Гостя добавила градус, как на старые дрожжи, Гриха пьянел еще сильнее с каждым словом, с каждой минутой:

— Я знаю этот взгляд. Эти глаза. Они сняты мне, сняты из ночи в ночь. Ты пришла отомстить мне! Нутром чую. За всех тех отомстить, таких же глазастых.

Раскрытая пятерня опасно приблизилась к лицу женщины, Гуля не моргнула, рассматривала линии на ладони, улыбнулась.

— Сделаю свою работу и оставлю вас в покое, — отодвинула руку от лица. — Осталось полторы стены поклеить, — Гуля прошла в комнату.

— Ты не победишь в этой войне! Поняла?! — Гриха попытался резко развернуться, не получилось, допитая водка потянула к полу, Гриха схватился за открытую дверь, повис. — Вы всегда проигрываете. Всегда. И обои ты, бля, коряво приклеила, вверх тормашками. Не видишь, что ли, ослепла?! Переклеивай!

Стены, с Грихой они не выдерживали, давали трещины, сотрясались, крошились... Его слова, голос, интонация... как удар штык-ножом, автоматная очередь, как избиение, надругательство, как распятие...

— Я пропащий, война всех делает пропащими. Мне нечего терять. Я один. Один в поле воин, — проникал пьяный бас сквозь стены Гулиной крепости. — У меня для всех приготовлен сюрприз. Подарок с войны. Война раз начавшись, уже никогда не закончится. Только смертью. Полным, тотальным уничтожением, мать вашу! Война — это я!

Отрыгнул Гриха. Гуля расстелила полотно обоев, размешивала свежеприготовленный клейстер. Гриха говорил, раскачиваясь на двери:

— Хочу сдохнуть в комнате с новыми обоями, поняла меня?! Я твоему Горынычу, начальнику, десять штук заплатил. Купил тебя, епта, как смертницу, чтоб одному не подышать тут... Ты наш гроб украшаешь, ясно теперь?! Конуру на тот свет... — Засмеялся Гриха, закашлял, сплюнул себе под ноги: — Я так скажу, в Месопотамии, чтоб ей обоссаться, археологи как-то раскопали древнее кладбище. И знаешь, чего они нашли? В одной гробнице вместе с покойником было еще три тела, так называемые сопровождающие, но это еще цветочки, ягодки обнаружились в другом захоронении, там было уже семьдесят четыре сопровождающих, пораскинь мозгами. Вместе с хозяином на тот свет отправили целый штат прислуги, понимаешь, о чем я?..

Гуля привычно свернула отрезанную ленту обоев, забралась на табурет. Гриха снова засмеялся, закашлял, сплюнул:

— Ну конечно, не понимаешь, куда тебе. А всё просто как дважды два, раскудрить ерыгу. Слышишь?! Всем нам нужен сопровождающий! Вот и все тут. Мы все, мать твою, сопровождающие друг друга, сопровождающие по жизни и после смерти сопровождающие. Застрававшие в грёбаной Месопотамии. Погибшие. Проигравшие...

Смех — резкий, дикий, пугающий вырвал лист из рук Гули, она потеряла равновесие, сорвалась с табурета обеими ногами на бумажную гору, под ядовитый взгляд резиновой Клавы на подоконнике. Гриха издал победный клич, в пару шагов подскочил к женщине, вырвал из-под нее испорченную полосу, скомкал, бросил под ноги, наступил, прыгнул, и снова прыгнул, и еще...

— Вот тебе! Получай! — разлетались слюни по комнате. — Вот так! В грязь, в сопли, в кровь, в гной!..

Гуля отступила к окну под истеричный хохот сдутой куклы для развлечения. Под ботинками хозяина двадцать второй комнаты была знакомая из сна кровавая каша. Была она...

Гуля закрыла глаза, кровь хлынула стеной, Гуля бросилась слепо в ноги мужчине, отпихнула Гриху, мужчина смеялся, пятясь к двери, повторял:

— У меня для всех вас подарок. Сувенир из горячей точки. Я вас всех уничтожу, сотру с лица земли. Всех. Всех взорву. У меня для всех вас подарок. Сувенир...

Гуля схватила грязный липкий комок обоев, прижала к груди, между пальцев кровью сочится теплый клей, бумага на ощупь как кожа, пульсирует, бьется умирающим сердцем.

Гуля шепчет, шепчет, что все хорошо, что все наладится, образуется, забудется... Шепчет не задумываясь, машинально, инстинктивно шепчет, шепчет на своем родном языке.

Гриха сообразил только поздно вечером, после хорошо принятого на грудь энного количества пива, что малярша из ЖЭКа, эта чернявая профи по обоям, говорила на тарабарском.

— Вот сука! — выкрикнул.

— Сука, еще какая, — поддержала надутая наполовину Клава, обреченно свисая с подоконника.

— Это знак конца... Она нашла меня. Война. Через столько лет Афина пришла под предлогом поклеить обои, чтобы поквитаться со мной!..

Клава утешила:

— Ты ведь не сдашься так просто, ведь так?! Ты ведь дашь бой? Приготовишь подарочек? Маленький сюрприз с большими последствиями...

Кукла и человек дружно в унисон рассмеялись.

— Заслужила потаскушка глоточек, — хрюкает Гриха, вливая в широко открытый до безобразия рот крепкое пиво из пластиковой баклажки.

— На хрен Афины!

— На хрен Месопотамию!

Травяной чай с мелиссой не успокоил. Гуля в сотый раз открыла на кухне кран, в сотый раз вымыла руки в дымящемся кипятке, бордовые, опухшие пальцы-сардельки, завтра они откажутся ее слушаться. И в сотый раз Гуля твердит:

— Все хорошо. Все наладится. Все образуется... — говорит и не верит.

Вера не помогла ей в детстве, не спасла, с тех пор Гуля верит только в себя, в сотворенные ею стены, за которыми нет места вере в высший и справедливый суд.

— Суд творит не бог. Приговор и меру пресечения выносят люди. Мы — это суд. Я — суд и приговор! Я — казнь!

Произнесенные в тесной кухоньке слова ложатся успокоительной мелиссой на сердце и душу.

— Я — суд! Я — приговор! Я — казнь!

Не всегда справедливый, зачастую подкупный, подставной, эгоистичный... но суд творят люди. Творят человеки. Не боги. Мы все суд друг другу, приговор и казнь. Гриха прав, мы все сопровождающие друг друга. Ведущие друг друга на эшафот, на расстрел, электрический стул, заклатие... На распятие.

Руки с чугунными гириями-ладонями не дают провалиться в сон, мысли о суде людском — «и Судный день сотворит человек, не бог» — шумят горной рекой. В детстве Гуля мечтала умчаться вместе с течением холодной реки туда, где море, посмотреть, что там? как там? И вернуться. Обязательно вернуться. Вернуться домой. Потому что нет лучшего места на Земле, чем дом, стены которого охраняют, греют, спасают и берегут тебя с первого твоего дня на Земле.

Дом Гули рухнул в первый час войны. Стены не устояли, не уберегли.

Гуля, девочка с большими распахнутыми глазами, запомнила лицо солдата, его голос, смех; солдат смеялся, протыкая штык-ножом, прикрученным к автомату, всех выживших после бомбежки и мертвых... Солдат острил, шутил, будто не он, не его руки вершат суд, будто автомат со штык-ножом обрел душу, обрел силу действовать по своей воле, вне ведения человека, получил право карать, право убивать...

Маленькая Гуля закрыла глаза, чтобы не видеть, как поменяла цвет вечно чистая, лазурная, прозрачная горная речка.

Темнота стала красной, солдат-шутник схватил Гулю за волосы, густые черные кудри по пояс, потащил к реке. Кричал, чтобы она открыла глаза и посмотрела, посмотрела, что натворила! Что из-за нее все так случилось, и что она во всем этом виновата! В смерти родных, в смерти соседей... Она развязала эту войну! Она и есть война!

Гуля лишь крепче сжимала веки, веки каменели...

Солдат выбросил тело Гули под вечер, истерзанное, свернутое в кровавый ком тело приняла река, запачканные воды унесли Гулю к морю и дальше, и дальше... Унесли в страну невозвращения. В страну забвения. Страну стен...

Скомканную, слипшуюся, раздавленную массу когда-то бывшей полоской бумажных обоев, Гуля принесла с собой, долго расправляла спрессованный ком под утешительное бормотание, спасла кусочек, спасла два аленьких цветочка в ореоле зеленых веток. Такие же цветы росли повсюду вокруг дома и по берегу горной реки. Гуля взяла спасенные цветы на клочке обоев с собой в постель, спрятала под подушку с надеждой вернуться во время цветущих аленьких цветов, вернуться и остаться.

Вернулась Гуля в съемную квартиру, вырванная из тревожного полубреда со взрывами и бомбежкой, настойчивым жужжанием сотового телефона.

Звонила Светка-бибиси, Гуля ответила решительно, первая, без приветствия, без запинки, не давая собеседнице вставить ни слова:

— Света, хватит уже думать о других. Позаботься о себе, о своих детях! Они нуждаются в тебе как никто! Ты нужна им! Подумай! А Гриха... его не надо ни ругать, ни жалеть... Он очень несчастный, раненый, погибший человек. И думаю, мы с ним нашли друг друга, и все у нас получится!.. Думаю, мы сойдемся!.. Сольемся, как две реки в одно море...

Светка-бибиси не нашла слов.

Телефон Гуля оставила дома на подушке.

С собой взяла лишь кусочек обоев и ведро со свежесмешанным клеем для обоев.

Дверь в комнату 22 нараспашку. Только Клава свисает с подоконника, на полу в центре комнаты запечатанная бутылка водки стережет обрывок обоев с посланием:

Пошел за сюрпризом. Тебе конец! Всему конец!

Гуля сказала, обращаясь к резиновой подруге хозяина:

— Очень хорошо. Кто не любит сюрпризы?! — сказала на своем языке, и кукла ответила на том же, на языке Гули, языке Гулиных предков... Ответила без запинки, словно всю жизнь на этом языке говорила...

Забывать можно прошлое, вычеркнуть из жизни людей, события, чувства... но не язык. То, что вечно связывает тебя с Родиной, навечно с тобой, твое в слезах, в дыхании, в крови!..

Интуиция, шестое чувство, предвидение... иногда ты просто знаешь, и все тут. Знаешь, что будет, что случится... до тонкостей, мелочей...

Иногда ты знаешь, что нужно сделать, и тебе не ведомо, откуда пришло это осознание. Но ты уверенно исполняешь то, что должен. Может, это то, что мы зовем проявлением высшей силы?.. Знамением? Откровением? Судьбой?..

Гуля могла бы повторить в точности, слово в слово, что скажет, вернувшись из подвала, хозяин комнаты.

Гриха пьян и вновь крутит свою заезженную пластинку: о былом, о ненависти ко всем народам, нациям и странам, о зарезанных им собственноручно четырехстах женщинах, о врагах, нехристях, мести и о войне, которой нет конца, о любимом штык-ноже и, наконец, о сюрпризе:

— Я его такими окольными путями вез, через столько стран и городов. Столько лет хранил, таил, в надежде и ожидании... Хотя почему его-то?! Ее! — крикнул, точно прозрел. — «Она моя», женский род единственное число.

Смеется Гриха, и стены дрожат от этого смеха. Смех прошлого над настоящим, над будущим...

Гуля развернула полотно обоев, от окна к двери, густо, неэкономно намазала клеем собственного приготовления — «склеивает насмерть, не оторвете, если даже захотите, ни в век», — так расхваливала она всегда свой волшебный раствор. Гуля рассмеялась следом за Грихой. Громче Грихи рассмеялась. На всю комнату, весь коридор, на всю общагу...

Смех Гули испугал, Гриха вытащил из-за пазухи сувенир, подарок войны, закричал:

— Заткнись, сука! Завали пасть! Знаешь, сколько я таких, как ты, поубивал! — Замахнулся обещанным, драгоценным сюрпризом — ручной гранатой с тяжелым рубчатым корпусом, ласково прозванной Грихой «черепФэшкой»: — А! На хрен всё! Мне нечего терять! Я положу конец войне! Своей войне! Понятно тебе?! Думаешь, я тебя не узнал? Думаешь, не знаю, кто ты?! Сука драная! Не добил тебя там, тогда! Добью здесь и сейчас! На хрен Афины! На хрен Месопотамию!

Стены, охраняющие сердце и душу, рухнули, нет больше места для стен. Стены разлетелись в камни, в песок, в пыль... Гуля, Гуля-гора бросилась к Грихе, схватила руку с гранатой, притянула к себе, обняла. Сплетаясь виноградными лозами жил и вен... Прижалась губами к его губам, проглотила его крик, его стон, его боль и ненависть... его войну.

Ее первый поцелуй, ее первые настоящие объятия с чужим человеком. Ее первый танец... Гуля вела... Пара закружилась по комнате, пара рухнула на пол, на расстеленное полотно обоев, и на полу пара продолжала кружиться в безумном танце, танце-сражении, танце последней битвы, танце последней войны. Заворачиваясь, свертываясь, склеиваясь намертво в кокон, в единое целое...

Губы спаяны с губами, как душа в душу. Между ее сердцем и его — металл гранаты. Гуля вела. Гуля завернула их с головы до ног в плотный ковер из луговых, аленьких цветов.

У них на двоих один и тот же шум в ушах, в сердцах, в душах... Так шумит лазурная горная речка где-то далеко на другом конце света.

Река возвращала пару туда, где они были и будут счастливы.

«Домой», — верила беженка *оттуда*. Растворяясь в шумных водах.

«Месопотамия», — знал Гриха из двадцать второй комнаты. — «Потому что все мы сопровождающие...»

Громадный рулон обоев в цветочек какое-то время шевелился, дышал, за ним с любопытством наблюдала резиновая кукла с подоконника.

Клава, потерявшая голос и хозяина, окаменела ближе к вечеру, всё в комнате окаменело, застыло в ожидании взрыва.

Только взрыв, как и ожидание, победили цветы. Цветы победили людей, победили металл, победили время. Они проросли сквозь бумагу обоев свежей зеленью и вскоре распустились, зацвели алым, в точности такие, что растут вокруг разрушенных войной домов и у рек, чьи лазурные воды несут тебя к морю и дальше, и дальше...

Анна Пестерева

«Ящик, ящер, я щит»

Рассказ

— Аня, Аня. Познакомься, это твоя бабушка.

Женщине, лежащей на кровати, семьдесят восемь лет. У нее волосы такие же темные, как июльская ночь за окном. Всего несколько седых прядей — похоже на дорожки лунного света на воде. Глаза — вязкий мазут, зрачков не видно — тонут. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. Мне восемь лет — юбка сбилась на бок, на ногах темно-синие новые туфли, привезенные мамой из Москвы. Мы молчим. Я понимаю — что-то не так, но не умею это сформулировать и продолжаю погружаться в мазут.

Она приехала из разрушенного войной города, еще пахнущая южным летом, раскаленной дорожной пылью и дегтярным мылом. Поезд увозил ее к нам, оставляя позади квартиру и собственный сад с виноградником и черешней. Цепочка вагонов с людьми ехала мимо других составов — лежащих по обочинам на боку или колесами вверх. Казалось, они кричали, как и дома вокруг, почти на каждом висел огромный плакат «Продаю».

Она медленно шла из кухни в ванную в своей квартире в Грозном, держась за стенку. Дед сутился, готовил еду и ждал кого-то. Когда в дверь позвонили, он побежал открывать. Бабушка вышла в коридор посмотреть, кого принесло. На чемодане сидела женщина лет сорока — уставшая, худая, с бледным от недомогания лицом.

— Кто это? — спросила бабушка.

Это была моя мама. Она два дня ехала в Грозный из Москвы в плацкартном вагоне, чтобы забрать родителей из города. Был 1998 год.

В восемь лет я впервые узнала, что человек может потерять не только имущество, часть собственного тела, близких или жизнь. Он может потерять память. Иногда я приходила смотреть, как дед кормил бабушку. Тогда я задала себе вопрос, о который спотыкаюсь до сих пор: как это возможно? Если у тебя пропала собака, ты клеишь

Анна Пестерева — журналист, работала редактором на радиостанции «Коммерсантъ FM». Сейчас — обозреватель на РБК-ТВ. Родилась во Владивостоке, живет в Москве. Это ее первая публикация в литературном журнале.

объявления на дверях подъездов, опрашиваешь соседей и идешь искать питомца в ближайших дворах. Если ты потерял себя, то где? Куда писать? И поймешь ли ты сам, что потерялся? Я думала об этом, думала и тонула в мазуте.

Морозный узор на окне едва удавалось расковырять. Я упорно продолжала это делать, хотя пальцы замерзли и не слушались. Проталина зарастет потом уродливым рубцом — любое событие оставляет за собой след. Я ждала своего девятилетия и думала о будущем. Кто я? Человек. Правда, отец говорил, что пока только полчеловека. Даже в междугороднем автобусе за меня брали неполную цену, а значит, надо еще расти. О чем я мечтала? О подарке. Не о каком-то определенном, а просто, чтобы он был, потому что с деньгами туго, — так говорили взрослые. Кем я стану? Хорошим и честным человеком. Очень справедливым, не буду врать и обманывать. При мне не будет нищих и не придется плакать. О прекращении всех войн я не мечтала — слишком все сложно, и моей детской магии тут недостаточно. Во что я верила? В бога. Через три дома от нас монастырь, и мы ходили туда каждое воскресенье. Но еще больше я верила в свое будущее — там обязательно все будет хорошо. Чего я боялась? Я не... Ноготь уперся в твердый кусочек льда на стекле и треснул посередине. Я только ахнула и отдернула палец — больно. Мама звала к столу, пахло макаронами по-флотски, и я слезла с подоконника, уже не помня своего вопроса.

Вернулась к нему гораздо позже; уже будучи взрослой женщиной смогла подобрать нужные слова. Каждого пугает что-то свое, я определилась со страхами рано: потеря личности хуже смерти. Так я расставила приоритеты.

* * *

Бабушка не помнила даже собственного имени. Знала одно единственное — Коля. Оно заменило остальные, стало нарицательным. Все люди на свете Коли.

Может быть, где-то на улице, а может быть, дома между кухней и залом, при звуке очередной автоматной очереди что-то лопнуло у нее в районе солнечного сплетения, выступило потом на ладонях и спине. А может, ничего этого не было. Может, мозг стал стирать самое страшное — суету и ужас ночных поджогов, грохот взрывов. Образовавшиеся в ткани памяти прорехи затягивались туманом, который накладывался на другие воспоминания, выедал их изнутри. Так постепенно голову окружила плотная белая пелена, и вместо выстрелов «ра-та-та-та-та» бабушка слышала теперь «ко-ля-ко-ля-ко-ля», и от этого становилось спокойней. Из всего, что у нее было, она сохранила для себя только имя мужа, — видимо, оно оказалось единственным безопасным местом во всем городе.

Рубашка в грязи. Опять. Значит, лежал между грядками. Значит, стреляли совсем рядом. И молчит — надеется, что не замечу?

Вода закончилась, как же быть-то? Питьевую нельзя — когда в следующий раз гуманитарная машина?.. Мда, без воды.... Дожили. В детский сад пойду, там подвал затоплен — для стирки сойдет. Одно ведро или два? Ох, спина болит. Ничего. Одно.

Нельзя ему ходить туда, нельзя, сколько повторять-то. Ковыряется в саду. Виноградник ему жалко. Ну да, а умереть не жалко? Не хочу, не хочу. Вино! Снял! Когда его пить? На собственных поминках разве что. Смеется. Принесет свой виноград, я его и пальцем не трону. Я его выкину, вот что сделаю.

Фуух, устала, а мне еще наверх. Сколько сейчас? Семнадцать, что ли? Ну, да. Что-то медленно все делаю: возраст, возраст. Бессонница еще. Ночей боюсь. Дожили.

Посижу на лавочке, фух. Эх, а когда-то во дворе играли наши дети. Вот прямо тут и играли. Неужели было? Ох, пойду потихоньку, некогда расслаживаться. Где же Коля? Давно ушел.

Несколько раз снился этот чертов сад. Нет, ходить туда нельзя. Большие нет. Калитка скрипит на одной петле. Деревья вырублены под корень: и абрикос, и алыча, все, совсем все. Иду. Грядки в сорняках, кроме одной — с клубникой. Ягоды большие и красные, как сердце, на каждом кусте по несколько штук. Хочу сорвать, наклоняюсь и вижу — Коля лежит. Хватаю за плечи, трясусь, не шевелится. Голова запрокинута, рот открыт. Прямо из горла откуда-то вылетает снегирь — пятно на груди кровоточит. Полетал над нами и исчез. А Коля у меня на руках. Лежит. О господи...

Подойду и скажу: «Обещай мне, что больше не пойдешь. Обещай!»

Люди брали карандаши, делили мир на квадраты. Вот этот квадрат вам — за все самолеты, пролетающие здесь, отвечаете головой. Не дай бог что случится, вы же понимаете. Грузы поставляются в СССР по ленд-лизу, все должно прибыть целым.

Бабушка получила повестку в армию в сорок втором году, а может быть, в сорок первом — точную дату в нашей семье уже никто не знает. Служила радисткой на одном из участков «персидского коридора». Хронический недосып, плывущее сознание, одна мечта — закрыть глаза и падать, падать, падать. Бабушка не любила рассказывать об этом времени, но один случай сохранился в семейной памяти. Случай, который никогда со мной не происходил, но стал частью моих воспоминаний. В любой момент я могу увидеть то, чему никогда не была свидетелем.

Война отпускает всего на четыре часа — забыться сном и вернуться. Сигнал тревоги в любой момент — опрокидываешься, голова еще выключена, тело уже работает — надевает форму, застегивает пряжку на ремне. Я вижу, как молодая женщина с черными волосами под сирену встает, делает шаг и падает на кровать, встает, делает шаг и снова падает. Я и есть эта женщина. Я еще сплю, но сон ломается, как лед под сапогом, — что-то не так. Почему я падаю? В районе ключиц у меня разливается холодком волнение, стекает ниже — под ребра. Наконец разлепляю глаза — теперь все понятно. Передо мной стенка. Просто я заснула на другом боку и пытаюсь встать не с той стороны кровати. Я ли? Нет, это молодая женщина с темными волосами. Я смотрю на нее со стороны, откуда-то с потолка.

Интересно, то, что происходило с ее сознанием в Грозном, было похоже на этот полусон, когда пытаешься встать с кровати, но ударяешься о стену и падаешь навзничь?

Я стою на крыше нашего дома. Внизу ходят люди с красными флагами — Первомай. Кто-то жарит шашлыки, над двором белый дымок. Чувствую запах костра. Отрываюсь от крыши, взлетаю над городом, меня начинает трясти. Сильный ветер, голова назад-вперед. Открываю глаза — перевернутое лицо Коли. Неужели я лечу вверх ногами?

— Вставай, говорю. Горим!

— Что?

На стене пляшет пятно света — солнечный зайчик. Он нас всех съест. Пахнет гарью. Чихаю, на бегу надеваю тапочек и падаю. Колено — больно. Поднимаюсь, опираясь на стену.

— Дверь подожгли, видишь? Набирай воду в ведро, неси сюда. В баке вода.

Пламя еще несильное. Повезло, что проснулись.

— Коля, это пожар? Пожар, да?

— Бери ведро, бегом!

Ведро. Ведро. Помню, где-то его видела. Оно было на кухне или в ванной. Под елочными игрушками. Точно! На балконе.

— Я сейчас!

— Скорей!

Ползу на балкон. Цепляюсь за порог и опять чуть не падаю. Начинаю рыться в завалах. Вот оно, ведро, ага. Не поддается, сволочь. Давай.

— Коля, я сейчас!

Ведро уступает, но сверху переворачивается коробка. На пол летят разноцветные шары — разбиваются, как бомбы. Сверху присыпает мишурой. Вижу, у соседей включился свет.

— Мадина! Мадина!

— Что тут у вас происходит? Что случилось?

Я вдруг забыла все слова. Открыла рот, а оттуда тишина.

— Что, что? — нервничает Мадина.

Я показываю пальцем на нашу квартиру и смотрю ей в глаза. Пойми меня, ну пойми же. На балкон выбегает Коля.

— Где ты пропала? Мадина, слава богу. Мы горим. Дверь!

Соседка спохватывается и бежит будить мужа. Я вижу, как она исчезает в квартире.

— Дверь, — повторяю я ей в спину. — Дверь.

Бегу с ведром к баку и снова спотыкаюсь.

— Скорей, — кричит Коля.

Я стараюсь, стараюсь. Нагибаю бак, он тяжелый, еле держу, вода так медленно течет. Он врывается, забирает ведро и, расплескивая, бежит тушить. С той стороны голос Дауда. Кажется, на этот раз обошлось. Я понимаю, что сижу на полу и обнимаю бак. На разбитом колене выступила кровь.

«Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза...» Бабушка хватается за сердце и оседает на стуле. Опять война! Нет, выдыхай. Это 12 апреля 1961 года. Первый человек в космосе — советский гражданин. Гордись. Бабушка не хочет гордиться, она со злостью вырубает радиоприемник. Надо выпить корвалол. Младшая дочь идет искать капли. Муж так и сидит над борщом с ложкой в руке: ты чего? А она боится. «Нет ничего злее и подлее войны. А у нас дети, Коля. Как же ты не понимаешь?» Она ничего не говорит, только смотрит — читай по глазам. Он доедает борщ и бежит на работу в пожарное депо. Пожар — это страшно. Не дай бог, конечно.

Слишком много для человека — две войны за одну жизнь. Страшно умирать молодым. Страшно умирать старым. Страшно умирать.

Швабра, черенок от лопаты, палка. Висят над головой, утыкаются в дверь и в стену напротив. Коля смастерил сит... систему подпорок. Как на войне. На фронте мы с девочками так же... Да мы и есть на войне, дура. Мы и есть на войне.

Дверь совсем хилая после пожара. Скрипит — весь подъезд знает, когда нас дома нет. Я теперь не выхожу. Сколько раз нас пытались взломать. Два? Три? Надо у Коли спросить. Коля все знает. Дверь держится едва-едва. Е два. Два или три раза? Дверь. Ее и нет, считай.

Коля сказал «за пенсией». Я с палками один на один. Пойду приготовлю кашу — вернется, а дома едой пахнет. Подпорки эти висят над головой, как зубы, — страшно. Я внутри пасти. Вдруг кто-то дернет дверь и челюсть захлопнется?

Ах, поросенок, — опять хлеб резал, накрошил. Нож нужно втыкать вот так, в мякоть — сколько ни учи, все по-своему. Говорю, чтобы голода не было. Хихикает. Ага, за пенсией собирался — невеселый был. Денег нет, сада тоже. Что жрать будем, Коля? Молчит. И я молчу. Ничего Коля, ничего.

Люба написала — все хорошо у нее. Коля читал вслух вчера, слушала, вспоминала ее девочкой. Волосы, как у меня, а цвета глаз не помню. Забыла! Попыталась перечитать письмо, не смогла. Устала, наверное. Коля посмотрел на меня представительно, нет, при... при... пристально, да, пристально и забрал письмо.

Лиди тоже пишет — на несколько листов! Это она в Колю, я не люблю писать, не умею. А Рая совсем не пишет. Два года уже. Опять пропала. Все у нее хорошо, надеюсь. Хоть бы все хорошо. Эх.

Одна в Омске, другая в Казахстане, третья во Владиво... Владивостоке. Рассыпались, как бусы, не соберешь. Как когда-то за этим столом сидели... Ай!

Палец липкий, весь в красном. Горит от боли. Смешно. Ха-ха-ха. Ой, не могу. Год, два, сто лет на этой проклятой войне, и вот первое ранение. Мои нервы не в лёт, не в счёт. Куда я положила бинт, интересно. А вот. Ножницы.

Мне лет шесть, а может быть, семь, и я пишу письмо в Чечню. Цветным карандашом вывожу слова «бабе и деду» и рисую какую-то ромашку на листочке в крупную клетку.

Я помню, как выглядели конверты, которые мы отправляли, и каков на вкус клей, который нужно облизывать, чтобы запечатать послание.

Я не помню, что приходило в этих конвертах из Грозного, ни одной строки, ни одного слова. Мама говорит — старики никогда не жаловались. Уверяли, что все у них хорошо, что держатся, что война не такая уж и страшная. В этих письмах не было ни слова о состоянии бабушки. Возможно, в них вообще не было правды. Я бы все равно хотела их прочитать. Но этих писем нет, они потерялись при переездах.

Надо, надо. Коля свое уже написал. Ждет меня. Пошел на кухню, гремит тарелками. Рел-ка-ми. Реками. Я чувствую, как он наворачивает... нервни... нервничает. Он ворчит про «безобразие» и про «доели травну». Как еще раз? До-ве-ли стра-ну. Это он на меня злится? Не злись, я никого не доводила. Я сейчас все напишу.

Почему так неудобно держать ручку? Не могу сложить пальцы правильно. О чем же писать? Коля, помоги. Нет, не буду отвлекать. Рассердится. Сер-ди-ца. Сердца.

Когда он подходит, я все закончила. Почитай. Молодец я?

«Дорогие дети. Привет. Р вас скучаю и люблю. Пишите о себе. От сердца вам желаю благополучия и здоровья. Незабывайте нас. Жду писем фотокарточек, но востей».

Коля смотрит на мое письмо. Хмурится. «Пошли спать», — дает руку. Он пахнет дождевым, дрожь-живым тестом и луком. Надо завтра приготовить пирожки.

— Хочешь пироги?

Говорит, у нас муки нет. Давно. Да? А так хочется. Я лежу, а Коля уходит на кухню. Дверь приоткрыта, полоска света на стене. Мне кажется, она начинает плясать. Я это уже видела раньше. Закрываю глаза. Темно. Я куда-то проваливаюсь и падаю, падаю без конца. Мне восемь лет. Я смотрю на странную женщину. Кто она? У нее темные волосы,

журнал. Дает картинки. Говорит, это наша семья. Очень много лиц, я где-то видела этих женщин. Коля говорит, мы знакомы. Они красивые. Улыбаются. Я думаю, они хорошие люди. Коля говорит, это наши дети.

Я смотрю на фотографию бабушки из семейного альбома, который чудом пережил войну в Грозном и доехал до меня. Десятки рассыпающихся в руках листов, на одном из них — портрет. Бабушка совсем молодая — ей, может, двадцать пять. Она смотрит не в объектив, а чуть в сторону. На этом снимке она похожа на актрису Кейт Уинслет из фильма «Титаник».

Мама говорит, что иногда я напоминаю ей бабушку. Я не согласна, не вижу сходства. Она поясняет — это не форма скул и не разрез глаз. Это выражение на лице, которое появляется всего на секунду, наклон головы во время разговора. Разве можно унаследовать такие вещи? От человека, которого не знаешь.

Почему она так на меня смотрит? Какая странная. Она не очень-то мне нравится. Она старая. И больная. Я вижу это по ее глазам.

Она открывает рот, и там нет зубов. Кладет ладонь на лоб, проводит к подбородку, лицо смазывается вниз, как подтаявшее мороженое. Грустное лицо. Она зевает, и я вместе с ней.

На ней ночнушка с пятном на груди. Поднимаю глаза — тарачится. Смотрю на нее в упор, а она на меня. Игра в гляделки.

Голос Коли над ухом заставляет моргнуть.

— Пойдем есть. Отойди от зеркала. Пойдем.

Зеркало? Что такое зеркало? Коля, я забыла.

Он ведет меня под руку и говорит: «Это ничего. Это ничего».

В дверях кто-то сжимает мне локоть. Поворачиваюсь и вижу маму. Ее рот шевелится, но голоса не слышно, и я начинаю реветь. Она нагибается ближе, гладит по голове — ладонь тяжелая, как у приходского священника, когда он отпускает тебе грехи. Утыкаюсь лицом в ее юбки — они пахнут травой и молоком. Зажмуриваюсь. И наконец-то слышу! Она поет: «Зыыыбаю-позыыыбаююю. Отец ушел за рыбооооюю». Слышу, как орут в саду сороки, как скрипит половица под ногой, как на маминой шее позвякивает монисто. Протягиваю руку — оно холодное. На столе горит свеча. Мамина тень на всю стену, такая большая, что страшно. Кажется, сначала она поднимает руку, и только потом моя мама. Я поворачиваюсь к своей тени, она делает движение ко мне — я пугаюсь и опять начинаю реветь. Тень тоже плачет, беззвучно дергая плечами. Мама берет меня под ребра, сажает себе на колени и поет: «Аа-аа-аааа». Я закрываю глаза и цепляюсь руками за ее косы. Слезы еще катятся по щекам, губы мокрые и соленые. Я прижимаюсь к маме, от нее пахнет травой и молоком.

Я запуталась в отражениях. Их теперь слишком много. Вижу себя в восемь лет, смотрящей на женщину с черными-черными глазами и тонущей в них, как в мазуте. Кто-то, кто называется «я», совершает путешествие в воображаемое прошлое и строит из обрывков рассказов деда и матери целый мир. Представляет трехкомнатную квартиру в хрущевке на Старопромысловском шоссе. Ходит по ней, хотя никогда не видел ее в жизни. Слышит, как скрипят половицы, трогает неровную, подгоревшую дверь. На пальцах остается копоть — пахнет костром. В квартире полумрак, прикрыты

шторы. Где-то тут моя бабушка — точнее, мои бабушки — такие же отражения, как и «я» сама. Проекция человека, которого я совсем не знала, но захотела воскресить и поселить здесь. Живи. Расскажи мне, как все было. Поговори со мной. Она может сообщить мне только то, что «я» сама вложу в ее голову. «Я» знаю это и больше не задаю вопросов.

Перед моими (чьими именно?) глазами возникает последняя сцена. Я представляю ее особенно часто. Бабушка сидит за столом на кухне и смотрит в окно. О стекло бьется мотылек. Она показывает пальцем и говорит:

— Коля, смотри.

Он не поворачивается. У него на плите убегает молоко, и он злится.

— О ди го йу.

— Что?

— Подожди, говорю.

Бабушка засыпает, прислонившись лбом к окну. Дед трясет ее за плечо.

— Проснись. Обед готов.

Она слышит сквозь сон:

— Рос ис бе тов.

Хлопает глазами. Дед наклоняется к ней и говорит.

— Скажи: Аня.

Она ворочает языком, нащупывает звуки, пробует их на вкус:

— А-нь-йа. Аня.

Дед смотрит на нее и говорит:

— Ты помнишь, что это значит?

Она заглядывает в глаза. Пауза затягивается.

— Так тебя зовут.

Лицо бабушки в этот момент что-то выражает, но я не могу разглядеть деталей, потому что плечо деда закрывает обзор. Она говорит: «А. НЬ. ИА», — и тут же забывает.

Дом начинает скрипеть. Окно, у которого сидит бабушка, вываливается из стены и летит в пустоту. Оно никогда не упадет, потому что с той стороны нет ни улицы, ни города, ни страны. Исчезает плита, стол, дверной проем, стены, пол. Силуэт деда бледнеет и превращается в белый пар над кастрюлей с молоком. Следом растворяется бабушка. Квартира и все, что в ней, рассыпается на тысячи точек, никак не собрать. Их подхватывает и уносит ветер. Остается лишь пустота. А потом и она исчезает.

Игорь Малышев

Память моя, мошек рой

* * *

Память моя, мошек рой.
Я видел смерть под тёмной водой.
Над которой порой ночной
Дрожит память моя, мошек рой.

Я видел рыб под водой, страх и вой.
Упаду, и сожрут под тёмной волной.
Далеки берега и неведом покой.
Память моя, рой над чёрной водой.

Мошки мельчайшие над бездной и тьмой.
Ничего не останется, всё унесёт рекой.
Ни грусть не вечна, ни смех, ни жалость.
Держись, держись, моя память.

* * *

И что следующей будет весной,
Будет уже не со мной.
Это будет уже с другим,
Пусть он с именем даже моим.
Пусть он в доме моём живёт
И его признаёт мой кот,
Его любят мои друзья...
Это буду уже не я.

Малышев Игорь Александрович — прозаик, драматург, поэт. Родился в 1972 году в Приморском крае. Получил высшее техническое образование. Работает инженером на атомном предприятии. Автор восьми книг прозы и ряда пьес. Финалист многих литературных премий. Живет в Ногинске.

* * *

Есенин подходит к столику, где сидит Маяковский.
Оба сейчас нетрезвы. Есенин нетрезвый — жёсткий.
Кладёт на столик кулак каменно-крепко сжатый.
«Ты, Маяковский, дурак. Вот разгадка для всех загадок».
Открывает ладонь, там патрон, семь шестьдесят пять.
«На счастье тебе. И не вздумай его потерять».
Маяковский видит патрон, говорит: «Красивый».
Лилечка пулю целует: «Это на счастье, милый».
Маяковский берёт патрон, в помаде, как в красном перце.
И прячет в нагрудный карман, сразу поближе к сердцу.

* * *

А ночью возле дома бродят лоси,
Хрустя, глодают веточки калины,
Заглядывают в окна, дышат в стёкла
И об углы горбаты чешут спины.

Наутро люди видят изумлённо:
Следы вдоль стен, обломана калина, —
«Ты знаешь, ночью приходили лоси,
Мы всё проспали, Господи, прости нас».

Они бросают соль на снег и ночью
Сидят и смотрят, затаив дыханье,
Как из лесу опять выходят лоси
И дышат в стёкла, и блестят глазами.

А лоси — корабли, киты, планеты,
Проходят в темноте, скрипя снегами.
И люди смотрят, смотрят изумлённо,
Как будто тайну вековую узнали.

* * *

Нет, не на этой стороне луны.
Не в этом городе,
Не на карте этой страны,
Не на глобусе этой планеты,
Не этим летом,
И зимой не этой.
Не с нашим счастьем,
Не с нашими отражениями в зеркалах.
Путь наш измерен.
Земля на подошвах,
Дело швах.

Что-то не так с веком,
И тысячелетье не то.
Ты думал, трамвай едет к дому,
Но трамвай в депо.
Ты думал, успеется,
Ты думал, пройдёт.
Мемориальная табличка,
С такого-то по такой
Ты жил в этом теле,
Потом ушёл.

* * *

В русском лесу хорошо, пахнет землёй,
Крыльями бабочек, смертью, соком осин.
В русском лесу хорошо, здесь каждый один.
Взгляду просторно, щекам горячо-горячо.

В русском лесу под листопадом уснуть.
Ночь напролёт слушать шорох кротов под землёй.
С первым лучом лёд на реке обмануть.
Встать на коньки и бежать далеко-далеко.

В гнёздах совиных косточек птичьих не счесть.
Мягко полёт тёмной птицы, когти острые.
Только не совы, а зяблики и соловьи
В лес принесут о весне долгожданную весть.

Андрей Волос

Мешалда́

Книга семейных рецептов

Ливерная колбаса

Памяти Евгения Михайловича Широкова

Шумела весна, стояла теплынь, солнце светило с яркого неба, а у нашего Мурзика была чумка, и он умирал.

Он расслабленно лежал в углу дивана на сложенном вчетверо байковом одеяльце. Нос был сухой и горячий. Полузакрытые глаза безучастно смотрели в стену.

Я осторожно касался пальцем потускневшей шерсти.

— Мурзик! — тихо звал я. — Мурзик!

Мурзик не отвечал. Он и прежде-то, к сожалению, не умел говорить, а теперь даже не мяукал. У него была чумка, а коты от чумки умирают.

Чтобы не нагнетать лишнего напряжения, скажу сразу, что он, слава богу, не умер. То есть что значит — не умер? Теперь-то его все равно уже нет на белом свете.

А к нам Мурзик попал совсем маленьким, чуть только не слепым. Не буду распространяться о том, каким он был славным в этом нежном возрасте. Котята все смешны и похожи: все они примерно одинаково скачут за бумажкой на ниточке, валяются по полу, кувыркнувшись с разбегу через голову, охотятся за тапочками, горбятся, грозно идут боком вприпрыжку и, припрыгав почти вплотную, вдруг, дико вытаращив глаза, по-человечьи встают на задние лапы, широко раскинув передние: точь-в-точь старый друг при случайной встрече.

Потом он вырос и превратился в большого боевого кота. В сущности, ничего примечательного в нем не было — самый обыкновенный кот самой плебейской тигриной расцветки. Серенький в полоску.

Жилось ему у нас неплохо. Холеный, закормленный, летом и осенью он был толст, медлителен и вальяжен, ступал с достоинством. Окном в мир, равно как и дверью, ему служила форточка. На кухне она почти не закрывалась, и он часами сидел в проеме, рассматривая шевеление листвы и оценивающе приглядываясь к мельтешению воробьев, а потом вылезал наружу.

Рано или поздно приходила пора возвращаться, и Мурзик, явившись из зарослей палисадника, молча вспрыгивал на оконный карниз. Окна первого этажа в нашем большом трехэтажном доме были забраны решетками. Несколько секунд он топтался, глядя на форточку, примеряясь и нервно перебирая лапами. Наконец решительно прыгал, норовя попасть головой в одно из ромбических отверстий решетки, и, если это удавалось, неистово продирался внутрь, скребя когтями, мучительно сплющиваясь, кособочась и на воровской манер протискивая плечи — по очереди.

В середине зимы Мурзик начинал гулять. Скоро бока западали, глаза на сухой морде светились сумасшедшим огнем, весь он покрывался болячками и шрамами, совершенно терял рассудок и превращался в жалкое безмозглое существо, способное только пьяно орать по ночам.

Зато когда он теперь ненадолго заглядывал домой (вроде как на побывку: помыться, побриться, вообще передохнуть в кратком промежутке между боевыми действиями), — решетка уже не представляла для него серьезного препятствия. Он змеился сквозь нее словно куница.

Мама встречала его сердитыми попреками:

— Пришел! Явился — не запылелся! Где шлялся три дня, дурак старый? Гуляешь все! Смотри, догуляешься! Прибьют тебя где-нибудь!..

Мурзик ковылял за ней по кухне, с яростным мурлыканьем бодал ноги. Наконец мама ставила на пол мисочку. Сиротски выставив острые лопатки, он припадал к ней, пожирая ливерную колбасу: косился по сторонам, жевал, глотал, давился, хрустел попадавшими на зуб жилами и закрывал от усилий глаза, выворачивая голову.

Когда миска пуста, он еще некоторое время одурело сидел перед ней. Потом отходил, пошатываясь, брел в комнату, садился возле шкафа. Начинать было послеобеденный туалет, вылизывал один бок. Но тут силы его окончательно покидали, и Мурзик засыпал по-солдатски — то есть где сон сморил, там и повалился.

* * *

Надо сказать, что сейчас, много лет спустя, вспоминая, как он вспрыгивал на колени, как шурился и вытягивал пушистую шею, если кто-нибудь из нас почесывал ему подбородок и горло, — или как ярился, суживал глаза и бил лапой: играя с ним, я подчас доводил его до последнего градуса бешенства, и в его злобном взгляде начинало сквозить сожаление, что он не может стать на минуточку тигром, чтобы меня сожрать, — представляя себе его сытую степенность, невозмутимую холодность, барскую походку и то искреннее изумление, которое неизменно воцарялось на усатой физиономии, когда он обнаруживал, что опять кому-то до него есть дело, — представляя себе все это, я не могу отделаться от ощущения, что речь идет не о коте, а о человеке.

Так устроено воображение. Мы не могли бы испытывать к животным ни любви, ни жалости, если бы не полагали, что они мыслят и чувствуют примерно так же, как мы сами: как люди, но люди небольшого роста и не вполне самостоятельные, забывчивые, требующие нескончаемых напоминаний и повторов одного и того же даже в тех случаях, когда, казалось бы, все можно отлично запомнить с первого раза; о которых всегда приходится заботиться и наставлять на путь истинный. Люди — но как будто не взрослые. Короче говоря, мы числим их детьми.

Вот, например, однажды наш экспедиционный шофер поймал сурка. Сурок — это большой смышленный зверь, толстый в зад; вид у него такой умиротворенный и разнеженный, будто он только из-за праздничного стола. Обычно они сидят возле нор

и посвистывают. Этот замечтался, уши развесил на солнышке, а когда спохватился — поздно, его уже в мешок сунули. Шофер радовался — дуриком получилось.

Солнце садилось, степь розовела, холмилась, тени вытягивались по траве. Мы были возбуждены — еще бы, удача такая, на шарап сурка поймать, — громко хлопали дверцами «буханки», покрикивали, и голоса по равнине летели далеко-далеко.

Сурка вытряхнули из мешка, все равно из закрытой машины бежать было некуда. Он забился в угол. Поглазели мы на него и еще немного посмеялись. Шофер даже немного подразнил палкой, и сурок бросался и фыркал, а шофер хохотал. Потом сел за руль, я рядом, машина поехала.

Поначалу медленно поехала, переваливаясь, подпрыгивая на кочках. Но скоро выбралась на дорогу получше и прибавила ходу — все дальше и дальше от того места, где сурок жил прежде.

И было это для него, должно быть, очень страшно.

Он сел столбиком, как сидел раньше возле норы, только теперь ему это с трудом удавалось, потому что машину трясло и качало, и он то и дело чуть не падал набок, переступал и горбился.

И вот он сидит так, прижимая лапы к глазам, из которых текут слезы, трет их кулачками и горестно вскрикивает:

— Ма! Ма! Ма!

Ну просто все равно что «мама»!

Так мы ехали минут пятнадцать или даже меньше, а потом шофер — суровый, даже жестокий человек, много всякой гадости повидавший на своем шоферском веку, — вдруг остановил машину:

— Да ну его к черту, крикуна! Давай выгоним!

И я обрадовано согласился:

— Да конечно, ну его к черту!

А все дело было в том, что, когда шофер за ним охотился, сурок только царапался и бился и вовсе не был похож на человека. А теперь стал похож, да так, что мурашки по коже. Мы оба его пожалели, но друг перед другом, как это бывает, жалости своей показывать не хотели. Поэтому вылезли из машины нарочито шумно, чертыхаясь, — вот, мол, из-за всяких дурацких сурков то и дело останавливаться, когда времени нет, — грубо затопали по сухой пыльной земле сапожищами. А сурок свое:

— Ма! Ма!

И кулачком слезы вытирает.

— Вот же гад, а! — сказал шофер и полез в задний отсек открывать дверь, зашумел там: — Иди, иди, пошел вон, иди отсюда!

Сурок прыг в проем, и шеметом по степи, кидая задом.

Шофер ему злым голосом кричит:

— У, сволочь жирная!.. Надо было тебя сапогом, чтобы знал!

И долго мы еще вслед его дружно материли.

А потом сели в машину и поехали дальше, смеясь.

А если бы не увидели в нем человека, сурку пришлось бы худо: кричи не кричи, а довезли бы его до места, там бы убили, из шкуры сделали шапку, а сало вытопили и пользовали легочных больных.

* * *

Это длинное отступление понадобилось мне только для того, чтобы никто не подумал, будто я совершаю какую-то ошибку, написав: а все-таки странный он был человек, этот Мурзик!

Нет, ну правда. Мы, люди, относились к нему совершенно так же, как если бы он был человеком. Он к нам — иначе. Грубо говоря, он, со своей стороны, не хотел признавать в нас котов. И вот убей меня, я до сих пор не могу понять, чем же мы были для него нехороши.

Казалось бы, стоит ему на минутку задуматься, как все станет ясно: кто какую ступень эволюции занимает, кто какую роль играет в прогрессе, кто, в конце концов, венец творения, а кто всего лишь мелкая зверушка, начисто лишенная такого необходимого в быту чувства, как благодарность.

Мы его кормили, поили и давали кров. (Положим, всем этим занималась мама, я только менял песок в ящике, но в данном случае это неважно.) Мы обращались к нему уважительно, по имени. Если вспомнить все, что мы для него делали, перечень займет целую страницу.

И — хоть бы хны!

Пусть бы это был какой-нибудь незначительный, мелкий знак, свидетельствующий о том, что он благодарен, что понимает, чем обязан, — мы были бы удовлетворены.

В сущности, ему легко удалось бы даже нас обмануть, представ в образе эдакого романного героя: с виду мрачный затворник, кичащийся независимостью и одиночеством, а внутри в высшей степени доброе существо, всегда готовое отдать последнюю рубашку и защитить от хулиганов. Для этого ему нужно было сделать хоть малую уступку.

Увы, нет — он и лапой не пошевелил.

Он упрямо не хотел родниться, не собирался идти нам навстречу, он и не думал снисходить. Он вообще не желал иметь с нами ничего общего, кроме еды и дома, и ни лесть, ни даже ветчина не могли склонить его к признанию того факта, что все-таки мы немного похожи.

А если кто-нибудь начинал ему что-нибудь в этом духе выговаривать, Мурзик, подремывая после сытного ужина, но прекрасно понимая, о чем идет речь, мог, конечно, ненадолго разлепить свои наглые, рассеченные грифельными зрачками глаза. Но при этом отнюдь не поворачивал головы в сторону говорящего, не устаивал его взглядом. Просто смотрел сквозь эти свои щели куда бог привел, — на пол так на пол, на миску так на миску, и на его недовольно насупленной морде отчетливо читалось: когда ж ты наконец заткнешься!

Но если поток беспокоящих слов не прекращался, он, так и не раскрыв глаз хоть немного шире, нехотя поднимался, вспрыгивал на форточку и был таков.

* * *

На чем основывалось его сознание бесконечного над нами превосходства?

Бытует мнение, что кошки — мудрые животные. Один мой приятель в доказательство этой точки зрения любит рассказывать о своем коте историю, которая якобы свидетельствует о его, кота, безграничной мудрости и в какой-то степени о мудрости кошек вообще.

История сама по себе очень простая. Уж я не знаю, какая была нужда, но как-то этот мой приятель лежал среди бела дня в постели с женщиной. Излагая

историю, он всегда умалчивал, что и в какой последовательности выделял, только когда в конце концов утомился, с понятным стыдом и трепетом заметил вдруг, что прямо над его головой на шкафу сидит кот и с ленивым любопытством наблюдает происходящее.

— И в его глазах, — говорит в этом месте мой приятель, и голос его подрагивает от нешуточного волнения, — я увидел такую мудрость, такую ласковую снисходительность, такую мягкую насмешку! Такое можно было бы прочесть разве что во взгляде отца, следящего за тем, как резвятся его глупые дети! Казалось, он говорил: да, что делать, жизнь такова, она и впредь будет подсовывать вам множество самых никчемных занятий. Как мне винить вас, несмышлениши! Все пройдет со временем, а пока... пока вы юны, глупы и беззаботны, кровь туманит ваш слабый мозг, опыт еще не остудил сердец. Хотелось бы, конечно, чтобы вы не плодили ненужных иллюзий и не думали, будто занимаетесь чем-то важным... ведь и это пройдет, как прошло многое, слишком многое... но пока — пока гуляйте, ребята!..

Вот каким содержательным взглядом смотрел кот со шкафа на моего приятеля.

Не знаю. Мудростью мы не мерились, а вот ограниченность своего ума Мурзик выказывал неоднократно.

Так, например, он панически боялся кофемолки. Зато, как только представлялся случай, ярился и вопил, порываясь вступить в честный поединок с маминой мутоновой шапкой, коей то ли запах, то ли цвет приводил его в неистовство. Должно быть, он полагал, что им двоим — ему и шапке — тесно на земле, почему и стремился ее немедленно задушить. Шапку прятали, тогда он успокаивался и горделиво расхаживал, будто безжалостный бой уже состоялся, и он вышел из него победителем.

Или вот нашел я однажды в горах здоровущий выползок — змеиную шкуру, сброшенную во время линьки. Она была длинная, сухая, полупрозрачная, блестящая и при каждом прикосновении издавала скрипучий шорох. Я скатал ее рулончиком и сунул в карман.

Когда дома я бросил ее на пол, и она начала с опасным похрустыванием разворачиваться, Мурзик тут же взлетел на книжный стеллаж.

— Ну что ты, дурак, — сказал я, смеясь. — Это же просто шкура, она не кусается!

В качестве доказательства я пошевелил ее ногой. Она снова захрустела и зашевелилась во всех направлениях, а Мурзик обреченно напрягся и завел с верхотуры боевую песнь. Судя по всему, он решил живым не даваться и готовился продать жизнь подороже.

Но даже и в этот момент, изготовившись к самому худшему, он все же предпочел остаться независимым: не бросился ко мне за помощью, не прижался к ногам, как сделала бы в подобной ситуации собака.

Что говорить! Собаки видят в людях себе подобных, и такой взгляд ничуть не оскорбителен, а кошки — нет, и почему-то это обидно.

В конце концов он спустился, подошел, обнюхал ее и даже потрогал лапой. И сделал все это сам, о чем недвусмысленно напомнил мне победно задранный подергивающийся хвост, когда Мурзик одарил меня таким взглядом, словно это не он, а я битый час торчал на стеллаже, и пошел прочь.

Все бы на том и кончилось — то есть он удалился бы победителем, а я со своим дурацким выползком остался посрамлен, если бы Мурзик избрал иной путь отступления.

Он мог идти в любую сторону по ровному полу, но решил зачем-то двинуться так, чтобы переступить через перекладину ножки пианино.

Может быть, это был еще один укол, еще одна демонстрация, что ему вообще-то на все наплевать, ничего он не боится и ни на что не хочет обращать внимания, и на шкуру эту ему наплевать, настолько наплевать, что и пойдет-то он от нее не как ходят нормальные люди, а с таким вот вывертом, через ножку пианино, потому что он что хочет, то и делает, как ему нравится, так и ходит, и еще не хватало, чтоб ему указывали, как ходить.

И он начал переступать, и виртуозно переступил передними, и даже одной задней отлично переступил, а с последней как на грех что-то пошло не так, и он ею легонько зацепился за то, что переступал.

Конечно, это было не совсем обычно, никогда прежде он ни обо что не запинался, а тогда, должно быть, нервное напряжение сказалось. Но в иной ситуации никто бы на такой пустяк не обратил внимания. Ну, зацепился и зацепился, подумаешь, большое дело, он же нечаянно, он вообще-то сто раз мог бы переступить и ни разу не зацепиться, совершенно случайно получилось, забудем, и дело с концом.

Но тогда ему, судя по всему, представилось, что зря он так легковесно отнесся к этой опасной змеиной шкуре. Теперь-то понятно стало, как он ошибся: притворно дав себя обнюхать и даже пошевелить, она спрятала коварство за своей кажущейся неподвижностью, усыпила бдительность, а когда он так неосторожно отвернулся, чтобы идти по своим делам, она ожила, бросилась и смертельной хваткой схватила его за лапу!

И он снова взвыл и снова бросился на стеллаж...

Вот такой он был странный человек, этот Мурзик: просто глупый сноб, презиравший людей за то, что они не являются кошками.

* * *

А теперь у него была чумка, и он умирал.

Немного утешить нас могло только то, что сам он, по крайней мере, не знал об этом — ведь животные не имеют представления о смерти.

Хотя подчас мне приходит в голову, что идея насчет того, что животные не имеют представления о смерти, выдумана, чтобы оправдать легкость, с какой мы относимся к их жизни.

Ну, в самом деле, у кого бы поднялась рука даже на барана, если определенно знать, что пусть и бессмыслен этот баран, косящий розоватым выпуклым глазом, а все же и он, помертвев от испуга, возносит сейчас последнюю молитву? Человек, нарочно повязавшийся заскоружлым покоробленным фартуком, подойдет к нему, повалит наземь, больно придавит коленом и станет с силой водить ножом по горлу, пока наведенное только что лезвие не прорежет кожу и не вопьется в плоть. Там уж недалеко до артерии — и кровь пылко ударит на воздух, в первый момент позванивая, словно молоко в подойник, а уж потом широкой струей разбредаясь по соломе...

Кто бы смог это сделать, зная, что мохнатое четвероногое так же боится смерти, как и он сам? Только убийца.

А раз нет, люди легко обращаются с их жизнями — кормят, растят, лечат, а потом возьмут и зарежут. Даже и поговорка есть на этот счет: скотина нож любит.

Вот и Мурзик — умирает, но не знает об этом.

Его жалко, очень жалко. Но все же не так, как было бы жалко человека. Потому что человек — знает, он — лицом к лицу. А Мурзик — нет, он не может этого знать. И хорошо.

Но однажды Мурзик заплакал.

Он лежал в углу дивана на сложенном вчетверо байковом одеяльце. Дыхания не было слышно. Полужакрытые глаза смотрели куда-то в стену. Веки подрагивали. Вот еще две слезинки выкатились и сбежали по шерстке, оставляя влажный след.

Он умирал и плакал, хотя должен был оставаться равнодушным, и это было необъяснимо...

Плакал он зря, потому что на роду ему было написано выздороветь.

Неизвестно, что оказало действие: таблетки ли, которыми пичкала его мама, или молоко, которое она вливала в него пипеткой, или то, что мы не забыли о нем, не бросили одного бороться с хворью, — но слабенькая, тонкая ниточка стала понемногу крепнуть, утолщаться. Вот он перевалил какой-то рубеж, что-то в нем переменялось. Вот начал пошевеливаться. Вот стал широко, как раньше, раскрывать глаза.

Однажды вечером Мурзик самостоятельно прыгнул с дивана и побрел на кухню, едва ковыляя на подламывающихся лапах.

— Мяу! — как будто немного смущенно сказал он, появившись из коридора.

Мы так обрадовались, что мама даже уступила ему свое место. Я подхватил его с пола и осторожно усадил на яхтан, а она примостилась к папе на сундук.

Мы ужинали.

Мурзик сидел на выючном ящике, моргая и немножко покачиваясь от слабости.

И вдруг в кухне появилась мышь.

Настоящая мышь!

Я не знаю, откуда и, главное, зачем она выскочила к нам в столь неподходящее время.

Может быть, это была оголтелая любительница котлет, не сумевшая побороть соблазна. Или у нее были здесь какие-нибудь срочные дела. Не исключено, в конце концов, что она решила покончить с собой — и выбрала почему-то именно такой, для всех нас мучительный способ.

Даже если она не была безумной с самого начала (в чем у меня и по сей день остаются сомнения), она неминуемо должна была обезуметь от встретивших ее света, шума, запаха и присутствия кота.

Так или иначе, она принялась метаться из угла в угол.

— Мышь! Мышь! — закричали мы хором.

Мурзик смотрел на нее в немом изумлении. По-видимому, он не мог и помыслить, что за время его недуга либерализация отношений между людьми и мышами достигнет таких высот, что эти серенькие создания начнут совершать прогулки прямо во время ужина.

У него не было сил прыгнуть. И он имел полное право не прыгать. Он был так слаб, что в любом случае поединок с мышью следовало отложить, поскольку сейчас исход его был непредсказуем.

Однако он шагнул к самому краю ящика, и когда она в очередной раз семенила вниз, Мурзик повалился сверху.

Плюх!

Он лежал на полу, нелепо растопырив лапы, и смотрел на нас.

Этот взгляд не был ни безразличным, ни просительным.

Он все знал, этот Мурзик. Знал, что должен был умереть. Знал, что мы спасли его от смерти. Он был в долгу. Но теперь отплатил.

Он лежал на полу и смотрел вверх, на наши лица, моргая и тяжело дыша не то от волнения, не то просто от чрезмерного усилия.

Он хотел знать — видим ли мы, что он поймал для нас мышь?

Мы видели.

Больше он не болел, и нам не приходилось спасать его от гибели.

Какой была его настоящая смерть, я не знаю. Прожив бок о бок с нами двенадцать лет, Мурзик ушел, когда папа с мамой переехали на новую квартиру. Он исчез на третий день — разумеется, не попрощавшись.

Мама заглянула в старый двор. Стоило ей покликать, как он появился и подбежал, радостно мурлыча. Она посадила его в сумку и вернула к месту новой прописки. Он исчез тем же вечером.

А когда она пришла за ним снова, Мурзик выглянул из зарослей пыльного палисадника, приветливо посмотрел на нее, извинительно мурлыкнул, но в руки уже не дался.

Блюдо зелени

Бабушка жила, где и прежде жила, а мы теперь не на старой квартире, а на новой: дальше от бабушки, зато ближе к аэропорту.

Аэропорт всегда занимал в жизни значительное место. Ранним утром, когда московский ИЛ-18 выходил на рулежку, даже до Бехзод долетал рев двигателей. А бывало, что и стекла подрагивали.

В новой квартире было еще слышнее. Папа получил ее, став начальником. Когда я улетал с зимних каникул первого курса, мы жили еще на прежнем месте. А уже летом после кавказской практики я пришел к новому дому.

В принципе меня ждали, разумеется. Но я не стал сообщать, когда именно буду. Я не хотел, чтобы меня встречали. Зачем? Нет, ну а что такого, вот еще глупости, не пацан какой, чтобы охи да ахи, серьезный мужик с рюкзаком, пропыленный, пропотелый, просоленный, прохваченный всеми ветрами, хлебнувший жизненных невзгод скиталец. Что его встречать, вот уж большое дело, просто смешно, он уж видывал виды, он и сам отлично доберется. Хоть теперь и близко, да не имеет смысла лишний раз таскаться к рейсу. Адрес есть же? Дом, этаж, квартира — все известно. И ноги пока на месте, двадцать минут, и все дела.

Вот новый дом, вот подъезд, вот этаж, ага — вот и квартира.

Бац!

Мама с папой тем вечером ушли на чей-то юбилей.

Сначала я обзвонился, обстучался, а потом сидел как дурак со своим рюкзаком на лавочке у сухого хауза в бесконечном ожидании.

Было семь вечера, потом восемь, потом девять и так далее.

Я все сидел и сидел.

Если прибавить разницу во времени, я почти сутки был в дороге. Уже в половине шестого мы ехали в Орджоникидзе, позевывая и содрогаясь от утренней свежести.

Нас было шестеро: пятеро до вокзала, а я метил на автостанцию, откуда по слухам ходили автобусы до Минеральных Вод.

Полчаса мы тряслись в кузове грузовика. Мы ехали к вокзалу небольшой тесной компанией однокашников. И казалось, что братское единение страдает от каждого толчка, несет урон на всякой колдобине. Как будто к вокзалу везут не студентов, закончивших практику, а большую льдину. Полчаса назад ее грузили целой, а теперь она колетса на каждом ухабе. Удар, еще удар. Льдина трещит, скрежешет, трескается

и разваливается. Шесть ее обломков по привычке норовят прилепиться друг к другу, но увы! — неумолимое течение растаскивает их в разные стороны.

Мы еще балагурили, стараясь попасть в тон, и даже кое-как попадали. Но все чаще промахивались.

А ведь каких-то три часа назад, уже под утро, когда мы, прощально хмельные, разбредались по палаткам, он, этот тон, в каждой своей ноте был верным: в нем сквозила наша спаянность, наше презрение ко всему, кроме дружбы.

Но грузовик трясло, а течение напирало.

Через полчаса пятеро спрыгнули у вокзальной площади. Я махал им, высунувшись из кузова. А когда машина тронулась и они пропали за углом, я почувствовал облегчение, какое испытываешь, избавившись от чужих, ненужных тебе людей.

Настоящие мои друзья собирались сегодня же пешим маршрутом двинуть до Тбилиси. Большой спешки не предполагалось, но ведь и не совсем нога за ногу. На двести километров положили неделю. Начальник практики Миша Чаплыгин ссудил две палатки и варочное ведро, а миски у всех были свои.

Когда из моей жизни выпали у вокзала даже эти ненужные пятеро, я почувствовал болезненное сжатие сердца.

Но, конечно же, я затосковал не о них. Что мне было тосковать об этих пятерых вокзальных. Они умчались по своим надобностям, их тянуло в разные стороны. Всех нас тянуло в разные стороны.

Нет, я затосковал о себе: ведь мне-то нужно было с ребятами по ВГД¹!

А перевалив хребет, — попутками к Батуми или Сухуми, к морю... а уж на море как получится, покантоваться дня три или на сколько хватит денег, а потом и по домам, — вот как мне надо было сделать!

И тогда все бы еще некоторое время продолжалось. Горел бы костер, брэнчала бы гитара, Валера Киселёв пел бы свое знаменитое. Мы бы дружно подхватывали: нас мочили дожди!.. нас сушили ветра!.. нас манила к себе с лысой плешью гора... а потом уж отчет, а потом на зачет, только кто о нас вспомнит и кто нас прочтет.

Вот о чем я мимолетно тосковал, колотясь в кузове грузовика, пробиравшегося по тряским улицам города Орджоникидзе.

Но ничего не поделаешь, я давно обещал родителям приехать к определенному сроку.

На автовокзале первым делом взял билет, потом съел большую булку, оказавшуюся пресной, но на удивление вкусной, и скоро сел в автобус.

Поначалу я усиливался смотреть в окно. Там все было интересно. Но не интереснее того, что я уже видел. Часов через пять меня растолкали на автостанции города Минеральные Воды.

Человек почти всегда разрываем двумя разнонаправленными стремлениями: одно диктуется жадностью, в другом сочетаются лень и стремление к лучшему. Когда я спросонья вывалился, первое понуждало меня метаться по людной площади между автобусами и маршрутками, заголошно ища экономической выгоды. Но я взял себя в руки, разумно поддался второму и сел в такси.

И правильно сделал, потому что иначе опоздал бы к рейсу и сегодня уж точно бы не улетел...

Сейчас, сидя в темноте у пустого хауза, опершись спиной о рюкзак и вытянув ноги в длину скамейки, я думал, как хорошо, что мне удалось побороть скупость.

¹ Военно-Грузинская дорога (прим. редакции).

Я заранее подробно выяснил, сколько это будет стоить. Таксист был недоволен моей скрупулезностью и немного насмешничал. Но все же мы определились: два с полтиной по счетчику и рубль сверху. По его словам, это было не просто по-божески, а баснословно дешево, буквально даром. Потому что все берут три, говорил он, вот и считай, два с полтиной счетчик и трояк сверху, а если не нравится, так иди ищи, машин полно, говорил он, широко обводя рукой площадь, на которой сейчас как назло стояли одни маршрутки и автобусы. И хоть я договорился с ним заранее, а все же потом всю дорогу думал, что будет, если счетчик набьет больше, деньги у меня были совсем на исходе и посчитаны до гривенника.

Но если бы я поехал автобусом, то не успел бы к сегодняшнему рейсу. Следующий завтра, а между тем курортная пора, горячее времечко, минводовский аэропорт единственный во всем регионе, никто не знает, что там с билетами на завтрашний, и я бы проторчал в зале ожидания минимум сутки, а сколько на самом деле — одному богу известно.

Мне еще не приходилось подолгу коротать время в аэропортах, но я заранее знал, каково это, да и знать тут особо нечего, все и так ясно. Ты сидишь, время стоит, ничто не меняется. Все вокруг давно выдолблено наизусть, все продавщицы тебя узнают, ты узнаешь всех милиционеров. В меню кафетерия коржики — ох уж эти коржики, пирожки с картошкой, колбаса «Молодёжная», чай азербайджанский натуральный, кофе из цикория, вчера была ветчина, завтра завезут воблу. То же касается и киоска периодической печати: и когда открывается, и когда закрывается, и что в нем есть, а чего нет, и чего только сегодня нет, но иногда бывает (даже вот на прошлой неделе было), а чего ни сейчас нету, ни вообще отродясь о таком тут не слышали.

Привычная ходьба из одного конца здания в другой и обратно мимо этого самого киоска, мимо небольших толкучек у стоек регистрации. Вот сейчас этих взбудораженных пассажиров поведут к самолету, и они улетят, счастливики. Мимо кафетерия, мимо багажного отсека. Минут пять потаращиться на панно торцевой стены, где на гипсовой карте от красного кружка аэропорта по всей стране расходятся, будто от лампочки, желтые лучи обслуживаемых маршрутов: вон аж куда можно залететь, ну ни фигя себе. Развернуться и назад к своей лавке — снова мимо багажного отсека, кафетерия и временно опустевших стоек регистрации.

А иногда для прогулки выходить на улицу и в сотый раз нехотя рассматривать ничем не примечательные окрестности. Ну, вышел, и что, все как везде, там, как обычно, самолет рулит, здесь, как обычно, автобусы, вот и весь чарующий пейзаж, в сотый раз он мозолит тебе глаза, пока ты куришь, дыша пованивающим соляным выхлопом свежим воздухом.

Причем если, несмотря на справедливо ожидаемое однообразие, все-таки выходить, то нужно либо тащить с собой осточертевший рюкзак, либо решаться на то, чтобы бросать его где лежит, оставлять минут на десять без присмотра, и тогда всякий раз волноваться, не соблазнит ли он кого-нибудь на воровство — при том что вообще-то стороннего человека вид твоего рюкзака может соблазнить лишь на мысль держаться от него подальше. Но ведь ты не сторонний человек, вы с ним не чужие: он тебе родной предмет, а ты ему близкое существо, поневоле заволнуешься.

А потом и к этому привыкнуть, и тогда уж, возвращаясь, отмечать, что нет, опять не попятили, никому здесь не нужен твой рюкзак, даже странно, а ведь почти новый, только засален и чуть прожжен на боку, а так-то очень даже. Но что делать, ведь и правда в нем ничего путного, грязные рубашки, ношенный свитер, что еще берешь с собой, собираясь в дальнюю дорогу, старые стельки, еще какие-то мелочи.

А потом однажды подойти и обнаружить, что его нету.

Все-таки нету! Все-таки украли!

И озираться с колотящимся сердцем, уже понимая, что зря ты теперь озираешься, что теперь попусту озираться, раньше надо было думать, свитер-то совсем хороший, почти новый свитер-то, да и вообще масса полезных вещей, стельки какие были, теперь таких не найти, как жалко-то, господи, и разве теперь отыщется, вон ходит мент, да разве они из-за чужого рюкзака пошевелиятся!..

И вдруг с облегчением осознать, что ты уже настолько обалдел тут от безделья и нескончаемости времени, что перепутал входные двери: выходил от регистрации, а вошел где прилет, вон твоя лавка, вон и рюкзак твой, так что все в порядке, никому он и в самом деле не нужен, ну надо же, даже обидно.

А может быть, наоборот, именно этой ночью и именно в этом аэропорту мне бы кто-нибудь встретился, и эта встреча повернула бы что-то в судьбе, и тогда вся жизнь потом пошла бы иначе, по-другому. Только нельзя сказать, лучше бы она пошла или хуже, ведь чтобы знать точно, нужно дважды прожить одно и то же, даже лучше раза три или четыре, чтоб уж наверняка и без промашки. Но ведь это невозможно, а так-то что ж, и на самом деле случались встречи, в результате которых жизнь, наверное, поворачивалась, но ведь если не живешь два раза, то ничего не можешь об этих встречах сказать, ты их вовсе не замечаешь, просто живешь насквозь, как нож или пуля, и все будто так и надо: если бы не было этих, наверняка случились бы другие, и никто не знает, где бы тогда ты был сейчас.

Но я взял такси, а кудрявая кассирша только как-то там пошутила насчет везунчиков и выписала последний билет.

В общем, все лепилось одно к другому — без зазоров и весело.

Я с наслаждением слушал звуки дутара, рубоба и Пугачёвой, доносившиеся сквозь гул и дребезг, издаваемый в полете воздушным лайнером. И все просил воды, надеясь унять голод и недоумевая, почему нас и впрямь чем-нибудь не покормят. А когда наконец это случилось, съел все подчистую.

Я съел третью морковку с прилагавшимися к ней двумя маслинами. Я съел самолетную часть с рисом и два тонких кусочка хлеба. Я съел двадцать граммов масла в индивидуальной упаковке, какого не бывает в магазинах. Я съел даже коржик с арахисом, а пакетики с солью, перцем и влажной салфеткой вытереть руки перед едой положил в карман, чтобы выкинуть, как обычно, двумя месяцами позже.

Да, коржик, вот-вот. Так и было, именно так, я съел даже коржик. Я сто раз подумал, перед тем как совершить этот безрассудный поступок, и все-таки купился. Долго колебался, но все-таки съел. И потом снова убедился: папа не зря говорит, что самолетные коржики делают исключительно для изжоги.

Теперь августовская жара немного спала, и я сидел на скамейке у хауза.

В его бетонном прямоугольнике не было воды. Хауз был мелкий, декоративный. Из середины торчала труба фонтанной арматуры. По идее, если бы вода была, пышная струя благодатного фонтана дарила бы сидящим возле него веяние прохлады.

Но воды не было. В городских хаузах почти никогда не бывает воды. Не исключено, что она испаряется, не успевая толком накопиться. Вода есть в арыках. Арыки — те журчат по всему городу. Сухой арык удивляет, а сухой хауз нет, сухой хауз обычное дело.

Вот и здесь детишки прыгали в него, используя как окоп, и безжалостно строчили друг в друга из-за бетонного бруствера: та-та-та-та-та-та!

Они верещали двумя компаниями: в смешанной и орали по-всякому, часто и по-русски, другая была чисто таджикская, там вопили по-таджикски.

Мама говорит, что, когда мы жили на Мирзо-Ризо, я, четырехлетний, запросто болтал во дворе с друзьями-таджичатами. Если бы не забылось, я и сейчас мог бы перекинуться с ними словечком.

Но я лишь ловил отдельные слова. *Хона*. Вот опять *хона*. Ну, понятно, дети ведь часто говорят о доме. Обычно хвастаются, мол, у меня дома то, а у меня это. Еще *об*. Вот снова *об*. *Об, об*. Может быть, дети сетовали, что в хаузе нет воды. Толковали друг другу, что, если бы была вода, они бы тут же в нее залезли, так что очень жаль, что ее нет. Трудно сказать, так ли на самом деле, смысла в целом я не понимал.

Время от времени кто-нибудь из них исчезал. За их мельтешением вообще было трудно уследить, а уж тем более отметить отдельное исчезновение. Не зря ведь говорят о капельках ртути. Подчас они сбегались кучкой и явно не просто так затихали и шушукались. Но у них не находилось времени изобрести сколько-нибудь серьезную каверзу, они не успевали, потому что тут же нужно было с воробыиной шустростью пыхнуть в разные стороны и завизжать заново.

Тот, что на минутку скрывался в подъезде, непременно выносил что-нибудь съестное: пирожок, яблоко или просто кусок лепешки. Некоторое время он на бегу размахивал добычей. А вопил хоть и невнятно в силу забитости рта (да еще и то и дело из него что-нибудь падало), но с прежним энтузиазмом.

Другие, как правило, не обращали внимания на его совершающийся в боевых условиях мимолетный перекус.

У нас было иначе: если кто-нибудь выходил во двор с чем-нибудь съедобным — это мог быть, например, кусок хлеба (а то и не просто, а намазанный маслом и посыпанный сахаром, тогда он шел почти за пирожное), мы сбегались к нему, галдя, как стая гусей. Он законно упрямился, мол: «Сорок один, никому не дадим». Мы, его верные товарищи, настаивали на обратном: «Сорок семь, давай всем». Ритуал такой был, а уж что там кому в итоге доставалось, не имело большого значения.

Впрочем, думал я, как ни томит голод, но даже если бы мне помнился таджикский, я бы не стал, наверное, кланяться у этих счастливых.

Вообще-то давно уж следовало подхватить рюкзак и отправиться к бабушке, она бы накормила. Да и ночевать я мог у нее остаться.

Но ведь так всегда. Вот-вот, думаешь, они придут. Еще пять минут посижу, потом уж. Ладно, еще десять. Вот-вот ведь. Может они уже вышли из троллейбуса... опять нету. Ну хорошо же. Вот еще десять минут. Уже тогда окончательно разозлюсь. Тогда уж ничто не остановит. Вот как бог свят, возьму рюкзак и двину на остановку!.. Все, время пошло.

Время пошло — и время вышло.

Ну?

Ага, а вдруг я только за угол, а они тут как тут?..

Заглубели жаркие сумерки. Быстро сгущаясь, они привносили в детское веселье надрывную, даже трагическую ноту. Тьма грозила смертью их родству и радости, и дети скакали и бегали с удесятенной силой, рассчитывая напоследок так навеселиться, чтобы потом ни о чем не жалеть, чтоб не томили бесцельно прожитые годы.

Но перед смертью не надышишься, тени их тщетно метались во мраке, а над ними, люминесцируя в ртутном свете фонаря, с такой же неутомимостью метались летучие мыши. Только мыши совершали свои судорожно-трехмерные скачки и зигзаги в математическом безмолвии, а дети вопили, ревели, верещали и орали как резанные.

Так, наверное, стимулируют умирающего, если хотят напоследок чего-нибудь от него добиться. Ничто уже не сможет продлить жизнь, но давайте вколем еще ампулу: может быть, все-таки скажет, где горшок с золотом.

Когда крещендо этой какофонии достигло самой высокой и оглушительной ноты, ответно грянуло откуда-то сверху.

Иной бы с облегчением подумал, что небеса наконец вняли. И даже ответили. Но нет: это всего лишь матери с похожими воплями принялись голосить из распахнутых окон или даже повыскакивали на балконы.

Через пять минут всех загнали.

Им пора ужинать, печально думал я. Интересно, чем их будут кормить...

Я лег на скамейку, пристроив голову на рюкзак.

Двор был почти гол — понятно, новостройка, жители только вселились. Эта сторона дома смотрела примерно на северо-восток, все уж давно было в тени, а теперь и в темноте, но накопившийся за день жар тек со всех сторон, накатывал волнами, словно кто-то колыхал сверху огромным, вполнеба, медленным полотнищем.

Я лежал и смотрел в небо. Кое-где на нем проступили тусклые звезды, сумевшие пересилить мусорный городской свет. Тем, что помельче, вовсе не удавалось пробиться.

Время от времени во двор въезжала машина. Из-за дома доносилось беспрестанное погуживание грузовиков и легковушек, а то еще завывал троллейбус, набирая скорость.

Там была улица Дониш. Одним концом она упиралась в аэропорт, другим — в улицу Айни.

Я откуда-то знал, что Мухаммад Дониш — это просветитель. Улица Дониш по-таджикски была *кучаи ба номи Дониш*. Больше я ничего, кажется, не знал. *Хона, об.* Обигарм, куда ездят кататься на лыжах, я и сам сколько лет ездил. *Оби гарм* — это горячая вода. Горячая, потому что там источники. Курорт Обигарм. *Хона, об. Тереза, талаба. Кучаи ба номи Дониш.*

По улице Дониш я пришел из аэропорта.

Пришел я из аэропорта и сел на скамью у сухого хауза.

Я смотрел на тусклые городские звезды и представлял, какими разносолами встретили бы меня, сложись все чуть менее трагично.

Собственно, лежать на пыльной скамейке было не так плохо, я постелил штормовку, а уж в ней-то где только не приходилось мне валяться.

Прежде детишки не давали покоя, теперь в тишине я начинал подремывать. Голодные грезы были цветисты и соблазнительны.

Во-первых, конечно, стол уже накрыт.

Ну да, мы бы пришли, а стол накрыт. Потому что мама сначала все сделала, а потом уж они собрались в аэропорт.

Как накрыт? Ну как. Обыкновенно. Как мама накрывает стол.

Мама владеет двумя сервизами. Оба на двенадцать персон, оба немецкие. Один белого саксонского фарфора, он раньше у нее появился, другой, что позже, тюрингского.

Я больше люблю саксонский. У него клеймо в виде двух мечей. Только это не синие мечи, не знаменитая марка. На нашем мечи такие же по размеру и форме, да вот только не ярко-синие, а темно-зеленые. Наверняка чтобы сбивать с толку тех, кто не особо разбирается. Видите эти два меча? Как же такого не знать, прямо даже стыдно, мировая марка, фарфор высший класс и всякое такое. Убедились? Два меча есть два меча, чего еще вам.

А что они зеленые, а не синие, так поди еще догадайся, каким им быть на самом деле. Черта с два кто скажет, я и сам знаю только потому, что мама любит посуду, вот

время от времени о ней и заходит разговор: синие мечи, кузнецовский, мейсен, мадонна, совсем уж цветастая ерунда.

Откуда к ней самой это все пришло, только диву даваться. Кругом посмотреть, так все в лучшем случае из дулевского фаянса сербают. Говорит, нахваталась когда-то у ссыльных. Еще девочкой в Кургане. А я уж у нее.

Саксонский пострадал от времени. Если б он для красоты, его бы берегли. Так ведь ничего подобного, мама его в хвост и в гриву, вот с годами он почти наполовину и расквасился.

Но изначально в обоих было все: и молочники, и супницы, и соусники, и по две масленки, и разные тарелки, разумеется, и салатники, и еще много чего. Даже непонятно, как все это могло размещаться в нашей однокомнатной квартире.

Откуда они теперь переехали сюда. Где скамья у хауза...

В общем, стол был бы накрыт, как в ресторане.

Хотя, если честно, в ресторанах так не накрывают — ни такой посудой, ни с таким тщанием и аккуратностью. Ни в одном ресторане не увидишь такой свежей, такой крахмальной скатерти.

Разве что приборы не из трех предметов, как у нас, а из двенадцати, или сколько там у маркизов раскладывают. Но и это как еще посмотреть, вот уж большая радость железом лязгать. Дело все-таки не в количестве предметов. Папа однажды какого-то курда пригласил к себе, а тот нет, говорит, лучше ты ко мне. У вас, говорит, у русских, тарелок наставят, а жрать нечего. А у меня один ляган¹, зато мясо горой, наешься от пуза...

В бликах оконного света над сухим хаузом проплывали блюда с красивой снедью. Мама убеждена, что еда может и должна быть сытной, но главное — чтобы она была красивой.

Что касается сытности, то мы не курды, конечно. Но не знаю, предполагали ли создатели саксонского фарфора, что их блюдам предстоит дымиться пловом, мантами и бараниной с луком.

Я обо всем этом думал и все подробно, в мелких деталях воображал — и баранину, и манты, и плов.

Особенно хорошо удавалась мне мысль о кутеме. Он витал передо мной в форме неотступного образа, навязчивой идеи. Бывает так — привяжется, и хоть что ты потом делай.

Мне представлялось, что на столе стоит блюдо с зеленью. Ее много, большая охапка, прямо целый стожок — чистый, искрящийся капельками воды. И укроп, и кинза, и райхон, и немного петрушки, если совсем юная, а иначе, говорит мама, можно и веник жевать.

И кутем, разумеется. В иных краях называемый кресс-салатом.

Вот я придирчиво выбираю два или три самых красивых листика. Листья похожи на щавель. Но это не щавель, нет, это кутем.

Складываю их вдвое, втрое. Вчетверо. То есть пакую в компактное хранилище будущего удовольствия — хрустящего и острого.

Все готово. Нет, не все. Разве все? Далеко не все готово. Надо наткнуть на вилку ломтик... чего ломтик?.. в общем-то неважно, чего именно — языка, буженины, вареной говядины или курицы. Сначала мазнуть хреном, а потом уж наткнуть на вилку.

Я кладу его в рот, а потом...

¹ Блюдо (узб.).

В общем, все было довольно мучительно.

Некоторым утешением стало то, что когда наконец они в первом часу ночи показались из-за угла, мне хотя бы удалось наделать переполоху: я вывалился из темноты к ним в сияние фонарного света со своим рюкзаком и жалобным возгласом:

— Я тут сию, сию!.. нет, ну где же вы ходите?!

Яблочный пирог

Во всяком, кто добрался до тарелки вечернего супа, резкость суждений малопомалу сменяется способностью к здравомыслию. По идее, папа с каждой ложкой тоже должен был приходить во все более благодушное расположение духа.

— Мама говорит, ты был в агентстве?

— Ну да, — осторожно кивнул я, еще не зная, как далеко он продвинулся на этом пути. Скорее всего, мама сказала не столько о факте моего похода — это он и так знал, вчера вечером мы толковали, — сколько о его результатах.

— И? — все-таки настаивал он.

— Мама не говорила, что ли?.. В половине первого электричество вырубили.

— Надо же...

— И они перестали продавать билеты.

Папа покивал.

— Перестали, значит, — сказал он. — Ну что же. Объяснение вполне разумное.

Он добрал остатки, отодвинул пустую тарелку и кинул на стол ищущий взгляд, дожевывая.

— Разумное объяснение? — удивился я. — Ничего себе объяснение. Торчишь три часа, потом — бац! Все на улицу! Что разумного?

Папа пожал плечами.

— То разумного, что, если нет электричества, продавать авиабилеты нельзя.

— Почему?

— Почему — не знаю. В каждом деле свои секреты. Когда орудуют профессионалы, непосвященные благоговейно молчат.

— Ага!..

— Ну да. Главное, чтобы объяснение было разумным. В этом все дело. Вот, например, почему, покупая билет в Москве сюда, ты не взял сразу и обратный?

— Почему!.. Потому что не продают!

— Вот видишь. Это нехорошо. Но если спросить, почему именно не продают, наверняка получишь разумное объяснение.

Я не мог понять, всерьез он говорит или шутит.

— Ну и почему же?

— Откуда мне знать? Могу только предположить. Ну, например, трудно передавать данные.

— Какие данные?

— Здрасте. Нужно же сюда передать, что там купили такой-то билет. Чтобы здесь знали и не вздумали продать такой же по второму разу. Так вот, передавать данные трудно. Легче не передавать. Вот тебе и объяснение.

— Ага...

— И наверняка оно основано на опыте. Например. Начали передавать, несмотря на трудности, дабы избавить трудящихся от лишнего стояния в очередях. Но возникла

путаница. Путаница же всегда возникает. В результате «Аэрофлот» понес убытки. А трудящиеся — множество неудобств и новые очереди. После чего трудящиеся обратились к руководству с требованием немедленно прекратить продажу обратных билетов. Каковое решение было встречено ими радостным одобрением.

— Кем «ими»? — зачем-то спросил я.

— Трудящимися, — пояснил папа. — Кем еще.

— Ага, каковое, — проворчал я. — Каковое-таковое. А почему тогда на поезд продают?

— Не знаю, почему. Но объяснение хорошее?

— Замечательное...

Папа довольно хмыкнул и начертал обушком вилки на скатерти сложный вензель. Мама чем-то гроыхнула на кухне.

— Придвинь подставку, — сказал он. — Сейчас понадобится.

— Очередь там жуткая, — сказал я, придвигая. — Даже не очередь, а просто давка.

— Знаю, — сказал папа. — Дикая люди. Дети гор.

Вообще-то я преувеличивал, конечно. Но ненамного. Более качественно, чем количественно. На самом деле никакая не давка, нормальная очередь. Люди как люди. И молодые, и не очень, и пожилые, и старики. И в чапанах с поясными платками, и в тюбетейках, а кое-кто и в чалме. И в пиджачках, и в тертых костюмчиках, и в сапогах с калошами, и в остроносых желтых ботинках. Женщины, как обычно, в сторонке или вообще снаружи с детьми.

Проблема была в общем-то не в очереди. А в том, что, если что-нибудь случалось, всех выгоняли на улицу. А когда запускали снова, дело обретения билетов начиналось с чистого листа, по типу реинкарнации. Счастливчиком ты был в прежнем существовании или неудачником, грелся в лучах солнца или клечетел на темной стороне беспросветной жизни, почти добрался до вождельного окошка или потел в самом хвосте, ничто из этого теперь не имело значения: прежние фантики сгорали, очередь возникала заново, возрождалась подобно дракону, срастающемуся в случайном порядке из неряшливо разбросанных в чистом поле обрубков.

Вот и сегодня так было. Я уже прикидывал, когда окажусь у окошка. Это минут пять... ну ладно, семь. Потом лысый. Потом усатый в пропотелой шляпе. Потом еще двое. А потом уже и я.

И вдруг разом погасли потолочные лампы.

На толпу пали голубые сумерки.

Какой-то движок, все это время, оказывается, исправно гудевший в недрах агентства, тоже смолкал, по инерции докручиваясь: бж-ж-ж-ж-ж-ж-ж...

Повисла оторопелая тишина.

А через мгновение ее разорвал дикий вопль из кассового отделения:

— Свет *тамом иуд*¹!

Началось невообразимое.

Все кричали, кто-то без стеснения бранился, испуганно заплакал ребенок. Я ни черта не понимал, да и понимать тут было нечего: агентство закрывалось по технической причине. Если бы кто-нибудь заявил, что не видит разумного объяснения, его бы тут же уличили в слепоте. А потом и во лжи и безответственности.

С тыла нас понукали визгливые крики кассирш, впереди теснились, с кряхтением стискиваясь в узком дверном проходе. Не прошло и минуты, как все мы — и кто в

¹ Кончился (*тадж.*).

чапанах с руймолами, и кто в пиджаках и желтых ботинках, и кто в тюбетейках, и даже три старика в чалмах на бритых головах, и те, которые в шляпах, и самые передовые и умные в джинсах, — все мы, в тесноте по-бараньи спотыкаясь, вытолкались на улицу...

— Плохо, что очередь нужно снова занимать, — вздохнул я. — И после обеденного перерыва тоже.

— После обеда все равно никогда никаких билетов нет, — сказал папа.

— Seriously?

— Ну да.

— Глупость какая-то.

Папа покивал.

— В войну тетя Валя в Саратове брала меня маленького за карточками стоять... — Он помедлил, словно что-то припоминая, и качнул головой. — Мы писали номера на ладошках. Но этот добрый обычай еще не привился повсеместно.

Я рассмеялся.

— И потом, — сказал он. — Ведь в таджикском языке вообще нет слова «очередь».

— Да ладно, — не поверил я. — Прямо уж и нету.

— Честно.

— Не может такого быть.

— Чего не может?

— Не может быть такого языка.

— Какого?

— Чтобы в нем не было слова «очередь»!

Папа пожал плечами.

— Значит, может.

— Ты ведь таджикского не знаешь!

— В целом не знаю, — согласился он. — Но кое-чему нахватался. *Чой мехури?*

— *Намехурам.*

— Вот видишь. Ты тоже отчасти владеешь.

Мама вошла с парящим блюдом в руках.

— Вета, скажи, в таджикском языке ведь нет слова «очередь»?

— Уберите кто-нибудь подставку!

Я убрал.

— Я думал, ты сковороду принесешь, — сказал папа.

— Ну конечно. Когда это я сковороду на стол ставила? Берите, пока не остыло.

— Мама, — сказал я. — В таджикском языке есть слово «очередь»?

— Не знаю.

— Не знаешь?

— Не знаю. Нужно же знать, прежде чем говорить. Я не знаю таджикского.

— Не нужно знать таджикский, чтобы понимать эту простую вещь, — возразил папа. — У тебя столько случаев было убедиться.

Некоторое время мы жевали молча. Я потянулся к зелени и взял пару листиков кутема.

— В эскимосском языке девяносто девять слов для обозначения снега, — сказал папа, энергично жуя. — Знаешь почему?

— Нужно им, наверное. Они же в снегу живут.

— Вот именно. А у таджиков для очереди — ни одного. Знаешь почему?

— Ну почему? — спросил я.

— Потому что очередь для таджиков — это совсем не как снег для эскимосов. Очередь — это последнее, о чем они думают. Потому и слова нет.

— Ага.

— У них и понятия такого никогда не было, — сказал папа. — Чай пить — это они понимают. А в очереди стоять — ни в коем разе.

— В Курган-Тюбе, когда бабаи за мануфактурой стояли, они друг друга вот так обхватывали, — сказала мама. Она вытерла пальцы салфеткой, а потом сделала что-то вроде намека на гребок брассом. — Как теперь летку-енку танцуют. Схватятся — и стоят. Чтобы лишний не пролез.

— Уже не танцуют, — сказал папа.

— Не цепляйся, — сказала мама. — Раньше танцевали. Помнишь, когда мы в Ригу ездили? Только ее и слышно было.

— Ну, в ту-то пору самый разгар. Летка-енка ведь эстонская.

— Вообще-то финская, а не эстонская, — возразила мама. — И танцующие руки кладут на плечи переднего. А бабаи за бока держались.

— Вот я же и говорю, — сказал папа. — Нет у них понятия очереди. Все, Ветуся. Спасибо.

— Наелся?

— Еще как. Спасибо... Ты на седьмое хочешь брать?

— Самое позднее, — кивнул я. — Восьмого четыре часа лабораторных по петрофизике. Я их потом в жизни не сдам, если пропущу.

— Тогда бери на шестое. Вместе полетим. Мне нужно на балансовую комиссию. Прибудешь на день раньше. Даже хорошо. С мыслями соберешься...

Мама посмотрела на папу.

— Ты будешь бронь просить?

— Я уже позвонил.

Мама задумчиво покачала головой.

— А второй там никак нельзя?

— Ветуся, — сказал папа. — Это горкомовская бронь. Понимаешь?

— Понимаю. Мама сколько лет в горкоме работала...

— Вот-вот. Поэтому ты понимаешь. Там же только заикнись о чем-нибудь таком.

Им все равно — сын, дочь. Брат, сват.

— Но ведь и правда сын!

— Вот и я о том, — кивнул папа. — Сын? Сын. Родной человечек? Родной. Ты ему радел? Радел. Ага, то есть пользовался положением в личных целях. А давай-ка теперь на комиссию. И давай-ка мы тебя к позорному столбу. И выговор. Да еще с занесением. Нет уж. Я с этими волками не могу.

— Положением ты пользуешься! — возмутилась мама. — Каким ты пользуешься положением?!

Папа угрюмо зыркнул.

— Нет, ну ничего себе! — сказал я, поскольку только в этот момент ко мне вернулся дар речи. — Ты, значит, шестого полетишь... у тебя бронь! А я, значит, тут!.. в агентстве!

— Тебе же не надо на балансовую комиссию, — урезонивающе сказал папа. — Если бы ты летал не шалберничать на каникулах, а был бы серьезным человеком, тебе бы тоже дали. Если бы еще оставалась.

— Ну, отлично! — сказал я.

Минуту назад меня ничто не смущало и ничто не тревожило. Минуту назад у меня и мысли такой не было. Минуту назад я точно знал, что завтра придется снова идти в агентство. Я сто раз туда ходил за билетом. Правда, сейчас все как-то неудачно складывалось. Завтра была бы уже третья попытка: вчера среди бела дня закрыли на инкассацию, сегодня свет кончился. Но мне ничего не оставалось делать, как биться до победного конца. У меня восьмого лабораторные, мне кровь из носу нужно. Минуту назад я был уверен, что завтра все благополучно завершится.

Однако после того как папа сообщил о своей начальнической брони!..

— Папа! — воскликнул я. — Ну что же такое! Мне опять туда завтра тащиться день убивать?! Господи, ну ты же все-таки начальник! У тебя же есть какие-нибудь связи, чтобы купить мне этот паршивый билет?

Папа взглянул так, будто у нас только что кто-то повесился, а я безрассудно заговорил о веревке.

Мамин взгляд был еще выразительнее.

— Не нужно тебе папиных связей! — сказала она. — Пойдешь завтра в агентство и честно купишь. Всегда покупал — и завтра купишь. И все, и не надо никаких разговоров!

— Ага, честно! Видел я сегодня, как там честно!

— Что видел?

— Что видел! Да вот то и видел!..

А что я видел?

Справа от кассовых окошек была дверь. Время от времени лязгал запор, выходила кассирша, дверь закрывалась, и было слышно, как кто-то изнутри опять запирает. Минут через десять она возвращалась и стучала условным стуком: бам, бам, ба-ба-бам. Лязгала щеколда, а когда кассирша входила, дверь снова намертво захлопывалась.

То есть порядок в этих кассах был — мышь не проскользнет.

Однако время от времени у двери появлялся кто-нибудь посторонний, совсем не в аэрофлотовской блузке. И тоже стучал условным стуком. Это не так уж и трудно было, ведь все всегда стучат одинаково: бам, бам, ба-ба-бам. А если он и этого не мог сообразить, то просто барабанил как бог на душу положит.

В любом случае щеколда лязгала, дверь приоткрывалась. Этот тип что-то говорил в щель, что-то передавал и тут же отваливал.

Ничего особо загадочного я в этом не видел. Постучав, эти сомнительные типы наверняка произносят какие-нибудь петушиные слова. «Я от Фарзода Нуриевича». Или что-то в этом роде. А тут этого Фарзода Нуриевича все знают. Хотя не исключено, что никто никакого Фарзода Нуриевича здесь и в глаза не видел. И даже, может быть, вообще никакого Фарзода Нуриевича нет на свете. Потому что дело не в Фарзод Нуриевиче, а в том, что сомнительный тип сказал петушиное слово. А уж кассирши-то в курсе, что делать, если слышали.

Очень просто. Деньги в паспорт, паспорт в щель: я от Фарзода Нуриевича.

Смущало только, что леваки никогда не подходили забирать готовое. И эта ничтожная деталь не укладывалась в красивую схему.

Если бы покупался билет на автобус, тогда понятно. Сунул деньги, взял бумажку, до свидания. Но для самолета нужен паспорт. И кассирша должна кое-что вписать: дату, номер рейса, место, паспортные данные. На это нужно некоторое время. Не очень много, но уж пять минут точно.

А тут не проходит и пяти секунд: сунули что-то — и в сторону. А второй раз, сколько я ни следил, никто из них не появлялся.

И только когда погас свет и все мы оказались на улице, я со злобой и отчаянием сообразил наконец, как все было устроено: кассирши сами потом выходили, чтобы без лишнего шума отдать клиенту билет и паспорт где-нибудь в закутке возле туалета.

— Честно! — возмущенно повторил я. — Конечно, честно! Как же! Просто нужно знать, что сказать, чтобы тебя без очереди!

* * *

Выйдя из подъезда, я повернул на улицу и минут через пять оказался на Айни. Метров пятьсот я шагал по сухому тротуару, испытывая бессознательное удовольствие от того, что ноги не разъезжаются на московской слякоти.

Возле музыкальной школы я взял налево, а на перекрестке с переулком свернул направо. На следующем снова налево, а потом опять направо.

Так, двигаясь примерно тем зигзагом, каким крейсера уходят от подводных лодок, через пятнадцать минут я оказался у базара. Явно разочаровав торговцев своей сосредоточенностью, я обзавелся тремя кило розовой гармской картошки и парой килограммов крупного сухого лука.

Затем я вышел через большие ворота на Лахути и миновал пирожковую. Из пирожковой исходил невыносимо приятный запах шкворчащего в масле теста, зыбкими наплывами сладостной вони дурманивший все вокруг до самой Нагорной. Пройдя мимо сапожного киоска, я перебежал улицу и оказался как раз напротив агентства «Аэрофлот».

Какое счастье, что теперь я был избавлен от необходимости посещения этого стяжения желаний и страстей, этого мучительного желвака мук и разочарований!

Я вышел к нему просто в силу его географического расположения, иначе пришлось бы давать немотивированного крюка, да еще с овощами.

И все же я косился в его сторону с отвращением и опаской.

Разглядеть что-нибудь толком было невозможно, однако отчетливо представлялось, что за мутными, а поверху еще и запотелыми стеклами окон происходит какое-то медленное действие, страшное именно своей неопределенностью. Огромная мешалка с натугой проворачивает неподатливое месиво. Неразличимая в деталях, но явно пышущая жаром лава медленно доходит до краев горнила.

Был одиннадцатый час утра: самый разгар, самое клокотание.

Господи, как хорошо, что папа согласился воспользоваться своими связями!

Если бы меня не кособочила авоська с луком и картошкой, я и вовсе производил бы впечатление совершенной беззаботности.

За сквером я взял правее, скоро нырнул в арку и вошел во двор.

* * *

Что с капустой, что с мясом пирожки у бабушки получались плоские. Мама даже удивлялась: почему они у тебя не поднимаются? Бабушка немо прижимала руки к груди и слабо восклицала.

При этом капуста в целом имела совершенно столовский вкус, хотя в ней и проглядывала приятная остринка, какой не бывает, если не потушить на хлопковом масле с лаврушкой. Начинка же из вареного мяса с жареным луком была наоборот пресновата. Да и вообще я привык к маминым, которые из сырого, — от тех вообще ни оторваться, ни даже вообразить, что такие пироги существуют на белом свете, было нельзя.

Зато бабушке необыкновенно удавалось сладкое печево с пареными яблоками. Особенно пирожки, точнее, расстегаи: разлапистые, они воздушно обнимали золочеными румяно-коричневыми боками затвердевшее до мармеладной корки яблочное вариво.

Сама бабушка из экономии времени и сил предпочитала большие пироги: сляпал один на целый противень и дело в шляпе. Сверху она, как и положено, переплетала полоски теста, концы которых прищипывала к бортам, и румяная решетка празднично армировала пышное сооружение.

Вкусом и эти большие решетчатые, и малые, расстегаями, друг другу не уступали. Но если говорить об удобстве потребления, то лично мне расстегаи нравились больше. Расстегайчик весь на глазу, весь под надзором; он и хотел бы безобразничать, да руки коротки. А ломоть пирога всегда способен на всякого рода каверзы. С ним уж как ухо ни востри, как язык ни плющ и ни криви, как ни таращ глаза и ни разевай рот в надежде предотвратить неряшество и утрату, а из него, подлеца, все же норовит выползти и шлепнуться в самое неподходящее место темно-янтарная блямба яблочной начинки.

К моему приезду бабушка всегда пекла именно пирожки.

Когда я дожевывал первый, она невзначай констатировала:

— Не пошел в агентство.

— Не пошел, — согласился я.

— Ну, так или иначе... — с сомнением сказала бабушка. — Ты громче говори.

Ты же знаешь, я глуховата.

Я молча покивал. Говорить мне было не о чем. Да и нечем.

Она посмотрела в окно и беспокойно подвигала пальцами, мурлыкнув при этом фальшивый обрывок какой-то мелодии.

Но выдержки ей хватило ненадолго.

Она присунулась к столу, стянув сжатыми пальцами ворот кофты, и взволнованно спросила:

— А билет?

— Гу-гу-гу, — успокоительно прошамкал я.

— Что?

— Гу-гу-гу-гу.

— Кто?

— Гу-гу-гу-гу.

— Папа? Громче говори. Что, ты говоришь, обещал?

— Связями воспользоваться, — удалось мне наконец выговорить, проронив на скатерть мимо подставленной ладони лишь несколько крошек.

Бабушка удивленно пожала худыми плечами, снова бросила тревожный взгляд в окно и, поджав губы, мельком взглянула на меня.

— Связями? — повторила она. — Ах, связями... Ну, так или иначе...

Она посмотрела в сторону, и по ее морщинистому лицу скользнуло выражение сосредоточенности, словно несколько мгновений было потрачено, чтобы свести воедино обрывки разнородных сведений из не касавшихся друг друга областей жизни.

Однако, похоже, ей так и не удалось найти разрешения своему недоумению, потому что она снова ёрзнула, поворачиваясь, и остро спросила:

— А какие у него связи?

— Связи? Ну, какие связи. Не знаю. Папа же начальник.

— Начальник?

Бабушка рывком отстранилась от столешницы, посмотрев на меня с таким изумлением, словно она либо вообще не знала этого слова, либо оно было категорически неприменимо к папе. Примерно как если бы я назвал караса птицей. Или крысу насекомым.

— Ну а что? — я недоуменно пожал плечами. — Ну да. А что такого?

— Ничего.

Она заломила руки, прижав ладони к груди и потерянно глядя в сторону.

Мне было очень даже знакомо это ее испуганно-растерянное выражение. Как будто она вдруг очутилась в лесу одна. Или что-то в этом роде. Я не воспринимал его слишком всерьез.

Мы никогда насчет этого не заговаривали, да и как бы заговорили, у меня бы язык не повернулся даже в шутку. А если бы эта тема каким-то образом все-таки всплыла, она бы, разумеется, никогда в жизни не призналась.

Но про себя мне казалось — или даже я был уверен, — что когда бабушке приходит на ум что-нибудь сказать, она не выпаливает идею тут же, как сделал бы простачок вроде меня. Нет, она прибегает к временной маскировке: напускает на себя эту потерянность, невнятно жестикулирует, произносит несколько фраз, которые сами по себе ничего не значат, но дают ей время поразмыслить, стоит сейчас произносить, что стукнуло в голову, или лучше пока воздержаться.

Обычно она именно так заламывала руки, что само по себе отвлекало собеседника, и в горестно-жалостной интонации признавалась, что давно уже не смеет слова сказать, потому что, с тех пор как умер папа (она имела в виду дедушку), никто не хочет ее слушать, никому она не интересна, так что ей лучше молчком и в одиночку. А если вдруг она, не приведи господи, осмелится раскрыть рот, так тут же все вокруг возмутятся и закричат, что вот опять старая бабка лезет не в свое дело. Особенно отец (она имела в виду папу), человек вспыльчивый и невыносимый, он ее совсем уж и за человека не считает, только она просит этих слов ему ни в коем случае не передавать, а то он ее и вовсе со свету сживет.

Проговорив все это, затем она могла взять нормальный тон и высказаться по делу, но могла и промолчать, если за время маскировочной тирады успевала прийти к выводу, что и впрямь еще не время для алармистских замечаний и катастрофических прогнозов.

Папа говорил, что мать (он имел в виду бабушку) вечно сиротствует, а также что ее несомненные таланты молниеносной мимикрии обеспечили бы ей блестящую карьеру в каком-нибудь шпионском ведомстве.

Но сейчас, уже начально заломив руки, бабушка затем вместо ожидаемого мной продолжения жестко сцепила ладони на столе и сказала, немного откинув голову, с выражением той полупрезрительной снисходительности, какая бывает, когда приходится говорить обо всем известных вещах:

— Какие у него связи? Билет — это ведь если только бронь.

— Ну вот, — кивнул я. — Видишь, бронь. Можно же.

Она строго покачала головой.

— Откуда у него бронь?

— Не знаю.

— На самолет?

— Ну да.

— Ну вот. На самолет — это только если горкомовская.

— Ну и что, — с легкой досадой сказал я. — Горкомовская так горкомовская. Да, верно, он говорил. Он себе взял на шестое и мне возьмет. Мне все равно, какая, лишь бы билет без очереди.

— Да откуда у него для тебя горкомовская бронь! — возмутилась бабушка. Она снова присунулась к столу и постучала костяшками пальцев по клеенке. — Спасибо что самому-то дают. Я сколько лет в горкоме работала.

— Да знаю я, — кивнул я, рассчитывая увильнуть от повторения пройденного.

— И на пенсию оттуда ушла! — непреклонно сказала она. — Почему у меня пенсия персональная? Потому что я с партийной работы. А бабушка...

В глазах у нее мелькнуло знакомое выражение. Кажется, она хотела снова сообщить мне, что ее Ваня всю жизнь хлопком занимался, всю жизнь на жарнице по хлопковым полям, в Кургане у него была кобыла Карлица, мелкая такая кобылка, он ноги свесит, и вот они трюх-трюх куда-то. А жара! А басмачи! А комарья к вечеру! А малярия!..

Все это я не раз слышал.

Но она только покивала, сказав:

— Ну и вот. А персональную все-таки мне дали, а не Ване... Правда, деньгами-то его все равно была больше.

В ее глазах взблеснули две печали.

Меньшая насчет того, что ее пенсия хоть и персональная, а все равно оказалась дешевле дедушкиной.

Вторая, куда большая, была о самом дедушке. Что он больше не живет с нами, не ходит, не упорядочивает жизнь, не ездит в сад, не копает, все только «не» да «не», а из «да» только лежит на холме за Нагорной. Лежит в той самой земле, которую всю жизнь рыхлил и поливал, и сыпал в нее семена, и сажал ростки, а теперь его самого в нее положили, словно яблоневое семечко или персиковую косточку, да только не выросло там ни чудного персика, ни бокастого яблока, ни даже презируемого им синенького, а только неказистый камень. И что она не будет больше готовить ему судака по-польски. В сущности, это не так уж сложно, рецепт из простых: кусок отварной рыбы под масляно-яичным соусом. Проще говоря, рубленое яйцо кладется в растопленное в кастрюльке сливочное масло — и потом сверху. Пальчики оближешь. Почему-то именно добывая с тарелки корочкой остатки этого вкусного соуса, дедушка однажды сказал со вздохом: «Ты, Таня, и правда, корми меня теперь лучше, что уж... Всю жизнь недоедали».

— Понимаешь? — сказала она, смахнув слезу и отгоняя темное облачко. — Ведь я-то знаю. Мне самой всегда звонили. Таня, достань билет. Боже мой, как же я достану? Да как, кому же еще, ты же в горкоме работаешь. Ну да, работаю, ну и что. Когда сама в отпуск, так мне положено, и с мужем могу, и на одного ребенка билет полагается, а так-то как? В орготделе просить? Девочки, дорогие, очень надо, вы уж сделайте, а уж я потом!.. — Последней фразой она кого-то противно передразнила и потом заключила, возвращаясь к нормальному голосу: — Просто так никто ничего не делает.

— Да не знаю я! — сказал я. — Он не говорил, бронь там или не бронь. Просто так или не просто так. Сказал, что вечером к летчикам поедем.

— К летчикам! — ахнула бабушка.

Снова заломила руки и стала говорить, глядя в окно:

— Что же тут скажешь, так или иначе... Как дедушку похоронили, я и слово сказать боюсь. Старая бабка, и весь разговор. Вот и не суюсь со своим. Только

попробуй кому что, сразу обругают. Куда лезешь, глупая старуха, без тебя голова крутом. А уж если папа твой услышит...

Не договорив, она повернулась ко мне и резко потребовала в интонации допроса:

— А зачем тебе?

— Что зачем?

— Папины связи зачем? Ты что, маленький?! Сам не можешь билет купить? Если что в жизни сложнее картошки с луком, так сразу к папе?

— Бабушка! — воскликнул я. — Да причем тут картошка с луком! Ты бы посмотрела, какая там очередь!

— Ну и что?

— Да еще жулики!

— Жулики?

— Жулики!

— Какие жулики?

— Обыкновенные! Если знаешь, что к чему, тогда можно и без очереди!

— По благу?

— Да по какому благу?! Просто стучат сбоку, говорят что-то, и все. Им кассирши без очереди дают.

Бабушка поджала губы.

— Воруют, значит, — скорбно сказала она. — Нет у них совести.

Я пожал плечами.

— Сама говоришь, просто так никто ничего не делает.

— Нет, — решительно не согласилась она. — Одно дело шоколадку принести.

А другое — лишние деньги кассирше сунуть.

— Она потом на эти деньги шоколадку себе купит какую захочет, вот и вся разница.

Бабушка посмотрела на меня с осуждением во взгляде.

— Так или иначе! — сурово сказала она. — Ты же не должен никому лишние деньги совать, правильно? Как будто без этого нельзя. Ну, очередь, ну и что. Другие стоят, и ты не преломишься. И купил бы нормально, чем отцу к Алевтине ехать.

— К какой еще Алевтине?

Бабушка испуганно осеклась, вскинула смятенный взгляд и уже начала было заламывать руки, но затем — возможно потому, что это был бы уже третий раз, хотя один из предыдущих обошелся и без сиротского монолога, — заговорила быстро и ласково:

— Вкусные пирожки? Ну, так или иначе... Я старалась, что ж. У меня вот с капустой не очень получаются. Вкусные, но не пышные. Просто умом разошлась, что такое. А эти ничего, да?

— Да, да, — нетерпеливо сказал я. — Очень вкусные. А ты...

— Съешь еще. Съешь. Вкусные же?

— Еще?... Да я уже вообще-то... Хорошо, но...

— И ведь тесто совсем одинаковое! — честно сказала она, глядя на меня с той доверительностью во взгляде, какая сопутствует раскрытию самых строгих секретов. — Ну совсем одно и то же. Просто чудеса в решете. Даже бывает, я часть таких слеплю, а часть таких. Ведь должны одинаковые получаться, верно? Нет, разные. Что ты будешь делать!..

— Я не понял, ты про какую Алевтину? — перебил я.

— Раньше я и с капустой напеку, и с яблоками, и еще с чем-нибудь, что под руку попадется. Бабушка Поля с кашей пекла очень вкусные, прямо и не подумаешь, что с кашей. Луку нажарит, объедение. А теперь тяжело с двумя начинками, я уж по очереди. Сегодня, скажем, с капустой, а через неделю, допустим, с яблоками. Но тесто то же самое. Совсем такое же. И муки столько, и яиц, и сахара по чуть-чуть, и дрожжей.

— Ты меня слышишь, нет?

— Съешь, съешь. В Москве-то не будет. Но с капустой не поднимается, прямо я умом разошлась.

— Да погоди же! Что за Алевтина?

— К отъезду еще напеку, с собой возьмешь. Спасибо, что картошки принес. Я совсем теперь неходячая. Ноги мои, ноги. Если печь, тогда и муки надо. Мука тоже тяжелая. А без муки-то печь же как?.. И ты громче, громче говори, а то я совсем уж плохо слышу.

* * *

Столь упорно увиливая, бабушка проявила как раз те свойства, которые папа имел в виду, когда говорил, что она мастер темнить и тихушничать. Все это было чрезвычайно подозрительно, и потому на обратном пути я взялся заново перебирать в памяти детали вчерашнего разговора.

Когда папа сообщил, что ему по брони возьмут билет на шестое, я сказал, что могу его только поздравить. И отлично, сказал я, все у тебя тогда в порядке. Что же касается меня самого, то мне в самом скором времени придется, скорее всего, вернуться на жительство в Душанбе. Потому что я пропущу лабораторные по петрофизике, а отработать их нельзя ни за какие коврижки. И в конце семестра меня выгонят, у нас с этим просто, не я первый, не я последний. Но пусть они не волнуются, сказал я, ничего страшного. Не так уж и долго придется мне обременять их, ибо в ближайшем будущем меня заберут в армию, и они гарантированно будут избавлены от моего присутствия минимум на два года. На чей-нибудь слух все это может звучать фантастично, но в действительности очень и очень вероятно, сказал я. Сегодня при моем приближении к кассовому окошку выключился свет. Так что нельзя исключить, что завтра случится прорыв канализации или пожар. А послезавтра, возможно, объявят чумной карантин. Так что даже в самых смелых мечтаниях нельзя вообразить, сказал я, что мне удастся разжиться билетом на шестое или седьмое, чтобы оказаться в Москве самое позднее восьмого. И что поскольку у меня нет больше сил убиваться в этом проклятом агентстве, где я уже потратил два дня, вместо того чтобы наслаждаться каникулами или, на худой конец, заняться литературными делами, не мог бы папа воспользоваться своими связями и достать уже мне этот несчастный билет!

Беспорядочно вывалив все это, я замолчал.

Хорошо, что папа уже съел не только суп, но и жаркое. Если бы я обождал до чая, он бы ответил еще более добродушно. Но он и без того оказался на удивление сдержан.

Добирая кусочком хлеба капли соуса с тарелки, папа сказал, что все это, с одной стороны, его совсем не удивляет. Но с другой, все эти годы меня кормя, поя и давая образование, он не рассчитывал, что его доживший до бороды отпрыск окажется не способен даже на такое плевое дело, как приобретение авиабилета. Однако если там ни света, ни воды, ни, главное, перспектив, то, конечно, дело швах, сказал он. А раз так, то, поскольку иных занятий у него нет и весь он от безделья уже прямо облезает, ему и впрямь придется брать ноги в руки и ехать к летчикам.

— Вот! — радостно сказал я. — Ну а я что говорю!

— К каким еще летчикам? — резко бросила мама. — Нечего тебе там делать! Пойдет завтра в агентство и отлично возьмет! Всегда так было и теперь будет!

— Ты же видишь, он недееспособен, — сказал папа не сердитым и не гневным, а каким-то жестяным голосом. — Кто виноват?

— Мама! — воскликнул я. — Ну почему ты не хочешь, чтобы папа воспользовался своими связями! Он же все-таки начальник!

— Да какими связями! Какой начальник! — ответила она, всплескивая руками.

Мама наморщила лоб, словно чего-то не понимая, и одновременно прикусила уголок губы, а когда она так делала, ее лицо принимало чужое, настороженное, а может быть, и несчастное выражение, какое я вообще видел считанные разы в жизни и уж совсем не ожидал увидеть сейчас, и потому заговорил в испуге:

— Ой, не надо, не надо ничего!.. я завтра сам пойду и все отлично... только не!.. Но она бросила салфетку и сказала с горечью:

— Да делайте что хотите!

И ушла на кухню.

Папа молчал.

Я сказал растерянно:

— Я не понял... ну а что такого?

— Ты поел? — хмуро спросил он.

— Поел...

— Ты ехать куда-то собирался?

— Ну да, мы с Лукичом хотели...

— Вот и езжай с глаз долой, — с досадой сказал папа.

Мы с Лукичом на самом деле договорились вечером встретиться, я уехал, а когда довольно поздно вернулся, все вроде бы стояло на своих местах, и папа лишь велел завтра часам к пяти прийти к нему.

* * *

Вряд ли стоит вдаваться в подробности нашей поездки к летчикам. Ничего особенного не было, я и летчиков никаких не видел, во всяком случае, чтобы в форме. Мужа Алевтины звали Сергеем, он и в самом деле когда-то летал, но уже много лет как ушел в наземную службу.

Сначала мы сидели вчетвером, позже заглянули их друзья Михаил и Клара.

Михаил вовсе не имел никакого отношения к самолетам, он был врачом. Поднимая очередную рюмку, он всякий раз вздыхал, что все толкуют насчет печени, а вот если бы знали, как алкоголь действует на почки, в жизни бы к этой гадости не подошли и на километр.

Клара мелко смеялась и мило шурилась. По сравнению с Алевтиной она была очень маленькой.

Алевтина же время от времени ахала, прижимая ладонь к накрашенным губам, встряхивая белокурой завитой прической и опять, округляя глаза, говорила что-нибудь вроде: ну, Герман, какого ты себе парня вырастил, прямо завидно. Все подхватывали, недолго гомонили, затем отвлекались и продолжали нормальное застолье, то есть трепались ни о чем, шутили и смеялись.

Я украдкой на нее посматривал, ловил переменчивое выражение ее яркого лица, стараясь, чтобы она не заметила моего внимания.

Из необязательной застольной болтовни и довольно замысловатых тостов, на которые врач Михаил оказался просто мастак, я между делом уяснил, что у Алевтины

и Сергея тоже был сын, но в десять лет он умер от саркомы голени. Еще Алевтина в какой-то момент воскликнула: «Нет, ну нашли молодых! Какие же мы молодые, у нас скоро оловянная свадьба!» — и, смеясь, прижалась к мужу, наклонив голову к его плечу. Ну и еще, если свести воедино несколько в разное время упомянутых обстоятельств, становилось понятно, что когда-то Алевтина работала в папиной партии — давно, еще когда он был в Памирской. Потом она уволилась, а через несколько лет вообще бросила геологию. Сделать это ей было не трудно, поскольку она подвизалась на не требующих особого образования должностях вроде коллектора. И устроилась в аэропорт, сменив, фигурально выражаясь, увитые лаврами геологические молотки на увитые лаврами же пропеллеры или какая там эмблематика в системе Гражданской авиации. Она сама говорила, что если бы осталась, поступила бы на геофак, а потом и вообще, глядишь, сделала бы карьеру.

Вот и все, собственно. В качестве горячего нас накормили пельменями. Потом Алевтина куда-то позвонила, все выяснила и растолковала, что нужно сделать. Мы долго прощались и в конце концов уехали.

* * *

Утром я снова отправился в агентство.

Теперь не требовалось стоять в очереди, подвергаясь сбоям в работе и прочим превратностям судьбы. Нужно было всего лишь постучать в дверь справа от кассовых окошек, сказать, что я от Анвара Тавобовича, и сунуть паспорт с вложенными в него купюрами. А потом ждать в сторонке. Через несколько минут кассирша выйдет, чтобы отдать что положено.

Денег в паспорт следовало положить на пять рублей больше стоимости билета. И одними бумажками.

Я вошел в густо забитое помещение кассового зала и вдруг понял, что мне неловко на глазах у тех, с кем давился в одной очереди, идти к боковой двери.

Решив потянуть время и собраться с духом, я, чтобы не привлекать внимания бессмысленным блужданием, направился к табло и перечитал давным-давно затверженные названия аэропортов местных линий.

Ленинабад, Хорог... Куляб, Исфара... Лет пять назад мама летала в Исфару. В институте был международный симпозиум по ацетилену, иностранцев возили на экскурсию. Собирались утром туда, вечером обратно. Утром при посадке то ли летчик не рассчитал, то ли тормоза отказали, самолет выкатился за полосу и остановился далеко в винограднике, чудом не погубив тракториста. Вечером мама возвращалась в пустом салоне: независимо от гражданства, все предпочли полчасу комфортной воздушной перевозки восемь часов тряского автобуса.

Вот так, думал я, невзначай озираясь и выгадывая еще минуту.

Все испугались.

Мне казалось, все следят, когда я и в самом деле двинусь к двери. Чтобы придать лицу незначительное выражение, я старался думать о постороннем.

Испугались, да. Ну и глупо. Если по дороге туда в виноградник, так обратно вообще, что ли, грохнуться? Глупости, так часто не бывает. Мама полетела и правильно сделала. Я бы тоже полетел. И папа бы полетел. Мы-то знаем, что такое судьба. А дед? Не факт. Но может быть. Даже скорее всего. А вот бабушка точно бы не полетела. Какие все-таки люди разные бывают.

Сколько мне здесь топтаться? Пора, пожалуй.

Я заледенел, деревянно пробрался сквозь толчею и, оказавшись у двери, постучал условным стуком: бам-бам, ба-ба-бам.

Щеколда лязгнула, дверь приоткрылась. В щели появился фрагмент смуглого лица с настороженным глазом.

— Москва, шестое, — сдавленно сказал я.

Глаз моргнул, рука выдернула паспорт.

— Жди там, — услышал я.

Лязгнула щеколда.

И тут я сообразил, что не сказал насчет Анвара Тавобовича.

* * *

Все вышло именно так, как бабушка и наказывала: я принес ей два килограмма муки, к отъезду она напекла новых пирожков с яблоками, и накануне нашего с папой отлета я их забрал, чтобы взять с собой в Москву.

А теперь время шло к обеду, и часть я принес обратно, чтобы было с чем пить чай. К счастью, в агентстве нынче дело обошлось малой кровью: и очередь оказалась небольшой, и чумной карантин не объявили, так что я успел задолго до перерыва.

Бабушка все ахала:

— Да как же так! Да как же!

Она прижимала ладошки к худым щекам и прямо-таки вытаращивала на меня глаза.

— А вот так, — несколько раздраженно отвечал я. — Вот так!

— Ну как же, как же! У тебя же билет!

Я откусил половину большого пирожка и попытался проглотить все сразу. Оказалось слишком много, я едва не подавился.

— Билет! — закричал я, кое-как преодолев спазм. — Ну да, билет! Вот такой билет! Бабушка, ну что ты все одно и то же! Как же да как же! Вот так же!

Бабушка придвинула стул к столу и села.

— Ладно, — сказала она совершенно спокойно. — На какое теперь взял?

— На девятое, — буркнул я.

— Ты же говорил, что...

— Говорил, да, — сказал я. — Да ладно. Сдам я эту несчастную петрофизику.

— Не выгонят?

— Не выгонят.

— Ну что ж тогда, так или иначе... — Она сплела костлявые пальцы на скатерти. — Так или иначе.

Я хмуро жевал, время от времени делая глоток чаю.

Как же, как же... Вот так же.

Все это было сегодня утром. Московский рейс улетал в шесть ноль пять, вставать к нему приходилось, выныривая из радужных снов в беспросветно темный пугающий мир. Все успело подернуться такой рябью, словно случилось несколько дней назад.

У стойки регистрации мы стояли рядом, папа пропустил меня первым. На поле тоже вышли бок о бок. Но скоро пришлось разделить: по горкомовской брони ему достался первый салон, а туда пускали, несмотря на первенство, после демократического второго.

Горстка элитных пассажиров переминалась у трапа к передней двери «Ила», дожидаясь, пока мы, черномысы, взойдем по своему.

Черномысы облепляли подножье, необъяснимо волнуясь и теснясь.

На нижней площадке трапа стояли две стюардессы. Одна смотрела билет, треплющийся на ветру в судорожно сжатых пальцах очередника, и сличала с паспортом, другая кричала что-то в черную мыльницу переговорного устройства и чирикала карандашиком в ведомости. Проверенные и посчитанные спешили по ступеням, чтобы кануть в темноту овальной люковины.

Я не видел причин толкаться у трапа. В билете было указано предназначенное мне место. В авиабилетах всегда указаны места. Вот и в моем ясно читалось — «17Г».

Стоя метрах в трех от стяжения страстей, я посматривал в папину сторону. Он что-то говорил и махал рукой, будто пытаясь на что-то мне указать. Ветер относил слова, я ничего не разбирал. Да и показывать ему было особо некуда. Куда уж тут показывать, когда стоишь у трапа. Остается только подняться по нему, чтобы занять место в салоне. Очевидно, он махал просто так, приободрить и пообщаться. Я тоже время от времени ответно помахивал — дескать, у меня все отлично, ты сам там, главное, держись.

Когда у нашего трапа осталось всего человек десять второсалонников, стали пускать пассажиров первого.

Папа поднялся по ступеням, уже перед самой дверью еще раз ободряюще помахал — и нырнул в самолет.

А у нас тем временем происходила явная заминка. Вереница прервалась, трап был пуст. Оставшиеся внизу разногласо кричали и жестикулировали.

Невольно холодея, я притиснулся вплотную и тоже стал тянуть руку с билетом.

— Семнадцать гэ! — закричал я. — Слышите? У меня семнадцать гэ! Пустите! Ну, у меня же билет!..

* * *

— Что ж тогда, так или иначе... — сказала бабушка. — Будет тебе урок. Так-то вот с жуликами вязаться...

Я сунул в рот остаток пирожка. На пальцах осталась пыльца муки и сладкий деготь подгорелой начинки. Я облизал.

Я вдруг понял, что почему-то даже рад, что меня не посадили в самолет. Радость омрачалась лишь легким беспокойством насчет папы, а в беспокойстве был, в свою очередь, легкий оттенок злорадства. Я представлял, как погасло табло, он поднялся из кресла и пошел во второй салон. Он же думал, что я во втором салоне. А меня не оказалось... Надеюсь, он не будет слишком уж волноваться. Ну, не посадили меня в самолет, что делать. Вечером позвонит и все узнает. Вот так. Он-то улетел. Конечно. Что ж, с горкомовской-то бронью. А я пирожки ем. Каждому свое. Ну и ладно. Хотя и жаль, что пропадет моя послезавтрашняя петрофизика.

— Они лишние продают, — сказал я. — Вот почему на посадке все так давятся. Знают, наверное... Если последним останешься, не улетишь. Ну и правда, как лишних сажать? Если всех сажать, самолет не поднимется. А если бы я вперед пролез, отлично бы улетел.

— Ну да, — покивала бабушка. — А кто-нибудь другой бы остался. Вот радость-то... Билет хоть даром поменяли?

— Страховой сбор заново. Тридцать копеек.

— Ну, слава богу, так или иначе, — успокоилась она. — Видишь как. Ворье бессовестное.

— Такая вот Алевтина, — сказал я.

Я отлично понимал, что Алевтина тут совершенно ни при чем. Купленный при посредстве Алевтины билет (а также с помощью неведомого мне Анвара Тавобовича, про которого я в самый ответственный момент забыл) ничем не отличался от прочих. Он отлично бы пошел в дело, если бы ко времени моей посадки в салоне еще оставалось место.

Я упомянул ее имя, надеясь, что бабушка купится на эту нехитрую уловку и заговорит. И расскажет мне историю. Которая, как я чувствовал по совокупности мелких обстоятельств, здесь несомненно просвечивала. И была связана именно с Алевтиной.

Бабушка обожгла меня быстрым взглядом выцветших глаз. Она посмотрела в окно и нерешительно сказала:

— Что ж, так или *иначе*... — И повторила тверже: — Так или *иначе*!

Я понял: она хотела бы рассказать. И она уже представляет, с каким удовольствием расскажет. И какими яркими и значимыми деталями, на которые такая мастерица, украсит свой рассказ!..

Но это было бы лишним. А что бабушка точно умела, так это не говорить лишнего.

— То есть не расскажешь? — повторил я.

— Не знаю я ничего, — сказала она, честно на меня глядя. — Не помню.

Я вздохнул.

— Ну что ж...

— Ну, и слава богу, так или *иначе*, — успокоилась она.

И тоже вздохнула, ласково на меня глядя.

И я видел, что в ее взгляде скользит сожаление.

И ей было жаль, что она не может мне рассказать. Чего именно? — так, кое-чего. Хотела бы — но никак. Было бы лишним. Так что ни за какие коврижки. Хоть бы даже и под пыткой.

— Так или *иначе*, — печально вздохнула она. И повторила: — Что ж теперь... Ладно... Вот я и говорю: так-то с жуликами дело иметь!

И мы рассмеялись.

Лук нарезать тоненько-тоненько

Троллейбус с полпути заворачивал на Ленина, а потом в парк, так что от самого «Детского мира» мне пришлось шлепать по сырым и темным улицам.

Я хотел есть и шагал стремительно, как ходят молодые и голодные, не глядя под ноги, а только по звуку понимая, расплескиваю очередную лужу или иду посуху. А ночной ветер то достигал лица и ладоней влажным касанием мороси, а то веял откуда-то справа, и тогда я обонял парфюмерный призрак ее запаха, задержавшийся на щеках.

Я не думал, что мы так засидимся. Собственно, мы еще за столом говорили почти исключительно об этом: пора мне уже или еще не пора. Ее мама склонялась к тому, что пора, а Лена возражала в том смысле, что можно еще минуточку, и я оставался сидеть, хотя, если быть честным, уже не видел в этом никакого смысла. Чай давно выпили, и после второй заварки тоже, лимонный пирог был достойно распробован, я подробно изложил как взгляды на жизнь, так и планы на будущее. Тут мне скрывать

было совсем нечего: будущее представляло таким туманным и расплывчатым, что говорить я мог все подряд и сколь угодно детально.

Они с мамой жили в пятиэтажном доме с большими лоджиями. И не просто на Втором Советском, а на самом краю Второго Советского, откуда уже рукой подать до Масложира. Лена пошла проводить меня до остановки. Я сказал, что город сильно расстроился, раньше тут были пустыри, а за Масложиром, где хлопковые поля, кишлак и канал, у нас был сад. А теперь сада нет, и дедушки нет, и арычки его наверняка заилились, а то и вся земля перевернулась, и они текут не в ту сторону.

Троллейбус все равно не показывался, и мы побрели дальше.

А может быть, и не так, сказал я, может быть, и теперь кто-то заботится о саде и борется с филлоксерой. Дедушка всегда очень озабоченно говорил о филлоксере, такая, дескать, зараза, дай волю, погубит лозы. Но вот дедушки уже и нет, а виноградник остался, и не исключено, что кто-нибудь рыхлит под ним землю, после полива взявшуюся коркой, а потом собирает сладкие гроздья, а как еще. Ну и с филлоксерой, значит, воюет, а как иначе.

Папа не хотел продавать сад, мол, ничего страшного, что ж делать, придется ему самому всем заниматься. Но у него была работа, он мог лишь в выходные, и то не всякий раз, а до пенсии далеко.

В общем, как только некому стало там насвистывать себе под нос, все пошло прахом, и бабушка настояла, чтобы продали, а то она видеть не может, как гложет и погибает.

Так что я по сей день не знаю, заключил я, каков этот Масложир на самом деле, и, скорее всего, не узнаю уж никогда.

Про сад Лена слушала внимательно, а когда я заговорил насчет Масложира, интереса не проявила. Я переспросил, она ответила, что вообще-то слышала о Масложире и знает, что это где-то неподалеку, но тоже понятия не имеет, каков он. Вообще, у меня сложилось впечатление, что вопрос Масложира ее не только не занимал, но даже казался странным.

Мы дошли до самой речки. Вода билась на черных камнях и шумела в темноте, ветер невидимо шуршал мертвой травой. Лена зябла, я обнимал ее и целовал, мы повернули обратно, и когда вернулись, троллейбус ушел.

Мы еще немного прошли, время текло, как бы нам, возможно, ни хотелось его приостановить. Ей пора было возвращаться, да она и замерзла, я проводил ее обратно, но немного не доходя до подъезда мы свернули направо на детскую площадку и долго целовались в сумраке за деревянной горкой.

Она щекотала мне ухо, шепча, что на всякую нашу школьную встречу ходила как на сватовство, и вот теперь мы наконец признались друг другу, а ведь прошло три с лишним года, и непонятно, что мешало нам сделать это раньше, могли бы, например, и на выпускном.

А я отвечал, что просто боялся к ней подойти. Она слишком красивая, а иногда еще смотрела немного исподлобья, есть у нее один такой взгляд, опасный, что ли, или, может, не опасный, но особенный.

Она тихо смеялась и говорила, что не знает никакого особенного взгляда, что я все выдумываю, что на самом деле ей было одиноко, и если бы я сказал хоть слово, она бы совсем не стала смотреть на меня исподлобья. Потом спросила вдруг, помню ли я, как в девятом классе мы встретились в Ходжа-Обигарме.

Разумеется, я помнил, как мы встретились в Ходжа-Обигарме.

Никто из наших не ездил в Ходжа-Обигарм, даже из всей школы никто не ездил, только однажды я встретил там одного типа из десятого, давно еще, он потом окончил школу и пропал. Я даже не узнал его фамилии, встретил и встретил, он на меня, скорее всего, вообще не обратил внимания, мало ли кто болтается на склоне, всех не разглядишь, съехал книзу и давай пехом обратно, где полого, там можно в лоб, а в двух местах круто, и большинство валандается лесенкой, а я взбегал елочкой, как дедушкин заводной пингвин, только пар от меня валил, и потом приходилось отдыхиваться.

В тот день вообще было непонятно, нужно ли ехать, потому что, когда я проснулся, в темноте ливень барабанил по карнизам и дудел в водосточные трубы. Но все-таки я собрался, вставать приходилось чертовски рано, машина от института уходила в половине восьмого, туда за двадцать минут не управишься, и точно, я промок насквозь, пока добежал.

За городом дождь обернулся мокрым снегом, и ехали мы не час, как обычно, а как бы не два, та еще оказалась езда. Снег валил и валил, и чем дальше мы взбирались по Варзобскому ущелью, тем гуще. Но все-таки доехали до поворота и еще километра четыре по узкой дороге к самим источникам. Шофер сказал, что ждать не будет, сразу двинет обратно на шоссе, потому что, если останется, его в кабине завалит по крышу, и все, сливай воду.

Крутая тропа всегда была скользкой — или обледеневала, или раскисала, а в этот раз ее вообще было не найти: снизу снег, сверху снег, снег в глаза, все в снегу, все глухое и ватное, все бело, ничего не видно, ничто ни от чего не отличимо.

День шел насмарку, катания не выходило, даже к Юриному пластику липло, а уж я лишь тем и занимался, что наяривал свои деревянные парафином, но все равно то и дело приходилось счищать с них пласты снега. Вокруг плескалось сплошное молоко, не понять даже, что выше, что ниже, что укатано, что перепахано, а не дай бог чуть в сторону, так вообще вязнешь по самую развилку.

У меня были бутерброды с колбасой и чай в полиэтиленовой банке из-под NaOH. Снег все валил, с колбасы приходилось сдувать, хлеб подмокал, просто бешеный какой-то был снегопад.

То и дело одергивая капюшон штормовки, чтобы не так несло в физиономию, Юра, задумчиво глядя в непроглядную метель, сказал, что ничего страшного, даже хорошо, пусть навалит метра два, к следующим выходным морозом схватит, подсушит, вот уж тогда разгуляемся.

Я лишь горько улыбнулся: он-то разгуляется, спору нет, у него кант стальной, ему по насту только и гонять, а у моих деревянных боковины давно круглые, как бутылки, я по будущему насту хоть боком, хоть задом наперед.

Скоро мы стали собираться, по такой погоде к четверем должно было капитально стемнеть, и еще неизвестно, сколько проваландаемся на тропе, а потом еще к шоссе и тоже небось по колено.

Спуск в этот раз был диковинный, то и дело кто-нибудь срывался и летел с тропы напрямки, Юра тоже раз улетел, но благополучно, а когда мы уже были на дороге, там, потом говорили, двое поломались, не знаю, как их доставляли, мы уже ушли.

И вот почти у самого шоссе я тогда и встретил Лену Данилову. На работе у ее мамы в кои-то веки организовали отдых выходного дня, они поехали, а тут такое светопреставление. Их автобус тоже не стал ждать, покати к книзу, они потоптались в растерянности, кто-то из их компании полез на плато, а они даже пытаться не стали, они вообще не по этой части. Съели тормозки и побрели за автобусом.

Если бы Лена была там одна, мы бы пошли вместе, я бы взял у нее лыжи, у нее ведь были какие-то лыжи, она несла их неловко, роняла палки, лыжины даже связаны не были, непонятно даже, где ей удалось по такому случаю ими разжиться.

Но она была с мамой, а мама с подругами, целая гурьба теток, так что мы только оторопело покивали друг другу. Я точно оторопел, я на ходу как раз и думал о ней, и тут такая материализация. Но вообще-то и без того всякий удивится, встретив на горной дороге одноклассницу, которой там совсем не место — она ведь играла на пианино, а ничем подобным не увлекалась.

А теперь я быстро шел по тротуару, вспоминал вечер, как мы говорили и что сказали друг другу, то есть не думал ни о чем специально, а обо всякой всячине.

Шел себе и шел, а потом увидел.

Четверо... нет, даже шесть человек их было. Небольшая шобла местных полуночников. От такой не приходится ждать ничего хорошего. Сбившись в плотное сгущение силы и опасности, стоя темным пятном теснилась поодаль от фонаря. Ближе к столбу поблескивали на свету неровности мокрого асфальта.

Трудно было рассмотреть их подробно, да и времени на рассмотрение оставалось совсем немного.

Но я воочию видел, как они щерят пасти. Я даже различал клыки: на них поблескивала пузырящаяся слюна.

А они горящими в полумраке глазами следили за моим приближением.

И я все шагал и шагал, шагал деревянно, но твердо, твердо не от уверенности и бесстрашия, а просто потому, что мне совершенно некуда было деваться, единственное, что я мог, это метнуться от Айни влево, в переулок к базару, но он неминуемо вывел бы меня напрямик на Мирзо-Ризо. А вот уж куда я сейчас не хотел, так это на Мирзо-Ризо, потому что все, что я слышал о Мирзо-Ризо, где мы когда-то жили, могло лишь пуще устроить, и ничто не могло хоть чуточку приободрить, вот и получалось из огня да в полымя.

Эти хищники уже конвульсивно поджимали лапы, то пряча, то снова выпуская желтые когти, готовясь броситься, когда наступит момент, а слуха достигало их низкое и все более угрожающее ворчание.

И все же я шагал и шагал, шагал и шагал прямо на них, и, кажется, дела сегодняшнего вечера придавали мне если не мужества, то отчаяния, — а запнулся метрах в двух, когда услышал мирный голос:

— Братан, извини, спички есть?

— Есть, — сказал я. — Держи.

Они прикурили.

Я забрал спички... еще потряс коробком, словно чтобы убедиться, что они спалили не последнюю, а если бы спалили, я бы им тут всем показал, где раки зимуют.

И пошел дальше, чувствуя и облегчение, и свободу, и еще почему-то неожиданно появившуюся уверенность, что не надо ничего бояться.

* * *

Минут через десять я уже осторожно совал ключ в замочную скважину.

Мои старания быть призраком оказались напрасны: в спальне горел свет.

Я заглянул. Мама лежала в постели, а папа сидел с краю в своей синей кофте, положив руки на колени и сгорбившись.

Оба выглядели если не горестно, то, как минимум, печально.

— Что случилось? — сказал я.

- Сынок, ты не брал мои туфли? — спросила мама.
- Туфли, — повторил я. — Какие еще туфли?
- Французские туфли, — пояснила она, надавив на «французские».
- Французские туфли?..
- Помнишь, я позавчера купила французские туфли.
- А, французские туфли, — сказал я, морщась. — Ну да. И что?
- Ты помнишь? — зачем-то настаивала мама.
- Я помню, — сказал я. — Позавчера ты купила французские туфли. Я видел.

Ты их примеряла. Показывала нам. Хорошие туфли.

Я пожал плечами. Время вообще-то позднее. И я хотел есть. Помню ли я французские туфли. Ничего себе.

— Пришла с работы и опять решила померить. Подумала, что они мне, может быть, немного жмут. Думаю, еще раз попробую...

— И что? — нетерпеливо спросил я.

— А их нет, — беспомощно сказала она. — Ты не брал? Я подумала, что... я подумала, ты ехал к Лене... может быть, отвез ей?

Через секунду я тупо спросил:

— Мама, ты с ума сошла?

— Ну! Ну! — папа грозно возвысил голос.

— Что «ну»?! — возмущенно сказал я. — Вы в своем уме, вообще?

Мама вздохнула.

— Не знаю... Еще деньги лежали в шкафу под бельем. Облигации...

— Нету?

— Нету.

— Ага, — сказал я. — Тоже мой грех?

— Да ну тебя, — она отмахнулась.

— А много было? — спросил я.

— Самое время спрашивать, сколько было, — проворчал папа. — Много, немного... теперь уж нет ни черта. Обокрали нас, вот что. Ладно, спать надо. Завтра в милицию пойду.

Пусть считанные разы, но все-таки случалось в жизни, когда будущее открывалось мне именно так — ясно, отчетливо, с непреложностью, не предполагающей сомнений.

— Папа! — в ужасе воскликнул я. — Не надо в милицию! Они скажут, это я украл! И отвез Лене!

* * *

Я и потом не раз замечал: время — единственное, пожалуй, о чем не нужно специально заботиться, оно идет само собой.

Вот оно и прошло, и мы снова сидели за столом.

Мы давно не виделись. Я уехал зимой, успел к началу семестра, отучился, сдал экзамены, а потом четыре месяца провел на практике. Занятия начинались с октября, и все равно я смог приехать домой всего на неделю. Сахалин не отпускал, я выдирался из него, как выкарабкивается муха из розетки с вареньем.

Но все-таки приехал, и теперь всех разговоров у нас было (точнее, у меня, мама с папой просто послушно поддерживали тему) о том, как прошла моя практика, как хорошо на Сахалине, как вот скоро я закончу институт и распределюсь туда работать, и что я уже обо всем договорился. Меня будут ждать: и Юров, начальник партии, и водитель-механик Петрович, и техник-водитель Равиль, так что мне бы только

как-нибудь отучиться, через год защитить диплом, а уж с дальнейшим ясно, жизнь как на ладони и никаких сомнений.

Мне хотелось рассказать все и сразу, но это, к сожалению, было невозможно, приходилось чередовать или, точнее, прыгать с одного на другое. Я толковал и о том, и о сем, и то опять о работе, то начинал рассказывать о Юрове, а то вдруг вспоминал, как встретился с двумя помбурами в гостинице, где пришлось провести первые три дня по приезде.

Они выбрались в Оху с Большой Речки, первый сопровождал второго в больницу, у того ударом бурового ключа было сломано запястье, и они — эти два громадных цветущих мужика, какими, как я скоро узнал, были здесь все без исключения помбуры, вселились в трехместный номер, где я должен был провести последнюю ночь, рассчитывая утром заселиться в общежитие.

Мы провели чудный вечер, у цветущих помбуров была целая авоська водки, они всю ночь по-помбурски буровили, но в конце концов я кое-как уснул под их рокотание и хриплые выкрики.

Утром они бессознательно храпели. Сетка-авоська валялась у холодильника пустым бреднем, из которого выскользнула последняя рыбешка.

Накануне за гульбой руки до сборов не дошли, а время тикало, и я начал торопливо складывать вещички. Меня приписали к Юровской партии, Юров должен был сегодня выезжать на два заказа и строго наказывал не опаздывать, а ведь предстояло еще закинуть рюкзак на новое место жительства, в общагу, в ХОЗУ вчера так и сказали: ты, мол, главное, койку займи, а там уж развезжай сколько влезет.

Но собраться мне было только подпоясаться, удивило лишь, что, когда я перед уходом хотел почистить зубы, мой днями начатый тюбик оказался насухо выжат. И некоторое время потом я недоумевал, припоминая и пустую авоську, и сколько в той пасте могло быть дури, и еще то, как последняя соломинка переломила-таки верблюду спину, вот, может, моя паста соломинкой и оказалась, что они до сих пор без сознания.

А недели через три я заболел, и неудачно, в дороге.

Впрочем, трудно было так угадать, чтобы заболеть на месте, потому что жизнь каротажника состоит именно в том, чтобы кочевать по площадям. В тот день выдалась пауза, и с отработанной буровой двинули не на другую, как обычно, а к расположенным примерно между ними целебным источникам. Можно было сидеть в одной из четырех больших ям с парящей водой, рассуждая насчет того, какая разница в этой по сравнению с предыдущей, или вовсе сделать паузу на суше, охлаждаясь дождичком, а если подмерзали, так снова лезли в горячее. Я с утра не пил, я вообще шел за почти непьющего, а вот Юрова маленько развезло, и он в шутку дернул Равиля за причинный конец, да видно не рассчитал, слишком сильно пошутил, тот стал садиться, немો выпучив глаза, и чуть не утонул, мы его едва вытащили, у той ямы как нарочно оказались самые скользкие края.

Потом снова ехали, и если дорога по верхушкам сопок, то хорошо, подъемник тяжелый, так и ухает с увала на увал, а вот в низинах сплошное чавканье. В какой-то момент Юров еще добавил и захотел за руль, Равилю деваться некуда, с начальником не поспоришь, он перебрался на пассажирское, ну они и поехали вперед нас, как раз дорога оказалась хорошая, вот и умчались.

А когда мы их неспешно настигли, станция лежала на боку: завалилась в кювет на пихты, они ее придержали, а то бы и вовсе кувыркнулась. Равиль сидел в кабине, как в мышеловке, дверь не мог открыть, а Юров стоял снаружи и курил с таким

значительным видом, будто каротажным станциям на шасси армейского ГАЗ-66 с зеленой кабиной, будка понизу карминовым, поверху через черную полосу желтым, именно так ездить и положено.

В общем, мы проваландались и до буровой добрались ближе к вечеру. Обычно приходилось ждать, пока кроты инструмент поднимут, но в этот раз все было готово и сами буровики злые — вроде как они последние жданки доели и простаивают. Хорошо, Юров давно бурмастера знал, они с ним пошли в балок бумажки писать, на том и кончилось.

Ну а нас-то упрашивать не приходится, разобрались в три секунды, я сам рыбу в лужу кидал. Петрович начал спуск, и все затихло, два двести проехать это минут на сорок тихого ворчания и скрипа.

Я сидел в станции, глядя в оконный лючок на вращение блок-баланса, и мало-помалу на меня стало накатывать. Я отлично знал, что идет спуск, а работаем на подъеме, но зачем-то включил приборы, запустил протяжку и стал тупо недоумевать, почему двоятся линии самописцев. Пришел Юров, и я с тревогой сообщил, что по этой скважине, похоже, весь материал насмарку. Он сначала заорал, что я с ума сошел диаграммную бумагу коту под хвост, потом все вырубил, а потом потрогал меня и сказал, что мной рубашки можно гладить или даже прикуривать.

Из-за этого я пропустил два выезда, у меня оказался отит, и я валялся в общаге. Делать там было совершенно нечего, утром я брел в поликлинику на кварц в кабинете физиотерапии, днем тянул время, писал письма, а вечером приходил со стройки каменщик Никита, и мы варили суп или жарили картошку.

Когда я в последний раз сидел у аппарата, приложив ухо к целительно светящей трубе и думая все об одном и том же: как вот сегодня мне закроют больничный, а завтра к семи я уже буду на базе и, может быть, на мое счастье все тоже там, а не на выезде, и я наконец-то включусь, а если где-то мотаются, то пойду в мастерские тянуть время до их возвращения, — так вот тут меня в открытую дверь увидел какой-то тип и весело полюбопытствовал: «Мозги греешь?»

Раздосадованный его идиотским вопросом, я докварцевался, вышел в коридор — и у кабинета хирурга заметил знакомых помбуров: у одного рука все так же висела на грязной тряпице, другой его все так же сопровождал, только оба теперь были совсем синие и производили довольно нездоровое впечатление...

Но ведь за столом никогда ничего до конца толком не расскажешь, разговор непременно сам собой куда-нибудь увильнет, мама, например, ахнет, это как же, сыночка, тебя угораздило заболеть.

Вот и сносит на другое, ладно, думаешь, потом дорасскажу, не забуду, начинаешь объяснять, что там вообще-то не до болячек, какие болезни, какие простуды, живым бы остаться, каротажная работа продыху болеть не оставляет, выезжаешь на БР-4 сделать стандарт, а там уже радиограмма, что партию Юрова ждут на БР-17, так что пусть не засиживается, хоп так раз так, майна-вира.

И скважина вроде на той же площади, да до нее тридцать километров непролазной таежной колеи. Но доберешься и эту сделаешь — а тебе еще две: вы ведь на этой площади, так и отработайте заодно, вам рукой подать. Колесишь неделю, а то и полторы, и никто уже даже и не думает, что хорошо бы когда-нибудь все же вернуться на денек в Оху поменять портянки.

Однажды мы не спали трое суток: днем работать, и всюду как на зло завершающий комплекс, а это три спуск-подъема, не залежишься, — а как закончили, так надо

мчаться на следующую. Однажды в спешке даже рыбу в луже забыли, так бы и уехали, хорошо, я в последнюю секунду вспомнил.

И это значит, что ехать ночью, ехать, вот и все дела, ехать и ехать. Свет фар медленно ползет по веткам, умом-то понимаешь, что деревья другие, а кажется, что те же самые. Хорошо если вышка выглянет из рассветной мути, вся в огнях, будто новогодняя елка, а то и к обеду к ней, бессонной, выезжаем.

И уже просто глаза на лоб, и ты вроде на пассажирском, можно прикорнуть, да еще как сладко получится — под надрывный вой двигателя, под нескончаемое переваливание подъемника, под чавканье колес в таежных бочажинах, в разжультканых до невозможности озерных колеях, под гудение печки и струю теплого воздуха.

Но ведь Петровичу еще рулить и рулить, а ты тут у него на глазах завалишься. И хоть он сам говорит, мол, чего ты, вздремни, оторви часок, нам еще долго скрестись, но разве это по-товарищески будет, нет, совсем будет не по-товарищески.

А если все же в конце концов плюнуть на все и спать, спать всем — и мне, и Петровичу, и Юрову, и Равилю! — всем уснуть без задних ног и спать, и плевать, что надо ко времени, все равно небось у кротов ни черта не готово, все равно у них инструмент наверняка в скважине, только начали поднимать, а попробуй-ка подними на вышку три километра свечей, черта с два они ко времени управятся, поэтому можно спать, спать, спать! — но это совсем уж беда: кроты, они оборотистые, особенно когда не надо, возьмут вдруг и сделают, а тебя все нет, и все нет и нет, никто ж не знает, что ты где-то там беспробудно задрых, а у них суточный простой — это лишение премии, а за такое буровики и убить могут, они там тоже ведь не задаром корячатся, видел я этих помбуров, с них станется.

И так день за днем и раз за разом, и когда на четвертое утро мы с Петровичем проснулись в кабине и принялись вроде как потягиваться, оказалось, что наш грозный ЗИЛ стоит, упершись бампером в огромную ель, стоит вмертвую, но и стоя упрямо рычит на пониженной, плотно сев на мосты, исправно крутит всеми колесами в образовавшихся под ними ямах, — потому что такая вот зверюга «сто тридцать первый», на нем хоть в огонь, хоть в воду.

И ничего, продрали глаза и поехали дальше, для начала пришлось оттянуться назад метров на десять, да что нам десять метров, у нас на барабане этих метров четыре тысячи — четыре тысячи метров бронированного кабеля, отмотали с лебедки сколько надо, цепанули за ближайшую лиственницу или крепкие ветви кедровника, подтянулись по-рачьи — вот и все проблемы, можно двигать дальше, разве что солярки много за ночь ушло, такая уж прожорливая сволочь этот «сто тридцать первый».

В общем, я все рассказывал и рассказывал, перескакивая с одного на другое и с другого на третье, ведь хотелось обо всем, все наворачивалось на язык, требуя обнародования. И как смешно меня в первый раз кормили икрой, и как потом учили ее солить, и как вскоре сам я советовал одному парню правильно использовать того калужонка, что дуриком запутался в его сетях и лежал теперь, ткнувшись в черный песок бездыханным рылом, вытянувшись во всю свою двухметровую, покрытую чешуйчатыми доспехами длину...

И еще, еще бог весть о чем я толковал, нес все в кучу без разбора, ведь как ни переверози, в любом случае куча получалась увлекательная, за что ни потянешь, все к месту, как вдруг мама задумчиво произнесла:

— Значит, к Лене ты не собираешься.

* * *

Сказано это было ни к селу ни к городу: я рассказываю про Сахалин, а она вдруг о Лене. При чем тут Лена?

Но, если честно, ее полувопросительная фраза не прозвучала для меня слишком уж неожиданно. Я знал, что когда-нибудь мама об этом непременно заговорит. И ждал. Даже, может быть, надеялся. Потому что в противном случае мне пришлось бы заговорить самому. А мне не хотелось. Мне и разговора как такового не хотелось, я бы без него отлично обошелся. Но ведь все равно придется когда-нибудь прояснить обстоятельства.

Я бессознательно, по-детски оттягивал этот момент: говорить о чем угодно и в какой угодно последовательности, нести с Дона и с моря, толковать обо всем подряд, лишь бы не касаться того, что действительно ждет какого-то разрешения.

Однако это если совсем уж честно. А так-то мое удивление было совершенно справедливым.

Я и ответил в таком духе: мол, при чем тут Лена? Дескать, я разъясняю насчет котлет, оставшихся последним способом приготовления горбуши, при котором она может полезть в глотку, не сказать что с большим удовольствием, но хоть как-то, да и то еще если в каждую котлетину, когда лепишь, положить кусочек сливочного масла, — ну и при чем тут, спрашивается, Лена?

Я мог бы и резче. Я мог бы даже заявить, что они сами виноваты, что все так вышло. У меня были серьезные основания, чтобы так сказать.

Но тогда придется объяснить, что именно вышло...

И разве я в этом виноват? Разве не я просил, даже умолял не вызывать милицию? Не я ли пытался убедить, что кончится совсем не тем, на что они рассчитывают?

Я, именно я: полночи провели тогда в спорах.

Не надо звать милицию, твердил я, толку не будет, не вернут вам ни денег, ни облигаций, ни даже красных французских туфель. Заявление примут, дело откроют, а вора не найдут. То есть настоящего вора. Настоящего вора даже не подумают искать. Зачем кого-то искать, если все уже найдено? От добра добра не ищут. Вам вора? Пожалуйста: вот он стоит, только руку протянуть. Явился из Москвы, весь в долгу как в шелку, проигрался, небось, или на девок спустил. Он это, он. И деньги попятил, и облигации, и, главное, эти несчастные туфли.

Конечно, милицейское обвинение покажется вам диким, вы станете протестовать. Вы-то уверены, что ваш сын не мог совершить преступления.

Но дело в том, что после того, как папа подаст заявление, ваша уверенность потеряет какое-либо значение. Совсем другие колеса закрутятся — государственные. А каждый их оборот подтверждает, что значение имеет не столько суровость наказания, сколько его неотвратимость. И правда, раньше за такое руки рубили, ныне куда гуманнее, всего-то двушка ломится, по первой ходке за кражу больше не дают. Если, конечно, нетотягчающих, а они пока не просматриваются.

И напрасно вы говорите, что раз я готов родную милицию заподозрить бог весть в чем, значит сошел с ума. Я ведь против милиции ничего не имею. Если, конечно, не считать того случая с Персиком. Тогда мне подумалось, что лучше вам не рассказывать, как-то не с руки было, а теперь и вовсе не до того. Но сам я отлично помню, как мы сидели вчетвером на скамейке в сквере за театром, курили болгарские сигареты «ВТ», трепались о выпускных, были прилично одеты и ждали подходящей минуты, чтобы распить полулитровую бутылку вина, лежавшую во внутреннем кармане Лукичова пиджака, — то есть, короче говоря, не совершали ничего предосудительного.

На соседней скамье расположились три молодых мужика. Один подошел

прикурить. Узким лицом он походил на киноактера. Правда, глаза не имели того твердого выражения, что свойственно глазам киноактеров. Он был пьян, и глаза немного плавали.

Виртуоз Федул ловко вынул из кармана зажженную спичку. Но вопреки только что высказанному желанию, тот не стал прикуривать. Вместо того он ответным жестом извлек из-под полы пиджака большой пистолет и с ухмылкой наставил на Федула.

Все мы оцепенели, но больше всех Федул. Спичка догорала и жгла ему пальцы, а он, раскрыв рот, немо смотрел в дырку ствола.

Тем временем подтянулись два других. Один тоже достал ПМ, другой махнул удостоверением. Они потом не раз еще тыкали в нос своими долбанными корочками: «Ну-ка, тля, читай! Видишь? Сидеть!»

Мне было так страшно, что если бы не опасение, что кто-нибудь из них сдуру пальнет в спину, я бы точно кинулся бежать.

Обыск ничего не дал, только бутылка, описав красивую дугу на вечернем солнце, с костяным хрустом разлетелась в черную лужу пахучего портвейна. «Встать!» Когда ты вставал, следовал толчок в грудь: скамейка ударяла под колени, ты со всего маху об нее бился, в глазах плясали разноцветные букашки.

В конце концов им наскучило, и они неспешно удалились в сторону летнего ресторана. Оттуда доносилась приятная музыка, долетал запах шашлыка. Один обернулся и напоследок еще раз погрозил стволом.

Федул напряженно толковал, что хорошо бы в отместку кому-нибудь тоже набить морду, неважно кому, кто подвернется. Идея выглядела заманчивой, но все же была признана абсурдной, мы его не поддержали. Андрюша Козлов сказал со вздохом, что если об этом происшествии кто-нибудь узнает, у его партийно-правительственной матери будут большие неприятности, а что до него самого, то ему просто каюк. Толян, с которым мы жили в соседних дворах, сообщил, что одного он знает: красавчик этот, с актерскими глазами, в нашем околотке участковым. И зовут его Персик.

Полночи я строил планы мщения — подстеречь... догнать... отвести в сквер... и об скамейку его, об скамейку! Планы были нереалистичны. Красивое лицо Персика представляло собой лицо власти, а с властью самый отпетый старшекласник не стал бы иметь дела.

Следующим вечером раздался звонок в дверь.

Я открыл — за порогом стоял Персик!

Ноги мои подкосились. Я решил, что Персик пришел меня арестовать и посадить в тюрьму за то, что вчера я курил в сквере. Впрочем, это приблизительно, а если быть точным, в голове не было связанных мыслей: ужас обеспечил их полное отсутствие.

Но оказалось просто совпадение. Персик был в форме и деловит. По мне он мазнул взглядом и явно не узнал, а зашел по долгу службы — проверить документы на отцово ружье.

Папа был дома, они разобрались с бумагами, и Персик ушел, напоследок так задумчиво на меня посмотрев, как будто уже, сволочь такая, что-то припоминал.

Глаза у него в этот раз были не пьяные.

Про мои собственные мать сказала, что никогда таких испуганных не видела, и долго недоумевала, что могло так меня всполошить. Объяснить ей, что я увидел лицо власти, способной ни за что ни про что бить тебя всем телом об скамейку, я не мог. Потому что тогда пришлось бы рассказывать и про портвейн, а этого мне делать не хотелось.

Кроме того, я точно знал, что она поверит всему: и что мы сидели на скамейке и курили, и что матерились, и что хотели пить портвейн, — всему, кроме главного: что

этот симпатичный парень, одетый в чистую милицейскую форму, — мерзавец и подонок, и такие же мерзавцы и подонки другие двое, что были с ним вчера.

Но той ночью я не хотел говорить ни о Персике, ни о том, что люди разные бывают. Я говорил о логике. Логика, говорил я, всего лишь логика вынудит завтрашнюю милицию сделать неопровержимые умозаключения на мой счет. Это же очень просто. Дано: подломили квартирку, обнесли честных трудящихся. Надо выяснить, кто это сделал. Куи, так сказать, продэст. Давайте рассуждать логически. Первый вопрос: как именно совершено преступление? Обследование показывает, что дверь целая, следы взлома отсутствуют. То есть дверь открыли ключом. Вопрос второй: у кого есть ключ, и кто для этого гнусного дела мог им воспользоваться? У тебя, мама, есть ключ и у тебя, папа, есть ключ. Но ведь вы не стали бы у самих себя воровать, верно? Может быть, у кого-нибудь еще есть ключ? Ага, у вашего сына тоже есть ключ!..

Я никого ни в чем не убедил.

* * *

Не знаю, в котором часу папа отправился в РОВД, но когда я, проснувшись, обнаружил в доме целую толпу посторонних, не было еще и половины восьмого.

Один был в форме с майорскими погонами, прочие по гражданке. На меня все они поглядывали вскользь и примерно одинаково. Какой-то усатый ткнул пальцем и спросил с подозрением:

— Это кто?

— Это сын мой! — сказал папа так, будто подвел всем видную черту, так что отныне никто никогда ничего в отношении этого молодого человека не может заподозрить: ну и впрямь, как такое возможно, если это его сын!

Меня никто ни о чем не спрашивал, а если бы и так, что толку было утаивать правду, если ее все равно настезь раскрывала мама.

В ее голосе проскальзывала та натужная насмешливость, с какой говорят о собственном конфузе. Ну и понятно: нормальный человек чувствует себя виноватым, если его обворовали.

Вот, восклицала она, раз за разом пересказывая всю историю, глупость какая! Ну что ты будешь делать, прямо как в войну. У нас, знаете, в Курган-Тюбе корову увели, я еще маленькой была. Но ведь совсем другие времена, кто бы мог подумать!.. Главное, как обнаружили, просто смешно, кому сказать не поверит. Я с работы шла, а три дня назад новые туфли купила, вот иду и думаю, надо еще раз примерить, новые туфли-то, в четверг взяла, какое-то сомнение вдруг, просто убедиться, не жмут ли. Кинулась, а коробки нет. Я прямо обомлела. Я туда, я сюда, ума не приложу, куда могли деться, ведь были, в ЦУМе этими вот руками брала, недели не прошло. А сын как раз к Лене поехал, это одноклассница его, в школе учились, они дружат, он когда на каникулы приезжает, обязательно встречаются, вот я и думаю, может, он решил Лене мои туфли подарить? Даже смешно, но ведь когда не знаешь, что подумать, самые глупые мысли в голову лезут, ведь были, точно были туфли, а теперь нет. Ну а уж когда муж с работы пришел, стали смотреть. Господи, оказывается, и деньги, что под бельем лежали, и облигации... ну смех да и только!..

Ничего не опасаясь и, похоже, ни о чем не думая, она вязала мне сущую петлю.

А я стоял на кухне — и что?

Да ничего, что мне было делать... предчувствия у меня были нехорошие... да что предчувствия, я к ним уже привык, меня от них с прошлой ночи подташнивало.

Досыта наслушавшись, менты стали сворачиваться. Замок решили взять на экспертизу. Усатый в форме попросил отвертку. Другой открутил. Открученное завернули в газетку. Папа спросил, нужно ли снимать ответную часть. Недолго посоветовавшись, решили, что ответную часть снимать не нужно.

Еще некоторое время потоптавшись и погалдев, все удалились: менты унесли замок, папа ушел с ними, мама тоже убежала на работу, а я, отчасти даже приободренный тем, что меня не сразу поволокли в кутузку, остался по-собачьи охранять квартиру: дверь теперь закрывалась на бумажку.

* * *

Все утро мы проболтали. Повествуя об обстоятельствах этой нелепицы, я невольно представлял, как Лена одной рукой держит трубку, а другую прижимает к щеке. Ну или хотя бы первые два или три раза так делает, а потом ужасается на словах, без жестов. Но я храбрился и шутил, представляя в лицах, как оторопел спросонья, когда они повалили в квартиру, и как смешно и глупо откручивали замок, и как на меня все они смотрели такими глазами, будто если оставить меня на минуточку без внимания, я тут же по привычке побегу грабить сберкассу.

Лена хохотала и говорила, чтобы я уже перестал, что я совершенно уморил, а я представлял, как она от смеха машет рукой и опять, наверное, прижимает к щекам ладони, она так делала и когда я ее до изнеможения смешил.

Если бы нас не обворовали или хотя бы не открутили замок и квартира бы закрывалась не на одну бумажку, я бы уже ехал к ней. Времени оставалось совсем мало, меньше недели, я уже был в агентстве и купил билет. Но теперь приходилось дожидаться, когда вечером придет папа с новым замком.

Потом позвонили в дверь. Какой-то хмурый пацан молча сунул мне квитанцию из прачечной и тут же ссыпался на лестнице.

Но это оказалась не квитанция. На плохой бумаге в четвертушку писчего листа сверху было напечатано: ПОВЕСТКА. Вписанное от руки сообщало, что я (фамилия, имя, отчество и даже год рождения были указаны верно) должен явиться такого-то числа к 9-00 по такому-то адресу. Кабинет 12, Ибрагимов К.К.

Такое-то число — это было завтра.

Настроение заново испортилось. Я перезвонил, чтобы сообщить новость. Лена посочувствовала. Ладно, сказал я, ну что делать, придется сходить. Загляну туда часам к одиннадцати. Не знаю, чего хочет этот Ибрагимов К.К., что уж так приспичило ему меня увидеть, прямо неймется, вообрази. Но долго сидеть я не собираюсь. Все равно мне сказать нечего, кроме правды, а ведь правду говорить легко и приятно, к тому же она очень короткая, так что я скажу и сразу к тебе, хочешь? А сегодня я не могу, если бы этот чертов замок не открутили, тогда бы конечно, а теперь я должен сидеть, как собака. Может если совсем вечером, хорошо?

Ну конечно, ответила Лена, сегодня или в крайнем случае завтра, я буду ждать.

Однако мы не увиделись этим вечером.

Мы вообще никогда больше не увиделись.

* * *

Папа пришел часа на полтора позже обычного, он заезжал купить замок в хозяйственный, там подходящего не нашлось, он поехал в другой. Как назло и мама почему-то задержалась. Так что когда я освободился, был уже девятый час.

Хорошо, что я решил позвонить перед выездом. Не знаю, с чего это пришло мне в голову, просто на всякий случай или, может, хотел показаться столичной штучкой. Вообще-то у нас это не было принято, в небольших городах не звонят по сто раз, там просто встречаются и смотрят друг другу в глаза. Она ведь сказала, что будет ждать.

Минуты две я слушал длинные гудки, опять набрал, потом минут через пять, потом еще сто раз звонил, а потом уж перевалило за одиннадцать.

Все это было странно, и уже разбираясь ко сну, я подумал, что сглупил, ведь у них мог сломаться телефон и нужно было не крутить попусту диск, а сразу ехать.

Утром, уже собираясь выйти из дома, я позвонил снова.

Как ни странно, телефон работал, трубку взяла ее мама.

Я поздоровался и назвал ее, хотя она давно уж узнавала меня по голосу, и попросил Лену.

Обычно она отвечала чем-нибудь вроде «ну конечно» или «минутку-минутку», но сейчас помолчала, как если бы я попросил чего-то необычного, и ей понадобилась секунда или две это обдумать и, так ничего и не сказав, с негромким стуком положила трубку возле аппарата.

Голоса слышались, но разобрать ничего было нельзя. Лена подошла. Я уже хотел сострить по поводу их неожиданного и странного смятения, но она начала говорить сама, только я опять ничего не понял, потому что сравнительно внятно прозвучала лишь бессодержательная половина неясной в целом фразы, а окончание потерялось в рыдании.

Я все повторял свое «алло», хотя было ясно, что у телефона опять никого нет, Лена с мамой пререкаются в некотором отдалении. Отдельные слова не лепились друг к другу, но вот и они смолкли, и настала такая тишина, будто обе они упали в обморок или кинулись из окна. В любом случае было похоже, что со мной говорить никто не собирается. Я разозлился и уже хотел положить трубку, когда снова что-то захрустело в проводах, и я порадовался, что Лена сумела взять себя в руки и унять слезы загадочного для меня огорчения.

Однако это оказалась не Лена, а снова ее мама. Она взвинченно выпалила, что ни подарков таких, ни таких вот неприятностей им от меня не нужно.

И чтобы я больше не звонил.

— Каких неприятностей? — ошеломленно спросил я. — Каких подарков?

Послышались короткие гудки. Я нажал на рычаг и снова тупо набрал номер, но она, судя по всему, не только бросила трубку, но и отключила телефон.

* * *

Я шагал так же стремительно, как прошлой ночью, когда торопился попасть домой... Вдруг я сообразил, что это было вовсе не вчера, а позавчера: нелепый вчерашний день рассыпался сущей трухой и не задержался в памяти.

Сегодня спешки не было, и все же я летел во весь мах — летел, чтобы умерить бурлившее во мне клочкотание.

Я еще не знал, как все на самом деле поворачивается, а потому думал вовсе не о том, как сейчас приду к этому Ибрагимову и что из этого может выйти.

К Лениной маме я, честно говоря, прежде не питал никаких чувств: ни особой симпатии она у меня не вызывала, ни раздражения, но мы и виделись-то считанные разы.

Теперь же я испытывал отчетливую и объяснимую неприязнь: не сделал я ей ничего такого, чтобы она швыряла трубку! А почему Лена так себя повела и что там у них вообще происходит, мне тем более трудно было вообразить.

Это стало известно мне позже, когда уж все стало намертво заворачиваться, и мама кинулась искать какую-нибудь помощь: стали всплывать в разговорах подробности, а с Лениной мамой она тогда сто раз разговаривала по телефону.

Но сейчас я еще не знал, а оказывается, вчера — как раз незадолго до того, как я начал трезвонить, — им позвонили в дверь.

Ленина мама подумала, что это соседка, и открыла без всякого «кто там». За порогом обнаружились два милиционера, оба таджики.

Для начала они вежливо спросили, здесь ли проживает Данилова Елена Валерьевна. Мама ответила вопросом: а в чем дело? А в том, что если здесь, а по их данным это так и есть, Елене Валерьевне следует проехать с ними. Куда проехать? В отделение проехать. Зачем?! Для прояснения кое-каких обстоятельств. Каких обстоятельств?! У следователя узнаете.

На улице уже было темно, мама боялась, не поддельные ли милиционеры эти таджики, она слышала, как выманивают из дома доверчивых женщин, а потом бездыханные тела находят далеко в горах.

Однако милиционеры настаивали, лейтенант неоднократно показывал корочки, несколько обнадеживало и наличие у подъезда натурального милицейского «газика», и в конце концов они поехали.

Следователь начал разговор, не делая даже попыток оторвать встревоженную мать от перепуганной дочери. Прокуренный кабинет был неуютен, с потолка свисала голая лампочка, на столе стояла канцелярская лампа, слоились папки с завязками.

Знакома ли Елена Валерьевна с таким-то?

Как же она может быть не знакома, если в одном классе учились, отвечала мама.

Елена Валерьевна, а какие у вас с этим таким-то отношения?

Да какие у них отношения... у них просто... они ведь...

Мама, перебила Лена, давай я отвечу. Мы решили пожениться, вот какие отношения.

Вот тебе раз, сказала мама.

То есть он вам так сказал, спросил следователь.

Да, он вчера мне так сказал, ответила Лена.

А документальные подтверждения имеются?

Ну вы сами-то подумайте, возмутилась мама, какие могут быть документальные подтверждения, если дети только вчера решили!..

То есть нет документальных подтверждений, подвел черту следователь, одни разговоры. Хорошо, Елена Валерьевна, тогда ответьте на другой вопрос: этот такой-то привозил вам в подарок красные туфли?

Лена и мама оторопело переглянулись. Туфли? Какие туфли?

Следователь заглянул в папочку. Французские туфли.

Французские туфли?

Да, тут написано — французские. Красные французские туфли. Привозил?

Да вы что, какие красные французские туфли!

Не упирайтесь, Елена Валерьевна. Привозил?

Ничего не привозил! В глаза мы не видели никаких красных французских туфель!

Подумайте как следует, Елена Валерьевна, потом жалеть будете. Куда вы их дели?

Он не привозил, мы не девали.

Понятно, понятно, если будете упираться, я выпишу постановление на обыск.

Была уже половина двенадцатого, когда следователь утомленно откинулся на стуле. Лучше бы Даниловой Елене Валерьевне не хлопать глазами, делая вид, что она ничего не знает, сказал он. Лучше бы Елене Валерьевне не тянуть резину, а сразу расколоться и рассказать все начистоту. Но если так, вам же хуже. Эй, Азимов!.. Заглянул Азимов. Вот что, Азимов, сказал следователь, скажи-ка Мирзоеву, чтобы отвез этих упрямых гражданок, где взял.

Ничто из этого мне еще не было известно...

Я вошел в пахнувший хлоркой предбанник. Сивоусый дежурный в фуражке набекрень скосил глаз на повестку и махнул рукой так, словно выпускал голубя.

Я поднялся на второй этаж и постучал в дверь.

* * *

Дверь снаружи была обита железными полосами с заклепками на манер старинного сундука.

Мама нажала на кнопку, внутри едва слышно запиликал звонок.

— Кто?

— Лидия Михайловна, мы от Марины, она говорила, что вы...

Дважды щелкнуло. Потом еще дважды щелкнул. Потом еще. Снаружи было шесть скважин, но гроыхнуло только четырежды. Два замка холостяковали, но и без них степень обороноспособности этой двери производила сильное впечатление.

Когда Лидия Михайловна, оказавшаяся миловидной женщиной средних лет, одетой хоть и по-домашнему, но очень аккуратно, отступила в прихожую, пропуская нас, я сказал:

— Здравствуйте... Ну и дверь у вас... крепость!

— У всех судей такие, — отмахнулась она. — Диамат наверное проходите? Жизнь диктует нам свои суровые законы. Чай будете?

Мама горячо отказалась, но потом как-то само собой вышло, что мы все же стали пить чай.

— И вот, понимаете, никакой жизни нет, — говорила мама. — Да если бы я знала, что выйдет. Если бы я могла предположить!..

— Да, да, — кивала Лидия Михайловна. — Такая практика, верно. С одной стороны, их, конечно, можно понять, но... — Она снова окинула меня взглядом и покачала головой. — У нормального человека и мысли такой не может возникнуть. Чтобы этот юноша — и... просто нет слов!

— Вот именно! — с жаром соглашалась мама. — Разве он мог?! Это же смешно. Но ведь Ибрагимов ему продыху не дает! Сын ходит туда каждый день как на работу, да еще чтобы как штык к девяти утра, а иначе тот грозит в СИЗО его отправить!

— Прямо уж в СИЗО? — удивилась Лидия Михайловна.

Я пожал плечами. Во всяком случае, так Ибрагимов говорил. Когда я в первый день явился без чего-то двенадцать, он долго орал, маша повесткой, что мягкосердечен по натуре, но если я сделаю еще раз попытку уклониться от ответственности, он возьмет меня под стражу. Мне не до конца верилось, что он исполнит угрозу, но проверять справедливость своих сомнений я не решался.

— И он сидит там целый день! — объясняла мама.

Ну да. Ближе к вечеру Ибрагимов заполнял бланк новой повестки, вручал мне, и я был свободен до девяти утра. Утром я приходил к запертому кабинету. Думаешь, у меня других дел нет, говорил он, если я интересовался, стоит ли мне сидеть в его отсутствие. Сам виноват, давно бы уже раскололся, и все. А ты не хочешь по-хорошему, уперся, в несознанку пошел. Вот и сиди. К девяти пришел, у дежурного отметился — и ни с места.

Раньше или позже мы все-таки приступали. Пьеса была короткой, выдолбить ее не составляло труда. Реплики Ибрагимова звучали вопросительно: зачем украл, кому отдал. Мои — отрицательно: нет, я не крал и как я мог кому-то отдать, если ничего не было. Ответы соответствовали вопросам и в какой-то степени являлись причиной следующих.

С моей точки зрения наши беседы были бессмысленны, ведь я-то знал, как обстояло дело в действительности. Но и его я мог понять: донимая меня одним и тем же, Ибрагимов надеялся услышать нечто такое, что противоречило бы тому, что я говорил раньше, — и получить наконец правдивые свидетельства. Пьеса одна, но роли все-таки разные.

— А сегодня сын ему сказал, что послезавтра улетает. Так он хочет завтра подписку о невыезде с него взять!

— Господи! — удивилась Лидия Михайловна. — Так и сказал?

Я снова пожал плечами. Ну да, так и сказал.

— В общем, вот что. — Лидия Михайловна аккуратно поставила чашку на блюдце и подняла на меня неожиданно строгий взгляд синих глаз. — Повестку можешь засунуть куда подальше. Билет на завтра? Вот и улетай спокойно. И вы не думайте ничего, — она твердо посмотрела на маму. — Совсем обалдели, на кого вешают! Сейчас поздно уже... я утром Нарзикулову позвоню, он их там приструнит.

* * *

— Значит, к Лене ты не собираешься, — сказала мама.

И да, я бы мог ответить, что это они во всем виноваты!.. что я просил их не ходить в милицию!.. сами они не могли себе такого и вообразить, а меня не послушали!.. и потом вот так все и вышло.

Но ведь жизнь — это не время, которое идет само собой. О своей жизни ты сам заботишься, а никто иной за нее не отвечает. Ты сам все решил и сам все сделал. Может быть, ты решил неверно. А затем, может быть, и поступил неправильно. Но ведь не мама с папой в этом виноваты. И даже не следователь Ибрагимов...

Поэтому я ответил совсем иначе. Объяснил, как теперь обстоит дело. И что, по моим расчетам, должно и будет происходить в ближайшем будущем. В том смысле, что я хотел бы, чтобы оно происходило.

Возможно, для них это было неожиданно. Даже скорее всего.

Тем не менее теперь все прояснилось. В такой ситуации умолчаниям не место. Да, сказал я твердо, вот так обстоит теперь дело.

Хотя и сам еще не знал толком, как оно обстоит. Главное, того не знал, хуже оно обстоит или лучше. И уж окончательно меня взвинчивало то, что я и не мог этого знать. Вообще не мог, не мог в принципе, как никто и никогда не может знать, хуже или лучше он делает, когда принимает то или иное решение.

Но все равно: главное было сказано, черта подведена, дальше можно было ни о чем меня не спрашивать. Ничем иным я уже не мог их обрадовать.

И все же мама спросила, спросила задумчиво и даже печально:

— А как же Лена?

Я только поморщился.

Вместо меня ответил папа.

— Да ладно тебе, — сказал он. — Ну, сама посуди. Не может же он на всех жениться?

Мы помолчали. Мама задумчиво чертила на скатерти черенком чайной ложки. Папа сидел, повесив нос. Потом он вздохнул и встрепнулся.

— Ну ладно. Что вы такие грустные? Хотите, развеселю? Все забываю тебе сказать, я пару дней назад того майора встретил. Того усатаго.

— Майора? — нахмурилась мама. — А, того усатаго? И что?

— Какого майора? — спросил я.

— Да говорю же, того самого. Помнишь, у нас замок откручивали, — сказал папа. — На экспертизу. Так вот готова экспертиза, года не прошло.

— Ну?

— Экспертиза показала, что дверь вскрыта подбором ключа, — сказал папа. — Отмычками то есть. А ты бы отмычками не стал орудовать, верно? У тебя ведь был настоящий ключ. То есть ты не виноват. Это был не ты.

Я покивал.

— Как здорово... А я-то все думаю, виноват я, не виноват...

— Такое дело нужно отметить, — сказал папа. — Не каждый день получаешь подтверждение собственной непричастности.

— Можем хороший плов сварить, — предложил я.

— Можем, — кивнул папа. — И запить чем-нибудь... Ветуся, у тебя есть кусок махана?

— Найдется, — сказала мама.

— Лук нарежем тоненько-тоненько! — сказал папа, причмокнув от удовольствия.

Он часто отпускал это вечное свое замечание насчет лука: лук надо резать тоненько-тоненько. Нарезем лук тоненько-тоненько. Повторял с выражением, в котором было непонятно чего больше: то ли насмешки, и если да, то над самим собой или над чем-то или кем-то давним, то ли ностальгии по тем временам. Он всегда так говорил, когда речь заходила о какой-нибудь готовке: а лук мы нарежем тоненько-тоненько!

С этим нельзя было ни спорить, ни соглашаться, это было просто присловье. Как любое иное присловье, оно требовало только повторения, а вовсе не понимания, разгадывания или тем более корректировки.

Но я чувствовал неясную досаду, смутное недовольство, какую-то не до конца понятую обиду, хотя мне совершенно не на кого и не на что было обижаться. В общем, не знаю почему, но в тот момент меня охватило нелепое волнение.

Как говорится, что-то вдруг нашло — и я пустился спорить.

Тоненько-тоненько, фыркнул я. Нет, папа, что ты опять про этот свой лук, сколько можно, честное слово. Разве в плове это важно? Для плова вовсе не нужно резать лук так вот, как ты говоришь, — тут я попытался воспроизвести его интонацию: тоненько-тоненько. Для плова это совсем не обязательно. Это для салата лук нужно резать именно так, как ты говоришь: тоненько-тоненько. Для шакароба, скажем, важно или еще для чего, или жареное мясо посыпать, тогда и впрямь имеет значение, как нарезан лук, сразу видно, если его кое-как нарезали, чуть не половинками порубили. А в плов-то что? Плову все равно, плову какая разница, тоненько-тоненько нарезали или потолще, все равно в казане все пережарится, лук растворится, его вообще видно не будет, никто потом не поймет, как он был нарезан!..

Я замолчал, ожидая, кажется, чтобы со мной вступили в разумную, аргументированную полемику.

Но мама с папой только вздохнули и грустно переглянулись, словно я сморозил глупость. Или просто еще не дорос до понимания каких-то важных вещей.

Анатомия свиньи

Прежде чем приступать к приготовлению пищи, начинающему кулинару необходимо получить базовые представления о том, с чем ему придется иметь дело. Неплохо, например, знать отличие кастрюли от сковороды и скороварки от сотейника, что имеется в виду под варением, жарением, тушением и пассеровкой, а также почему при варке щей сначала закладывают картофель, а потом уже квашеную капусту, и т.п.

Коротко говоря, начинающего кулинару не должны ставить в тупик простые вопросы оборудования и технологии.

Кроме того, ему надлежит иметь сведения о наиболее распространенных в практике продуктах как растительного, так и животного происхождения, и уверенно отличать съедобные их части от несъедобных или ядовитых.

Крайне желательно, чтобы при начале своей деятельности он научился детально разбираться в строении тел разных видов пернатых, рыб и скотов, употребляемых в пищу.

В силу широкой распространенности свиного мяса как сырьевого продукта и обширного круга запросов на его пищевое приготовление обязательность такого рода знаний в первую очередь касается анатомии свиньи.

* * *

Зимой второго курса я пригласил в Душанбе своего друга Сашу. Родители дали ему денег на билет, и мы явились вместе.

Прилетев из чужой московской зимы в родную душанбинскую, человек, особенно если ему нет еще и двадцати, не может не испытывать щенячьего восторга. Я переживал его в полной мере и немного удивлялся, почему мой друг не вполне его разделяет. Мы бродили по городу, я знакомил Сашу с моими друзьями, мы что-то ели и что-то пили — в общем, наслаждались беззаботностью. Наверное, было множество мелких событий. Я запомнил только три.

Первое произошло при следующих обстоятельствах. Прощатавшись весь день и уже еле волоча ноги в ранней темноте по оживленной улице Ленина, мы вышли на одноименную площадь, где стоял памятник.

Большой, в два, а то и три человеческих роста, он возвышался на платформе массивного, ступенчато воздвигавшегося от земли каменного сооружения, отдаленно напоминавшего пирамиду. Вправо и влево от вершины широко расходились гранитные крылья. Во время майских и ноябрьских демонстраций на них стояли почетные гости. Головка республиканского руководства размещалась на отдельном возвышении по центру, прямо под дланью вождя.

Сейчас на трибунах никого не было. Ленин как ни в чем не бывало тянул руку с кепкой.

— Это что, — сказал Саша, доставая из кармана очки. Он был умеренно близорук. — Памятник?

— Ну да, — сказал я. — Памятник. — А потом добавил зачем-то: — И мавзолеей.

— Какой мавзолеей? — спросил он, щурясь, чтобы понять, что там громоздится в густых сумерках под памятником и возле.

— Ну какой, — я пожал плечами. — Обыкновенный. Республиканский. Это же главная площадь.

— Республиканский? — Саша сдернул очки и воззрился на меня. — Как это?

— Саша, ты москвич, — спокойно разъяснил я, с бесконечной натугой сдерживая рвущееся наружу веселье. — Вот и не знаешь. Ты нигде больше не был. Ты же дикарь. Для тебя пуп земли — Москва.

Если бы это происходило лет через десять, я бы еще добавил саркастически: «На Красной площади всего круглей земля». Но в ту пору я еще не знал Мандельштама, Мандельштам был запрещен.

— Я же и в Красноярске! — запротестовал он. — И в Перми! Там тоже большая площадь, но...

— Это не столицы, а просто города, — холодно пояснил я. Не знаю, из какого источника я черпал свое ледяное самообладание. — Областного подчинения или какие они там. А Душанбе — республиканская столица. В каждой республиканской есть свой мавзолеей. Насчет автономных не скажу. Что тут такого? Не знал?

Я думал, Саше хватит рассудка, чтобы все-таки поднять меня на смех. Тогда мы вдоволь нахохочемся, сядем на девятый и через двадцать минут будем дома есть мантушки с каймаком.

Но оказалось, я бросал семена в подготовленную почву. Саша поверил сразу и безоговорочно. Мы пошли пешком, и всю дорогу он ужасался, в какой стране живет. Я его не расхолаживал, я ведь думал, что шучу.

Не знаю, что стало с его уверенностью позже, но, когда мы улетали, она еще была при нем. Вероятно, Саша какое-то время и позже нес ее по жизни как доказательство много чего. Доказательство несомненное, ведь он все видел своими глазами.

Затем я учил его есть самбусу. Самбуса — это тандырные пирожки с луком и кусочком курдюка. Ошпаз достает их из светящегося зева печи, орудуя пикой. Он сковыривает пирожок с вогнутой стенки, подставляя что-то вроде сетчатого дуршлага. В кремово-коричневой с подпалинами скорлупе каменно схватившегося теста плещется не имеющее выхода огнедышащее варево лукового сока и растопившегося сала.

— Надо подождать, пока чуть остынет, — разъяснял я. — А потом аккуратно так, осторожно...

Саша плохо усвоил материал. На нем было шикарное импортное пальто. Издали казалось, что оно пластмассовое, вблизи в нем угадывалось что-то от рыцарских доспехов. Мы съели по три штуки, и все курдючное сало осталось на лацканах и полах длинными белыми потеками. Когда мы явились домой, мама просто ахнула.

Третье событие было совсем незначительное. Не событие даже, а просто элемент быта. Папа только что стал директором, мама работала ученым секретарем Института химии. Им было некогда нами заниматься, и чтобы в ближайшее время не приходилось думать хотя бы об основных покупках, папа после работы отвез нас в магазин — тогда открылся новый длинный на Ленина за поворотом на Путовский. И мы за один раз накопили столько всего, что потом две недели ни о чем не думали: несколько кур и уток, большие куски говядины, баранины, свинины, много разного.

Но времена меняются.

* * *

От аэропорта как правило добирались пешком — минут двадцать неспешной ходьбы. Вещей у меня всегда было немного. Однако с некоторых пор я стал вдобавок к сумке получать из багажа крепко перевязанную картонную коробку из-под водки.

Троллейбуса было глупо ждать, кто его знает, когда он явится, а тут всего-то две остановки. Так что и с коробкой шли пешком. Папа тогда уже ходил с горем пополам, опирался на палку и беспрестанно тормозил: то его стенокардия душит, и он должен передохнуть, то ему срочно покурить, и мы опять останавливались.

В конце концов он махал нам: идите, мол, не ждите, я догоню. И приходил получасом позже, когда я уже начинал распаковывать.

Я ставил коробку на табуретку и развязывал узлы. Если правильно завязывать, потом и развязывать легко. Коробка требовалась на два рейса, обратно я вез в ней хурму и лимоны, и она отлично выдерживала. А веревке вообще ничего не делалось, крепкая была веревка, просто вечная, только с годами, набираясь аэрофлотовской грязи, все больше темнела — была белая бельевая, а стала черная.

Папа громыхал палкой в прихожей. Наконец разувался и заходил к нам на кухню.

Я как раз начинал выкладывать.

Мама, которой предстояло разместить в холодильнике оказавшиеся в ее владении сокровища, смотрела на них в краткой творческой задумчивости.

— У-у-у! — говорил отец, кривя рот усмешкой. Он вкладывал в этот краткий звук много разных чувств, главным из которых было одобрение. Даже, возможно, восхищение. — Сила! Сам паковал?

Этот лишний вопрос — кто еще мог паковать эту тяжеленную коробку? — был скрытым комплиментом насчет качества укладки.

Ну да, моя коробка всегда была набита под завязку, кусок к куску, каждый в отдельном полиэтиленовом пакете. Я по несколько раз тасовал замороженные ломти, комбинировал, чтобы плотнее. Иной раз не все влезало, оставшиеся я заворачивал для теплоизоляции в газеты и совал в портфель, отлично доезжали.

Я скромно хмыкал.

— Свинина, — полувопросительно констатировал папа.

— Свинина, — кивал я.

— Надо же, — со странным смущением в голосе говорил он.

Что я мог ему сказать?

Большинство советских людей имело в корне неверное представление об анатомии свиньи. Разглядывая прилавки мясных магазинов, можно было прийти лишь к одному выводу: организм нежвачного парнокопытного состоит из окровавленных костей, кусков желтого сала и щетинистой шкуры с синими печатями.

Я и сам, каюсь, придерживался этих распространенных заблуждений, пока Женя не познакомился с рубщиком Сашей из магазина на Малой Ордынке.

Вообще-то мне этот магазин и прежде был отлично знаком.

У окна будка кассы, справа бакалея, слева овощи-фрукты. В центре — мясной отдел. В витрине — осклизлые куски коровьего вымени. На эмалированном подносе — бурые кости с ошметками сала и заскорузлой шкуры. Невозмутимый продавец в грязном халате.

Первая в очереди покупательница смотрит на предлагаемый товар. Ей лет шестьдесят. Она из интеллигентных — в очках, в пальтеце, в берете, с газовым шарфиком на шее. За ней другая — эта в толстой синей юбке, черной телогрейке, войлочных ботинках. Седая голова под бордовым платком. Лицо обветренное. Глаза маленькие и злые. Две авоськи в руках набиты свертками, из одного предательски торчит куриная нога.

Оказавшись лицом к лицу с товаром, она бормочет:

— Что ж одни кости-то?

— А вы мне подскажите, где мясо без костей, — доброжелательно предлагает продавец. — Я сам туда побегу.

— Ладно... этот и этот, — тычет она пальцем. — И этот еще. И этот.

— Два кило в руки...

— Миленький, положи! Ведь за сто двадцать километров ездим!

Вот такой магазин.

Но если ты знаком с рубщиком!..

Дневной свет пробивается в щель между обитыми железом створками полуподвального окна. На колоде половина свиной туши. Две целые валяются на полу. Рядом десятичные весы. Стол накрыт мешковиной. Под мешковиной что-то бугрится. Рулон крафт-бумаги рядом. Рубщик Саша — в свитере с закатанными рукавами и некогда белом фартуке.

Откидывает мешковину.

В первый раз трудно поверить глазам, но потом понимаешь: просто здесь другая, совсем другая анатомия свиньи.

* * *

Женя понимал сказочную ценность своего знакомства и не стал бы швыряться им направо-налево. Но существовало еще несколько обстоятельств. Саша уже убедился в его надежности — Женя не предаст, не наведет на него, Сашу, человека из ОБХСС, на Женю можно положиться. Кроме того, видно, что человек понимающий. Вырубая из мертвого животного лакомые куски, можно между делом и потолковать. Например, пожаловаться, что его, Сашу, избрали секретарем комсомольской организации торга,

теперь без конца какие-то никчемные бумажки да кислые посиделки, а ведь как хочется настоящей живой работы. И Женя не станет смеяться, а примет эти слова как законные сетования на тяготы жизни, с которыми всякому приходится как-то справляться. Потому что он хоть и по научно-инженерному или какому там профилю, но все же не совсем без соображения.

Однако Саша приваживал Женю вовсе не ради того, чтобы иметь ученого собеседника. Соловья баснями не кормят, Жене предлагалось покупать мясо — дороже, конечно, чем в магазине, зато такое, какого в магазине не бывает. То есть Женя должен был как минимум раз в неделю, а лучше два раза брать у Саши килограммов, скажем, по восемь.

При этом Жене восемь килограммов в неделю были ни к чему. Он не предполагал питаться одной свиной, пусть даже самой лучшей, не такой уж он был мясоед. Немного разнообразить стол ему бы тоже, в конце концов, не помешало.

И возникало опасение, что, если он станет удовлетворять лишь собственный полукilограммовый интерес, Саша в нем как в клиенте разочаруется. А то и вовсе изгладит его из своей памяти. Кто ее знает, как она там у мясников устроена.

В итоге Жене пришлось взять на себя снабжение свиной всей Семнадцатой партии ЦГЭ — так называлось подразделение, в котором мы тогда работали.

По вторникам и четвергам он уходил со списком заказов, а через пару часов возвращался с добычей и, раскрасневшись от натуги, втаскивал в подвал огромную сумку.

Сотрудники сбегались на дележку. С деньгами вечно путались, тому рубль двадцать сдачи, этому два девяносто. Да кто-нибудь еще и претензии высказывал — дескать, он в кои-то веки просил хорошие отбивные, а ему опять суют поганый окорок. Под знаком свиньи проходила большая часть дня.

Понятно, что скоро Жене все это надоело. Много из того, что начинается униженными просьбами, с течением времени превращается в рутинные понукания, вместо благодарности одни попреки, и зачем тогда самому таскать пудовые оковалки.

Оставив за собой лишь вопросы общего руководства, Женя решил допустить к телу мясника кое-кого из коллег. Каждая вылазка начинающего или малоопытного предварялась таким инструктажем, будто тому предстояло не заглянуть к прикормленному мяснику, а взять Госбанк.

Не обошлось без такового и в тот раз, когда я тоже вознамерился самостоятельно сходить к Саше.

— Да пожалуйста, — покивал Женя. — Конечно, иди. Большое дело. Что не сходить. Это очень просто. Но тогда слушай сюда, я тебе кое-что расскажу. Подходишь к магазину. Внимательно смотришь. Сначала направо смотришь, потом налево. Или наоборот. Но как бы ты ни посмотрел, а если у входа стоит белая «Волга», значит Васильич в магазине. Понимаешь?

— Это директор?

— Да, Васильич — это директор. А Саша много раз просил: если Васильич в магазине, к нему в подвал не соваться. Ему лишние неприятности ни к чему. Поэтому сразу уходишь.

— Ухожу — и что?

— И ничего. Уходишь — и всё. Потом придеешь. После обеда. Или завтра.

— Ясно...

— И только если в пределах видимости белой «Волги» нет, осторожноходишь в магазин. Оглядываешься. Смотришь то есть туда-сюда. Колю ведь ты знаешь?

— Это который такой обрубок, что ли?

Фигура грузчика Коли, маломерно-коренастого субъекта в черном халате, и впрямь навевала ассоциации, связанные с топором и плахой.

Жене неприятно, что Колю называют обрубок.

— Никакой он не обрубок. Он грузчик. Ладно, ты слушай сюда. Так вот, если Коля в зале, ты подходишь и спрашиваешь: «Васильич здесь?» Но негромко. Не на весь магазин. А так, знаешь, как между своими. Васильич, дескать, здесь? Если он там, Коля так и скажет. На месте, мол. Тогда смотри пункт первый.

— То есть уходить?

— Вот именно. Покидать торговую точку. Топать куда глаза глядят. Понял?

Испытующе смотрит.

— Понял...

— И только если Коля говорит, что Васильича нет, спускаешься в подвал. Только в этом случае! Ясно?

— Ясно.

— Смотри же! Это очень важно! — волнуется Женья. — Если Васильич в магазине, в подвал нельзя. Саша сто раз просил попусту не маячить. У него с Васильичем контры. Нам с тобой в них до морковкина заговенья не разобраться. Да этого нам вовсе и не требуется, как ты сам хорошо понимаешь. Потому что...

— Да понял я, понял!

Несмотря на все предосторожности, мой дебют оказался скомкан.

Поначалу все шло как по писанному.

«Волги» не было. Я вошел внутрь. Коля маячил у прилавка бакалеи.

Я прошагал к нему.

— Васильич здесь?

Как ни затруднительно это было при его росте, но Коля все же смерил меня взглядом. Улыбка у него вообще была, как у гоблина.

— Шас, — бросил он и скрылся за дверями.

Это было не по инструкции, и я ждал, смятенно озираясь.

Когда Коля снова вынырнул из недр магазина, за ним шагал человек в белом халате поверх костюма. Он протирал очки платком и подслеповато щурился.

Потом посадил очки на нос, и из-за толстых стекол на меня уставились подозрительные глаза.

Тут как раз и Коля указал на меня нечистым пальцем.

— Вот, Васильич, — просипел он. — Вот этот тебя спрашивал.

Курица с рисом

Была суббота, мы собирались к друзьям на дачу, я помню, как мне хотелось поскорее уехать.

Я беспричинно нервничал. Меня раздражали нелепые промедления — разного рода, но одинаково бессмысленные, не одно так другое, все совершенно никчемное, всякие глупости из тех, что можно сделать завтра или послезавтра, да хоть бы и через неделю, в то время как сейчас надо ехать, не тянуть резину, не размениваться на ерунду, а уже ехать в конце-то концов.

Мне хотелось вырваться из дома, из города, как будто уже было какое-то предчувствие. Но вместо того чтобы встретить грядущее здраво и мужественно, я норовил от него малодушно улизнуть. Разумеется, я не стал бы этого делать, если бы знал наверняка. Но некоторые вещи невозможно знать наверняка, вообще невозможно о них знать, пока они не встают перед тобой в полный рост. А до того лишь брезжат где-то в подсознании, порождая не знание, а беспокойство. И так же подсознательно я стремился избежать чего-то, я ведь еще не знал, что это было нечто такое, чего

избежать нельзя. Можно лишь, наверное, отсрочить, но не в той ситуации, ибо оно уже накатывало, вот-вот должно было настигнуть и обрушиться, как обрушивается большая волна, которой наплевать, что ты там себе в этот момент думаешь.

Но, повторяю, пока это было лишь предчувствие. Да ведь мало ли какие бывают предчувствия, предчувствия обманчивы, неопределенны, кто в своем уме полагается на предчувствия, никто. Вот я и не полагался, я только хотел как можно скорее доехать, домчаться, это ведь сравнительно недалеко, полчаса, если нет особой пробки, — и тут же выпить, потому что если выпить, то что бы ни случилось, ты свободен, за руль уже не сядешь.

Да и что могло случиться на даче, куда я так рвался? Мобильных еще не существовало, у Тани и Кости за городом был телефон, но мама, кажется, не знала номера, в общем, голову в песок — и дело с концом.

И совсем уже выходили мы из квартиры, совсем уже топтались в прихожей с какими-то сумками, с пакетами, набитыми жратвой и выпивкой, какие обычно берут с собой на такие вылазки, ничего особенного, ничего преступного, просто немного расслабиться.

Совсем уже захлопывали дверь, когда послышался звонок.

И это было счастье, просто счастье, что я не успел удрать.

Я сходил на почту забрать телеграмму. Ее бы и так принесли, но зачем тянуть.

Через три часа я был в Домодедове. Подошел к кассе и без очереди получил билет вместе с сочувственным взглядом.

Всех вещей у меня была лишь наплечная сумка. Я угнездился за столиком какого-то кафе. Наверняка это кафе как-то называлось, все-таки в серьезном месте заведение, в аэропорту, а не какая-нибудь там безликая придорожная забегаловка. Может быть, это было кафе «Лайнер» или закусочная «Высота», или ресторан «9000» — в том смысле, что большие самолеты летают в среднем на высоте девяти тысяч метров. Или еще как-то оно называлось, или вообще никак не называлось, потому что ни у кого не хватило бы фантазии всю эту мелочь по отдельности называть, так что кафе и кафе, кафе и дело с концом, был бы коньяк, лимон да какой-нибудь салат или что там у вас еще.

Я сидел и пил, пил без спешки, без томившего с утра желания стремительно набраться: как только все определилось, оно растаяло. Теперь предстояло тянуть резину, рейс ночной, а время едва перевалило за обеденное.

Через несколько лет аэропорт реконструировали, он стал огромным, каким и положено быть столичным аэропортам, но и тогда был большим.

Под сводами над моей головой динамики ухали, объявляя окончание регистраций, однако это меня мало интересовало, потому что до моей посадки было далеко. Зато в другом конце здания их скрадываемые расстоянием голоса призывали встречающих встречать прибывших.

Сообщив, откуда рейс, они говорили: встречающих просьба пройти туда-то.

Эта диковинная конструкция никогда прежде не обращала на себя моего внимания, а теперь я снова и снова был вынужден в нее вдумываться.

Встречающих просьба пройти туда-то. Что имеется в виду? Встречающих просьба. То есть, если отменить нелепую инверсию, просьба встречающих. Но какие просьбы могут быть у встречающих, о чем вообще они могут просить? Чтобы самолет благополучно приземлился, и все прибывающие остались живы? Ну конечно, самое время для таких просьб, раньше надо было думать... Просить — это прерогатива прибывших. Но нет, вот опять: встречающих просьба.

Раз примерно на двадцатый я понял, в чем дело. Не «встречающих просьба», а «встречающих просят». Так и есть. Их просят, а не они. Победа разума. Ладно, за это можно выпить.

Из Нижневартовска, Сочи, Баку, откуда-то еще — неважно, откуда бы ни явились прибывшие, встречающих просили ждать у такого-то выхода.

Встречающие не задавали никчемных вопросов, и так было ясно зачем: стоять и готовиться к той секунде, когда прибывшие потекут из широко распахнутых дверей.

Где же, где же он, ожидаемый встречающим прибывший?

И вот прибывший выходит — выходит собранно или, напротив, растерянно, — чтобы тут же покрыть лицо любимого встречающего жадными поцелуями и самому покрыться такими же. Или прижаться ненадолго к влажной от слез щеке встречающего. Или по-братски обняться с встречающим. Или на худой конец просто поздороваться с встречающим за руку.

А то и вовсе не искать в толпе, никого не высматривать, потому что у него, прибывшего, нет отдельного встречающего, он не ожидаемый, о чем ему заведомо известно, — так что он лишь равнодушно скользнет взглядом по безликому сборищу и двинет прямо к выдаче, где, встав у ленты, будет следить за вереницей багажа и невольно волноваться, вернут ли и ему, как другим, сданный чемодан.

Была весна, но погода стояла на удивление солнечная и безветренная, задержек не объявляли, аэропорт жил полнокровной жизнью, все куда-то стремились, отбывали и прибывали, в целом желая, вероятно, поменять плохое на хорошее или хорошее на лучшее. Мама тащила детей и катила коляски, папы несли баулы и тюки, командировочные помахивали портфелями. Женщины, мужчины, подростки, старики — весь мир спешил, бежал, опаздывал, нервничал, хотел успеть, — только я был недвижим, а мельтешение жизни траурно вращалось вокруг, словно я был центром вселенной.

Да ну, здесь не нужно никаких «словно», я и был центром вселенной. Странно представить, что им мог быть кто-нибудь еще, каждый человек — центр вселенной, она крутится вокруг него, пока он жив, пока способен понимать ее так или иначе, наблюдать за ее вращением и делать выводы из своих наблюдений — выводы правильные или неправильные, или когда правильные, а когда и не очень правильные, а то и совсем неправильные, в корне противоречащие самим наблюдениям, или, точнее, противоречившие бы, если бы он и в самом деле дал себе труд бесстрастно понаблюдать, — но все это неважно, потому что, когда он умирает, вселенная исчезает вместе с ним, кто-нибудь еще, возможно, некоторое время о ней помнит, но не обязательно, совсем не обязательно, а потом и это кончается.

Я курил — тогда всюду можно было курить, стряхивал пепел в шестигранную стеклянную пепельницу. Когда тление добиралось почти до фильтра, гасил окурки, топча им стеклянное дно. Он напоследок искрил и прощально дымился, оставаясь торчать на манер пенька. Или падал набок, как убитый солдат.

Я смотрел на часы, наливал из графина в рюмку, переводил взгляд направо или налево или откидывался на стуле и поглядывал туда, где был второй этаж, какая-то галерея, что ли, там свои буфеты, свой коньяк, свои лимоны, но я не поднимался, совершенно нечего мне там было делать, у меня уже все было. Когда все-таки выпивал, то зажевывал долькой, перекладывал глотком чая и снова закуривал.

Я вообще много курил, а в тот день особенно, нужно было ждать рейса, а до него как до Кореи, так что же еще делать, курение занимает время, пока туда, пока сюда. Неспешно полезть в карман, так же неспешно в другой, где же они, вот же они, давно выложил на стол, проклятые привычки. Неспешно вытрясти из пачки одну, неспешно размять, неспешно чиркнуть спичкой, резко потянуть, пустив для пушного розжига технический клуб дыма, затем затянуться уже всерьез — более с отвращением, нежели с наслаждением. Шаг за шагом, *step by step*, как говорится, вот секунд сорок и протикало. И потом: у меня ведь отец умер, как тут не закурить, поневоле закуришь.

Вообще-то это была страшная зараза, я курил много лет и столько же лет мечтал бросить, и время от времени бросал, а потом начинал снова, потому что каждый день, а может быть, и каждый час периода абстиненции (а ведь среди них были и довольно длинные: однажды я не курил год, а потом даже три), а то и каждую минуту этого срока я помнил, что не курю, и хвалил себя за это, и с сожалением думал, как хорошо было бы закурить.

Само слово «бросить» предполагает, что ты что-то бросил, швырнул, кинул: оно улетело и все, больше его нет. Но не тут-то было, желание не оставляло меня, это было такое бросание, когда ты бросил, а это тобой брошенное, вместо того чтобы увистать куда подальше, прилипло к ладони, как намазанное клеем. Снова махнул — и опять без всякого толка, так и висит, сволочь, сколько ни маши, просто проклятие.

При этом я не был настоящим курильщиком. Когда говорят «дымит как паровоз», речь идет вовсе не о настоящем курильщике. Настоящий курильщик, наоборот, почти совсем не дымит. Казалось бы, сигарета при сжигании производит определенное количество дыма. Но если просто курящего и настоящего курильщика поместить в комнаты равной кубатуры, то после просто курящего можно вешать топор, а у настоящего курильщика будет такой свежий воздух, что хоть канарейку вноси, она даже не поперхнется.

Настоящий курильщик — человек особой породы. Он живет дымом, он питается им, однажды вдохнув, он его уже не выдыхает. То есть не в том смысле, что совсем ничего не выдыхает, что-то он все же выдыхает, вероятно, ибо его дыхание не пресекается, если бы пресеклось, он бы скоро погиб. Но нет, он не погибает, а, напротив, снова и снова бодро вдыхает табачный дым, хотя с точки зрения законов сохранения его поведение выглядит парадоксально.

А я не был настоящим курильщиком, да и, честно говоря, встречал таковых считанные разы. Я начал курить, потому что хотел стать курящим. Это бывает: сначала хочешь чего-нибудь, потом не можешь избавиться. Так устроено многое в жизни, если не все. Некоторые желания, к сожалению, сбываются, лучше не скажешь.

Я начал в школе, в девятом классе, мы все тогда начали, то есть мальчики начали, никого из нас не минула чаша сия, разве что некоторые раньше. Если только Петя Сонлейтнер выскользнул из сетей, как-то не могу вспомнить его с сигаретой. Он с нами вообще не очень водился, после школы домой и никаких, он был из немцев, их, скорее всего, сослали в Таджикистан при начале войны, но дело, разумеется, не в родословной. Девочки не курили. Правильнее сказать, что мы об этом не знали. Девочки вообще редко говорят о том, что делают, и только с теми, с кем это делают. Так что если девочки и курили, то не афишировали.

Я помнил, что это было сознательное решение. Собственно, каким еще оно могло быть, бессознательно не закуривают. Можно вообразить, конечно, как гадкий юноша подбивает мальчика, дескать, на-ка вот, попробуй-ка, чего ты как маленький, никакой в тебе взрослой солидности. Нет, ничего похожего, я сам в какой-то момент решил, что надо. Первые две или три сигареты производили буквально оглушительное впечатление: о глухоте нечего и говорить, но доходило чуть ли не до слепоты. Однако есть такое слово — надо. Человек ко всему может привыкнуть. Не всегда понятно, зачем он это делает. Но этот вопрос зачастую возникает значительно позже.

Конечно, то, что курили мои друзья, тоже на меня как-то действовало. Правда, никто не бахвалился, вроде того, что вот он такой смелый или там отчаянный, а ты неженка и маменькин сынок, вот и не куришь. Нас было шесть человек, кто-нибудь приставал на время, становилось семь, потом отбивался. Мы увлекались спортом, ходили в секцию ручного мяча, тренировал нас Лыткин, все было всерьез. С конца ноября и всю зиму, когда дождь и слякоть, занимались в зале. Там Лыткин трижды в

неделю грузил нас атлетикой: брусья, перекладина, отягощения, штанга, после двух с половиной часов домой едва плетешься. А чуть теплело, перебирались в Городской парк, там был небольшой стадион, не с той стороны, что к Ленина, а наоборот.

Так вот Лыткин твердил, что спортсмен курить не должен. Правда, сам он, бывало, следующую припаливал от предыдущей, особенно когда мы проигрывали Первой школе. Но себя он уже не относил к выдающимся спортсменам, он подчас и под мухой приходил нас тренировать, совсем уж не по-спортсменски. А я играл угловым, а в ручном играть угловым — это беспрестанная беготня на пределе сил, то и дело в отрыв, каждые три минуты бешеный спурт с языком на плече. Насчет угловых Лыткин особо подчеркивал, что, дескать, угловой без дышалки все равно что машина без мотора или птица без перьев, или что он там говорил, что-то в этом духе. И все наши помнили, что им придется бегать, хоть и не так много, как мне, они ведь не были угловыми. Так что, независимо от того, курил Лыткин или не курил, сами мы курили стеснительно: понимали, что нам бы этого не нужно. Никто не бравировал, да и кой толк, всякий в ответ сказал бы, что дурак, раз такой дурью бахвалишься, кури молча, как все, и дело с концом.

Что интересно, попытки бросить начинаются практически одновременно с попытками начать. И длятся, длятся...

Долго ли, коротко, но и в Домодедове дело пришло к ночи. В сущности, я выпил немного, хоть и потратил на это массу времени. Прежде выпитое в силу длительности процесса уже норовило сказаться похмельем, так что, когда попросили на регистрацию, я в свою очередь попросил еще сто пятьдесят, и побыстрее.

Протек еще час или полтора разного рода толчеи — то к багажной стойке, то в ожидании, когда начнут пускать в самолет. У меня было место «F», у самого окна, я кое-как пролез, чтобы из положения униженной согбенности плюхнуться в кресло. Усевшись, нашарил и вытащил из-под себя концы ремня безопасности. Когда я застегивал его, пряжка щелкнула в ладонях, и это прозвучало так, словно я подвел черту. Еще одну черту. Весь этот день после маминго звонка складывался так, словно я то и дело подводил черту. Какую-то новую черту. Какую к чёрту черту, чему черту? Разве нужно было мне ее подводить? Разве она не была еще подведена? Да и разве мог я ее подвести? На нелепые вопросы не бывает разумных ответов, но так или иначе, а все же затвор ремня лязгнул так, как, наверное, лязгает гильотина.

Посмотреть со стороны, так четыре часа — сущая ерунда, иной раз не успеешь и глазом моргнуть. Тут было дело другое. Не знаю, как у кого, а в моей голове навязчиво звучал Визбор. Все вокруг гудело и подрагивало, сто пятьдесят четвертый Туполев волок нас на высоте пресловутых девяти тысяч метров сквозь крошечный мрак, разреженный лишь его бортовыми огнями да светом нескольких звезд, которые при желании я мог даже увидеть, для этого нужно было лишь нечеловечески скривить шею, прильнуть к иллюминатору и возвести очи горе. Два капитана кагэбэ-э-э... За орденами в Душанбэ-э-э... Всю ночь таранят черноту-у-у... турбины «Ту», турбины «Ту».

Гул, содрогание и мелкий дребезг делали голоса редких неспящих плоскими, как бумага, но все же не вполне заглушали доносившиеся из динамиков бессвязные аккорды и обрывки пения. Правда, это был не Визбор, Визбор наявливал у одного меня. Я знал, что звуковое сопровождение входит в стоимость билета, как знал и то, что на таджикских лайнерах есть только одна кассета: когда кончаются тридцать минут дутара и рубоба, ее переворачивают, тогда еще тридцать интернационального буханья и Пугачёвой, а потом опять рубоб с дутаром. Знал я и то, что будет, если я нажму кнопку на панели. Когда придет стюардесса, а я вежливо попрошу все это выключить, она обеспокоено наклонится ко мне и недоверчиво спросит: вы что, музыку не любите?

Два капитана КГБ за орденами в Душанбе, — снова и снова звучало у меня в голове. Возможно, сознание пыталось противопоставить свой ритм окружающему хаосу. В передней части самолета что-то погромыхивало, там команда готовилась разносить положенное в рейсе угощение, спать я вовсе не хотел, тем более сейчас это не имело смысла, но в самолете краткая дремота случается в самый неподходящий момент, например, перед самой кормежкой, и я вздрогнул, поднимая голову.

— Столик, — повторила стюардесса. — Приготовьте столик.

Я откинул столик, она положила коробку закусочного комплекта и спросила:

— Пить что будете? Томатный, яблочный, вода, вино белое, вино красное...

— Можно две порции вина? — заискивающе попросил я. — И воду.

Девушка взглянула на меня оценивающе, пожала плечами и, налив, поставила три полных стакана. И уже повторяла двумя рядами далее:

— Пить что будете? Томатный, яблочный, вода...

Я смотрел на свой заставленный столик и растроганно думал, какая все-таки хорошая оказалась девушка. Такая, если попросить как следует, может быть даже не стала бы спрашивать, почему я не люблю музыку. Просто выключила бы дребезг в динамиках, и все. Зря я всегда сразу о плохом. Ну да, каждому воздастся по вере его, вот и выходит, что...

Первый стаканчик я выпил почти залпом. Когда он опустел, я поставил в него второй, вдвое уменьшив тем самым количество единиц винной посуды, и потягивал без спешки, время от времени перекладывая глотком воды.

Ближнего соседа у меня по счастью не было, место пустовало, можно было топырить локти сколько влезет, а тот, что у прохода, уже раскрыл свою коробку. Доев салатик из квадратной касалетки, он снял фольгу с прямоугольной.

Там был рис с курицей.

Я отпил еще глоток.

Папа говорил, что в полете ему всегда попадается одна и та же часть куриной тушки — переход шеи в крыло — и называл ее самолетной. Опять, дескать, попалась самолетная часть. Он полагал, что у «Аэрофлота» есть свои курятники, а иначе как объяснить, что в самолетах всегда кормят исключительно курицей. В нашей стране все является продуктом применения хозяйственного метода, а не разделения труда, говорил он, и проще представить, что после рейса пилоты бегут хлопотать в птичник.

Спорить с ним не приходилось, предмет он знал, он был геологом и директором местного отделения научного института, но заниматься наукой и геологией вечно не хватало времени, приходилось строить ангар на территории отделения силами работников отделения или теми же силами собирать хлопок на полях подшефных колхозов, или благоустраивать прилегающую территорию, или делать еще что-нибудь столь же соответствующее профилю.

Я вспомнил Валентину Ивановну, мать моего школьного друга Андрюши Козлова. Она была секретарем райкома, и папа встречался с ней, если его каким-то недобрым ветром заносило на родительское собрание. Потом мы кончили школу и разъехались, папа стал директором, а Валентина Ивановна — секретарем горкома. Теперь они виделись на парткомиссиях, куда отец являлся, чтобы его пропесочили или наложили денежный начет. Потом Валентина Ивановна умерла, Андрюшу Козлова убили в Питере, папа ушел на пенсию, а теперь я лечу в этом самолете.

Я допил воду, а полстакана вина поберег, и закурил. Тогда всюду можно было курить, вот и в самолетах, если рейс дольше полутора часов. Вентиляция сифонила на полную катушку и уносила дым.

Я тупо следил за его быстро развеиваемыми струйками. Когда-то в юности я так же вот летел и думал о чем-то.

Бог весть о чем я думал, человек всегда, как ему нечего делать, думает о таком, что просто диву даешься. Спроси у него час назад, может ли он предположить, что когда-нибудь задумается над такими-то или такими-то вещами, он бы решительно отрекся.

И вот, впад в состояние такого рода меланхолической медитации, я вдруг увидел струйку дыма.

Я и тогда сидел у окна, а дымок струился, поднимаясь от пола справа, в промежутке между боковиной впередистоящего кресла и округлой стенкой корпуса.

Я заледенел. В самолетном кресле многое приобретает особое значение.

Дым не мог быть ничем иным кроме доказательства, что на борту пожар... не исключено, что тогда тоже пел Визбор: быть может, на каком борту пожар, пробоина в борту острей ножа... нет никакой пробоины, если бы пробоина, нас бы отсюда всех выдуло к чертям собачьим, просто пожар... но все равно это значит, что в самом близком будущем... в ближайшем будущем, буквально через несколько секунд... мы горящей ракетой... дымила падая ракета... это не Визбор... прочертим небосклон и рухнем... куда мы рухнем?

Я хотел, но еще не успел кинуть взгляд в окно, чтобы понять, куда именно мы рухнем. В принципе, мы могли рухнуть в Каспийское море, по пути в Душанбе мы всегда летели над Каспием, сто раз я его пролетал и видел, он сначала появлялся полупрозрачной линзой в дымке закругления плоской земли, потом валялся внизу сине-голубой шкурой, потом так же неспешно исчезал.

С перепугу я не мог сообразить, уже пролетели мы в этот раз Каспий или еще только приближаемся. Если пролетели, дело швах, потерянного не вернешь, никто не станет возвращаться... да и все равно уж не успеть. Но если не пролетели, Каспий и в самом деле мог бы сейчас оказаться под нами... и тогда бы мы... то есть мы могли бы... при определенной удаче нам удалось бы приводниться!

И тут меня второй раз прострелило: не пожар, а пассажир! Никакой не пожар, а пассажир в переднем кресле, сука такая, надымил своей вонючей сигаретой...

Я невольно улыбнулся. Смех смехом, а тот его давний дымок, безобидный с точки зрения авиасообщения, поставил меня буквально на грань жизни и смерти.

Я стряхнул пепел, затянулся, и тут всплыло еще кое-что.

Я вспомнил, как летел рейсом Москва — Пхеньян. Путешествие было настолько многоступенчатым, что не удавалось удержать в голове все промежуточные пункты. Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ были точно. Еще как бы не Чита. И еще три или четыре. Перелет был таким долгим, что стал казаться бесконечным. Вероятно, мы летели по кругу, как еще представить себе это. По идее, мы приземлялись в портах, все более удаленных от пункта отправления и все более приближенных к пункту назначения. Но на шестой или седьмой посадке, выбираясь на летное поле, я всерьез ожидал увидеть на приземистом здании аэровокзала огненные буквы МОСКВА, которые с не меньшей непреложностью, чем мене-текел-фарес, подтвердили бы мои ужасные догадки о цикличности этого маршрута.

Собственно, сам я направлялся в Хабаровск, куда следовали еще семь или восемь человек. Все остальные были корейцы, и они летели в Пхеньян.

Сто корейцев оккупировали салон и заняли лучшие места. Мы, то есть жалкая горстка белых людей, забились в самый хвост.

Когда самолет в очередной раз садился для прочистки форсунок, подкрутки штуцеров и дозаправки, пассажиров препровождали из лайнера в зал ожидания. Корейцы в одинаковых пиджачных парах серо-синего цвета (на женщинах вместо штанов были прямые юбки одинаковой длины чуть ниже колена), в одинаковых белых рубашках, с одинаковыми портретами Ким Ир Сена на левых лацканах одинаковых пиджаков заполняли его полностью. От самолета они шли колонной по двое, в зале

колонна теряла порядок, но до конца не рассеивалась: так и прохаживались попарно до объявления посадки.

Но то, как северокорейцы выглядели и на что в массе походили, было, в конце концов, их суверенным северокорейским делом. Однако в самолете все они беспрестанно курили. Дым стлался по салону. Поднимаясь выше, он становился сизыми облаками. Стюардессы плавали в нем, по-рыбьи разевая рты. Мой сосед справа, сын болгарского посла, летевший как раз в Пхеньян и задыхавшийся наравне со мной, разъяснил, что северокорейские сигареты набиты сушеными водорослями и пропитаны синтетическим никотином, поэтому так дымят; источаемый же ими запах вообще не поддается рациональному объяснению...

Я допил вино. Есть не хотелось, но я все же разогнул краешки фольги, чтобы посмотреть. Точно, там была самолетная часть с рисом. Закрыл, подумав, что, может быть, еще будет время перекусить, пусть будет теплым.

Я вытряс из пачки сигарету, шелкнул зажигалкой.

Папа тоже всю жизнь курил. И тоже начал в школе. В сорок с лишним у него был инфаркт. Тогда он бросил. А ближе к шестидесяти случился инсульт. И месяца через три, более или менее оправившись, он вдруг снова закурил. Никто, кажется, не мог понять причины. Лично я объяснял этот факт остановкой мозговой деятельности. Про себя, разумеется.

Утром по телефону мама сказала, что случился инфаркт. Еще один. Теперь уже и последний. Кардиологи говорят — хрустальное сердце. Метафора, передающая степень заизвествленности сердечной мышцы. Ну да, с давних пор его давила стенокардия. Но больше он мучился не сердцем, а ногами.

Последствия курения, облитерирующий эндартериит: сужение сосудов, ишемия конечностей. Спал он почти сидя, высоко подоткнув подушки под спину — в таком положении кровь хоть как-то пробивалась к ступням. Врачи говорили, что нужно чистить сосуды. В Душанбе не было нужных лекарств, я пересылал склянки с какими-то снадобьями. Папа ложился в больницу, ему ставили капельницы. Это мало помогало. Или совсем не помогало. Или как-то помогало, но на фоне того, что он продолжал курить, не имело особого значения. На мизинце левой ступни уже несколько лет была гангрена — небольшой кусочек омертвелой плоти. Вообще-то этот некроз мог причинить ему много неприятностей... Просто не успел.

Так обстояли дела. И все-таки папа курил.

Выдвижная пепельница, вделанная в рукоять кресла, была полна, окурки приходилось пропихивать глубже, а то вываливались. Я кое-как погасил очередной. Загорелось табло, самолет шел на посадку.

Я задвинул пепельницу.

Я еще не знал, что выкурил последнюю сигарету.

Потом мама говорила иногда: ты бросил курить, когда отец умер. А чтобы бросил пить, мне, что ли, нужно умереть?

Но я сделал это немного раньше.

Поминальная трапеза

Приотворилась дверь, и я стал смотреть в щелочку.

По сторонам было полно звезд, а в середине стоял длинный стол, в обычном порядке уставленный тарелками, стаканами, рюмками, бутылками, блюдами с фруктами и кое-какой снедью. Признаки некоторой разобранности свидетельствовали о том, что начальная отточенность, выверенность праздничной сервировки уже пошла прахом. Судя по всему, славно отобедав, собравшиеся коротают время за разговорами. Скоро, наверное, чай поспеет.

Все в целом — что-то вроде композиции Тайной вечери. Однако сходство с традиционным сюжетом чисто внешнее, содержание натуры иное: никаких тебе нимбов, все простые люди.

Вдобавок хорошо мне знакомые — мои близкие.

В сущности, это просто семейный ужин.

В середине дед и бабушка, рядом бабуся Наташа и второй дедушка, папин папа, я его знаю только по фотографиям. Возле бабуси Наташи ее сестра тетя Валя. Тетя Валя рыжая, из-за чего, как все почему-то были уверены, она не вышла замуж, собственных детей не завела и всю жизнь верно служила бабусе Наташе: та была врачом, много работала, а тетя Валя растила ее мальчиков, моего папу и его брата Бориса. Кстати, Борис тоже здесь, а чуть дальше и его жена Зина, и дочка Аня.

Другая сторона — крыло Воропаевых. Мама — первой возле родителей, рядом с ней папа — он хоть и другой фамилии, но с мамой неразлучен. Дальше мамины младшие братья — Михаил и Константин. Потом и Таня, Мишина жена, и их дочь Ленка, и ее пятилетний сынишка Лёшечка. Он совсем дитя, но у него уже нет шансов повзрослеть. Рядом с Костиком его жена Оля и их Танюшка, а возле нее ее сынишка Костя, и у него самого уже кто-то маленький.

Здесь куда больше персонажей, чем на каноническом леонардовском полотне. Все вместе кажется контурами чего-то вроде геометрически сложной, многомерной матрешки. За спиной у каждого сидящего за столом слоятся и множатся смутные тени, и перед ним видны такие же — они так же слоятся и так же множатся. Те, что за спиной, уходят в прошлое — и чем глубже, тем неопределенней их контуры, а эти, столь же неведомые — в будущее, и они тоже бесконечно слоятся и мерцают в неведомой дали грядущего.

Наиболее отчетливо, ярко и выпукло выписаны сидящие ближе к середине. Это те, кого я хорошо знал, кого любил и по кому скучаю.

То есть что значит — выписаны. Ничего не выписаны. Стол мягко освещен, стекло сервировки бросает блики, они сидят там живые, негромко говорят о чем-то. Не знаю, о чем говорят. О чем говорят за столом? Да так, в общем ни о чем особенном, просто радуются друг другу, вот и все разговоры.

* * *

Эту идею не то чтобы замалчивают, но уж точно никому не придет в голову публично ее отстаивать. Рационально недоказуемая, она не выдерживает серьезной критики. Находится масса такого, что разъясняет ее с психологической точки зрения. Короче говоря, ей не устоять против множества неопровержимых доводов, да и вообще на холодную голову она представляется абсурдной.

Тем не менее, одно поколение сменяет другое, восстают и рушатся государства, сами континенты путаются в очертаниях.

А это странное представление остается прежним: человека не покидает смутная уверенность, что мертвые живы. По крайней мере, те из них, кто когда-то был ему близок.

Если спросить прямо, он, скорее всего, не признается. Но втайне ему мнится, что они вовсе не утонули в реке времени, не канули в бездну, не пропали навсегда. Нет, они лишь на время отстранились. Вроде как отошли в сторонку, чтобы попусту не маячить. Или даже не отошли, а, утратив прежние, но обретя взамен некие иные способности, с той же целью отлетели на некоторое расстояние.

Однако и совершив это горестное отдаление, они, несомненно, продолжают существовать. Где-то там и как-то там расположившись, они заняты своими тихими делами. То ли шьют, то ли вяжут, то ли просто рассеянно перебирают дорогие мелочи,

что о чем-то им зримо напоминают. Карандаш ли в пальцах, спица ли, наперсток или просто спичка... отсюда не разглядеть. Между делом негромко переговариваются.

Но чем бы ни занимались, время от времени они посматривают сюда, в эту даль: на тех, кто еще не с ними.

Они безмолвны — разве что временами доносится гаснущий шелест, в котором вот-вот, кажется, различишь их внятные слова.

Однако все вопрошения можно прочесть и во взглядах.

Не забыли нас? Долго вам еще там? Скоро ли освободитесь? Оказавшись вместе, мы смогли бы уже не разлучаться...

Я тоже ловлю эти взгляды, слышу эти тихие вопросы.

Ты-то как? Все не нагуляешься? Совсем темно на дворе, а тебе лишь бы шлаться. Смотри, ранее на позднее сведешь. Сколько еще шататься намерен? Все хочешь что-то там выиграть, в чем-то победить? Не надоело? Не понял еще, что в тараканьих бегах все призы тараканьи?

Эх ты, несмышлениш. Ну ладно, ладно тебе. Ну что плакать. Слезами горю не поможешь.

С похожим шорохом стрекозы задевают крыльями метелки гумая.

* * *

Подчас эти образы неотступны, навязчивы.

С течением времени они меркнут. Десятилетиями тускло мерцают на самом краешке разума, на горизонте сознания. Вот-вот, кажется, окончательно погаснут. Но нет, им удастся пережить опасные покушения логики, не поменяв смысла.

Их нельзя счесть ни плодами воспитания, ни отражением той или иной традиции, ибо они свойственны людям не только различных школ, но и, более того, разных народов и религий.

Официальные церкви аврамического корня с завидным единодушием полагают их злостным суеверием. В казенных владениях загробной жизни все они предусмотрели специальные резервации, где мертвым предписано дожидаться грядущего воздаяния. Во всем прочем враждебно относясь друг к другу, они согласны, что нарушение установленного порядка покойниками столь же предосудительно, как для живых лезть без очереди к зубному или садиться в спальный вагон, имея на руках всего лишь жалкую плацкарту.

Но и церкви не могут с ними совладать, ибо эти образы коренятся глубже тех пластов человеческих понятий, привычек и ценностей, совокупность которых создает культуру.

Они пронизывают историю с самых темных ее эпох. Древнейшие археологические находки говорят, что как глубоко ни погрузись в колодец времени, а и там обнаружишь их следы.

В конце концов вынужденно приходишь к выводу, что они возникли — и возникают — одновременно с сознанием. Если речь о человеческом сознании вообще, то они присущи виду и угаснут лишь вместе с угасанием вида. Если персонально, то в каждом они появляются в раннем возрасте, крепнут по мере развития рассудка, сопровождают всю жизнь и бесследно растворяются в более или менее сжатый или растянутый во времени момент исчезновения личности.

* * *

Философ, утверждавший, что нет более распространенного заблуждения, чем то, что мосты, фонари, собаки и прочие явления вещного мира будто бы существуют на самом деле, возможно, несколько перегибал палку.

Правда, ошибочность его мнения невозможно доказать, ибо с позиций чистого разума даже удар палкой по голове ни в коей мере не является доказательством существования самой палки.

С другой стороны, чрезвычайно трудно отрицать таковое, если тебя бьют по затылку.

Примиришь две эти в корне противоречащие друг другу концепции можно только одним способом: признав, что единственное, с чем на самом деле имеет дело сознание — это само сознание, какие бы мосты, фонари, собаки и даже палки в нем ни отражались.

Компромиссный взгляд избавляет от необходимости настаивать, что реальности нет: он позволяет не уничтожить ее, а всего лишь вынести за скобки.

Будучи вынесенной за скобки, реальность не пропадет, не изменится, с ней ничего не случится. Без всякого для себя ущерба она дождется часа, когда снова станет нам интересной. Тем более что это может случиться в любую секунду.

Будучи вынесенной за скобки, она не мешает сознанию иметь дело с самим собой. И только с самим собой.

Может быть, когда это произойдет, сознанию скоро наскучит столь узкий круг общения? Может быть, оно захочет пригласить кого-нибудь еще?

Нет, сознание самому себе не наскучивает. Оно не томится наедине с собой. И категорически не желает расширять компанию: спасибо, не нужно, ему и так хорошо.

Это и неудивительно.

Завершая творение, усталый Господь решил увенчать свой труд созданием разума.

И создал. Посмотрел, приглядываясь. Потом приказал:

— А ну-ка приблизься...

Разум приблизился.

Господь снова вгляделся.

— Теперь отступи.

Разум отступил.

— Повернись!

Разум повернулся.

И тогда Бог пробормотал в невольном восхищении:

— Клянусь, мне еще не удавалось создать ничего величественнее этого!

* * *

Сознание настолько прекрасно, что ему никогда не надоест глядеться в себя. Никогда не наскучит вертеться перед самим собой, ведь его зеркало отражает само совершенство.

Будь его воля, оно бы только этим и занималось. Оно занималось бы этим всегда, оно вечно предавалось бы самолюбованию, оно до скончания веков находило бы все новые поводы восхищаться собой и новые причины для восторга, и новые ракурсы, с каких по-новому открывается его изумительная прелесть.

Но!..

Вот всегда есть какое-нибудь нелепое «но».

Как это ни глупо, как ни мелко в сравнении с его красотой и грандиозностью, но сознание тоже существует на каком-то физическом основании.

Сейчас не имеет значения, о чем именно идет речь, — о нейронах, химических связях, микротрубочках клеточных органелл или еще каких невидимых и не всем ясных вещах, выступающих поодиночке или единым оркестром. Одни, другие, третьи,

пятые и двадцать пятые: часть из них поведала ученым свои тайны, часть еще нет, кое-какие и вовсе, возможно, не предполагают их открывать.

Такие или сякие, но эти физические основания есть.

Сознание перебегает по ним, как с ветки на ветку перебегает пламя костра. Ветки нужны, чтобы оно могло перебегать и впредь.

Между тем всякий, кто жег костер, знает: рано или поздно ветки сгорают. И если хочется сидеть у огня, нужно бросить в него новые.

Вот и с сознанием похожая история.

Как ни скучно этим заниматься, но чтобы поддерживать собственное горение, ему приходится отвлекаться на собирание палок.

Охота на мамонта, поиск съедобных корней, вспашка земли, вообще вся деятельность, итогом которой является каравай или отбивная, а также еще тысячи и тысячи занятий, цели которых не столь очевидны (например, раскладывание пасьянса «Косынка» на экране офисного компьютера), — все они отличаются друг от друга только формой.

Содержание у них одно и то же: это все та же добыча топлива.

Если не подкидывать, пламя погаснет.

К сожалению, это сравнение страдает одним важным изъяном.

Пламя костра будет гудеть и плескаться, пока есть дрова. Можно вообразить, что хворост бросают день за днем и месяц за месяцем. И даже год за годом и век за веком. Тогда все эти годы, все эти века костер будет гореть. Будет гореть, пока не погаснут звезды.

В этом-то и состоит ущерб аналогии.

Ведь сознание устроено иначе: как ни поддерживай его физическую основу, физическая основа все равно когда-нибудь рухнет.

Вместе с ней погаснет и сознание.

* * *

Возможно, сознание как таковое, сознание как феномен вовсе не стареет. Здесь любая точка зрения имеет право на существование, ибо ни одна из них не может быть толком обоснована.

Натурные наблюдения затруднены. Вообще-то разумному наблюдателю удобнее всего следить за самим собой. Однако, к сожалению, разумный наблюдатель зачастую не успевает оставить свидетельства о том, на какой стадии процесса он превращается в наблюдателя неразумного.

Взгляд же со стороны показывает, что сознанию не хочется с собой расставаться. Оно держится, пытается следить за собственным функционированием. Оно как будто надеется, что когда-нибудь течение времени утихнет. Время остановится, все встанет наконец на свои места.

Но нет, напор не умеряется, ток времени не становится тише.

Наступает момент, когда сознание начинает пошатываться.

Возможно, для него самого было бы лучше этого не замечать. Но если оно еще достаточно здраво, сознание хватается за собственные руины, как тонущие хватаются за обломки кораблекрушения.

— Я опять забыла.

— Что?

— Как называется...

— Что?

— Такое... в шоколаде.

— Цукат?

- Нет.
- Цукаты бывают в шоколаде.
- Нет, не цукаты. Белое такое.
- Что белое?
- В шоколаде.
- Не знаю... Начинка?
- Да, начинка.
- Ну вот. Начинка.
- Нет. Какая начинка?
- Начинка в шоколаде? Ну... Пралине?
- Вот. Да. Пралине. Да. А то я опять забыла. Пралине. Я запомню. Пралине. Сторонний наблюдатель не успевает далеко уйти.
- Ты слышишь? Я забыла.
- Сторонний наблюдатель возвращается.
- Что забыла?
- Забыла, как называется. В шоколаде.
- Пралине?
- Да. Пралине. Забываю. Пралине. Больше не забуду. Пралине. Не забуду, нет.

* * *

Сознанию невозможно вообразить, что настанет миг, когда оно будет вынуждено расстаться с самим собой.

Сознанию трудно исчезать, мучительно кончаться. Ему не хочется умирать, а хочется быть бессмертным.

Человек — это и есть его сознание. Ничего иного человеческого в человеке нащупать нельзя. На что ни укажи, все это будут какие-нибудь вторичные признаки. Пусть без перьев, пусть даже двуногий — но, если нет сознания, это не человек.

И вот эта смутная уверенность, что мертвые живы...

Я ничем не отличаюсь от других, мне она свойственна так же, как и прочим.

Вся разница между нами только в том, что именно нам представляется.

Один прозревает утраченных близких сидящими на облачке. Другой воображает их гуляющими в зеленых полях. Третий еще как-то.

Я вижу что-то вроде традиционной композиции живописного изображения Тайной вечери.

Длинный стол, открытый к зрителю, блюда с фруктами и кое-какой снедью, стаканы, бутылки и кувшины. Понятно, что сходство чисто внешнее. Содержание натуры совсем иное. Ни одного нимба, это все простые люди. Я знал их когда-то. Все они были мне близки. В сущности, это просто семейный ужин.

Они смотрят на меня.

А я смотрю на них.

Сознание не хочет кончаться, поэтому оно склонно считать себя бессмертным.

Паскаль сформулировал так: человек — это мыслящий тростник.

Паскаль тысячу раз прав.

Я бы только переставил слова: человек — тростник мыслящий.

Звучит чуть более систематично, ведь, кроме мыслящего, в природе распространены также тростники обыкновенный, южный и японский.

Все мы многолетние.

Анна Маркина

Жёрдочка-человечек

* * *

Чтобы двигаться, можно совсем не идти.
Потеpleет и тронется лёд.
Много лет уже, запертый на карантин,
гражданин никуда не идёт.

Переждать. И других, и себя побережь,
отложить на потом Рагнарёк.
Сохраним тебя, славная русская гречь —
катастрофы большой поперёк.

Нам поможет больница и универмаг.
Непреклонен природный конвой.
Что там ценится нынче на рынке бумаг?
То, что ты забираешь домой?

Через страх, через боль, соблюдая режим —
кто под землю, в нору, кто на травку, —
мы когда-нибудь всё это перележим
да и с богом пойдём на поправку.

* * *

Морзянка утра: лиственные точки,
тире ветвей. Ворчание ОРВИ.
Иди, чумной, гулять на поводочке
у смерти, жизни, боли и любви.

На нежность и прощение скупая,
зима на простынях за белизной
лежит и от себя не отпускает,
как тихо умирающий больной.

Маркина Анна Игоревна — поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1989 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Сооснователь литературного журнала «Формаслов» и одноименного издательства. Автор книги стихов «Кисточка из пони» (М., 2016) и повести «Сиррекот, или Зефирова Гора» (М., 2019). Финалист Григорьевской премии, Волошинского конкурса, премии «Нонконформизм» и др. Член арт-группы #белкавкедах. Живет в Люберцах.

За лебединым, дроздовым, вороньим,
по слёзному, по тающему льду
пройдём и это время похороним.
А я под снегом стёклышко найду

и под него у сердца где-то спрячу
за светом в обрамлении чумы
солёный гул и поцелуй горячий,
и образ обессилившей зимы.

* * *

Под крышей неба — птичий беспредел.
Состав домов торжественно гудел
И лошади мотора грозно ржали,
Когда район и сумрак голубой,
И полки книг, возглавленных тобой,
От снежного перрона отъезжали

По нежности раздавленной моей —
От тёплой кроны до худых корней.
Пел гимны на прощание Новалис,
Кондуктор привставал на стремянах.
Но где-то в параллельных временах
Мы всё же на перроне оставались.

Луна была поставлена с трудом,
И в долгом ожидании седом
Игла скользила по её пластинке
И высекала что-то про l'amour,
Сам воздух пел, как будто Азнавур,
И нежность удержалась на тростинке.

* * *

Раз в году приезжаешь к родне
и стараешься быть на волне,
но течение мыслей относит
от их быта, где стынет река
прокисающего молока
и опоры стоят на откосе.

Ты, зелёный тепличный побег,
чем поможешь ты им, человек
надувной, помидорка столичная?
Запечён под московской фольгой,
ты настолько нездешний, другой,
что они тебя ловят с поличным:

мало шлёшь о себе новостей,
не заводишь собак и детей.
А работа? А выпить? А замуж?
Переходишь молчание вброд.
Прополов небольшой огород,
к легкокрылым делам уезжаешь

от их дома, где печка чадит,
где надежда берётся в кредит,
от малюсенькой точки на карте.
И о маме скучаешь сильнее,
и обрубки усталых корней
волочишь через темень плацкарта.

* * *

Под прикрытием трав убегает Ока,
дождь грохочет — стрельба боевая...
по планете, по всем её материкам.
Так мотыга проходится по мотылькам,
так прозрачная чушь наполняет стакан,
и в прикуску её выпивают

с бутербродом заветренных маленьких букв —
белый мякиш центральных каналов.
И повесточный миксер взбивает фейсбук
до белкового пика, до поднятых рук.
И, стеснённые шумом, на солнечный звук
улетают седые журналы.

И сидишь ты такой... над текучей Окой,
дождь по сытой поверхности бьёт.
И всё кажется медленной, грязной рекой,
потому что нет правды уже никакой,
потому что парадно, как нежный левкой,
на ветру расцветает враньё.

Инфоливень гудит, инфоливень идёт.
Но не колетса крепкий орешек:
Златосердый, мышастый, родной идиот,
против всякого зла применяющий йод,
белый парус надежды ещё узнаёт
в облаках и цветенье черешен.

* * *

Силу теряет венчик.
Чёрным исписан лист.
Жёрдочка-человечек,
Как по тебе прошлись!

Ах, человечек тонкий,
Если бы жизнь другая
И по тебе не топали
Болотными сапогами?

Был бы ты полнокровной
Чёрточкой меж слогами,
Что образуют слово
Над хлебными берегами,

А не больным трёхзвучьем
Бешеных сторожих,
Жёрдочкой перекрученной,
Брошенной под чужих.

* * *

Памяти ослеплённая эскадрилья.
Воздух ночной печали моей черней.
Боли фантомные ошеломлённых крыльев,
срубленных у корней.

По-барбарисы рассвет нависает кисло,
держит под розоватой своей слюдой
ровные, спящие в иле озера смыслов
с мёртвой твоей водой.

В полдень наш двор соломенно запекается.
Если в начальной ремарке висит ружьё,
то не спасут ни чтение, ни лекарства,
выстрелы бьют над «ё»,

и в этой тяжести двух разведённых точек,
что не сводимы больше к одной оси,
ночь даже днём всё под крылом висит,
выстрелы мыслей бьют под прикрытием ночи.

Сергей Маслов

Два рассказа

Тая и духота

Тая плохо знала, как выглядят чужие люди. Не интересовалась разговорами и сама разговаривала редко. За повседневными делами родителей наблюдала охотно, но если принимала в них участие, то быстро начинала грустить. Тая могла сама придумывать себе занятия, но и они навевали скуку, не успев увлечь. Только одно Тая никогда не надоедало.

Она обожала ловить духоту.

Изучать новую или узнавать уже знакомую.

— Ловишь... духоту? — переспросил тучный лоснящийся психиатр, с недовольством поглядывая на Таину маму.

— Духоту ловит Тая, — бесцветно отозвалась Тая. — У мамы духота есть. У папы. У грибов. У всех. У всего...

Психиатр догадался, что речь идет о запахах, и несколько оживился. Он задавал множество скучных вопросов, а Тая, ловя его жирновато-липкую духоту, отвечала нехотя и сердилась на маму — зачем она привела ее сюда?..

В том, что у Таи очень сильно развито обоняние, родители убедились год назад, когда пропал старый Сазоныч. Он умел — когда напивался, — незаметно исчезнуть, но всегда возвращался в село спустя сутки, бормоча небылицы о каком-то белом пугале, увлекающем за собой в такие дальние дали, каких трезвый Сазоныч никогда и не видал. Обычно пугало заботливо провожало его обратно до села, но в тот день, похоже, бросило на полдороги. Не вернулся горемыка. Собравшись в несколько групп, сельчане отправились на его поиски в окрестные леса. Тая увязалась за папой. Долго искали, до темноты — безуспешно. Решили возвратиться, а с рассветом организовать новую вылазку. Плелись домой злые — целый день впустую... Вдруг Тая кинулась прочь. Папа, недоумевая, побежал следом, — Тая стояла, опустив голову, в зарослях папоротника, а рядом лежал и пересматривал свои бесчисленные бредовые сны Сазоныч...

По коридору моталась скучная духота. Тая равнодушно изучала ее — ждала маму, задержавшуюся в кабинете тучного. Скоро мама вышла и повела Таю по коридору, непривычно крепко сжимая ее руку. Недовольно вздрогнула от маминого обидного хлопка обшарпанная деревянная дверь — наконец-то улица, здесь духота внятная, открытая. К автовокзалу шли пешком, и мама всю дорогу тяжело вздыхала, бормоча что-то непонятное:

— Диспансеры, препараты, о-ох... Сцепи-алисты, ишь... А чего ждала-то?.. Чего они еще могут-то?.. Ну ладно, ладно... Так проживем...

Перебрасывая из руки в руку корзинку, Тая бродила по лесу вместе с мамой и папой. Грибная духота клубилась на каждом шагу — густая, настойчивая, волнующая. Если Тая выискивала в земле бледно-оранжевую или серо-бежевую шляпку — приседала, вставала на четвереньки, наклонялась к находке вплотную и тянула носом. Насытившись духотой, аккуратно проводила под шляпкой ножиком — шляпка заваливалась набок, словно задрёмывая. Тая тихонько, чтобы не разбудить, брала гриб и перекладывала его в корзинку.

Первая половина августа получилась очень дождливой, зато вторая задаривала село и всю округу теплом, и грибную духоту в лесу Тая ловила особенно цепко. Пригнувшись и юркнув в колючий лабиринт еловых зарослей, она увидела семейку маслят. Подышала минуту рядом с ними и, не тронув, вынырнула из лабиринта на волю. Маслята были Таинными любимцами, и она никогда их не трогала. Берегла и жалела их духоту, перекликавшуюся с той теплой июньской ночью...

Тая тогда решила поспать в чулане. Ее разбудили и встревожили папины шаги в сенях. Приоткрыв чуланную дверь, Тая наблюдала за происходящим в щелку. Папа прокрался на террасу и замер около стола. Лунный свет стекал по его голой спине. Следом за папой из избы выскользнула мама, остановилась у него за спиной и прижалась к ней щекой. В этот момент Тая поймала удивительную духоту — усталую и нежную одновременно, — и услышала тихие мамины слова:

— Хорошо... В глубь самую... Можем еще... Можем...

С тех пор духота маслят в Таинном сознании ассоциировалась именно с увиденной в щелку сценой, которую Тая не поняла, но которой безоговорочно поверила.

«Душные маслята, душные... — радовалась Тая, понемногу сокращая отставание от родителей. — Как папа с мамой тогда...»

Возле толстенной корявой березы Таю нахально окатила неизвестная духота.

Не грибная, не древесная, не землистая. Другая. Тая остановилась, не понимая, почему не виден ее источник — обычно он определялся быстро и безошибочно.

— Тая-а, идё-ом! — позвал папа.

Тая не двигалась с места, озадаченно озираясь.

— Тая-а! — мамин зов.

Тая принялась крутить головой во все стороны, отчаянно пытаясь определить, откуда идет духота. Взгляд ее лишь скользнул по уходящему вверх стволу березы, но рассудок успел уцепиться за какую-то странность. Тая подняла глаза, пригляделась и обомлела.

На кривом суку сидело чудное пятнистое существо, похожее на огромную кошку, и хмуро изучало Таю. Кисточки на кончиках кошковых ушей напомнили Тае, как весной они с мамой, оказавшись в городе по делам, зашли в зоопарк. Там, в одной из

грустных комнат с прутьями вместо стен, без устали расхаживала кошка с такими же кисточками.

— Это Юна. Она мяско кушает, — объяснила тогда мама.

Тая пристально глядела вверх и напряженно сопела, жадно ловя новую духоту.

— Тая-а! — снова позвал папа.

Вспомнив папину просьбу сходитьсь по первому же зову, Тая спохватилась и мгновенно приняла решение: скорее догонять родителей, но завтра вернуться сюда и подышать еще — уж очень интересны оттенки новой духоты.

Лесные маршруты Тая всегда запоминала легко, и сейчас она точно знала, сколько прямых линий ведут от села к этой Коряхе (так нарекла Тая корявую березу с кошкой), сколько шагов помещается в каждую линию и в каком порядке они соединяются змейками-поворотами. Завтра, вытягивая из памяти поочередно линии и змейки, Тая без труда отыщет Коряху и придет к этой новой духоте.

Вечером родители сидели на террасе, собираясь пить чай, а Тая лежала в постели и размышляла о хмурой кошке: «Она тоже Юна... Тоже мяско кушает... Тая завтра придет и угостит Юну...»

Тая недолюбливала и не носила наручные часы, но родители не боялись отпускать ее на длительные прогулки. Знали, что она привыкла к одному и тому же маршруту — от села до Мерицы и обратно. Знали, что купаться одна не решится. Полазает вдоволь по склонам крутого лесистого берега и всегда вернется домой точно в оговоренное время.

Сегодня, увидев Таю с корзинкой, мама насторожилась:

— Чего удумала-то? Смотри, только по берегу собирай. Дальше ни ногой. И к трем возвращайся, чтобы не искать тебя.

Выбравшись из села, Тая направилась не к Мерице, а в лес, впервые нарушив привычный маршрут. Шла уверенно, отсчитывая шаги на прямых линиях и следя за тем, куда ползут змейки. В корзинке у нее лежали три кусочка сырого мяса, взятые из холодильника и завернутые в газету. Тая хотела взять еще молока, но пока соображала, во что его можно перелить, услышала мамины шаги и поспешно захлопнула холодильник...

Увидев впереди Коряху, Тая сразу поняла, что Юны нет.

«Ушла Юна... — горевала Тая, прислонившись спиной к Коряхиному стволу. — К Юне Тая хочет, а Юна к Тае не хочет... Тая мяско принесла Юну угостить... А где Юна?.. Ушла Юна...»

Тая ни на миг не забывала ни об одной линии, ни об одной змейке маршрута от села до Коряхи. Она точно знала, когда нужно начать обратный путь, чтобы успеть к трем часам, как просила мама. Но вот Таины мысли отчаянно плутали кругами...

Как и вчера, духота неожиданно, с дерзким нахальством окатила Таю. Она вскочила и огляделась. Юна неподвижно стояла шагах в тридцати от Коряхи, словно вырезанная из дерева фигура. Тая наклонилась к корзинке, достала гостинец, развернула газету и положила мясо на землю перед собой. У Юны ожил и начал дергаться нос. Вслед за носом ожила вся Юна, но сделав несколько шагов к Тае, остановилась.

«Юна к мяску пришла... Ловит духоту его... — радовалась Тая. — Юна к Тае пришла... Ловит духоту... У Таи тоже духота есть?.. Какая духота у Таи?.. Папа не знает... Мама не знает... Юна знает...»

Они наблюдали друг за другом, пока не тенькнул чудесный Таин хронометр. Перевернув в голове весь порядок прямых линий и змеек, Тая направилась в сторону дома. Удаляясь от Коряхи, она поминутно оборачивалась, но Юна так и не решалась приблизиться к гостинцу. Вскоре лес совсем исчеркал силуэт Юны нервными линиями, словно выдумал ее лишь для Таинной радости, а теперь пытался вымарать неловкую выдумку из своей истории.

На следующий день Тая не смогла взять с собой гостинец — мама решила приготовить жаркое. Кладя мелко нарезанное мясо в казанок, она приговаривала:

— Странно, вроде бы я больше покупала...

А перед Тасей снова стелился маршрут, снова от линии к линии переползали змейки, снова Таин хронометр работал уверенно и четко.

Листва хорovým шелестом благодарила август за подаренную ласку. А может быть, звучала уже не благодарность августу, а ода приближающейся осени — лиственной хор не хотел жить вечно, он тяготел к успокоению, к завершенности, он знал, что осень, вдохновившись талантливой майской завязкой и равнодушно пролистав летние черновики, уже сочинила свой сырой финал, который успокоит и завершит...

Отыскав Коряху, Тая не нашла возле нее ни Юниной духоты, ни вчерашнего гостинца.

Передохнув немного и оценив запас времени, Тая решила сама отыскать Юну. За полчаса она отдалилась от Коряхи на солидное расстояние, — но Юна, похоже, не оставила ни намека на свой душный след, не дала ни одной подсказки. Тая уже начинала понимать, что если Юна не хочет никого видеть, то и ее саму не увидишь, сколько ни плутай...

Есть, есть подсказка.

Тая поймала духоту настолько резкую, что поначалу даже не узнала ее. Несомненно, духота принадлежала Юне, только к знакомому набору оттенков добавился еще один — едкий, неприветливый, взрослый... Тая оглядела ствол осины рядом с собой, присела, встала на четвереньки и глубоко потянула носом.

Да, Юна писала здесь.

Тая хотела продолжить поиски, но ее хронометр сообщил, что пора возвращаться домой. Полчасовые блуждания сформировали в Таинном воображении причудливый маршрут — большую его часть составляли протяженные змейки, а немногочисленные прямые линии имели в длину всего в пять-семь шагов... Минута — и перевертыш готов, первая змейка обратного пути поползла от Таинных ног.

Август спешно дарил нерастраченное тепло, не останавливался даже ночью, и Таина просьба постелить ей в чулане не показалась маме необычной. В начале двенадцатого Тая легла в постель и начала повторять весь предстоящий маршрут от села до Коряхи — побаивалась, что сообразится в темноте. Троекратное повторение заняло около часа.

На террасе погас свет, коротко ширкнула избушка дверь — значит, родители ушли готовиться ко сну. Убедившись, что маршрут выучен твердо, Тая оделась, закуталась в одеяло, как в мантию, и тихонько выбралась из чулана.

Девять шагов до двери...

Бесшумный ход задвижки...

Иссиня-черный августовский простор...

Таины мысли все бродили и бродили кругами, но она уверенно шагала в сторону леса, точно зная, что до Коряхи остались пятнадцать линий, соединенные четырнадцатью змейками, из них шесть уползут вправо и восемь — влево.

Лес, разгадав наивный Таин замысел отыскать Юну, умиленно помалкивал. Листвяной хор, уставший за день, умиротворенно спал, забывая в успокоении временном, ночном, — об успокоении настоящем, осеннем...

Добравшись до Коряхи и не найдя Юниной духоты, Тая решила пройти по своему дневному маршруту с протяженными змейками и короткими прямыми. Никто не знал, что она здесь, и никто не говорил ей, когда нужно вернуться, а значит, искать Юну можно долго-долго.

Снова вредный ельник, снова кособокий овраг, снова скучный осинник, снова та Юнина метка... Закутанная в свое одеяло-мантию, Тая все больше удалялась от Коряхи, и даже когда дневные линии и змейки закончились, она брела и брела...

Юнина духота, как и прежде, застала врасплох. К ней прибавился какой-то недобрый оттенок. Не тот, оставленный на осине, а новый — отдающий тревожной горечью. Тая вспомнила, как в начале весны неудачно упала в сени, разбив себе нос, и кровь, стекавшая в глотку, имела похожий тревожно-горький вкус.

— Юна... — позвала Тая и огляделась.

Шагах в десяти от нее светлел бесформенный холмик. Тая чуть приблизилась. Юна лежала неподвижно.

— Спит Юна... Тая к Юне пришла...

Юна не просыпалась. Тая подкралась к ней и села на корточки. Юнина голова была неестественно вывернута. Шея заволокла непонятным пятном, а брюхо расчертили несколько грубых линий.

— Тая к Юне пришла... — повторила Тая.

Юна не откликнулась. Тая погладила ее по голове, поводила пальцами за ухом, потрогала застывший нос.

— Умерла Юна?..

Сказав это вслух, Тая снова соотнесла со своим воспоминанием недобрый оттенок Юниной духоты, шедший от пятна на шее, и поняла, что догадка верна.

— Холодно... Холодно Юне лежать...

Тая сняла с себя одеяло, укрыла Юну и еще долго сидела рядом, то приподнимая Юнины веки, то приоткрывая ее пасть и рассматривая желтоватые клыки.

Дышать Юной Тая могла бы до самого утра, но чужая наглая духота — клубок оттенков, один другого гаже — перебила Юнину. Еще одна догадка посетила Таю: эта вот гадость, непонятно откуда взявшаяся, сделала Юне больно.

Тая растерялась. Она не узнавала себя: впервые ей хотелось не познакомиться с новой духотой, а укрыться от нее.

Только не укроешься никак. Разве что...

Чуть помедлив, Тая забралась под одеяло и уткнулась в Юну носом.

Лес снова пытался отказаться от Юны, теперь уже обездвижив ее насовсем, но Юна, обласканная и объята Таей, не исчезала. Выращенный августом ночной воздух, сжижаясь, неслышно лился на лес с высоты, затапливал его, — но и на дне потопа Юна продолжала существовать, а вместе с ней и Тая, тоже чья-то неловкая выдумка.

Константа

Нытенька двигался знакомым маршрутом. Он рассчитывал взойти на крылечко здания женской консультации без десяти семь, но шаги не слушались, не держали желаемый темп, и расчет пришлось уточнить: на две минуточки позже получится...

До любой точки города Нытенька предпочитал добираться на своих хлипковатых двоих. В самом деле, сколько же можно быть цыпленком табака в этих душных железно-стеклянных четырехколесных коробках? Гораздо интереснее, повинаясь тайному влечению, вплывать в тихие мирки улочек, переулочков и дворов, соединенные хитрыми порталами — определяемыми лишь интуитивно, непонятно кем выдуманными. Происхождение самих мирков тоже оставалось для Нытеньки загадкой. Каждый мирок в его представлении имел свою протяженность, и именно этой величиной более всего интересовался Нытенька, с завидной дотошностью проводя свои расчеты. Он ввел собственную единицу измерения — одна нытка равнялась одной минуте ходьбы при соблюдении равномерного темпа: четыре шага на вдох и четыре — на выдох.

Своим шагам Нытенька уделял самое пристальное внимание. Чем дольше он изучал их, тем глубже погружался в многообразие эмоциональных оттенков, которые можно передать различными сочетаниями шагового ритма и шаговой геометрии. Занимаясь научной работой в каком-нибудь новом мирке, отсчитывая темп «четыре-четыре», Нытенька в очередной раз спрашивал себя: почему никто из его знакомых, никто из случайных прохожих не утруждает себя изучением азов замечательной шаговой речи? Почему ни в чьих шагах не угадывается строгость линий, не улавливается хотя бы жалкое подобие ритмического постоянства?..

Когда заканчивался рабочий день, Нытенька, избегая коллег, стайками двигавшихся к троллейбусной остановке, отправлялся домой витиеватыми пешими маршрутами. На их преодоление порой тратились часы. Зато за полгода труда в Нытенькиной голове сформировалась объемная база данных, хранящая сведения о протяженности всех изученных мирков и о порталных переходах между ними. День за днем расширяя область изученного, Нытенька не переставал удивляться: сколько же мирков умещается в его небольшом городе — и сколько же лет он не придавал этому никакого значения...

Начало необычному Нытенькиному увлечению положил один-единственный обеденный перерыв. Он ничем не отличался от сотен прошлых — по своему обыкновению Нытенька привставал на цыпочки, вытягивал шею и покачивался из стороны в сторону, пытаясь разглядеть за головами сослуживцев, что происходит на линии раздачи, почему очередь двигается так медленно... В какой-то момент по чистому и ровному полотну Нытенькиной яви засеменял невесть откуда взявшийся паучок — причудливое видение родилось из ничего, из бесплодной обыденности...

Очередь кишела Нытеньками.

Они привставали на цыпочки, вытягивали шеи и покачивались. Боязливо оглянувшись, подлинный Нытенька обомлел: в хвосте очереди привставали на цыпочки, вытягивали шеи и покачивались его точные копии... Только бы не поддаться на провокацию заигравшегося рассудка, только бы не забыть, что во всей столовой лишь один Нытенька не поддельный, а все остальные... Да это же не люди — это грядущие дни, желающие поскорее быть прожитыми... Хорошо, хорошо, можно для простоты принять их за людей. Вот очередной Нытенька — тот, около кассы, — аккуратно взял в руки свой поднос и начал глазами искать свободное место. В зале несколько десятков

Нытенек сидят за одинаковыми столами и одинаково пережевывают одинаковую пищу. Насытившиеся Нытенки поднимаются со своих мест и тяжело бредут к выходу. Шагают как-то расхлябанно, неумело, а иначе и не получается — настолько силен дух унылой сытости, отравляющий и без того дурной мирок столовой.

Видение растворялось постепенно, нисколько не пугая Нытенку, но волнуня своей откровенностью. Тогда он впервые искренне устыдился однообразия своих дней — прожитых и грядущих. Но вместе с тем появилась и надежда на спасение от этого однообразия — родилось смутное желание искать иные мирки, шагать по ним, придумывая самые разные ритмические и геометрические конструкции. Вот только где искать?

Да в своем же городе...

Неделю спустя Нытенка сделал ошеломляющее открытие: город полон отцовских чувств. Он долгие годы растит давным-давно рожденные мирки — и он прекрасен в своем отцовстве, только никто этого не замечает. А его повзрослевшие дети научены ценить хорошие шаги, ставшие почему-то большой редкостью... Нытенкино открытие послужило началом серьезной научной работы, длившейся уже полгода.

За это время многие улочки, переулки и дворы успели тепло поприветствовать Нытенкины шаги, но в последний месяц они снова затосковали. Нытенка стал появляться заметно реже — его тревожил домашний мирок, менявшийся стремительно и непредсказуемо. Там, в хрущевской двушке, с назойливостью сорной травы плодился абсурд. Заросли его источали дурманящий аромат, от которого ловила кайф Нытенкина теща — душенька Туша Николавна. В ее поведении появилась агрессивная веселость, жутковато сочетавшаяся с грубой импровизацией. Туша и раньше с удовольствием озорничала, но теперь достигла в своих шалостях эдакой виртуозности. Позапрошлой ночью она затаилась в туалете и дождалась, когда Нытенка, сонный и рассеянный, поплетется на кухню, чтобы попить воды. Ловко выскользнув из укрытия, Туша принялась больно тыкать Нытенку кулаком в живот и грудь, приплясывая и хрипло изрекая какие-то скабрёзности. Потом кулак разжался, и получившаяся клешня как-то незаметно оказалась у Нытенки между ног, а он не мог пошевелиться от ужаса. Только неимоверным усилием воли ему удалось выйти из оцепенения, оттолкнуть Тушу и спешно удалиться в комнату, где по-прежнему мирно сопела Ася. Увидев, что она не проснулась, Нытенка облегченно вздохнул.

Кстати, своим дурацким прозвищем Нытенка был обязан именно Туше Николавне. Однажды, разговаривая с матерью по телефону, Нытенка случайно включил громкую связь, и Туша услышала, как та называет его Митенькой. Соблазн исковеркать ласковое обращение оказался непреодолимым. Поначалу Нытенка обижался, но быстро привык, а после, освоив нытку, даже зауважал тещино остроумие. Тушей он нарек ее не в благодарность за обретенное прозвище, а гораздо раньше, еще с первых дней знакомства. Тогда же Туша получила и титул душеньки. Разумеется, ни прозвище, ни титул никогда дома не произносились, а настоящее тещино имя Нытенка подзабыл — все его обращения в разговорах с ней давно приняли безличную форму.

Лихой юношеский драйв, так ярко проявившийся в Тушином поведении, неожиданно передался Асе, хотя раньше она чуралась любого озорства, стыдилась любого намека на импровизацию. Перенимая повадки матери, Ася, по мнению Нытенки, теряла нечто исключительно ценное — тихую текучую женственность, выражавшуюся в глуховатом низком голосе, в манере сидеть за столом, в неуклюжих

жестах и спутанной мимике, в неосознанных ночных подёргиваниях... Сама Ася, в свою очередь, заявляла, что перестала видеть в Нытенке то крючковатое репейное обаяние, не дававшее шанса спрятаться, спастись... Короче говоря, Нытенка и Ася одновременно поняли: пропала неосязаемая щекочущая сцепка, так здорово волновавшая их обоих эти два года. Несколько дней назад Ася, нагло посмеиваясь, предложила наведаться к психотерапевту — Нытенка хотел сходу отринуть глупую идею, но, сообразив, что сам не предложит ничего лучше, согласился.

Назначенные время и место встречи несколько озадачили Нытенку: десять минут восьмого, Вторая женская консультация. С другой стороны, появился повод вспомнить хороший маршрут, которым давно не доводилось бродить. Нытенка прибыл к его конечной точке — крылечку опрятного двухэтажного домика — без восьми минут семь, в строгом соответствии с уточненным расчетом. К домику примыкал небольшой садик, безнадежно заросший тёрном. Нытенка решил подождать Асю здесь, хоть они и договорились встретиться внутри, возле кабинета.

Пройдя в садик и сев на шаткую скамейку, смастеренную, наверное, каким-нибудь местным вахтером еще в советское время, Нытенка погрузился в раздумья о предстоящей беседе.

Что говорить-то? Тушу Николавну, душеньку, ругать? Нет, при Асе нельзя. Можно пообщаться с мозгоправом и без нее, но ведь и вспоминать о том кухонно-туалетном ужасе стыдно, а пересказать его попросту невозможно. Да... А вот любопытно, каким путем лучше пойти отсюда домой? Можно сперва по Глинскому — это где-то нытки три с половиной. Там через левый портал на Титова можно свернуть — по ней еще ныток пять, ну, шесть почти...

Зароились, закружились милые расчеты, но неожиданно свернулись, прерванные чьими-то замечательными шагами.

Они направлялись к крылечку и поражали стройностью геометрии и внятным ритмом. Вот левая ступня касается земли — первая отсечка Нытенкиного хронометра... Вот уже правая ступня легко легла на асфальт в метре от левой — вторая отсечка... «Дельта тэ» между первой и второй — секундочка и одна-две десятых... Снова левая ступня — третья отсечка... Новая «дельта тэ» между второй и третьей в точности равняется предыдущей, а значит, «дельта тэ» — константа.

Что же, кроме шагов? Широкие спокойные плечи — не вздернутые понапрасну туповатым мужским вызовом, который Нытенка часто читал в походке атлетично сложенных людей. На плечах — голова под шапкой черных волос. А каково же лицо? Ни одной внятной черты — вероятно, незнакомцу удалось каким-то образом стереть прежние брови, глаза, нос и рот, а на проработку новых не хватило навыка и пришлось остановиться на блеклом эскизе.

Ну и пускай эскиз. Главное — шаги.

Шаги творили эскизного человека.

Но откуда берутся они сами? Есть, есть же наверняка бесплотный, безязыкий мирок, не имеющий ни протяженности, ни порталов. Там теперь обитает кто-то, кого эскизный человек безвозвратно потерял. По кому истосковался. За кем хочет отправиться... Так вот, кто-то шлет ему из того мирка ритм и геометрию, геометрию и ритм, а здесь два этих сигнала складываются в одну земную сущность и получают шаги...

Эскизный человек взшел по ступенькам и скрылся в темном вестибюльчике. Нытенка еще немного посидел на скамейке, потом поднялся и зашагал к крылечку. Очутившись в зале регистратуры, он взглянул на часы и оторопел: до начала приема

оставалось всего две минуты, а хронометрическое чутье, похоже, бессовестно уснуло, что случалось с ним крайне редко. Ася, по всей видимости, опаздывала — придется начинать одному.

Поднимаясь на второй этаж, Нытенька совершил еще пару попыток сосредоточиться, настроиться на беседу, но вместо этого все отчетливее убеждался в равнодушии к своему домашнему мирку, тоже отравленному, как и мирок столовой, — только не духом унылой сытости, а беспробудной пошлостью.

Дома нечему случиться, нечему произойти.

Не истребить сорную траву абсурда, этого не позволит Тушенька-душенька.

Не потечет женственность тихим ручьем по дну Асиного оврага, не заставит смотреть на себя бесконечно.

Как душно в тебе, мирок, и тесно.

Как скучно, мирок...

Потоптавшись у двери кабинета, Нытенька без стука открыл ее и застыл на пороге.

Поднявшись из-за стола, ему навстречу шагнул эскизный человек. Линию рта он успел доработать до улыбки.

Ну и пускай улыбка. Главное — шаги.

Увлекая за собой Нытеньку, он почему-то направился из кабинета обратно в коридор... По коридору — к лестнице... По лестнице — на первый этаж... Через зал регистратуры — в вестибюльчик... Оттуда — на крылечко... С крылечка — в садик. Здесь шаги сменили ритм и описали небольшой эллипс. Нытенька сел на знакомую шаткую скамейку, с улыбкой наблюдая за построением нового эллипса, полуоси которого, похоже, совпадут по длине и расположению с полуосями первого...

Зазвучал голос эскизного человека — не басовитый и не высокий, не хриплый и не звонкий, без единой характерной нотки. Он хаотично набрасывал фразы одну за одной — то ли сам пока не знал, что из них получится, то ли хитрил и отвлекал Нытеньку от главного...

«Мы с Асей вместе...»

«К матери давай или еще куда... На этой неделе чтобы...»

«Ася ждет... Второй месяц уже...»

Куда это собрался голос с Асей вместе? С какой стати Нытенька должен навестить мать на этой неделе? Чего ждет Ася уже второй месяц?..

Непонятно.

Стерт смысл. Стерт голос. Стерто лицо.

Оставлено главное.

Шаги.

Они неустанно творили эскизного человека, и Нытенька, смущенно улыбаясь, радовался каждому новому эллипсу, снова и снова ставил отсечки, вычислял «дельту тэ» и горячо благодарил ее: как же хорошо, что константа — ты.

Константа.

Константа.

Екатерина Кудрявцева

Мелкая моторика рук

Рассказ

Привычка заслоняться, однако, универсальна, и, вероятно, стоит на защите здравомыслия.

Дневники Вирджинии Вулф

Что меня волнует больше всего? Я думаю, что меня закатало в эти отношения асфальтовым катком: и вот я, как ископаемое или, может быть, осколок стекла, лежу, законсервированная в теплой и мягкой жиже, которая медленно, медленно затвердевает вокруг меня. Скоро я перестану иметь значение, сожмусь в этом холодном, жестком камне, который называется «жизненный опыт другого человека».

Ладно. Что *на самом деле* волнует меня больше всего? Пожалуй, это: мы так и не смогли поговорить о том, что между нами происходило. Если так подумать, нелепейшая вещь: люди вообще редко говорят о том, что их *действительно волнует*.

Занятие 1. Приветствие

Здравствуйте = показывая 5 и 5, крутить руки к себе на уровне груди + мимика

Но стоит сменить язык, — и восприятие мира тоже меняется. Вот, например: в жестовом языке не получается говорить о том, что тебя волнует, с прямым лицом. (*Повторите, пожалуйста, медленно* = «Ч» п. р. по открытой ладони л. р. — сложить руки в молебне и потрясти — п. р. по предплечью л. р., как будто задираешь рукав ме-е-едленно). Мимика, артикуляция, эмоции, пространство, «рисование руками» предметов, людей, ситуаций — важная часть коммуникации. Все это не просто расставляет акценты, но меняет смысл сказанного.

Спасибо = п. р. кулаком от лба к подбородку (как стягиваешь шапку, если ты крестьянин)

Екатерина Кудрявцева — редактор, медиаменеджер и культуролог, блогер. Окончила НИУ ВШЭ (факультет медиакоммуникаций и магистратура по культурологии). Живет в Москве. Первая толстожурнальная публикация автора.

В жестовом языке нет игры слов, привычной звуковому, и это иногда имеет странные последствия: например, я не могу рассказать на ЖЯ ни одного любимого анекдота (эй, верстальщик, наверстай мне упущенное: нет, на жестовом — невозможно). Как оказалось, на жестовом языке тяжело говорить не то, что думаешь.

Как дела? = «К» + «А» + «К» двумя руками — 5 и 5, потрясти пальцами вразнобой и двигать от себя ладонями вниз

Хорошо = «Е» у губ — 5 ладонью к лицу (как жвачка лопается у рта)

Казалось бы, между нами не лежала никакая языковая или культурная яма. Мы говорили (могли говорить!) на одном языке, но он как будто бы скручивался в жгут, до последней степени искривляя смысл сказанного. У нас не было привычки обсуждать важное, и в какой-то момент оно, невысказанное, осевшее, тяжелое, вытянуло весь воздух между нами.

Я чувствую себя обманутой. Не потому, что ты врала мне, — это слово предполагает злую волю. Ты не была честна, но и это не преступление. Проблема в другом: ты вела себя так, как будто ты была в меня влюблена. Уже в том, как я формулирую это предложение, заложена червоточинка, трещина, расшибшая фундамент, — ты не была в меня влюблена.

Кстати, *обманывать* = п. р. знак V положить на запястье л. р., сжатой в кулак ладонью вниз, но это было сильно позже. А пока —

Занятие 2. Люди

Ты — пальцем в конкретного человека

Я — пальцем на себя

Сначала мы общались, как и положено знакомым, коллегам, может быть, случайным, но регулярным встречным. Люди (*человек* = п. р. «Э» сверху вниз, как столбик; *люди* = человек двумя руками по количеству присутствующих людей), связанные формальным знакомством, вертятся по независимым орбитам: дышат своим воздухом, поддерживают свои экосистемы. Но в какой-то момент все изменилось на уровне языка твоего тела: оно стало ближе, оно словно развернулось ко мне целиком, наполнило пространство между нами чем-то живым, эмоциональным и красивым. Наша самодостаточность пошатнулась: наши тела тянулись друг к другу, нарушали все заветы не-близости. Мы не обсуждали это, не превращали в слова, которые можно перевернуть, извратить, использовать против. Мы наслаждались общением наших тел, и какое-то время этого было вполне достаточно.

Меня — «В» к себе ковшиком

Вы — «В» вперед ладонью вверх

Мы — Вы + я (после «Вы» сделать круг к себе)

Иногда наше желание оставить все как есть (или нежелание сделать шаг?) давало сбой. Вот, например: семь утра, мы в парке, мы гуляли всю ночь, смеялись над фигней, много обнимались. К тому, как мы двигались, можно придраться — но мы решили этого не делать.

Друг = согнутым локтем движение к себе (как «ходить под ручку»)

Дружба = п. р. в л. р. и потрясти

Дальше: во тьме какого-то концерта ты берешь меня за руку и смотришь так, что даже стенам рядом с нами становится понятно: наша история только что разветвилась на две; одна — простая и привычная, без двойного дна, а вторая — пока только возможность, дымка, Марианская впадина неизвестности. На следующий день я решаю забыть об этом, смахнуть под ковер обыденности, в которую такие события не вписываются.

Начало = л. р. «В» ладонь от себя + п. р. цифра 1 вверх вдоль ладони (росток растет вверх)

Попробовать = б. п. у подбородка постучать несколько раз

Пройдет немного времени, и ты позовешь меня с собой (куда? допустим, к себе домой), и я откажусь. Потом откажусь еще раз.

Если бы я искала метафору для этих отношений, лучше всего подошла бы игра в морской бой. Вы обе знаете правила и расчерчиваете поле. Вполне вероятно, делаете это на паре или, скажем, на работе: так в игру добавляется перчинка запретности — ощущение, что это касается не только вас, что вы сможете переглядываться над головами ни о чем не догадывающихся друзей и коллег, что у каждой вашей беседы будет двойной смысл. Вас могут поймать и сделать ата-та. Но это ата-та не имеет ничего общего с той игрой, что происходит между вами. Мимо. Мимо. Ранила. Убила. Ты промахиваешься один раз, второй, третий.

Вы замечали, что по правилам морского боя нельзя защищать свои корабли? Нужно атаковать и разрушить корабли другого как можно быстрее. Мне нравится думать, что в этой игре меня не победить, но с тобой я играю не по правилам: я защищаю свои корабли, потому что знаю: ты уже настраиваешь гаубицу, ты будешь сильнее меня, и мой флот этого не перенесет.

Мой = ковшиком к груди

Твой = ковшиком от себя к тому, чье

Свой = 5 бол. п. п. р. к подбородку — вложить «Е» в раскрытую ладонь л. р.

Для языка важны метафоры — мы структурируем и познаем мир, раскладывая предметы, мысли и действия по принципу схожести. Но в жестовом языке метафора — основа словотворчества. Руками, мимикой, положением тела в пространстве мы повторяем форму объектов реального мира или передаем их идею: в процессе говорения ты должен стать схожим с тем, о чем говоришь.

Я веду себя как человек, которому все равно, но мне это не помогает. Язык моего тела не становится реальностью — мне не все равно.

Поэтому дальше будет так: однажды ты позовешь меня с собой и я соглашусь — мое тело потянется к тебе, и я перестану сопротивляться. Мы не говорим о том, что происходит, зато наши тела выполняют набор движений, вполне соответствующих ситуации.

Занятие 3. Знакомство

Добрый (молодец, ласково и кошка) = погладить п. р. тыльную сторону л. р.
Утро = «В» вверх от подбородка сбоку лица (солнце всходит или глазки открываются)
Вечер = л. р. домиком, п. р. поверх л. р. домиком (закат)
Можно = «А» двумя руками вниз кистями (как на мотоцикле газ)
Нельзя = «А» и «А» друг от друга в стороны

Итак, следующий слайд. Ты зовешь меня к себе, ты обнимаешь меня, ты фотографируешь меня, ты выбираешь для нас фильм и накрываешь на стол. Даже грамматически уже понятно, что в этой ситуации не так: я замираю и позволяю тебе со мной *случиться*.

Кто? = «К» потрясти
Что? = 1 потрясти влево-вправо
Почему? = 1 «сверло» вверх

Мы гуляем под мокрым декабрьским снегом, ловим снежинки, скользим по тротуарам, заваливаемся куда-то на завтрак, ходим на выставки, пьем вино — мы делали это и раньше, но теперь это «мы» совершенно другого качества.

«Мы» — одно из базовых слов в любом языке, и удивительно, насколько такая простая вещь может потрясти. Меня воодушевляет это «мы», меня расстраивает, что предыдущего «мы» уже не вернуть. Наше «мы» — всплеск, вспышка, сдвиг по фазе, боковое ответвление основного сюжета.

Потом: ты уйдешь с вечеринки раньше меня, ты пропадешь на пару дней, ты здороваешься со мной и согласишься в сторону. Ты увлечешься своей жизнью, и в этом нет ничего плохого, кроме одного «но», — в твою жизнь, в твое представление о жизни не вписываюсь я. И я потеряю время и — немного, а может быть, много (*много = 5 волной по горлу, «я в этом по шее»*) — себя.

У меня было твое внимание, твой интерес во мне — я пила их, словно воду, но в какой-то момент начала захлебываться. Я чувствовала, будто бы поддаюсь шантажу, рассказываю свои секреты человеку, который никогда не выдаст мне своих. Я понимаю, что в этой ситуации всегда был — и будет — один проигравший.

Я решаю сделать последнюю попытку, последний жест — чего? Влюбленности? Я стряхиваю с себя равнодушие, я звоню тебе и говорю — давай я приеду.

Любовь = жестом «Хорошо» большими пальцами двух рук рисуем сердце на груди
Будущее = «Будет» 2 раза

Ты говоришь — не надо.

Занятие 4. Эмоции

Обида = у. п. в щеку
Злость = кулаком круги по груди («от злости все кипит внутри»)
Волнение = 5, круги по груди

И вот еще хорошее: *Блядь = «Б» на уровне губ потрясти вперед-назад экспрессивно*

Занятие 5. Время

Секунда = «С» вниз по диагонали

Минута = «М» подчеркивание

Час = б. п. круг по часовой стрелке

Неделя = б. п. вниз по диагонали

Месяц = б. п. полумесяц от подбородка до лба

Все обрывается на фразе «пожалуй, нам нужно поговорить». С тех пор мы общаемся (*разговаривать = «Р» двумя руками вперед-назад*), как будто между нами никогда не было ничего важного. Как будто ты не проснулась однажды и не решила, что идея меня была для тебя намного интереснее, чем я. Я живу, зная, что так тоже бывает: что иногда люди смотрят на одну и ту же ситуацию и видят в ней совершенно разные истории.

Если глухого ребенка с детства учат устной речи, то он станет разговаривать и думать словами. Если же глухой ребенок сначала научится общаться на жестовом языке, устный язык будет для него как бы иностранным (то есть вторым). Это билингвальность, но с тонкостями: жестовый язык предполагает другую форму мышления. Например, в нем пространство и время — тоже смысловые категории языка, как в звуковых языках — слова. Похожий жест можно показать быстро — и у него будет одно значение, медленно — другое. От скорости и размаха движений может поменяться настроение сказанного.

Мысль, которая меня поражает особенно: — если ребенка учат в первую очередь общаться на жестовом языке, он на нем думает, видит сны, мечтает. Но у глухих людей нет внутреннего голоса. Например, из-за этого они не любят читать. Для тех, у кого звуковая речь — первый язык, внутренний диалог, в том числе чтение, — слова, произносимые беззвучно, — «разговор про себя». Глухие и слабослышащие (люди с кохлеарными имплантами или слуховыми аппаратами), которые слышали звуки и голоса, могут «воображать звук», образ звука. Но это жизнь без внутренних монологов. Если глухой хорошо выучит русский (или любой другой) звуковой язык, то сможет на нем думать — примерно, как мы можем думать на иностранном языке, если знаем его достаточно хорошо.

Жестовый язык — один из самых ярких примеров того, как язык определяет мышление. Однажды я захотела рассказать, как из старой книги выпадают страницы: я не знала нужных слов, но смогла сделать так, чтобы меня поняли (книга — открываю книгу — вынимаю страницу — удивленное лицо). И вот другой пример: я была в тебя влюблена. Но в то же время — нет, да и не могла быть, ведь у меня не находилось слов, чтобы об этом рассказать, а значит, не было возможности это осознать. В конце концов тот, кто действительно хочет нарушить молчание, всегда находит слова.

Джуди Баталион

Свет грядущих дней

*Неизвестные истории женщин — участниц Сопротивления
в гитлеровских гетто*

С английского. Перевод Ирины Дорониной

*Посвящается светлой памяти моей бабули Зельды
и моим дочерям, Зельде и Билли. L'dor v'dor... Chazak
V'Amatz¹.*

*Всем польским еврейкам, участвовавшим
в сопротивлении нацистскому режиму.*

Варшава, с заплаканным лицом,
С могилами на каждом уличном углу,
Переживёт своих врагов
И увидит свет грядущих дней.

*Из «Молитвы» — песни, посвященной восстанию
в Варшавском гетто и завоевавшей первую премию
на песенном конкурсе, состоявшемся в гетто. Песня
написана еврейской девушкой накануне смерти,
опубликована в книге «Женщины в гетто»².*

Вступление: сорвиголовы

В читальном зале Британской библиотеки пахло старыми книгами. Я смотрела на стопку заказанных мною изданий о женщинах в истории и взбадривала себя: книг *не слишком* много, нетрудно *одолеть*. Та, что лежала в самом низу, была наиболее необычной: в твердом переплете, обтянутом потрепанной синей тканью, с пожелтевшими необрезанными краями. Я открыла ее первой и увидела две сотни страниц... на идише. Этот язык я знала, но не пользовалась им более пятнадцати лет.

Джуди Баталион родилась в Монреале, с детства говорила на английском, французском, иврите и идише. Автор книги *White Walls: A Memoir About Motherhood, Daughterhood, and the Mess in Between* («Белые стены: воспоминания о материнстве, детстве и неразберихе между ними»). Эссе печатались в *New York Times*, *Washington Post*, *Forward*, *Vogue* и многих других изданиях. Имеет гарвардскую степень бакалавра по истории науки и степень доктора по истории искусств, полученную в Институте истории искусства Лондонского университета; работала музейным куратором, преподавала в университете. Живет в Нью-Йорке.

¹ От поколения к поколению... Будьте сильными и смелыми... (*иврит*) (*Здесь и далее прим. переводчика.*)

² *Freuen in di Ghettos* (NY, 1946, на идиш).

Я уже было решила положить книгу обратно в стопку. Но что-то заставило меня начать листать ее, я прочла несколько страниц. Потом еще несколько. Я ожидала скучных агиографических плачей и туманных талмудистских дискуссий о женской стойкости и отваге, но вместо этого нашла рассказы о женщинах и... диверсиях, ружьях, маскировке, динамите. Это был настоящий триллер.

Неужели все описанное правда?

Я была потрясена.

* * *

Я давно искала образы сильных еврейских женщин.

<...> Той весной 2007 года, в Лондоне, я пришла в Британскую библиотеку, чтобы найти дополнительную информацию о Хане Сенеш, поискать более подробные свидетельства о ее личности. Как выяснилось, о ней написано не так уж много книг, поэтому я заказала все, в которых упоминалось ее имя. Одна из них оказалась на идише. И я чуть было не отложила ее, не прочитав.

Вместо нее я сначала взяла другую, «Женщины в гетто» («Freuen in di Ghetτος»), опубликованную в Нью-Йорке в 1946 году, и стала перелистывать страницы. В 185-страничной антологии Хана упоминалась только в последней главе. До этого 170 страниц были наполнены историями других женщин — десятков неизвестных молодых евреек, которые боролись против нацистов, большинство из них жили в польских гетто. Эти «девушки из гетто» подкупали гестаповских надзирателей, прятали пистолеты в буханках хлеба и помогали строить системы подземных бункеров. Они флиртовали с нацистами, соблазняли их вином, виски, сладостями и, притупив их бдительность, убивали. Они занимались шпионажем для Москвы, изготавливали фальшивые документы, подпольно печатали листовки и распространяли правду о том, что происходило с евреями. Они помогали больным и учили детей, взрывали немецкие железнодорожные линии и виленскую систему электроснабжения. Одевшись не по-еврейски, они нанимались горничными в дома арийской части города, помогали евреям бежать из гетто по канавам и дымоходам, выдалбливая отверстия в стенах и пробираясь по крышам. Они давали взятки карателям, слушали подпольное радио и писали радиобюллетени, поддерживали моральные стандарты в общине, вели переговоры с польскими землевладельцами, хитростью подбивали гестаповцев проносить чемоданы, набитые оружием, через контрольные посты, организовали анти-нацистскую группу в среде самих нацистов и, разумеется, участвовали в общем руководстве подпольем.

За все годы своего еврейского образования я никогда не читала ничего столь потрясающего по обыденности подробностей повседневной жизни и одновременно по беспримерной отваге воюющих женщин. Я понятия не имела ни о том, как много евреек участвовало в Сопротивлении, ни о том, как велик был их вклад в борьбу.

Эти документальные очерки не просто потрясли меня, они тронули меня лично, перевернули мои представления об истории моего народа. Я происхожу из семьи польских евреев, переживших Холокост. Моя бабуля Зельда (в честь которой я назвала свою старшую дочь) не участвовала в Сопротивлении, и мое понимание выживания сформировалось под воздействием истории ее успешного, но трагического спасения. Она — с ее высокими скулами и курносым носиком совсем не похожая на еврейку — бежала из оккупированной Варшавы, вплавь перебралась через несколько маленьких речек, пряталась в монастыре, пофлиртовала с каким-то нацистом, который посмотрел сквозь пальцы на то, как она забиралась в грузовик, перевозивший апельсины на восток, и в конце концов нелегально перешла границу с Россией, где — по иронии судьбы — жизнь ей спасло то, что она была отправлена в сибирский трудовой лагерь. Моя бабуля была сильной, как бык, но она потеряла родителей и трех из четырех своих сестер, все они остались в Варшаве. Эту жуткую историю со слезами ярости в глазах

она рассказывала мне каждый день, когда мы бывали с ней дома одни после моего возвращения из школы. Монреальская еврейская община, в которой я выросла, состояла в основном из семей, которым удалось спастись от Холокоста; их истории, так же, как история моей семьи, исходили той же болью и теми же страданиями. Мои гены были проштампованы — даже изменены, как полагают современные нейробиологи, — травмой. Я росла, окруженная аурой перенесенных мучений и страха.

А здесь, в этой книге, была описана другая история женщин военного времени, и она меня ошеломила. Здесь речь шла о женщинах, которые действовали с яростью и мужеством, даже с жестокостью, занимаясь контрабандой, добывая секретную информацию, устраивая диверсии и участвуя в боях; они гордились своей опасной деятельностью. Авторы этой книги не зывали к состраданию, они славили активность и бесстрашие. Женщины, зачастую умиравшие от голода и пыток, проявляли храбрость и дерзость. У некоторых из них была возможность спастись бегством, но они ее отвергли, а иные даже предпочли вернуться в это пекло и сражаться. Моя бабуля была моей героиней, но что было бы, если бы она решила рискнуть жизнью, остаться и принять участие в борьбе? Меня преследовал вопрос: как бы поступила я в подобной ситуации? Боролась бы или убежала?

* * *

Поначалу я думала, что несколько десятков женщин — бойцов движения Сопротивления, упомянутые в книге, исчерпывают их общее число. Но стоило мне углубиться в эту тему, как невероятные истории о женщинах, участвовавших в борьбе, стали появляться из каждого угла, я находила их в архивах, каталогах, получала от незнакомцев истории жизни их семей по электронной почте. Я обнаружила десятки женских воспоминаний, опубликованных маленькими издательствами, и сотни личных свидетельств, относящихся к периоду от 1940 года до наших дней, написанных на иврите, польском, русском, немецком, французском, голландском, датском, греческом, итальянском и английском языках.

Ученые, изучающие трагедию Холокоста, спорили, что «можно считать» явлениями еврейского Сопротивления. Многие давали этому явлению самое широкое определение: любое действие, утверждающее человеческое достоинство еврея, любое персональное или коллективное действие, даже непреднамеренное, которое отрицает политику и идеологию нацизма, — пусть это будет даже просто сохранение собственной жизни. Другие считали, что такое слишком общее определение умаляет заслугу тех, кто рисковал жизнью, активно противодействуя режиму, и что есть разница между сопротивлением и сопротивляемостью.

Проявления непокорности в среде польских евреек — мои изыскания сосредоточивались на Польше — имели очень широкий диапазон: от изощренно продуманных и тщательно распланированных операций вроде накопления большого количества динамита и устройства диверсий до простых и непроизвольных действий, иногда напоминавших фарс, — с маскировкой, переодеваниями или когда кто-то, кусаясь и царапаясь, всего лишь вывертывался из рук фашистов. Для многих целью было — прятать евреев; для других — умереть с достоинством и передать это достоинство в наследство потомкам. В книге «Женщины в гетто» освещалась деятельность «женщин-борцов» — подпольщиц, вышедших из еврейских молодежных организаций и работавших в гетто. Эти молодые женщины были бойцами, издателями подпольных бюллетеней и социальными активистками. В частности женщины составляли подавляющее большинство связных, или курьеров, игравших особую роль в самом сердце всех операций. Они переодевались, выдавая себя за неевреек, и перемещались между огороженной зоной гетто и остальной частью города, тайно переправляя людей, собирая информацию, переноса деньги, документы, оружие, — многое из всего этого они добывали сами.

Кроме того, еврейки убегали из гетто в леса и присоединялись к партизанским отрядам, в составе которых совершали диверсии и ходили в разведку. Случались единичные, «неорганизованные» акты сопротивления. Некоторые польские еврейки вступали в иностранные отряды Сопротивления, между тем как другие работали в польском подполье. Женщины создали сеть убежищ, чтобы помогать евреям прятаться и бежать. И наконец, они сопротивлялись морально, духовно, сохраняя и помогая другим сохранять свою культуру и национальную идентичность: распространяли еврейские книги, шутками подбадривали тех, кого спасали, обнимали и согревали своим теплом соседей по баракам, устраивали бесплатные столовые для сирот. Иногда эта деятельность была организованной, публичной, хоть и незаконной, иногда — сокрытым делом частных лиц.

Через несколько месяцев после начала своего исследования я столкнулась с тем, что обладаю настоящим сокровищем для писателя, которое в то же время представляет для него вызов: я собрала невероятных историй сопротивления больше, чем могла бы себе представить. Как мне было выбрать среди них главных героинь и уместить весь материал в одну книгу?

В конце концов я решила последовать примеру той книги, которая меня вдохновила, *Freuen*, в фокусе которой — женщины из молодежных организаций «Свобода» (Dror) и «Юный страж» (Hashomer Hatzair), ставшие участницами Сопротивления в гетто. Центральный и самый большой ее фрагмент написан связной, которая подписалась именем «Реня К.». Реня вызвала во мне чувство личной симпатии — не потому, что была самой известной, боевой или харизматичной, а как раз по противоположной причине. Реня не была ни идеалисткой, ни революционеркой, она была здравомыслящей девушкой из среднего класса, внезапно очутившейся в бесчеловечной ситуации, и оказалась на высоте, движимая внутренним чувством справедливости и гневом. Меня захватили ее потрясающие рассказы о тайных переходах границ, контрабандных доставках гранат, о других подробностях ее подпольной работы. В двадцатилетнем возрасте Реня описала опыт предыдущих пяти лет своей жизни в спокойно-сдержанной, раздумчивой прозе, блещущей короткими живыми характеристиками, откровенными впечатлениями и даже остроумием.

Позднее выяснилось, что очерк Рени в *Freuen* — это отрывок из длинной рукописи воспоминаний, которую она написала по-польски и которая была в 1945 году издана на иврите в Палестине. Ее книга стала одним из первых (некоторые считают, что самым первым) «полнометражных» личных повествований о Холокосте. В 1947 году еврейское издательство, расположенное в центре Нью-Йорка, выпустило ее английскую версию с предисловием знаменитого переводчика. Но вскоре после этого и сама книга, и мир, в ней описанный, канули в забвение. Ее название мелькало иногда лишь в случайных упоминаниях или в примечаниях к трудам ученых. И я решила перевести историю Рени из примечаний в основной текст, приподнять завесу над этой безымянной до поры женщиной, продемонстрировавшей поразительное мужество. Чтобы понять широту и размах женской отваги, я глубоко внедрилась в ее рассказы о сопротивлении польских евреек из разных подпольных движений, выполнявших всевозможные миссии.

* * *

Еврейский фольклор изобилует историями о победах слабейшего: Давид и Голиаф, израильские рабы, добившиеся у фараона разрешения на Исход, свержение маккавеями греко-сирийского владычества.

Здесь история другая.

Сопротивление польских евреев не одержало особенно громких побед, если рассуждать в военных терминах — убитых нацистов и спасенных евреев.

Но *усилия*, которые они приложили, сопротивляясь, были больше и лучше

организованы, чем я себе могла даже представить, и конечно, они были колоссальными по сравнению с теми рассказами о Холокосте, с которыми я выросла. Вооруженные подпольные еврейские группировки действовали более чем в девяноста восточноевропейских гетто. «Мелкие диверсии» и восстания имели место в Варшаве, а также в Бендзине, Вильно, Белостоке, Кракове, Львове, Ченстохове, Сосновце и Тарнове. Вооруженные бойцы еврейского Сопротивления совершали побеги минимум из пяти главных концлагерей и лагерей смерти, в том числе из Освенцима, Трешлинка и Собибора, а также из восемнадцати лагерей принудительного труда. Тридцать тысяч евреев сражались в лесных партизанских отрядах. Организованная еврейская сеть оказывала финансовую поддержку двенадцати тысячам прятавшихся евреев только в Варшаве. И это не считая бесконечных примеров ежедневных актов неповиновения.

Почему, спрашивала я себя, я никогда обо всем этом не слышала? Почему я никогда не слышала о сотнях, даже тысячах еврейских женщин, которые участвовали во всех формах этого сопротивления, а иногда и возглавляли его? Почему *Freuen* — название, которое почти никому ничего не говорит, вместо того чтобы входить в список классической литературы о Холокосте?

Как я убедилась, многие факторы, как личные, так и политические, повлияли на то, какими путями шло развитие знания о Холокосте. Наша коллективная память формировалась под эгидой всеобщего сопротивления Сопротивлению. Молчание — способ повлиять на восприятие и переориентировать власть, и оно по-разному десятилетиями действовало в Польше, Израиле и Северной Америке. Молчание — также средство для того, чтобы справиться и жить дальше.

Но даже когда рассказчики шли против течения и публиковали истории о Сопротивлении, женщинам в них уделялось мало внимания. В редких случаях, когда авторы все же включали женских персонажей в свои сочинения, те чаще всего изображались по известным шаблонам. В захватывающем телефильме 2001 года «Восстание» — о Варшавском гетто — женские персонажи присутствуют, но в классически искаженном виде. Большей частью это второстепенные действующие лица, «подруги» героев. Единственная активно действующая женщина в фильме — Тося Альтман, и хотя показано, как она бесстрашно перевозит оружие для подпольщиков, сама она изображена как красивая робкая девушка, заботящаяся о своем больном отце, со всегда широко открытыми наивными глазами и кроткой речью, девушка, которую просто подхватило общим вихрем Сопротивления. На самом деле Тося была одним из лидеров «Юного стража», молодежного движения, существовавшего еще до войны; ее биограф подчеркивает, что она пользовалась репутацией энергичной «эффектной и дерзкой девушки». Переписав ее биографию, авторы фильма не просто исказили ее характер, но и стерли, словно ластиком с бумаги, целый мир еврейского женского образования, воспитания и труда, который сформировал Тосю.

Нет нужды говорить, что еврейское сопротивление нацистам в Польше не являлось радикальной сугубо женской, так сказать, феминистской миссией. Мужчины были бойцами, лидерами и военными командирами. Но благодаря принадлежности к женскому полу и умению маскировать свое еврейство, женщины уникально подходили для некоторых важнейших и опасных для жизни заданий, в особенности для роли связных. Как сказала участница Сопротивления Хайка Гроссман: «Еврейские девчонки были главным нервом Движения».

* * *

Знаменитый летописец Варшавского гетто Эмануэль Рингельблюм писал о девушках-связных того времени: «Без звука, без малейших колебаний, они брали на себя и выполняли самые опасные задания... Сколько раз смотрели они в глаза смерти!.. Деяния еврейских женщин станут славной страницей в истории еврейства времен нынешней войны».

Тогда, в 1946 году, единственной целью *Freuen* было рассказать американским евреям о невероятных усилиях еврейских женщин из гетто. Авторы книги просто хотели, чтобы имена этих женщин стали «домашними» для читателей, предполагая, что будущие историки создадут полную и подробную карту этой удивительной территории. Ружка Корчак написала: эти истории участия еврейских женщин в Сопротивлении являются «нашим великим национальным достоянием» и должны стать существенной частью еврейского фольклора.

Но и семьдесят пять лет спустя их героини по-прежнему остаются безвестными, а страницы о них в книге вечной памяти ненаписанными.

Так было до сих пор.

«Это были не люди — наверное, дьяволицы или богини. Невозмутимые. Ловкие, как циркачки. Часто они палили из пистолетов с обеих рук. Свирепые в бою до самого своего конца. Приблизиться к ним было опасно. Одна девушка из Гехалуца, будучи схваченной, казалась испуганной. Окончательно смилившейся. А потом вдруг, когда группа наших подошла к ней на расстояние нескольких шагов, выхватила из-под юбки или из-за пояса реикуз ручную гранату и положила всех эсэсовцев, осыпая их отборной бранью до десятого колена, — у вас волосы встали бы дыбом! Мы терпели большие потери от подобных ситуаций, поэтому я отдал приказ не брать девушек в плен, не подпускать их к себе на близкое расстояние, а издали расстреливать из пистолетов-пулеметов».

Нацистский командир Юрген Струн

Глава 19

«Свобода» в лесах — партизаны

Реня, Фая, Витка и Зельда,
июнь 1943

Заканчивалась весна 1943 года, когда голубоглазый блондин Марек Фольман вернулся в Бендзин из Варшавы в возбуждении от недавнего восстания и собственного успеха. Несколькоими месяцами раньше Марек с братом под видом поляков вступили в партизанский отряд, действовавший на территории центральной Польши. Партизаны нападали на немецкие казармы, закладывали мины под военные составы, поджигали административные здания. Брат Марека трагически погиб — был убит в перестрелке, — но погиб, сражаясь. Реня слушала рассказы Марека, и каждое слово ей казалось чудом.

Теперь у Марека был план. Его партизанский отряд не принимал евреев, но он был на связи с польским офицером по кличке Соха, тот хотел помочь заглембским евреям присоединиться к местным отрядам, которые согласились бы их принять. Соха с семьей жил в Бендзине.

Весь кибуц пришел в возбуждение. Поначалу их философией было — бороться в гетто как евреи. Но по мере того как ликвидации набирали силу и шансы на эффективное восстание иссякали, у товарищей оставался небогатый выбор. Присоединиться к партизанам означало получить золотую возможность действовать. Они пытались войти в контакт с партизанскими отрядами, но ни одна попытка не увенчалась успехом.

Кем был этот поляк, выразивший желание им помочь? Марек и Цви Брандесу поручили прояснить ситуацию. Они отправились в скромную квартиру Сохи. Дети, плачущие от голода, жена — типичная крестьянка, обычное трудовое семейство. Соха произвел на ребят положительное впечатление.

И они сказали — да. Мы пойдем с тобой.

ZOB решил послать по несколько членов от каждого движения. Только мужчин, у некоторых было оружие. Им предстояло выйти из гетто, снять свои еврейские звезды и в условленном месте встретиться с Сохой, который должен был вывести их в лес. Ребят попросили дать знать, когда они придут на место.

Через неделю, показавшуюся необычайно долгой, прошел слух, что Соха вернулся в город. Члены кибуца не хотели давать ему свой адрес, поэтому Марек сам в волнении отправился к нему домой.

У Сохи были хорошие новости: товарищи благополучно прибыли на место, и их приняли с распростертыми объятиями. Они каждый день совершают вместе с остальными вылазки против немцев. Соха извинился: все были так взволнованы, что забыли написать.

Наконец! Воодушевленные, члены ZOB'a приготовились к отправке второй группы. В преддверии неминуемой депортации все умоляли включить их в нее. В том числе Реня, которой не терпелось что-то *делать*, действовать, бороться.

Огласили список. От «Юного стража»: возлюбленный Хайки Клингер, активист Давид Козловский, а также Хеля Касенгольд, которую Хайка охарактеризовала как символ военного поколения девушек: «Ее — в высоких сапогах, в галифе, с пистолетом — трудно было принять за женщину». От «Свободы»: Цыпора Мардер и пять мужчин. И еще один приютский мальчик из «Атида». И снова уходящих просили написать, когда они доберутся до места, и сообщить, когда можно готовить следующую группу. Остававшиеся, с завистью, но исполненные надежды, наблюдали, как новая группа упаковывает спичечные коробки с пулями; все выпили водки в честь события.

Однако Реня была убита, не обнаружив себя в списке. Фрумка и Хершель объяснили ей, что она нужна ZOB'у, чтобы совершить несколько вояжей в Варшаву за оружием, особенно теперь, когда бойцы, отправляясь в лес, забирают с собой оружие. Только после этого Реня тоже сможет уйти в партизаны.

Реня вздохнула. Она все понимала. Но как бы ей хотелось, как она надеялась участвовать в активной борьбе!

* * *

Вступить в партизанскую бригаду было невероятно сложно, особенно еврейской женщине. Хотя существовало много партизанских отрядов, каждый со своим «символом веры» и философией, в двух вещах сходились все. Во-первых, они не принимали евреев, по националистическим соображениям — точнее, из-за антисемитизма — или просто потому, что не верили, будто евреи смогут сражаться. Большинство евреев приходили в леса без оружия и военной подготовки, в состоянии острого физического и морального расстройств, и их рассматривали как обузу. Во-вторых, женщины не считались «боевым ресурсом» и годились, как было принято полагать, только для стирки, стирки и ухода за ранеными.

Несмотря на это, около тридцати тысяч евреев влилось в партизанское движение, зачастую скрывая свое еврейство или двойным усердием завоевывая себе место в отряде. Десять процентов из них составляли женщины. Большинство еврейских женщин сражались в отрядах, действовавших на востоке; их побег обычно планировался заранее. Вступление в партизаны зачастую было для них единственным шансом выжить, поэтому они с готовностью рисковали.

А опасным для жизни было уже само попадание в партизанский лагерь. В женщине могли распознать еврейку и сдать ее полиции или убить по дороге из-за антисемитизма, подхлестнутого политикой нацистов. Партизаны нередко стреляли без разбору в любого чужака, в том числе в евреев-беглецов. В некоторых партизанских соединениях женщин подозревали в том, что они нацистские шпионки. Одному

партизанскому командиру сказали, будто гестапо послало несколько женщин отравить их продуктовые запасы, поэтому его отряд расстрелял целую группу евреек, приблизившихся к месту его расположения. Леса кишели бандитами, шпионами, нацистскими коллаборационистами и враждебно настроенными крестьянами, которые боялись немцев. Партизаны и сами могли проявлять жестокость. Многих женщин насиловали.

Большинство довоенного еврейского населения Польши было городским. Для них лес с его зверями и насекомыми, водоемами и болотами, ледяными зимами и знойными летами был другой вселенной, постоянно причиняющей физический и психологический дискомфорт. Женщин там ждали одиночество и незащищенность. Партизаны, обычно называвшие женщин «шлюхами», нередко отсылали их обратно, если те не обладали медицинскими навыками или умениями стряпухи — или не были достаточно привлекательными. Большинство евреек, будучи зависимыми от мужчин, вынуждены были торговать собой в обмен на одежду, обувь, жилье. Некоторым приходилось соглашаться на «благодарственный секс» с проводником, приведшим их в лес. По ночам на партизанские лагеря иногда совершали налеты, так что женщине необходимо было спать рядом с каким-нибудь защитником. Как жаловалась одна из партизанок: «Чтобы иметь хоть относительный покой днем, мне приходилось соглашаться на “отсутствие покоя” ночью». Процветала экономика по принципу «секс в обмен на защиту»: он защищает ее, она становится его девушкой. Одна еврейка вспоминала, что ей сразу же велели «выбрать себе офицера», другая писала, что один советский партизанский отряд «захватывал женщин специально для секса». «Изнасилованием я бы это не назвала, — добавляла она, — но это было весьма близко». Однажды командир этого отряда вошел в палатку, где она мылась вместе с другими девушками; одна из них бросила в него ведро с водой. Он открыл стрельбу. Многие женщины были вынуждены сходить с каким-нибудь мужчиной только для того, чтобы *другие* прекратили преследовать их.

Интимные отношения были сложными во многих отношениях. Во-первых, эти травмированные, скорбящие женщины и девушки совсем незадолго до того потеряли всю семью и не были склонны к романтике. Во-вторых, имели значение социально-классовые различия. В довоенной жизни городские еврейки имели образование и амбиции представительниц среднего класса. Партизаны же по большей части были неграмотными крестьянами. Городские мужчины из элиты общества в лесу были «бесполезны»; лишь сильный мужчина с ружьем обладал реальным статусом. Женщины вынуждены были не только скрывать свое еврейство, но и менять свои более космополитические убеждения, свое поведение и манеру речи.

Несмотря на все это, многие женщины становились «фронтовыми женами» командиров. Иногда вследствие этого рождалась настоящая любовь, чаще — нет. Аборты, которые делались без обезболивания, в землянках, были явлением заурядным. Капитан Фанни Соломян Лутц, еврейка, физиотерапевт по специальности, стала главным врачом партизанской бригады, базировавшейся под Пинском; она экспериментировала с травяными настоями, сделанными из растений, собранных в лесу, и сделала немало успешных аборт с использованием хинина, хотя неоднократно результатом становилась смерть на операционном столе.

Большинство еврейских женщин-партизан поступались своей идентичностью и полагались на мужчин. Имевшееся у них оружие конфисковывалось, их заставляли тачать кожаные сапоги для бойцов, стряпать и стирать, отчего у них шелушилась и трескалась кожа на руках. Стряпня в лесу тоже была нелегким занятием: женщинам приходилось заготавливать дрова для костра, носить воду и проявлять невероятную изобретательность в условиях скудных запасов провианта. В штабах отрядов женщины служили канцеляристками, стенографистками и переводчицами, небольшое количество женщин были врачами и медсестрами.

Встречались, однако, среди еврейских женщин и исключения: некоторые были спецагентами, разведчицами, фуражирами, перевозчицами оружия, диверсантами, поисковиками беглых военнопленных, а также полноправными лесными бойцами. Местные крестьяне испытывали шок, когда они появлялись — во всеоружии, с винтовками, а иногда и с детьми за спиной.

Фая Шульман, последовательница ортодоксального модернизма¹, была фотографом из города Ленин у восточной границы. От массового расстрела, в котором погибло 1850 евреев, в том числе ее семья, Фаю спасло ее «полезное ремесло» — ее заставили проявлять фотографии нацистских истязаний евреев. Сознавая, что и ее конец близок, Фая убежала в лес и умолила командира взять ее в партизанский отряд. Зная, что она — родственница врача, тот определил ее в медсестры. Фая совершенно не разбиралась в медицине, но быстро преодолела брезгливость и психологический надрыв. Кровь раненых казалась ей кровью ее матери и вызывала картины убийства каждого из членов ее семьи. Однако под руководством ветеринара она научилась делать операции — под открытым небом, на операционном столе, сооруженном из веток, используя водку, чтобы притупить боль у раненого, которому ей предстояло зубами отхватить палец; а однажды она таким же образом вскрыла собственную загноившуюся плоть, прежде чем кто-нибудь успел заметить, что у нее лихорадка, и избавиться от нее как от обузы. В свои девятнадцать лет Фая носила в себе свой собственный мир и была постоянно вынуждена принимать решения, чреватые выбором между жизнью и смертью.

Фая настояла на участии в боях и на совершении рейда мщения на ее родной город. «Нацисты засыпали общую могилу землей и песком, но даже спустя много дней после расстрела земля над ней шевелилась от оседавших тел; высохший верхний слой треснул, и сквозь трещину, словно из гигантской кровоточащей раны, сочилась кровь, — написала она впоследствии. — Я не могла стоять в стороне, когда кровь моих родных все еще проступала из засыпанного рва». Фая забрала из дому свою камеру, которую потом, в лесу, закапывала в землю, когда отправлялась на свои частые партизанские задания. Наряду с объективом ружье стало ее лучшим другом, и она по ночам обнимала его, как любовника, сознавая, насколько искорежила война ее сексуальное развитие. «Я лишилась юности самым болезненным образом, — вспоминала она. Фая любила танцевать, но с танцами было покончено. — Мою семью убили, подвергнув жестоким истязаниям. Я не могла позволить себе развлекаться и испытывать радость». Однажды она, очнувшись ото сна, увидела собственную винтовку, нацеленную ей в голову человеком, чьи притязания она отвергла (слава богу, кто-то из друзей разрядил ружье), но в целом она чувствовала себя как «один из тех мальчиков», с которыми ела из общего котла (каждый доставал ложку из своего сапога), делилась своей долей табака, набитого в самокрутку, пробиралась через нашипигованные минами леса, и ей наряду с ними была оказана высшая военная почесть — казнить ударами штыков группу пойманных шпионов. (Фая намеренно опоздала на место казни, чтобы не участвовать в убийстве; она была отчаянно храброй, но жестокой — никогда.)

Все это время она скрывала свое еврейское происхождение, каждый раз во время Песяха придумывая предлоги, чтобы есть в одиночестве. Только сорок лет спустя она призналась, что мужчина, который был ей небезразличен, игнорировал ее потому, что сам скрывал свое еврейство и боялся, как бы их связь не показалась подозрительной. Даже среди повстанцев приходилось постоянно таиться.

¹ Ортодоксальный модернизм — зародившееся в XIX веке течение иудаизма, которое пытается совместить еврейские традиционные ценности и следование законам Торы с достижениями современного светского мира.

* * *

Так было, пока ты не попадал в один из партизанских отрядов, состоявших полностью из евреев. Эти уникальные объединения обычно организовывались еврейскими активистами в самых густых лесах на востоке. Поначалу это были семейные лагеря, где прятались беженцы (знаменитый отряд Бельских¹, еврейское боевое соединение, насчитывавшее 1200 человек, принимал всех евреев), которые также совершали диверсионные акции. В отряде было гораздо больше женщин, некоторые из них ходили на всякого рода задания, другие несли караульную службу. Однажды в Рудникский лес² прибыла большая группа евреев, готовых к партизанским действиям. Это были товарищи из Вильно.

После подпольной встречи с Аббой Ковнером, на которой он отчеканил: «Мы не пойдем, как овцы, на убой», различные виленские еврейские движения быстро и охотно сомкнули свои ряды, образовав FPO³ — Объединенную партизанскую организацию. В качестве курьеров, организаторов и диверсантов в ней действовало большое количество женщин, в том числе товарищи из «Юного стража» Ружка Корчак и Витка Кемпнер.

Еще в 1939 году, когда Гитлер напал на Польшу, миниатюрная Ружка Корчак проделала триста миль по «подземной железной дороге»⁴, созданной для побега евреев, и добралась до Вильно. Там она поселилась в бывшей богадельне, где теперь помещалась тысяча подростков, беженцев-сионистов, ждавших алии, которую тогда еще можно было совершить из Вильно (город внезапно оказался под литовским правлением). Семья, школа, проблемы, мечты — ничто из старой жизни Ружки теперь не имело значения. Ее великолепная способность слушать собеседника и разрешать конфликты быстро сделала ее лидером.

Однажды утром, когда Ружка была поглощена чтением книги о социалистическом сионизме, к ней подошла жизнерадостная девушка с длинными ресницами и безупречным польским языком.

— Зачем тебе такая серьезная книга? — недовольно спросила она.

— Мир — серьезное место, — ответила Ружка.

В родном городе Ружки евреев было мало, и когда ее учительница в классе позволила себе антисемитское замечание, она замкнулась, стала робкой белой вороной, проводившей все свободное время в библиотеке.

— Я думаю, что не так уж он серьезен, — возразила девушка, которую звали Виткой. И добавила, что если даже и так, то: — Тем более не стоит читать серьезные книги.

Ее любимой книгой был «Граф Монте-Кристо».

Витка оказалась в Вильно после того как сбежала из своего маленького городка, выбравшись из окна уборной в синагоге, где нацисты заперли всех евреев. Будучи одной из лучших учениц еврейской школы, Витка первой из женщин вступила в «Бетар» и получила там «полувоенную» подготовку. Она считала себя польской патриоткой и успела поучаствовать в разных молодежных движениях, прежде чем остановилась на «Юном страже», но она никогда не была склонна к догматизму.

¹ Бельские — четыре брата (Тувья, Асаэль, Зусь и Арон), создавшие во время Второй мировой войны в Белоруссии еврейский партизанский отряд.

² Рудники — сельская гмина (волость) в Польше.

³ FPO — идишский акроним (польск. *Zjednoczona Organizacja Partyzancka*) Объединенной партизанской организации — подпольной еврейской антинацистской организации, действовавшей в виленском гетто.

⁴ Термин восходит к американской «Подземной железной дороге» (англ. *The Underground Railroad*) — так обозначалась тайная система переходов, применявшаяся в США для организации побегов и переброски негров-рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север.

Ружка и Витка быстро сдружились. Ружке были свойственны принципиальность и сдержанность; Витке — неистребимое легкомыслие, несмотря на все потери. Однажды они заметили нескладного активиста «Юного стража», наблюдавшего за молодыми людьми. Шляпа у него была глубоко надвинута на лоб. Все считали его привлекательным, а Витка находила странным. Никто не решался подойти к нему. «Мне было интересно, почему никто с ним не разговаривает, — рассказывала потом Витка. — Неужели он такой страшный?» Она подошла к нему и поздоровалась. Это был Абба Ковнер.

Когда Вильно оккупировали русские, Витка сбежала, но вернулась, когда нацисты снова взяли город. Если немцы все равно везде, подумала она, то лучше быть там, где Ружка. Она ехала на попутке с каким-то нацистом, но когда призналась ему, что она еврейка, тот запаниковал и удрал от нее. Тогда она забралась в товарный поезд и, приехав в Вильно, бесстрашно пошла по тротуару, без желтой заезды. Ружка остоленела, увидев ее.

— Ты сумасшедшая? Хочешь, чтобы тебя убили?

Вместе они перебрались в гетто, спали на одной кровати, всячески увиливали от широкомасштабных жестоких «акций» — однажды выдали себя за жен офицеров. Однажды «Юный страж» послал Витку на арийскую сторону. Ружка покрасила ей волосы, но цвет получился рыжий, тогда они заплатили еврейскому парикмахеру, чтобы он перекрасил ее, предварительно обесцветив волосы перекисью. По словам Ружки, «даже цвет волос не мог отвлечь внимание от ее длинноватого еврейского носа и типично еврейского взгляда». Несмотря на это, Витка была готова с безграничной уверенностью дурачить поляков. Дурачить немцев, заметила она, легко: «Немцы верят тому, что им говорят». Однажды, забыв взять свою желтую звезду, она прикрепила на рукав желтый осенний лист.

В декабре 1941 года ей поручили привести Аббу, который прятался в женском монастыре и был одет как монашка. Она привела его в гетто на встречу с Сарой, девушкой, выжившей в понарской бойне. Выслушав ее рассказ, он понял, что единственный выход — вооруженное восстание, созвал то самое знаменитое новогоднее собрание, инициировал создание FPO и поселился вместе с девушками. Все трое спали в одной кровати. «Я сплю посередине», — рассказывал Абба одному из бойцов. Они и по гетто ходили втроем — рука в руке, рука в руке, — возбуждая слухи о *menage a trois*¹. (Легенда гласит: когда кто-то спросил Витку, почему она присоединилась к Сопротивлению, она не задумываясь ответила: «Ради секса!»)

При активнейшем участии Витки и Ружки FPO накапливало оружие, камни и бутылки с серной кислотой. Стены своего штаба группа обложила «пуленепробиваемыми» томами Талмуда, ребята печатали на машинке призывы к сопротивлению и планировали восстание.

Потом Абба — в порядке декларации своей любви — послал Витку на прорывное задание. Ее задачей было взорвать немецкий состав с солдатами и боеприпасами. В течение двух недель она покидала гетто каждую ночь, изучая железнодорожное полотно в поисках наилучшего места для закладки бомбы: где-нибудь подальше от евреев, чтобы во время взрыва никто из них не пострадал и никого из них не обвинили и не подвергли наказанию, но в то же время близко к лесу, где диверсанты могли бы спрятаться, однако и не слишком далеко от гетто, чтобы Витка могла выйти из него и вернуться вовремя. Она очень тщательно изучила пути, обращая внимание на мельчайшие детали, поскольку диверсия должна была быть совершена в самый темный период ночи. Железная дорога охранялась немцами, для гражданских лиц доступ к ней был закрыт. Не раз Витку останавливали.

¹ Любовь втроем (*фр.*).

— Я просто ишу свой дом, — лгала она. — Я понятия не имела, что тут запрещено находиться.

Она отходила от доверчивого нациста и снова приближалась к полотну где-нибудь подальше.

Однажды, не сумев вернуться в гетто обычным путем, поскольку впереди лаяли собаки и уже настал комендантский час, Витка наткнулась на немецкий полигон. Ее чуть не застрелили. Тогда она, в слезах, притворившись заблудившейся, подошла к солдату. Тот сжалился и приказал двум другим солдатам проводить ее. Витка утверждала, что каждый раз, когда она попадает в опасную ситуацию, на нее нисходит «ледяное спокойствие», ощущение, будто она смотрит на происходящее со стороны, а потому может оценить обстоятельства и найти способ благополучно выкрутиться из них.

Теплой июльской ночью она покинула гетто вместе с двумя юношами и одной девушкой. Худенькая Витка обычно выскальзывала из гетто и возвращалась через узкие щели в стене, но на сей раз она повела своих спутников по крышам и дымоходам. Под куртками они несли пистолеты, гранаты и детонатор. Витка прятала за пазухой бомбу, сделанную Аббой из трубы. (Ружка была членом «Бумажной бригады» — группы, которая разыскивала и проносила в гетто еврейские книги для их сохранности. В библиотеке YIVO, виленского Еврейского научно-исследовательского института¹, она наткнулась на финскую брошюру, написанную в период, когда эта северная страна готовилась к русскому вторжению. В ней содержался курс ведения партизанской войны, в том числе способы изготовления бомб — даже с чертежами. Эта брошюра стала для них «книгой рецептов».)

Витка провела группу к самому подходящему месту, которое нашла заранее, в полной темноте, они прикрепили свою «штуковину» к рельсам, постоянно прислушиваясь, не идет ли поезд, после чего скрылись в лесу. Вдруг — несущийся локомотив и оранжевая вспышка, полыхнувшая до самого неба. Витка помчалась ко все еще двигавшемуся поезду, бросая гранаты. Поезд сошел с рельсов, перевернутые вагоны, дымясь, лежали на земле, паровоз свалился под откос. Немцы как безумные палили по лесу, спутница Витки была убита. Витка похоронила ее там же, в лесу, и помчалась обратно в гетто, чтобы успеть вернуться до рассвета. И хотя в предстоявшее время подрыв нацистских поездов стал обычной партизанской практикой, тот Виткин взрыв был первым актом диверсии во всей оккупированной Европе.

Несколько дней спустя подпольная газета объявила, что польские партизаны взорвали нацистский состав, погибло более двухсот немецких солдат. Эсэсовцы в порядке возмездия расстреляли шестьдесят крестьян из окрестных деревень. «Я не чувствовала себя виноватой, — признавалась впоследствии Витка. — Я знала, что это не я убила тех людей, — это сделали немцы. На войне легко забываешь, кто есть кто».

После этого Витка постоянно выбиралась из гетто и возвращалась обратно, она помогла двумстам товарищам уйти в лес. Днями напролет она ходила по городу, проделывая десятки миль, выискивая места, где можно было незаметно провести группы евреев, иногда сама провожала такие группы. Но сначала вела их на кладбище, где в свежих могилах были зарыты пистолеты и гранаты. («Немцы ни одной живой души не пропускали через ворота [гетто], — однажды написала Ружка, — но мертвых выносить разрешалось».) Витка распределяла оружие между товарищами, объясняла дорогу, которую разведала для них, и каждого целовала на прощание. Сама она была одной из сотни бойцов FPO, остававшихся в гетто для того, чтобы вести борьбу. Как-то ее батальон попал в засаду. Среди немногих выживших оказалась Витка. «Она просто вышла из окружения небрежной уверенной походкой, словно направлялась куда-то по своим делам, — описывал впоследствии этот эпизод один из хроникеров. — Никто ее не остановил».

¹ YIVO — научно-исследовательский институт языка идиш, основанный в 1925 году в Вильно, в дальнейшем действовал в Польше, с 1940 года находится в Нью-Йорке.

Без поддержки еврейской общественности мечта ГРО о большом восстании в гетто потерпела сокрушительное разочарование — было сделано всего несколько выстрелов. Организованные и возглавленные Виткой бойцы вышли из гетто по виленской канализационной системе и добрались до леса; они рвались в бой и вдохновлялись сменой тактики: от обороны к нападению. Абба стал командиром еврейской партизанской бригады, разделенной на четыре подразделения. Сам он возглавил группу «Мститель», Витка командовала своим разведывательным отрядом.

В лесу советские офицеры, с которыми сотрудничала их бригада, посоветовали Аббе устроить семейный лагерь и приютить в нем девушек, которые будут готовить и шить. Ковнер, не видевший разницы между мужчинами и женщинами, отказался: каждый, кто может сражаться, должен сражаться, сказал он. Любой может взять оружие из общего арсенала и получить шанс вернуть себе самоуважение. Кроме того, он видел беспримерную храбрость этих женщин. По словам Витки, Абба требовал, чтобы минимум одна девушка участвовала в выполнении каждого задания, хотя мужчинам это не нравилось — порой приходилось нести на себе около десяти килограммов взрывчатки на расстояние в тридцать миль, а большинству девушек это было не под силу.

Ружку вместе с четырьмя мужчинами отобрали для участия в первой проводившейся евреями диверсионной операции; им предстояло пройти сорок миль и взорвать склад вооружений. После возвращения в гетто, Ружка, чья спокойная, вызывающая доверие манера поведения снискала ей ласковое прозвище «сестричка», не только доставала и тайно проносила книги, но и вербовала бойцов, поддерживала в них энтузиазм и была вторым лицом в боевом отряде гетто. Абба считал: ее стойкость служит доказательством того, что участие женщин в их борьбе не напрасно.

Ружка и ее спутники двинулись в путь ранним вечером, мороз пробирал до костей, у каждого члена группы были пистолет и две гранаты. Хрупкая Ружка настояла на том, чтобы в очередь со всеми нести мину, весившую более двадцати двух килограммов. По обледенелым тропинкам они дошли до речки, лед был тонким, было видно, как под ним течет вода. Отряду, со всем его снаряжением, предстояло переправиться на другой берег, осторожно ступая по перекинутому бревну. Ружка поскользнулась и упала в воду. Ухватившись за бревно, она сама взобралась на него обратно, несмотря на то, что ноги у нее онемели от холода и отяжелели от воды. Увидев, что она насквозь промокла, командир велел ей возвращаться в лагерь, чтобы не замерзнуть насмерть. Однако Ружка категорически отказалась, заявив: «Тебе придется всадить мне пулю в лоб, чтобы вывести меня из этой операции». Тогда, пройдя еще несколько миль, партизаны пробрались в какой-то крестьянский дом и украли сухую одежду для Ружки — это была мужская одежда, и Ружке пришлось закатать рукава и штанины, а в обувь натолкать носки. Потом они наставили оружие на хозяина дома, и тот указал им дорогу к месту, куда они направлялись. В результате их операции было убито пятьдесят немецких солдат и взорван немецкий склад оружия.

«Я помню первую засаду, которую мы устроили на немцев, так, словно это было вчера, — писала потом Ружка. — Величайшим счастьем для меня, с тех самых пор как разразилась война, был момент, когда я увидела валявшийся передо мной взорванный автомобиль с восемью убитыми немцами. Мы это сделали. И я, думавшая, что никогда уже больше не смогу радоваться, торжествовала». Ружка стала командиром патрульного подразделения.

Наряду с дерзкими боевыми обязанностями Ружка исполняла также и обязанности квартирмейстера. Партизанские лагеря различались в зависимости от их местоположения и от того, как долго они оставались на одном месте, некоторые из них представляли собой целые деревни землянок, с клубом, своим печатным станком, лазаретом, радиостанцией, кладбищем и «парной баней», где воду нагревали, погружая в нее раскаленные камни. Еду, обувь, одежду, покрывала и прочие запасы в основном воровали у крестьян, зачастую отбирали под дулами пистолетов. Еду готовили только

по ночам, чтобы дым от костра не выдал место их расположения. Украденные у жителей деревни емкости наполняли водой из речек и источников, которые нередко находились в нескольких часах ходьбы от лагеря. Зимой, чтобы иметь питьевую воду, растапливали снег и лед. Спали, укладываясь тесными рядами в замаскированных землянках — помещениях, выкопанных в земле, со стенами, укрепленными бревнами и ветками, с настилом из травы и листьев и с покатою «крышей», чтобы сверху их не завалило снегом. С воздуха и со стороны землянки выглядели как неровные участки земли, покрытые низким кустарником. Эти крепко построенные укрытия были перенаселены, воздух внутри был «гнилостный и вонючий».

В «Мстителях» Ружка курировала «здравоохранение». От недостатка витаминов в лагере процветали простуда, цинга, педикулез, чесотка, рахит, воспаление десен и кожные язвы. (Однажды Витка кому-то одолжила свое пальто, и оно вернулось к ней кишасшим вшами. Она набросила его на лошадь, и все паразиты перебрались на животное.) Ружка организовала прачечную: дважды в неделю партизаны приносили свою одежду к яме, где ее кипятили в котле с водой и золой. Она определяла обморожения. Делила на порции хлеб, представлявший собой сокровище в условиях исключительно картофельно-мясного рациона, и раздавала его больным.

Лекарства, как и оружие, достать было трудно, то и другое приносили курьеры, совершавшие вылазки в Вильно. Миниатюрная, золотоволосая, голубоглазая Зельда Трегер была лучшей связной. В своей спокойной, но решительной манере она совершила восемнадцать вылазок из лесу в город — одна, по бездорожью, перебираясь через болота и озера. Зельду воспитывала мать — зубной врач, которая умерла, когда Зельде было четырнадцать лет. Зельда училась на воспитательницу детского сада. Но тут разразилась война, девочка убежала из гетто и нашла работу на ферме у одного поляка, который зарегистрировал ее как свою родственницу, дав ей таким образом официальный «христианский статус». Несколько месяцев спустя вследствие раны на руке у Зельды началось заражение, и она вернулась в гетто, где нашла своих товарищей по «Юному стражу» и вступила в ГРО.

В силу своей внешности Зельда сразу стала связной, перевозила оружие в гробах или завернутым по-крестьянски в тюки. Она находила пути для побега бойцов в два разных леса (один находился на расстоянии 125 миль) и сопровождала группы, выходившие из гетто. Она поучаствовала в малом восстании, потом помогала Витке руководить побегами через канализационную систему. Участвовала в спасении сотен евреев из рабочих лагерей и гетто, переправляя их в леса. Несколько раз попадалась, но всегда выкручивалась, зачастую представляясь наивной селянкой и всегда — набожной христианкой, которая навещала больную бабушку, или начинала запинаться, изображая умственно отсталую, или просто выхватывала свои документы и убегала.

Однажды в холодное зимнее воскресенье Зельда отправилась на задание по доставке оружия, надев свою меховую крестьянскую куртку и низко на лоб повязав платок. В корзине у нее лежали зашифрованные письма подпольщикам в городе. Она шла прямо по дороге, ведущей в город, с поднятой головой минуя патрули. Однако в город она прибыла поздно, и ей пришлось остановиться на ночлег у знакомой женщины-христианки. Одна из соседок попыталась шантажировать ее, но Зельда отшила ее. Пока Зельда разговаривала со своей хозяйкой, раздался стук в дверь. Сердце у девушки бешено заколотилось.

В дом вошел литовский полицейский в сопровождении немецкого солдата. Они потребовали показать удостоверение личности, Зельда предъявила свои фальшивые документы. Тем не менее это не рассеяло их подозрений, и они принялись обыскивать одежду Зельды. Нашли письмо из гетто.

— Так ты еврейка! — заорал немец и ударил ее по лицу. — Собирайся, пойдешь в гестапо.

Зельда рванула в соседнюю комнату, выпрыгнула из окна, скатилась с откоса и помчалась в темноту, но наткнулась на забор, залаяли собаки, за спиной у нее раздалась выстрелы. Нацист схватил ее за руку и повалил на землю.

— Ты почему бежала?

— Пожалуйста, просто убейте меня, — взмолилась Зельда. — Я не выдержу пыток. Литовец шепнул ей:

— Останешься жива, если у тебя есть золото.

Зельда поняла: это шанс и пригласила их обратно в квартиру своей знакомой, выпить.

— Часть я дам вам сейчас, а остальное соберу у евреев и принесу позже, — пообещала она.

Держа за руки, военные повели ее в дом. Приятельница и ее дети были в истерике.

— Так вот она, твоя благодарность? — сердито спросила Зельду хозяйка. — Посмотри на этих детей, которые теперь останутся сиротами!

Стараясь не выказать страха, Зельда успокоила приятельницу, велела ей сесть за стол и предложила мужчинам выпивку. Немец выпил, попытался сам утихомирить детей и признался Зельде, что у него возлюбленная — еврейка.

— Я не хочу, чтобы евреи умирали, — пьяно бормотал он. — Но приказ есть приказ, и я должен тебя отвести. — Время его дежурства заканчивалось вместе с терпением. Он вывел Зельду на улицу. — Давай сюда твои деньги и беги, — шепнул он.

— У меня нет ни гроша, — призналась Зельда. — Завтра, обещаю, я достану.

Литовец, судя по всему, ей поверил и пообещал немцу, что на следующий день деньги ему передаст. Немец ушел, а литовец схватил Зельду за руку и потащил обратно в дом. Что ей оставалось, кроме как следовать за ним?

Однако как только они появились на пороге, хозяин закричал, что больше не выпустит в дом никаких девушек, схватил топор и нацелил его в голову полицейского. Неразбериха. Бунт. Воспользовавшись ситуацией, Зельда выскользнула из дома и пряталась в непроглядно-темном саду, пока уставший искать ее офицер не сдался.

После чего отправилась дальше выполнять задание.

* * *

Советские партизаны вознамерились нанести серьезный урон хорошо укрепленному занятому немцами городу, но, хотя у них было оружие, им не хватало разведанных. Они обратились к Аббе Ковнеру с просьбой «одолжить им несколько еврейских девушек». Абба желал поменяться ролями: считая подобную операцию еврейской миссией, он сказал, что это русские должны дать им оружие. Вечером накануне Йом Кипура двое юношей и две девушки вышли из еврейского лагеря переодетые крестьянами. Одна из девушек — Витка — несла потрепанный деревенский чемодан. Внутри: магнитные бомбы замедленного действия, которые легко крепились к любой металлической поверхности.

Группа направилась в горы, окружавшие Вильно, и добралась до меховой фабрики в принудительно-трудовом лагере Кайлис, где все еще работало некоторое количество евреев, у которых они надеялись переночевать. Ребята переговорили с Соней Мадейскер, еврейской коммунисткой, блондинкой, которая жила в фабричном доме и являлась их единственной сохранившейся связью с виленским подпольем. Соня сообщила, что фабрику собираются вскоре закрыть, а всех евреев отправить на ликвидацию. Они хотели бежать в лес с помощью Витки.

Между тем партизанский командир уже едва справлялся с наплывом еврейских беженцев и попросил Витку не увеличивать их количество. У большинства беженцев не было военного опыта, они не умели обращаться с оружием и не горели желанием учиться. Они хотели просто переждать войну, но нуждались в пище и одежде. Витка объяснила это Соне и сказала, что пришла в город как солдат, а не как филантроп. Соня гневно бросила в ответ: если Витка не заберет людей, они умрут.

Но первым делом Витка должна была выполнить задание. Тем утром, затесавшись среди рабочих и тех, кто просто занимался своими делами, словно все было нормально, она, кипя от ненависти, определила подходящие мишени. Юноши, пришедшие вместе

с ней, должны были взорвать водохозяйственные сооружения (водопровод и канализацию), девушки — электрические трансформаторы (чтобы вырубить городское освещение). В сумерках молодые люди пролезли в коллекторы через люки и установили бомбы. Девушки вошли на территорию виленской фабрики по берегу реки. Гудевшие трансформаторы электросети были полностью открыты. Но Виткины мины, покрытые краской, не держались на них. Они соскальзывали, между тем как часовой механизм уже тикал. Витка до крови разодрала ногти, бешено соскребая ими краску. Девушки спрятались в тени, затаивая дыхание каждый раз, когда мимо проходил немецкий патруль. Операция заняла двадцать минут, но они выполнили задание. И юноши, и девушки установили таймеры на четыре часа.

Парни устали и изъявили желание переночевать на фабрике, но Витка резонно возразила: после взрыва меры безопасности будут усилены, и идти станет опасней. К тому же они подвергнут опасности жизни всех, кто работает на фабрике. Парни смеялись: немцам, мол, никогда и в голову не придет, что такую массированную диверсию могли устроить евреи. Препирательства продолжались; в конце концов Витка поняла, что время истекает, и велела Соне привести всех, кто готов бежать, — она возьмет их с собой в лес прямо сейчас. Мужчины остались.

Час спустя, когда Витка уже выводила по темным дорогам из города шестьдесят евреев, они слышали позади себя мощные взрывы, Вильно погрузился в темноту.

На следующий день двух спутников Витки поймали. «Мы ушли, — сказала Витка, — а ребята нет, потому что они устали. Мы тоже устали, но женщины оказались сильнее мужчин». Женщины, Витка это чувствовала, руководствовались моральными нормами. Они не только были такими же бойцами, как мужчины, но и никогда не позволяли себе проявлять слабость и редко искали оправдание, чтобы отказать от дела. «Женщины были более выносливыми», — вспоминала она.

Спустя годы, объясняя, почему, невзирая на приказ командира, она увела за собой тех евреев с фабрики, Витка смущенно отвечала, что в то время рассуждала так: «А что он сможет сделать? Если шестьдесят евреев войдут в лагерь... они там уже и останутся. А я всего лишь нарушила приказ. Не велика трагедия!»

«Она не знала, что такое страх, ее сердце не ведало боязни, — сказала Ружка о Витке. — Она всегда была приветлива, полна энергии и идей».

Ружка, Витка, Зельда и остальные еврейские партизаны продолжали работать на протяжении всей трудной зимы 1943—1944 годов. Они научились ходить, не оставляя следов на снегу; иногда ходили задом наперед, чтобы создать впечатление, будто шли в противоположном направлении. Они взрывали транспорты и сооружения, изобретая для этого все более надежные типы взрывных устройств. В 1944 году еврейские партизаны самостоятельно взорвали пятьдесят один поезд, сотни автомашин, десятки мостов. Они, можно сказать, голыми руками валили телефонные и телеграфные столбы, рвали провода и разрушали железнодорожные пути. Абба проник на фабрику химикатов и поджег цистерны, при этом сгорел и близлежащий мост. Немцы не могли переправиться через покрытое тонким льдом озеро. Нацисты и евреи стояли на противоположных берегах и смотрели друг на друга, а ревущее пламя отражалось в глади льда между ними.

Однажды апрельским утром, как только встало солнце, Абба подошел к шутившим и смеявшимся девушкам с печальной улыбкой.

— Куда я должна идти? — спросила Витка, уловив его настроение.

Ее отправили в Вильно с воззванием к коммунистическому подполью города готовиться к восстанию, а также со списком необходимых медикаментов. По пути ей повстречался старый крестьянин, спросивший, можно ли ему пойти вместе с ней. Они перешли через мост, и тут крестьянин вдруг что-то шепнул охранявшему мост вместе с немецким солдатом литовцу. За Витку, партизанку и еврейку, полагалась приличная награда.

Витке велели предъявить документы. Литовец счел их поддельными. Немец возразил, что девушка — блондинка. Литовец ответил: «А у корней волосы черные». Он отметил также, что одежда ее кое-где закопчена сажей — явно от партизанского костра. И кончики ресниц обгорели.

Витка разорвала воззвание и развеяла по ветру клочки, но крестьянин собрал их и вручил солдатам. Те обыскали Витку и нашли список лекарств.

— Это для моих односельчан, — попыталась объяснить она. Но ее повезли в гестапо.

Сидя на заднем сиденье их конной повозки, Витка рассказывала о своем католическом детстве, не веря, что вот сейчас, здесь настанет ее конец: пытки, потом казнь. Может, лучше спрыгнуть — и пусть ее убьют при попытке к бегству? Она следила за каждым ухабом на дороге, выжидая подходящий момент.

Но внезапно изменила тактику.

— Вы правы. Я еврейка и партизанка. И именно поэтому вы должны меня отпустить. — Она объяснила, что немцы проигрывают войну, и кто бы ни убил ее сейчас, вскоре будет убит сам. Кроме того, многие полицейские сотрудничают с партизанами. В штаб-квартире гестапо один из полицейских провел ее к боковому выходу, сунул в руку документы, предупредил, чтобы она никогда больше не пересекала мост, и выразил надежду когда-нибудь встретиться с ее командиром.

Когда, закупив лекарства на черном рынке и посидев в стоге сена, который прощупывали вилами, протыкая его в нескольких дюймах от ее головы, Витка вернулась в лагерь, она объявила, что это было ее последнее задание. «Просто чудо, что мне удалось вернуться, — сказала она, — но как долго человек может рассчитывать на чудо?»

* * *

Оказалось, не слишком долго. Иной раз чудо — не более чем мираж.

Через несколько дней, после того как вторая группа покинула Бендзин, чтобы присоединиться к партизанам, один из членов этой группы, некто Исаак из «Юного стража», вернулся. Его едва можно было узнать: лицо расцарапано, одежда превратилась в лохмотья, он едва держался на ногах и дрожал от страха. Реня была потрясена.

Исаак рассказал им, что случилось в тот жаркий июньский день:

«Мы вышли из гетто, сняли свои желтые звезды и, завидев первые деревья, разволновались и достали оружие, наша мечта убивать немцев вот-вот должна была начать сбываться... После того как мы провели в дороге шесть часов и стала опускаться ночь, Соха сказал нам, что опасности попасться в руки немцев больше нет и мы можем спокойно сесть и поест. Он дал нам воды, а мы пребывали в эйфории от того, что вырвались из ужасного гетто. Он велел нам немного отдохнуть, перед тем как мы снова пустимся в дорогу, и пошел осмотреть окрестности.

И вдруг нас окружили. Военные на лошадях. И начали палить без разбору. Я сидел под кустом и сразу упал на землю, поэтому в меня не попали и мне удалось остаться в живых. Но всех остальных нацисты убили. Всех. Потом они зажгли фонари и обыскали трупы, забрали все, что было в карманах убитых. Я спрятался и неподвижно лежал под кустами. А после того как они уехали, выбрался и побежал».

Бендзинские товарищи не могли поверить своим ушам.

Значит, все было обманом. Соха, которому они доверились, продал их. Даже его квартира с плачущими детьми была инсценировкой. Несмотря на все свое искусство конспирации, члены ZOB'a не смогли разгадать вражескую шараду.

Их лучшие люди мертвы. Некоторые погибли во время ликвидации, а теперь это: двадцать пять душ из двух групп загублено. Осталось слишком мало народу, чтобы продолжать борьбу.

«Новость ошеломила нас, — напишет позднее Реня. — Все, что мы делали, потерпело крах».

Марек хотел покончить с собой. Обезумев от угрызений совести, он сбежал из гетто. Никто не видел, как он уходил.

Боль от этого предательства усугубилась потерей Хайки. Товарищи не знали, что незадолго до того один рабби тайно поженил Хайку и Давида. Давиду предлагали документы, позволявшие ему выезд из Польши, но он отказался. Став одним из командиров, он был решительно настроен сражаться вместе с мальчиками, которых тренировал, и нескольких из них взял с собой в лес, куда отправлялся с первой группой Сохи. «Он не спал, всё ковал и созидал, — рассказывала Хайка. — Вездесущий, он мечтал действовать». По крайней мере, утешала она себя, он не успел ни осознать, что случилось, ни испытать страдание».

Теперь Хайка стала вдовой, погрузившись в отчаяние и кипя гневом. Жажда мести охватила ее еще острее.

<...>

Через несколько недель после жуткого партизанского фиаско был арестован глава бендзинского юденрата. Реня знала, что это значит: гетто пришел конец. Им всем пришел конец.

Послесловие автора: в процессе исследований

Неудивительно, что, когда ведешь исследования по всему миру, используя источники, охватывающие десятилетия, континенты и алфавиты, сталкиваешься со всевозможными проблемами и головоломками.

Первичным источником материалов для этого проекта служили в основном воспоминания и свидетельства. Некоторые из них были устными, записанными на аудио или видео, некоторые — письменными — на иврите, идише, английском, польском, русском, немецком. Некоторые были переведены, некоторые представляли собой перевод с перевода, некоторые я переводила сама. Некоторые носили частный характер, некоторые являлись интервью, данными заинтересованному лицу. Некоторые были отредактированы и опубликованы (чаще всего небольшими академическими изданиями), факты в них выверены; другие были дневниками, неправленными стенограммами свидетельских показаний, исполненных страсти, записями, сделанными авторами, рукой которых водила ярость. Некоторые были написаны сразу после войны или даже во время войны, тайно, и содержат ошибки, противоречивые подробности и недомолвки — что-то было автору просто неизвестно, или автор изменял что-то из соображений конспирации или под воздействием сильных эмоций. (Многим выжившим было слишком тяжело писать о смертях тех или иных людей.) Некоторые тексты были написаны быстро, горевшими пальцами, словно пишущий отчаянно хотел написать и забыть, из страха вполне вероятной поимки выплеснуть из себя поскорее пережитый опыт. Реня часто заменяла имена инициалами (сама она подписывалась — Реня К.), не сомневаюсь, что она делала это из соображений безопасности — она писала во время войны о секретных операциях подпольщиков, что было чудовищно рискованно, писала в то время, когда еще не знала, что станет с другими людьми; сама она постоянно ждала новостей о том, живы ли еще ее друзья и родные. Как многие ранние свидетельства, Ренины записи были сделаны из желания рассказать миру о том, что происходило, *объективно*, стараясь отрешиться от своей личной позиции. Характерно, что она использует местоимение «мы»: порой ей наверняка было трудно разграничить, относится ли это «мы» к ней самой, к ее семье, ее общине или к еврейскому народу в целом.

Другие свидетельства появились позднее, особенно в 1990-х годах, и хотя они часто обладают преимуществом глубины взгляда, приобретенной со временем, эти воспоминания могли подвергнуться влияниям современных течений, чужих

воспоминаний, вышедших за минувшие годы, и новых забот и целей, появившихся у выживших. Кое-кто утверждает, что глубоко травмированные люди стараются подавить многие воспоминания и что у людей, не прошедших через пытки в лагерях, память более четкая, — по слову Антека, «избыточная». Другие считают, что травмирующие воспоминания — наиболее острые, точные и беспощадные. Я сама досконально изучила сделанные наспех первичные свидетельства (статьи, письма, записные книжки) и беседовала с десятками членов семей — у каждого из них была своя версия событий, и зачастую они противоречили друг другу.

Память совершает кульбиты и многое искажает; воспоминания — не «холодные факты». В десятках и десятках воспоминаний всплывает множество разночтений: расходятся подробности событий, даты, места. Бывали случаи, когда один и тот же человек в течение многих лет свидетельствовал об одних и тех же событиях, и его собственные свидетельства существенно разнились с годами; порой я находила несоответствия в одном и том же тексте. Встречались различия в изначальных и вторичных источниках; например, ученые-биографы и историки рассматривали истории этих женщин отлично от того, что те писали сами. Порой разночтения в первичных источниках были интригующими — это касалось вопроса ответственности: кого считать виноватым. Там, где это было уместно, я старалась прояснить такие вопросы в примечаниях. Пыталась я и понять, откуда происходят эти противоречия, и сопоставить воспоминания с историческим анализом, дав перекрестные ссылки. Моей целью было представить версии, которые кажутся наиболее разумными и плодотворными. Иногда я объединяла подробности, добытые из многих источников, чтобы собрать полную картину и представить по возможности наиболее эмоционально достоверную и фактологически точную историю. Когда сомневалась, полагалась на свидетельства и утверждения своих героинь.

Описания чувств я старалась черпать непосредственно из источников. Мои реконструкции иногда усиливают чувства, которые описывает оригинальный текст; я принимала во внимание разные точки зрения на одно и то же событие, но в целом моя книга — не вымысел, она основана на тщательных исследованиях.

Хоть расхождения в повествованиях были интригующими, меня больше поражало невероятное количество совпадений. Источники, относящиеся к разным временам и местам, рассказывали одни и те же малоизвестные байки, описывали похожие ситуации и людей. Кроме того, что помогало докапываться до наибольшей достоверности, это было трогательно и волновало. Каждый раз, когда я рассматривала ту же историю через другой объектив, я узнавала больше, копала глубже, ощущала, будто я действительно получаю доступ в их вселенную. Все те молодые люди и их устремления были связаны и в прямом, и в переносном смыслах.

Другая сложная проблема в подобных мультилингвистических исследованиях — имена и названия, людей и мест. У многих польских городов разные названия — славянские, немецкие, идишские: их постоянно переименовывали, в зависимости от смены правления. Выбор названия зачастую означает политический выбор — моих личных предпочтений в этом нет. Я по возможности использовала современные названия в английской транслитерации.

Что же касается имен, женщины в моей книге, как многие польские евреи, имеют и польские, и ивритские, и идишские имена и прозвища. У некоторых есть военные псевдонимы. Или даже несколько. Порой они представлялись другими людьми для получения документов на эмиграцию. (Обычно из Европы было легче выехать, если женщина была — фиктивно — замужем.) Потом они меняли свои имена, приспособляясь к той стране, в которой в конце концов оказывались. (Например: Владка Мид вначале была Фейгеле Пельтел. Имя Владка было ее польским подпольным псевдонимом, по мужу она была Меджирецкой, эта фамилия сократилась до Мид, когда они переехали в Нью-Йорк.) Я искала их славянские или ивритские имена в английских поисковых системах, пробуя разные комбинации латинских букв. Реню я

нашла в самых разных написаниях — Renia, Renya, Rania, Regina, Rivka, Renata, Renee, Irena и Irene; фамилия Кукелка имеет бесчисленное количество английских написаний, а на идише пишется как Kukelkohn; а кроме того существуют ее различные имена, указанные в фальшивых документах военных лет: Ванда Выдуховская, Глюк, Нейман. (Я потратила как минимум полдня, пытаясь определить, является ли связная по имени Астрит тем же человеком, что и Астрид, Эстерит, А. и Зося Миллер, и пришла к заключению, что это одно и то же лицо.) А, сверх того, есть еще один пласт, осложняющий поиск: фамилия по мужу. «Реня Кукелка Гершкович» (написание может быть и Herscovitch, и Herskovitch, и Hercovitz...) прошла через столько переименований, что легко могла ускользнуть от внимания, быть пропущенной, не быть занесенной в архивы, навсегда затеряться.

И, наверное, последний пример сложностей с именами: все три выживших представителя семьи Кукелков в конце концов оказались в Израиле под именами: Реня Гершкович, Цви Замир (*Zamir* на иврите означает «кукшка») и Аарон Клейнман — Аарон сменил фамилию, потому что в 1940-х годах сражался в Палестине, и эта фамилия была более «английской». Даже в пределах одной семьи различий не счесть.

И последнее слово о словах.

Для простоты вслед за Реней я использовала слово «полька» для обозначения польской гражданки нееврейского (христианского) происхождения; но евреи тоже были гражданами Польши, и мне приходилось порой подчеркивать различие просто для уточнения, а не для того чтобы раздувать его. По совету ученых из «Полин» — Музея истории польских евреев, — я пишу «антисемитизм» в одно слово; написание через дефис предполагает, что «семитизм» существует как расовая категория. Женщины в моей книге порой называют нацистов немцами, и я сохраняю это именование, поскольку то были немцы, с которыми они так или иначе контактировали; разумеется, существовали и немцы-антифашисты.

Некоторые ученые критиковали употребление термина «женщины-связные», или «курьеры». Слово *курьер*, утверждали они, умаляет их значение. Это звучит банально и пассивно, как «почтальон, разносящий письма». А эти женщины были чем угодно, только не просто почтальонами. Добытчицами оружия, контрабандистками, разведчицами и — по ивритской номинации — *кашариотами*, то есть соединительным звеном. Само курьерство (от французского слова *courir* — бежать) во время Холокоста было не менее опасным, чем сражение в рядах армии. Каждая еврейка, которую обнаруживали за пределами гетто или лагеря, наказывалась смертью. А эти женщины проводили месяцы, иногда годы, разъезжая по стране, перемещаясь из одного гетто в другое. Я читала записки одной связной, которая предпринимала не менее 240 поездок... в неделю. Тем не менее, я решила использовать этот термин наряду с другими для описания их деятельности, чтобы мой текст не входил в противоречие с уже имеющимися исследованиями на эту тему.

Слово «девушки» тоже некоторые считают умаляющим их значение. Это были молодые женщины в возрасте чуть меньше или чуть больше двадцати лет, некоторые уже замужем. И снова я решила сохранить слово наряду со многими другими для описания Рени и ее соратниц. Так же, как слово «юноши» я использую для описания мужчин — участников Движения. Во-первых, этим я подчеркиваю их молодость. К тому же пишу я эту книгу в контексте, когда слово *девушки* приобрело и новый смысл и широко используется в дискуссиях о расширении женских прав и возможностей.

Редакция выражает благодарность автору и издательству АСТ, в котором книга готовится к выходу в свет, за любезное разрешение опубликовать небольшой фрагмент этого обширного документального повествования.

Александр Рыбин

Подавляя инстинкт войны

Рассказы

Эти невыдуманные рассказы — о войне, о разных ее гранях. О тех проявлениях войны, которые обычно не попадают в новостные медиа: собранные в этих текстах впечатления, факты, чужие истории невозможно быстро и легко продать потребителю — чтобы совместить и подробно разглядеть их, необходимы значительные отрезки времени.

А.Р.

Над изумрудным Евфратом

На обочине лежал мертвый верблюд — темная жуткая дыра в его брюхе. На песке лежал. Мы ехали по матово-черной автотрассе через пустыню, через плоскую до горизонта Сирийскую пустыню. Я и Настя выворачивали головы, чтобы лучше рассмотреть мертвого верблюда. Водитель-сириец не обратил на него никакого внимания.

Мы ехали в город Дейр-эз-Зор.

В Сирии одиннадцатый месяц продолжался гражданский конфликт, местами шли жестокие бои.

Водитель, Саидом его звали, подобрал нас у развалин крепости Каср-эль-Хейр. Мы никуда не спешили: если бы он не остановился, мы бы не расстроились. Нам нравилось это плоское пустынное пространство, ровное море песка с красным утесом развалин Каср-эль-Хейр. Мы сидели на крепостной стене, свесив ноги, и молча вглядывались в горизонт — полное умиротворение в той самой точке, которую на английском называют «middle of nowhere». Небо неясное, бледно-голубое, тонны мельчайших частичек пыли висели в воздухе, мутили небо. Солнце — размытое белое бельмо. Ветер, как засыпающий пьяница, вдруг оживал на несколько мгновений, гудел, цепляясь за каменные руины, и снова затухал, «отключался». И ровное светло-коричневое (у американцев тогда вошло в моду называть подобный оттенок coyote) пространство, уходящее десятками километров к горизонту. Мы продолжали молчать.

Александр Рыбин родился в 1983 году в г. Кимры Калининской области. Окончил филологический факультет Тверского университета. Печатался в литературных журналах, в том числе — «Неве», «Звезде» и «Новом мире». Проживает от Аддис-Абебы до поселка Аксарка в Ямало-Ненецком автономном округе — увлечения жизнью к тому обязывают. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Утром, глядя в карту, попытались прикинуть, сколько километров нам придется идти через пустыню к Каср-эль-Хейр от ближайшей автотрассы. Прикидывали, где ближе будет высадиться из попутки. «Километров четырнадцать-пятнадцать придется топтать по пустыне». Но это сирийская карта — а сирийские карты неточные, путаные.

Каср-эль-Хейр — остатки арабской крепости, построенной больше тысячи лет назад, в самом центре пустыни. Мы стремились туда не из фанатичного интереса к истории — но из эстетических побуждений. Ярко-красные руины в сердце пустыни — хотели увидеть, насладиться, приобщиться.

Водитель высадил нас в деревне Талибани, объяснил, что отсюда по прямой до крепости десять километров. Талибани — хаотичное нагромождение среди песков бетонных домов-ящиков, огороженных глухими заборами. Мужчины с морщинистыми обветренными лицами, морщины — как трещины на жестоко иссушенной земле. Дети с воплями бегали через клубы пыли за консервной банкой — играли в футбол. По улице (улице? или просто пространству между заборами?) гнал овец седобородый старик в традиционном для сирийцев красно-белом платке — платок повязан тюрбаном на голове, «хвост» его закрывал шею. Мы спросили направление на Каср-эль-Хейр: «Уэйн тарик Каср-эль-Хейр?» — старик показал прямо через деревню. Мы шагали сквозь пыль мимо заборов, на спинах туристические плотно набитые рюкзаки. Остановился пикап. «Уэйн?» («Куда?») — спросил водитель. Мы ответили, и он показал жестом, чтобы садились в кабину. Оказалось, что к руинам крепости вела однополосная, но качественная асфальтовая автодорога. Высадив нас, пикап поехал дальше — в некую бедуинскую деревню, где хорошая вода.

Мы сидели на древней каменной стене между полукруглых, тоже из красного камня, башен. Настя — девочка-соломинка, каштановые волосы по ветру, очки с разводами на линзах (в пыльном воздухе их регулярно надо протирать, ей надоело), в бледно-синих джинсах, в зеленой мохнатой фуфайке, пальчики ее машинально гладили шербатый раскрошившийся камень — загадочно улыбалась вдаль. Мимо проезжал мерседес — я махнул ему рукой: то ли ради приветствия, то ли уверенный в безнадежности его остановить — сам не понимал, — но мерседес остановился, и водитель настойчиво принялся приглашать нас в салон. Он сигналил, зазывающе махал руками. Пришлось бросить горизонт и спуститься с красной стены. Мерседес направлялся в Дейр-эз-Зор.

Водитель Саид в деловом костюме, в галстук. Сообщил нам, что русские — очень хорошие, «супер гуд», что Россия для Сирии лучший друг, «Русия Сурия бест ферендс». Мы ехали через эту великолепную, по-настоящему пустынную Сирийскую пустыню среди волн барханов. Лишь мертвый верблюд на обочине. Ехали больше часа — только песок и редкие клочки чахлой растительности. Не испорченная ближневосточными ветвями человечества пустыня — не перебитая оросительными каналами, не взлохмаченная нефтяными «качалками». Я восхищался, пожирал глазами однообразный пейзаж — водителю кивал и поддакивал.

Саид зазывал нас к себе в гости в Дейр-эз-Зор, в свой родной город. «Дейр-эз-Зор проблемы, война, армия, бандиты», — вываливал я с вопросительной интонацией весь свой запас арабского. Нас предупредили ранее, что в этот город соваться не стоит: там происходят кровавые столкновения между армией, полицией и противниками правящего режима, противниками президента Башара аль-Асада. «Нет, нормально. Были проблемы, армия убивать бандиты, сейчас все хорошо», — Саид улыбался, он реагировал на нас,

как любой нормальный сириец, — он нас всячески убеждал стать его гостями. Мы с Настей переглянулись и согласились.

Через два с лишним часа езды появились низкоэтажные бетонные и глиняные дома за глухими заборами — пригороды Дейр-эз-Зор. Появились пальмы, высаженные во дворах и вокруг домов. Чем ближе к городу, заросли пальм гуще, дома выше и аккуратнее. Фонари вдоль трассы. Газоны. Мы остановились — блокпост. Солдаты в оливковой форме и с «калашниковыми» в руках. Бетонные блоки, окрашенные в цвета сирийского флага. На разделительной полосе пустая бочка — и тоже в цветах сирийского флага. «Мафи мушкеле, — сказал Саид солдатам, высунув голову из машины. — Садык мин Русия» («Нет проблем, друзья из России»). К автомобилю подошел человек в темно-синей форме и фуражке — полицейский, — отдал Саиду честь, пожал руку, что-то сказал на арабском. Мы поехали дальше.

Въехали в гущу арабского — подвижного, хаотичного, сигналищающего и крикливого — города. Многоэтажки вдоль улицы — на первых этажах магазины и кафе, остальные этажи жилые или под офисы — на балконах вывески или сушится одежда и белье. Южный, вечно летний город — поэтому балконы длинными шеренгами, в каждой квартире, в каждом офисе выше первого этажа обязательно балкон. Обломанные пальмовые ветви на тротуаре. Из кафе клубы ароматного дыма: от кальянов или готовящейся еды.

Саид неожиданно, без объяснений остановил машину. Вышел и начал вытаскивать из багажника наши рюкзаки. Не глядя в глаза, торопливо объяснил, чтобы мы стояли здесь, а он доедет «вон до туда» — неопределенно махнул рукой вперед — и вернется за нами. Оставил нас с рюкзаками на тротуаре и уехал. «Козел, не вернется он, чую, не вернется», — сказал я Насте. «Подожди, может, мы что-то не поняли. Не может же он привезти нас и бросить в незнакомом городе, если сам звал в гости», — рассуждала Настя. Мы сели на рюкзаки и смотрели в сторону, куда уехал Саид. Минут пятнадцать смотрели-ждали. Или двадцать. Мимо промчался оливкового цвета пикап с развивающимся сирийским флагом. В кузове пикапа пятеро вооруженных солдат — автоматы направлены на тротуары и дома. «Да, не приедет. Вот козел», — согласилась Настя. Мы решили оставить рюкзаки в ближайшем кафе и погулять по городу — если уж оказались тут, то надо хотя бы погулять, посмотреть.

Я читал про Дейр-эз-Зор раньше. В городе ничего исторически или культурно выдающегося. Столица сирийской нефтедобычи. Он и строился под работников нефтяной индустрии. Современный безликий город — блочные многоэтажки, четко спланированные улицы на европейский манер. В России подобных городов полно в нефтяном Ханты-Мансийском или газовом Ямало-Ненецком округах. Одна-единственная достопримечательность в Дейр-эз-Зор — подвесной мост через Евфрат, построенный французами в 1920-х годах. «Значит, дойдем до центра, глянем, что там, потом до моста, и поедем», — сказала Настя.

Мы зашли в первое попавшееся заведение — в парикмахерскую. Несколько подростков внутри сидели в креслах и смотрели телевизор. Мы поздоровались. Среди них оказался один англоговорящий. Мы попросили оставить у них рюкзаки часа на три-четыре. «Погуляем и вернемся за ними. А то с рюкзаками ходить очень тяжело», — объяснил я. «Хорошо, хорошо», — согласился подросток. По телевизору показывали некое массовое действо: арабы что-то скандировали, плотный человеческий вар, кулаки вскидывались вверх. «Это что?» — спросил я. «Это Дейр-эз-Зор. Это митинг сегодня против Асада, — радостно объяснял англоговорящий. — Вы за Асада или против?» Другие подростки, услышав знакомое «Асад», придвинулись ближе к нам. Если я неправильно отвечу, то мы можем здесь встрять, нарваться на неприятности. Люди митингуют, блокпост на въезде, солдаты вооруженные. Этих пятеро, я — один.

«Слушай, приятель, мы — путешественники, — принялся объяснять я. — Мы гости в Сирии. Асад — ваш президент, вам и решать, какой он». Англоговорящий обнял меня и поцеловал в щеку. «Асад — плохой. Асад — диктатор. Нам не нужен Асад», — и он яростно плюнул в пол. Мы оставили в его парикмахерской рюкзаки и спросили, как идти к французскому мосту. Путь был простой и не слишком длинный — через квартал повернуть налево и дальше все время прямо, пешком с полчаса.

Мы шли, внимательно осматривая здания и тротуары, — искали следы от пуль на стенах, высохшие пятна крови под ногами. Безликие многоэтажки, балконы, вывески, торговля на тротуарах, взрослые люди, дети с рюкзаками за руку с мамами или папами, неспешные старички — ничего необычного, все спокойно. Правда, мы не увидели ни одного портрета Башара аль-Асада на стенах и в витринах. Ранее в Алеппо, Ракке и деревнях, которые мы успели посетить, их было полно, эти портреты были всюду в общественных местах.

Мы уточняли дорогу — сирийцы, как и везде, — охотно и подробно нам объясняли, непременно улыбались.

Центр города. Небольшая круглая площадь — укрытая газоном. Автомобили ехали по кругу, сворачивали в расходящиеся, как солнечные лучи, улицы. Ни танков, ни БТРов, ни солдат, ни полицейских. Ни митингующих, ни следов от пуль или осколков, ни пятен крови, ни разбитых витрин. Вокруг площади супермаркеты — из автоматически открывающихся дверей выходили женщины с пластиковыми пакетами, набитыми покупками. От площади длилась улица, застроенная коттеджами, прохожие объяснили, что по ней мы выйдем к мосту.

Аккуратные двухэтажные коттеджи среди пальм — колониальные особняки с просторными террасами, огромные окна, вместо глухих заборов — изгороди из витых металлических прутьев. Особняки из французских фильмов 60-х годов о жизни белых в южных заморских владениях. На этой улице должен был появиться сухой морщинистый араб, ведущий верблюдов. А на террасу выйти молодой Ален Делон в светлых рубашке и брюках. И вслед за ним молодая девушка в коротких шортах, в рубашке с коротким рукавом и широкополой шляпке, шляпку придерживая тремя пальцами. Возле ворот их ожидал бы шевроле. Сухой араб равнодушно взглянул бы на белых и пробормотал бы что-то со словом «Аллах». Но улица была пуста. Одна из вилл — разгромлена, ошметки жалюзи торчали из разбитых окон, дверь выломана, стены расписаны черными и красными граффити, плохо покрашенными серой краской. Через сотню метров у ворот сидела охрана — за их спинами белокаменный особняк с черными окнами. Охранники в черных кожаных куртках, с автоматами на коленях, сидели босыми, ботинки стояли под стульями. Они сумрачно поглядели на нас и кивнули приветственно.

Въезд автомобилям на мост перегораживали два металлических столба, скованные толстой цепью, — на цепи, грустно покачиваясь, сидели два фотографа — у обоих пленочные старые фотокамеры. Слева от входа на мост будка с полицейским — в окне большой портрет Асада, окно в паутине трещин, видимо, по нему ударили чем-то. Полицейский, старый и усталый, перекидывался фразами с фотографами.

До Второй мировой Сирия была французским протекторатом. Французы строили тут дворцы, виллы, технические сооружения, которые никогда не строили на своей исторической родине. Здесь они подходили с другим мерилom — постройка, конструкция должна внушать трепет и восхищение местным племенам перед колонизаторами. В 1927 году французы достроили мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре — он соединил шоссе из Ирака с шоссе в портовый Бейрут, в окрестностях на сотни километров больше не было ни одной переправы через Евфрат. Мост был важным сооружением,

нетривиальным. Подобного нет нигде в мире — единственный в своем роде. Металлические ванты-опоры на тросах удерживают пролеты. Несколько арок над телом моста — в них звук вибрирует, как в церковном колоколе. Но никакой чугунности, монументальности. Мост весь на вид легкий, как будто сложен-склеен из спичек.

Мост для Дейр-эз-Зора был вроде Арбата. По нему прогуливалась молодежь, приезжие, на мосту прохожие замедляли шаг и чего-то ждали, высматривали. Парочки, свесившись через тросы-ограждения, перешептывались. Подростки фотографировали друг друга на мобильники. Девушки в хиджабах и без. Юноши в обтягивающих футболках и штанах, волосы обязательно набриолинены. Моя с соломенной фигурой Настя пересекала спичечный, почти невесомый мост — она своими тонкими длинными линиями словно растворилась среди тонких и длинных линий колониального изящества и арабских просторных платков. Я почти потерял ее из виду. Но она вдруг вынырнула возле меня и сказала: «Смотри, насколько тут изумрудна вода. Как в настоящей горной реке». Один подросток сказал нам «freedom», показал двумя растопыренными пальцами V — знак сирийских бунтарей. И пошел дальше — заметно по походке, что довольный собой.

Мы, свесившись через тросы-ограждения, разглядывали стремительный поток. Евфрат широкий, разрезанный мелкими островами, здесь походил на великую реку, вспоившую, взрастившую древние мощные цивилизации Двуречья — быстрый, восхитительный, сочного оттенка. Здесь люди могли заряжаться новыми идеями, технологиями, генерировать открытия. Сильный подвижный Евфрат гнал под нами тонны воды. А мы не подозревали, что в Насте уже возрастает, формируется новый человек — наш Арсений.

* * *

Март 2013-го. Нашему Арсению пять месяцев и три дня. Он уже привык переворачиваться со спины на живот. Переворачивается и тянется к погремушкам. Дотянется и смахивает из своей кровати на пол. Погремушка звучно бьется о пол. Арсений прислушивается и тянется к следующей. Над его кроватью приклеена к стене карта Сирии — Евфрат пересекает страну по диагонали. За окном никак не заканчивающаяся русская зима. Снег метет, вороны прижимаются к веткам березы, машины буксуют на нерасчищенных дорогах.

Пару дней назад арабоязычные сетевые издания сообщили, что боевики из антиправительственной группировки взорвали французский мост в Дейр-эз-Зор. Фотография в новостях — тростниковая конструкция моста в клубах взрыва. В Дейр-эз-Зор больше нет «арбата» над изумрудным Евфратом.

Март 2021-го. Нависаем с второкласником Арсением над бумажной мятой картой Сирии, разложенной на полу. Тыкаю пальцем в крупное пятно с подписью Дейр-эз-Зор по-французски. «В этом городе до войны был очень красивый старинный мост над рекой. Мы с мамой гуляли по нему, когда ты плавал у нее в животе», — говорю второкласнику. «Больше нет? Разрушили? Зачем же разрушили, ведь каждая война обязательно заканчивается, а через реку переправляться людям всегда нужно», — мудро рассуждает Арсений.

Подавляя инстинкт войны

«Поп Ватра (священник Огонь) прозвали его люди», — сказала его поделница, перевозившая деньги из Северной Америки на Балканы мятежным сербам. Во время Второй мировой войны поп Ватра командовал сербской Динарской дивизией, в 1990-е финансировал никем не признанное воюющее государство Сербская Краина. «Врут, что он сотрудничал с немецкими нацистами. Он сотрудничал только с итальянскими фашистами, а они, в отличие от нацистов, не устраивали концентрационных лагерей, не уничтожали миллионы людей по национальному или идеологическому признаку. Момчило Джуич был очень мудрый человек. Не зря же он в мирное время стал священником, а во время войны ушел воевать и воевал хорошо, достойно», — продолжала поделница. Она пила кофе и курила на террасе ресторана на берегу Дуная, позади австро-венгерских особняков сербской столицы. Международный трибунал по военным преступлениям так и не догадался ее арестовать. Поэтому она спокойно, глаза спрятаны за черными очками, рассказывала мне историю священника-военачальника.

Момчило Джуич был последним четническим воеводой Второй мировой. Родился он недалеко от города Книн. Тогда те земли являлись частью Австро-Венгерской империи, а нынче это территория Хорватии. На Балканах земли никогда не задерживаются у одного хозяина подолгу. В двадцать четыре года Джуич был рукоположен в православные священники в королевстве Югославия (Книн с окрестностями королевство успело прибрать к рукам к тому моменту). У сербов священник имеет гораздо больше влияния в обществе, чем в России. Пятьсот лет они жили то под гнетом мусульманской Османской империи, то под Австро-Венгрией, где главенствующей религией был католицизм. Загнанный и презираемый народ. Сербам не разрешалось иметь свои национальные административные органы, поэтому центрами их культурной и общественной жизни становились православные церкви и монастыри. Православие превратилось в неотъемлемый фактор самоидентификации. Сербоговорящие католики становились хорватами, а принявшие ислам — мусульманами (сейчас их называют «босняки»). Чтобы оставаться сербом, необходимо было обязательно исповедовать православие. Поэтому наибольшее влияние в среде сербского народа имели православные священнослужители. Это превратилось в традицию. Когда сербы смогли наконец создать свое собственное государство, священники остались не менее влиятельными, чем представители высшей бюрократии и отпрыски королевской династии. Церковь осталась самостоятельной, отдельной от государства. Вернее будет сказать, что государственные органы находились в определенном подчинении у церкви.

Имея приход в крупном — почти тысяча жителей — селе Стрмица недалеко от родного села, священник Джуич успевал организовывать забастовки железнодорожных рабочих, обслуживавших близлежащую железную дорогу. Он женился на дочери состоятельного сербского торговца, у него росла дочь. Была вторая половина 1930-х. Именно тогда знакомые с ним придумали прозвище: «поп Ватра». В нем кипела бешеная энергия. Он проводил службы, помогал своему приходу словом и делом. Возле села пролегла железная дорога, она давала многим селянам работу. Когда нарушались права рабочих, обращались к Джуичу. И он, переодевшись из церковной одежды в повседневную, надев большой серебряный крест на грудь, отправлялся защищать трудовые права своей паствы.

В апреле 1941-го Германия вместе с фашистской Италией и Венгрией вторглась и разгромила королевство Югославия. Почти половину страны победители отдали под управление радикальным хорватским националистам — уставам, которые провозгласили Независимое государство Хорватия. В его состав попали и территории

в районе города Книна, населенные сербами, в том числе село Стрмица. Одной из основных своих целей усташа провозгласили уничтожение или изгнание сербов. Говоря современным языком, они хотели создать «этнически чистую» Хорватию. Джуичу, как и сотням тысяч других сербов, пришлось бежать из родных мест. Он оказался в юго-западной части Хорватии. Свежесозданная страна хотя и была организована при поддержке оккупантов, оказалась поделена на зоны ответственности между Германией и Италией. За безопасность на юго-западе Хорватии отвечала итальянская армия.

Итальянские фашисты не поддерживали усташской сербофобии (впрочем, активно с ней не боролись тоже). Их беспокоило набиравшее масштаб и численность повстанческое движение против оккупантов на территории разгромленной Югославии. Повстанческое движение состояло из двух основных течений: одно — солдаты бывшей королевской армии, второе — коммунистические партизаны. Итальянцы надеялись с первыми договориться, чтобы те помогли победить вторых. Джуичу коммунисты не нравились так же, как и хорватские усташа: и те, и другие выступали против православной церкви. Одаренный организатор, он взялся за создание подразделения четников (то есть тех, кто выступал за национальные сербские интересы и монархию) под покровительством итальянцев.

«Он родился воином. Однако ни одной подходящей войны не было, когда он повзрослел. Серб, он свой воинский дух применил для служения православной церкви. Пока Югославию не втянули во Вторую мировую», — объясняла мне та, которая в 1990-е годы помогала постаревшему Джуичу заниматься делами, каравшимися международным уголовным судом. Понятия не имею, сколько ей лет. Спрашивать было неэтично. Биографических справок о ней не найти в интернете даже на сербском языке. Звали ее Зорана. По виду — лет сорок. Благодаря ухоженности и обилию макияжа. Балканские женщины имеют такое свойство: после восемнадцати лет быстро наливаются соками, осваивают необходимые повадки и становятся похожи на опытных леди 30+. В таком состоянии они сохраняются лет двадцать-тридцать. Поэтому тридцатилетняя может оказаться по паспорту в равной мере и двадцати-, и сорокалетней женщиной. Подельница Джуича, повторюсь, выглядела на сорок, но дела с сербским националистом она вела за двадцать пять-тридцать лет до нашего разговора. То есть реальный ее возраст был не младше сорока пяти. При том что много курила и потребляла кофе.

Итак, поп Ватра наладил отношения с итальянскими фашистами, отвечавшими за безопасность на половине государства усташей, то есть потомков сербоговорящих племен, принявших столетия назад под давлением итальянских княжеств католичество. Лето 1941-го. «Усташа проводили страшный геноцид сербов. Убивали тысячи безоружных людей ежедневно. Сербов истребляли за веру и культуру, как армян и ассирийцев в Османской империи в начале XX века или народность тутси в Руанде в 1994 году. Страшное время. Наши реки покраснели от крови, земля перестала приносить урожай из-за обилия трупов, которые в нее закапывали. Джуич собрал четников — православных партизан-ополченцев — и они, получив оружие у итальянцев, начали войну против усташей. И против коммунистических партизан Иосипа Броз Тито», — рассказывала Зорана.

Свое воинство Джуич назвал «Динарская дивизия» — потому что его четники воевали вдоль Динарского нагорья, которое тянется вдоль берега Адриатического моря на шестьсот километров. Четники вычищали горы от партизан, чтобы итальянцы не мешали им нападать на усташей и защищать сербов. Звание Джуича после формирования дивизии стало «воевода» — высшее звание в сербской армии (его одобрили командиры четников, действовавшие в других областях разгромленной Югославии и так же имевшие звания воевод). При том, что до того он никакого воинского чина не имел. Под штаб дивизии итальянцы выделили ряд зданий в Книне.

Главнокомандующим всех четнических формирований являлся Драже Михайлович, полковник королевской армии, его подразделение отказалось сдаваться немцам и первым начало повстанческую борьбу с ними. Джуич лишь номинально подчинялся Михайловичу. Фактически поп Ватра был самостоятельным командиром, который действовал, главным образом, с оглядкой на итальянцев.

Балканские истории всегда очень сложные, запутанные, многослойные, тем более связанные с войнами. Чтобы рассказать лишь одну, нужно обязательно рассказать еще несколько, объясняющих ее. Поп Ватра успел повоевать и подружиться с разными силами за время Второй Мировой.

В 1942-м, Джуич начал сотрудничать с усташами. Командование итальянскими оккупационными силами настояло, принудило. За итальянскими фашистами стояли немецкие нацисты. Нацистам нравился расовый подход усташей, Адольф Гитлер очень ценил поглавника (диктатора) Независимого государства Хорватия Анте Павелича. Как писал итальянский фронтовой корреспондент Курцио Малапарте, усташа в качестве подарка приносили Павеличу корзины с глазами, вырезанными у сербов. Знал ли о том Джуич? Если не знал, то точно предполагал. Поэтому время от времени его четники продолжали нападать на усташей, хотя итальянцы принудили его помириться с ними и совместно гоняться за коммунистами-партизанами. «Если где-нибудь в Динарской области усташа нападали на сербские села, сербы жаловались четникам Джуича. Четники мстили. Усташа жаловались итальянцам. Итальянцы делали выговор Джуичу. Тот устраивал показательные собрания и отчитывал своих четников, убеждал их, что надо сотрудничать с усташами, присутствовали итальянские офицеры. Потом тайно распоряжался о новых нападениях на хорватов. И со временем гонения на сербов в области Динарского нагорья прекратились», — сказала Зорана.

Коммунист хорватского происхождения Тито считал своим долгом отловить и уничтожить Джуича. Его партизаны охотились на четнического воеводу. В 1944-м им почти удалось его поймать. «Но Джуич оказался хитрее. Партизаны охотились за ним в его родных горах, потому-то у них ничего не вышло».

Весной 1945-го через Балканы быстро продвигались советские войска. Они соединились с партизанами Тито и начали зачищать от четников, усташей и оккупационных частей территорию бывшего королевства Югославия. «Мудрый Джуич рассудил, что против советской Красной Армии у него нет шансов. Он собрал четников, их было тысяч семь, и объявил, что они уходят в Италию, которую уже захватили американцы и англичане, и сдадутся им», — Зорана выдержала паузу, отхлебнула кофе. «Но он же все равно оставался сербом, священником Сербской православной церкви. Он не мог бросить своего патриарха Гавриила». Патриарха Гавриила после разгрома королевства Югославия немецкие нацисты держали в изоляции, он отказался призывать сербов к подчинению Германии. С сентября 1944-го года его содержали в концлагере Дахау. Четники неоднократно пытались Гавриила освободить — в том числе вооруженным путем. Безуспешно. В декабре 1944-го немцы перевезли патриарха в австрийские горы. Туда к нему пробрался Джуич. Эту историю я знаю в пересказе архимандрита Йована Радосавлевича, он ее слышал от очевидцев. «Джуич взял с собой чокань ракии, рыбу и хлеб, чтобы порадовать нашего патриарха. Патриарх Гавриил, когда увидел воеводу, длинноволосого и бородатого в мохнатой шубе (сербской национальной папaxe), удивился и спросил: "Ты кто, сынок?" Тот протянул хлеб и объяснил, что пришел вызволять патриарха. Патриарх говорил, что нельзя этого делать, потому как он доставлен сюда по приказу Гитлера и, если совершит сейчас побег, то его и освободителей-четников будут преследовать. Но все-таки Джуичу, хотя и с большим трудом, удалось убедить патриарха Гавриила, вечером они отправились в расположение остатков Динарской дивизии. Прибыли на следующее утро, там их встречали воины-четники, построившись в шеренги, они просили благословить их и освятить знамена. Патриарх шел вдоль

шеренги, повторяя: "Эх, четичи вы мои, четичи, благослови вас Бог". Вместе с четниками он сдался американцам». В ноябре 1946-го Тито, властитель новой коммунистической Югославии, разрешил патриарху вернуться в Белград. Джуичу возвращаться было нельзя. В июле 1946-го Драже Михайловича, его командира, расстреляли по приговору коммунистического суда в Белграде. На собрании четников Джуич сказал: «Надеюсь, что это была не последняя война на Земле. Слишком много дел осталось недоделанными». Многие отправились вместе с ним в Северную Америку. Тито долго и настойчиво добивался, чтобы США выдали ему Джуича для проведения суда. Американцы считали, что четнический воевода не виноват в военных преступлениях, а коммунистические власти преследуют его по политическим мотивам. Джуича не выдали.

Он создал ветеранскую организацию четников, фактически руководил сербской православной общиной в США. В его Динарской дивизии насчитывалось несколько тысяч бойцов. В США он заправлял общиной в сотни тысяч. Остававшийся священником бывший военный командир Джуич наладил жизнь общины как военно-религиозной организации. После служб в церкви сербы-изгнанники собирались и обсуждали свои нужды, Джуич назначал ответственного за решение конкретных задач. Невыполнение задачи каралось — провинившийся понижался в неформальной иерархии сербской общины. «Поп Ватра очень хотел воевать. Чувствовал, что не отвоевал своего. Его родина находилась под властью коммунистов. В нем по-прежнему горел бешеный *Огонь*. Джуич вынужден был *Огонь* сдерживать, подавлять свой инстинкт войны. Во второй половине 80-х я познакомилась с ним. Самый сильный, внутренне сильный человек, какого я встречала в жизни. Мой отец, он воевал в составе Динарской дивизии, познакомил меня с Джуичем», — Зорана для убедительности покачала головой и закурила очередную сигарету.

Про воеводу-священника (или священника-воеводу, что ставить на первое место, что было для Джуича важнее?) в среде сербской эмиграции ходили легенды. О том, как он пытался удовлетворить свой инстинкт войны. Он не желал участвовать в любом вооруженном конфликте, но исключительно в войнах против югославских коммунистов. «Говорили, что он пытался наладить связь с двадцатичетырехлетним полковником Георгиу Костасом, греком-киприотом, который командовал наемниками, воевавшими против коммунистов в Анголе в середине 1970-х. Вроде бы ангольскую коммунистическую армию тренировали югославские офицеры. Джуич хотел воевать против них. Он набрал отряд из ветеранов-четников и готовился отправиться в Анголу, чтобы присоединиться к Костасу». В начале февраля 1976-го дерзкий и умелый боец Костас попал в засаду ангольской правительственной армии. Его ранили, несколько его бойцов погибли. Ангольцам помогали кубинские советники. Костаса пленили. Вскоре судили и приговорили к расстрелу.

Спустя десять лет Джуич понял, что скоро у него появится шанс вернуться на родину. «В Югославии набирало силу сербское националистическое движение. И не только оно. Хорватские националисты тоже создавали свои партии и вооруженные формирования. Мусульмане вооружались, албанцы в Косово устраивали беспорядки. Коммунистическая Югославия рухнула сама собой, под собственным грузом. На ее месте появилось несколько национальных республик. В том числе Хорватия, которая претендовала на Книн, потому что в коммунистические времена Тито включил его в состав югославской республики Хорватия. Жившие в Книне сербы восстали против новой власти и провозгласили свое государство — Сербская Краина. Джуич был в восторге». По мнению воевавшего в Боснии русского добровольца Олега Валецкого, который занимается исследованием войн в бывшей Югославии, это крошечное государство, прилепившееся к Динарским горам, соответствовало ожиданиям сербских националистов. «Возникшая на волне сербского национального подъема республика Сербская Краина — РСК в условиях 1990-х годов вполне соответствовала идеалам

национального государства, построения которого требовала тогдашняя сербская национальная оппозиция», — написал Валецкий в книге «Падение республики Сербская Краина».

Джуич, последний оставшийся к тому времени в живых четнический воевода, назначает четническим воеводой вождя Сербской радикальной партии Воислава Шешеля. Шешель собирал добровольцев и отправлял их на помощь книнским сербам. Однако сам Джуич пообещал вернуться на родину только тогда, когда «из Сербии будет изгнан последний усташ». Частью Сербии он считал и Книн.

И тут в балканских темных делах появилась Зорана. «Я была сумасшедшая и очень красивая девчонка. Джуич доверил мне перевозить деньги, собранные сербами в Северной Америке, к книнским сербам. "Красивая девушка в нарядном платье очарует любого таможенника и полицейского. Они будут досматривать разрезы твоего платья, а не твои сумки. Ты поможешь нашим братьям, милая моя", — сказал он. В первую поездку меня охраняли два сербских бойца из американской диаспоры. Они сопровождали меня на отдалении, следили, чтобы ко мне не подходили чужие. В самолете, в автобусе из Белграда в Сараево, на сараевских улицах. В Сараево, когда я встретилась с представителем РСК, они подошли ко мне и сказали, что я очень смелая. Ох, молодость. Ох, бешеная моя энергия. Я носила самые откровенные платья, чтобы таможенников больше интересовала я сама, а не мой незаконный груз», — Зорана первый раз за время нашего разговора улыбнулась. И опять достала из пачки сигарету.

Джуичу шел девятый десяток. «Он мечтал вернуться в Книн легендарным героем. Я возила деньги от него в Сараево до тех пор, пока в Боснии не начались беспорядки, устроенные мусульманами. Маршрут изменился. Я прилетала с сумками, полными долларов, в Белград и оттуда вместе с вооруженными добровольцами из партии Шешеля ехала в автобусе прямо в Книн. Столица Сербской Краины меня впечатляла. Суровые мужики в военной форме и при оружии разгуливали по улицам, всюду сербские флаги, люди танцевали в кафанах, где звучала живая музыка. Добровольцы слушали музыку, чтобы затем ехать на встречу со смертью. Никогда больше я не видела столько энтузиазма в сербах. Они верили, что мы победим. Сербское войско уже отвоевало и контролировало нашу землю, обороняло ее. Нужно было лишь, чтобы Сербскую Краину признала Европа и заставила признать хорватов. Мы не понимали, что Европа хочет нас наказать. Показать на примере Сербской Краины сербам, что мы слабы. В августе 1995-го, когда я была в Нью-Йорке, ждала новую партию денег, хорватская армия за несколько дней разгромила Сербскую Краину и выгнала сербов. Джуич после этой новости сразу одряхлел. Существование Сербской Краины вселяло в него жизнь. А тут у него силы иссякли. Он за несколько дней превратился в невыносимого старика. Терпеть его стало очень тяжело. А что я? Я оставалась молодой. Мне казалось, что не все еще потеряно. Сербь продолжали воевать в Боснии. Мне казалось, что мы сможем победить и создать свою Великую Сербию. Я окончательно переехала в Белград и присоединилась к партии Шешеля. Правда, вскоре НАТО разбило сербов в Боснии, через три года НАТО разбомбило Белград, чтобы помочь албанским террористам в Косово. Джуич умер в сентябре 1999-го года, когда сербская полиция и армия были выведены из Косово. Сербь потеряли Книн, потеряли Боснию, потеряли Косово. Уверена, Джуича доби́ли эти поражения. Ему было 92 года».

Зорана не захотела возвращаться в США, хотя у нее есть американское гражданство. «Что мне там делать? Мои лучшие молодые годы прошли здесь. Улицы, люди, Дунай. Они напоминают лучшие моменты в моей жизни. В США мне будет очень грустно без них. Поэтому я предпочитаю Белград. Хотя мой сын и бывший муж живут в Либертвилле. В Либертвилле на сербском православном кладбище рядом с последним югославским королем Петром Вторым похоронили Джуича. Останки короля в 2013-м перевезли

в Сербию, в усыпальницу нашей королевской династии. Джуич остается в американской земле. Мой сын ухаживает за его могилой».

В 2000-х Международный уголовный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии выяснил тайную схему финансирования Джуичем книнских сербов. Ее огласили бывшие вожди Сербской Краины, признались в ходе судебных заседаний. Правда, осталось неизвестным, каким образом деньги доставлялись из США в Книн. Зорана не пользовалась настоящим паспортом — Джуич побеспокоился достать ей поддельные документы. «К тому же деньги сербским лидерам в Книне всегда я передавала через посредников. Сдать меня международному трибуналу мог только поп Ватра». Тайное финансирование Сербской Краины трибунал объявил преступлением, потому что деньги тратились на войну против хорватов. Таким образом получилось, что Зорана участвовала в преступной схеме. Однако несколько лет назад Международный трибунал перестал функционировать — считается, что он пересажал всех основных военных преступников бывшей Югославии. Поэтому Зорана спокойно пьет кофе в ресторане на берегу Дуная. Она не боится рассказывать о своих приключениях в начале 1990-х. Теперь никто ничего не сможет доказать. «Если действительно мне будут грозить проблемы, то я просто скажу, что выдумала историю про перевозку денег попа Ватры».

Соловки — Петербург, ноябрь 2020 — январь 2021

Пророк Наум и Алькош

Пророк Наум был злобным стариком. Мстительным. Когда вавилоняне громили столицу Ассирийского царства Ниневию, он ликовал. Он не хотел прощать ассирийцам побед над иудеями. Злобный старик был иудеем, хотя и родился на исконно ассирийской земле, в городе Алькош. «Враг моего врага — мой друг», — говорили жители древних государств Месопотамии и окрестных земель. Пророк Наум почитал ветхие предания. Он ликовал и обзывал Ниневию «развратницей приятной наружности», когда войска вавилонян ворвались в городскую крепость и устроили резню. Он писал: «Мститель Господь и страшен в гневе». У него и его единоверцев не имелось достаточно сил, чтобы отомстить ассирийцам за военные поражения. Они уповали на высшие силы. Высшие силы пришли с юга, из Вавилонского царства. Началось рубилово. От родного для Наума Алькоша до Ниневии по прямой тридцать километров — через равнину. Конечно, любопытный старикан подобрался поближе к месту битвы и наблюдал за триумфом вавилонян. Он выбрал достаточно безопасное место, чтобы разгоряченные воины в пылу битвы не отсекли его голову.

По преданию, он умер в сорок пять лет — руины ассирийской столицы к тому времени поросли сорной травой. Однако же на иконах Наума изображают стариком. Все верно, в античные времена в сорок пять человек считался старым — жизнь была тяжелой и полной опасностей, разрушающих здоровье. До смерти Наум успел написать о падении Ниневии. Его текст, похожий на брызжание мстительного старикана, стал частью Ветхого Завета. Наума захоронили в родном Алькоше. Теперь это север Ирака. Район автономии Иракский Курдистан. Когда я в первый раз проездом попал в Алькош, в тридцати километрах от города снова шла война. Небо разрывали боевые вертолеты, направлявшиеся на запад для нанесения ракетных ударов по позициям противника.

Пять месяцев спустя я опять приехал в Алькош, чтобы спокойно рассмотреть его. Боевые действия во втором по размерам иракском городе Мосул закончились. Центр Мосула представлял собой холмы из развалин — многие дома, мечети, церкви, торговые центры и административные здания были разрушены ударами артиллерии и авиации. Алькошу повезло. Война коснулась его вскользь. Прилепившийся между равниной и труднодоступными горами он смог защищать себя в течение двух лет. В ноябре 2016-го началось масштабное наступление на Мосул, и Алькош сместился в тыл.

Я приехал в город Наума с душевной и циничной немкой, она выполняла роль фотографа в моей поездке по северной части Ирака. К тому же гораздо лучше меня говорила на арабском, что упрощало решение вопросов с местными органами власти. Циничную немку не интересовал Алькош и его древности. Ее волновало, сколько денег мы сможем получить с журналов, которые согласятся опубликовать мои статьи и ее снимки. В общем, я завез ее в Алькош и оставил на лавке напротив монастыря, принадлежащего Халдейской католической церкви. «Монастырь Пресвятой Девы Марии, — показал я на кресты за своей спиной. — У монахов, если понадобится, спросишь воды, еды, интернет. Короче, все, что тебе надо. Уверен, они не откажут». Немка, недовольно сдвинув губы, кивнула. Я поставил свой рюкзак рядом с ней на лавку и пошел в сторону горного склона, в который был врезан древний монастырь.

В 612-м году до рождения Иисуса Христа, говорившего на арамейском, языке ассирийцев, иудей Наум восторгался разрушением ассирийской столицы Ниневии. 2629 лет спустя, в 2017-м после рождения Иисуса, ассирийцы торжествовали, когда авиация и артиллерия иракского правительства и их союзников разрушала возникший на месте Ниневии Мосул, который контролировала многонациональная террористическая группировка. История всегда повторяется — обязательно в форме фарса.

Я сумел побывать в Мосуле, когда в городе происходили бои. Март 2017-го. На разбитых проспектах ворочались американского производства броневые автомобили «Хамви» и танки «Абрамс» под флагами Ирака — флаги хлопали, словно птичьи крылья, на ветру. В сотне метров от позиций иракских военных взорвался заминированный автомобиль, управляемый смертником из террористической группировки. Момент взрыва успел заснять греческий фотограф Арис Мессинис. Снимок широко разошелся в медиа: огненный вихрь нахлестывает на два грязно-зеленых «Хамви». Над кварталами, занятыми террористами, разворачивались черные кишки дыма после авианалета антитеррористической коалиции. Снайперы, прятавшиеся по верхним этажам зданий, выцеливали друг друга. Пули крошили бежевые стены домов. «Мосулу не повезло. Разрушим мы его быстро. Но вот сколько лет потом будем восстанавливать?» — философски заметил иракский офицер по имени Сулейман. Наум не думал о восстановлении Ниневии, когда восхищенно наблюдал, как город разносят в хлам вавилоняне. Представляю, как он потрясал воздетыми кулаками, будто футбольный болельщик на стадионе, видя врывающихся в ассирийскую столицу вавилонских воинов.

Ассирийское царство завоевало иудейское государство Израиль в 750-х годах до нашей эры. Ассирийские правители, видимо, понимали, что восстаний в только что присоединенных областях можно избежать, если заменить население на более покорное. Поэтому устроили — сейчас бы выразились — массовую депортацию иудеев с родных территорий на исконно ассирийские земли, возле Ниневии. Кстати, довольно гуманное решение — в те времена непокорные племена в Месопотамии обычно просто вырезали до последнего мужчины, а женщин воины разбирали в рабыни. Земли бывшего Израиля заселили колонисты-ассирийцы. Таким образом предки пророка Наума попали в Алькош. Сто пятьдесят лет депортированные иудеи не

забывали обид. И вот вавилоняне, подступившие в 612-м году к стенам Ниневии, вызвали дикий восторг у живших возле ассирийской столицы иудеев. Среди собравшихся посмотреть на осаду ассирийской столицы оказался умеющий писать Наум. Благодаря своему навыку он и попал в число ветхозаветных пророков.

После того, как вавилоняне разрушили Ниневию, перебили либо увели в рабство ее жителей, город не возродился. Спустя века возле руин появились бедные скотоводы-ассирийцы. Их поселение разрасталось за счет выгодного положения. В Месопотамии до сих пор главное — наличие постоянных источников воды. Поселение скотоводов расположилось на берегу реки Тигр, которая изобиловала карпами. Из карпов готовили «мазгуф», рецепт которого придумали тысячи лет назад шумеры. В первых веках нашей эры ассирийцы, жившие на руинах Ниневии, активно принимали христианство. В окрестностях появлялись монастыри. Поселение расширилось до размеров города, получившего название Мосул. В седьмом веке после рождения говорившего на языке ассирийцев Иисуса Христа (ассирийские христиане уверены, что он потомок ассирийских колонистов Израиля) Мосул был захвачен Арабским халифатом, который продвигал ислам. Новые мусульманские правители не разрушали христианские церкви, но добавляли к ним мечети. Не всегда арабские архитекторы строили умело, не учитывали свойств местных почв. Один из минаретов накренился из-за смещения фундамента. Его прозвали «Аль-Хадба» (по-арабски «горбатый»). В XVI веке город оказался под властью Османской империи, и среди мечетей и церквей в центральной части города разрешили возводить храмы других религий. Например, экзотические езиды построили свое святилище с куполом, похожим на пушенную в небо стрелу.

В Алькоше продолжала существовать иудейская община, главной святыней которой являлась гробница Наума. На каменных ее стенах вырубили строчки из священных иудейских текстов. Иудеи мирно соседствовали с ассирийцами, принявшими христианство. Шестидесятипятилетний монах по имени Раббан Хормизд поселился в пещере на горном склоне над Алькошем. На стене пещеры он много лет вырезал крест. Между делом спорил с монахами других монастырей возле Мосула. Из-за подобных споров христианство распадалось на разные течения. У Раббана Хормизда появлялись последователи — они населяли соседние пещеры и строили стены вокруг них. Пока душная немка с недовольным лицом сидела на лавке, я поднимался к монастырю, отстроенному на склоне горы учениками Хормизда. Меня сопровождал иракский полицейский — монастырь на всякий случай охраняла полиция.

Когда я поднимался по отшлифованным миллионами ног каменным ступеням, понял, почему именно здесь Хормизд выбрал место для духовного уединения. Полицейский показал на горный уступ. По нему мы перешли в неглубокую сырую и прохладную пещеру: в углу бил родник, чистая и холодная вода. Полицейский набрал в сложенные лодочкой ладони воды и выпил. Предложил и мне попробовать. Изумительная вода. Мы вышли из сумерек каменного мешка на яркий свет и отправились дальше, вверх. В поздние времена монахи отстроили из дикого камня коридоры между пещерами, в которых жили, добавили дополнительные помещения: для совместной трапезы, для важных гостей, подклети, ризницу и прочие. Окна делали узкие и маленькие, как бойницы, — на случай обороны от противника. На верхней крыше монастыря (крыши на разной высоте чередуются вдоль склона) установили круглоголовую колокольню с резным каменным крестом. Мы с полицейским петляли коридорами, попадая в залы с иконами, запахом потухших свечей и гробницами местнопочитаемых святых. Наконец зашли в закуток, где бросался в глаза отполированный крест, вырезанный в стене. «Хормизд», — кратко пояснил полицейский. Тот самый крест, которому последние годы своей жизни посвятил старец по имени

Раббан. Под ним обильные натеки воска — христиане ставили здесь свечи, обращаясь к покровительству святого старца или к Богу с молитвами. Мы прошли в следующий коридор, где зиял пролом в стене — плита с надписью на арамейском выбита и поставлена рядом. «В 2003 году американские солдаты использовали монастырь как базу. Иногда они устраивали вечеринки с алкоголем и танцами. Во время одной из вечеринок кто-то из них выбил эту плиту. Я был обычным жителем Алькоша и надеялся, что американцы защитят нас от различных вооруженных группировок, которые рыскали поблизости. Мы, жители Алькоша, вообще иракские ассирийцы, думали, что американцы помогут нам создать собственную автономию внутри Ирака и собственное ополчение, которое будет защищать ассирийцев, если на нас вдруг нападут враги. — Полицейский помолчал. — Они ничего не сделали. Американцы свергли Саддама Хусейна, но вместо одного диктатора в стране появилось множество разных диктаторов, у каждого имеется личная армия. С 2003-го года нам нет покоя». После вторжения армии США в Ирак в 2003-м году последние иудеи покинули Алькош и переехали в более безопасный Израиль. Они попросили соседей-ассирийцев присматривать за могилой Наума. Ассирийцы пообещали присмотреть, но убеждали соседей-иудеев не сбегать в чужую страну. «Мы верили, что скоро наступит порядок. Американцы убеждали нас, что после свержения Саддама Хусейна Ирак станет процветающей демократической страной, где люди будут равны вне зависимости от вероисповедания», — грустно говорил полицейский. Иудеи оказались дальновиднее ассирийцев. С 2003-го года в Ираке не прекращается война. Меняются лишь имена руководителей правительства в Багдаде и названия группировок, с которым и это правительство борется.

В июне 2014-го года многонациональная террористическая группировка захватила Мосул. В мечети ан-Нури возле покосившегося минарета аль-Хадба лидер группировки провозгласил создание своего государства, непримиримого халифата, в котором нет места христианам, езидам, иудеям и многим другим, кто тысячи лет населял север Ирака. Террористы быстро заняли все ассирийские города и села возле Мосула, кроме Алькоша. Тех «неверных», кто не успел вовремя сбежать, казнили или превратили в рабов. В Мосуле сохранившиеся развалины Ниневии террористы сравняли бульдозерами с землей. Правда, наиболее ценные артефакты времен Ниневии, хранившиеся в мосульском музее, они продали на черном рынке.

Жители Алькоша, получив оружие легальными и нелегальными путями, засели в горах над городом и обороняли его. У террористов не было авиации. Боевики на пикапах или бронеавтомобилях по равнине пытались приближаться к Алькошу. С гор их расстреливали ассирийцы. После нескольких неудачных попыток штурма террористы выкопали траншеи в десяти километрах к западу и югу от Алькоша, которые стали линией фронта на два года. В ноябре 2016-го иракское правительство, собрав силы и получив поддержку союзников, в том числе США, приступило к освобождению Мосула и его окрестностей. Ассирийские ополченцы с гор над Алькошем наблюдали, как расцветают разрывы после авиаударов по позициям террористов. Они восторженно потрясали воздетыми кулаками, как пророк Наум две с лишним тысячи лет назад. Антитеррористическая коалиция потратила девять месяцев, чтобы освободить Мосул. Город превращен в руины. Его разбивали самыми современными видами оружия. Минарет аль-Хадба, увенчанный флагом террористической организации, взорван, мечеть ан-Нури — вместе с ним. «Земля Ирака всегда была землей разрушений и возрождений, поэтому в Ниневии больше всего почитали богиню Иштар — богиню войн и плодородия», — рассуждал сопровождавший меня полицейский, когда мы спустились от монастыря Раббана Хормизда к гробнице Наума (душную немку я решил еще подержать на лавке). За поклонение богине Иштар Наум называл ассирийскую столицу «искусной в чародейании». Иудеи считали ассирийские обряды, посвященные месопотамским божествам, магическими.

Среди зажиточных, тесно сдвинутых домов находилась гробница, где две с лишним тысячи лет назад упокоились кости Наума. Не слишком выдающееся среди прочих местных строений кубическое здание. Дверь заперта на замок. Один угол здания обрушен внутрь. Я заглянул через пролом. Серые осыпающиеся стены с цитатам из Торы. Конусовидные арки из дикого камня. Сама могила Наума — в половину человеческого роста прямоугольный параллелепипед, накрытый зеленой материей. Ассирийцы, как и обещали, присматривали за гробницей: мусора ни внутри, ни снаружи не было. «Нужны деньги, чтобы отремонтировать ее. Городские власти попросили финансирования у багдадского правительства: мол, важный культурно-исторический объект. Те ответили, что пока денег нет — в первую очередь, необходимо содержать армию, ведь война до сих пор продолжается», — грустно объяснил полицейский.

Июня, май 2020

Стреляющая музыка «Вагнера»

В июле 2014-го года артиллерия и авиация украинской армии долбили по Луганску почти каждый день. После взятия Славянска пятого июля правительство в Киеве решило направить основной удар на Луганск. На улицах города лежали остовы сгоревших автомобилей — власти недавно провозглашенной республики не успевали их убирать. В интернете появлялись видео, как снаряды влетают в жилые дома. По опустевшим проспектам проносились «Уралы» с ополченцами. Не более пятисот-шестисот бойцов ополчения обороняли тогда город. Киевская пропаганда утверждала, что в Луганске засели несколько тысяч военнослужащих регулярной российской армии.

Ядро луганского ополчения — батальон «Заря». Нас, минометный взвод батальона, отправляли на боевые выезды по несколько раз в день, с одного края города на другой. Иногда мы засыпали в кузове «Урала», пока ехали с одной позиции на другую. В первой половине июля наш взвод являлся всей тяжелой артиллерией луганского ополчения. Другой артиллерии в городе не было. Только к концу месяца появились гаубицы и несколько «Градов».

Очередной выезд. Два наших «Урала», груженные под завязку бойцами, 120-миллиметровыми минометами и зарядами к ним, проламывались сквозь лес вслед за белой «Газелью» с разведчиками. Задача — поддержать операцию нескольких наших подразделений в районе аэропорта, где с весны засела 80-я десантно-штурмовая бригада украинской армии, прибывшая из Львова (самое боеспособное подразделение армии на тот момент, оно участвовало в международных операциях в Ираке, Косово и Африке), и приданные ей подразделения спецназначения. «Если бы они знали, что аэропорт блокируют всего несколько десятков человек, то давно прорвались бы и засели на окраине Луганска», — сказал один из разведчиков, когда мы выгрузились на поляне, окруженной высокими соснами и липами. Среди тех, кто блокировал аэропорт, была группа, которой командовал человек с позывным «Вагнер». Тогда о ней никто особо не слышал за пределами Луганска. Даже позывной «Вагнер» мало кто знал — в основном те, кто с ним непосредственно взаимодействовал. Но его бойцы очень сильно выделялись на фоне сотен других ополченцев. «Головорезы», — отзывался о них один итальянский доброволец, когда увидел в первый раз. Здоровенные мужики с каменными лицами и холодными глазами убийц. В основном русские. Неславян «Вагнер» в свою группу не брал.

«Минометы пока не доставать. Ждем», — приказал командир нашего взвода Виталий. Я с одним из разведчиков засел на краю поляны. Трое разведчиков скрылись в лесу, чтобы проверить местность. Наш огонь должен был корректировать по связи кто-то из группы «Вагнера». Видимо, мы ждали, когда корректировщики выйдут на нужную позицию. Щебет птиц, шуршание листьев под порывами ветра, духота и гудение насекомых — безмятежность южного лета. Минуты текли лениво и сонно. Мы расслабились. Кто-то, подложив под голову автомат и набитую запасными магазинами разгрузку, задремал среди цветов и трав. Вернулись возбужденные разведчики. «Нашли свежую лёжку. Кто-то из их разведки здесь ожидал». Виталий скребет бритый подбородок: «Плохо. Возможно, ушли, заметив, что мы сюда выдвинулись». Сонливость у всех прошла мигом. Работать с позиции, которая уже известна противнику, — хуже не придумаешь. По нам быстро наведут ответный огонь артиллерии. Или — что еще хуже — отправят к нам в гости своих спецов. Выезд с поляны обратно в Луганск лишь один. Заминируют его — засада, — расстреляют из-за деревьев, как мишени в тире.

Со стороны аэропорта ухнул миномет. Второй выстрел, третий. Мы разом замолкли и прислушиваемся. Вскоре над нами зашелестело — это минометный заряд на излете, падает к нам. Мы разбежались с поляны и залегли среди деревьев. Заряд, ломая ветки, взорвался над нами. Посыпались осколки, шлепаясь в сухие листья и хвою. Второй разрыв, третий. Ни один заряд не попал на поляну, где совершенно открыто стояли наши «Уралы», в которых плотными рядами упакованы четыре десятка ящиков с 120-миллиметровыми минами. Осколки от взрыва одной такой мины разлетаются в радиусе двести-двести пятьдесят метров. В радиусе ста метров выкашивают все живое. Крупные осколки могут пробить даже броню БТР или БМП. В каждом ящике в наших «Уралах» аккуратно уложены между деревянными распорками по две 120-миллиметровые мины. Судя по звуку разрыва и радиусу разлета осколков, по нам отработали из аэропорта 82-миллиметровые минометы. Значит, их разведка решила, что сюда прибыла просто пехота. Минометные заряды взрывались сразу при столкновении, значит, они поставлены на режим «осколочных». Если бы их поставили в режим «фугасных», они взрывались бы уже на земле, и укрыться от них было бы сложнее. По нам просто прошлись беглым огнем, чтобы отпугнуть. Если бы противник знал, что тут минометный взвод, то поляну уже накрыла бы тяжелая артиллерия. У 80-ой бригады в аэропорту имелись и «Грады». В общем, нам очень сильно повезло. Виталий сообщил в штаб, что мы сворачиваемся и уходим: «Нашу позицию обнаружили», — сказал он по телефону (у нас тогда не было нормальной связи, во время боев ополченцы зачастую координировали свои действия по телефону). «Уралы» задвигались на поляне, поворачивая на дорогу. Замыкающей шла «Газель» с разведчиками. Я поехал с ними. Копченые от загара разведчики, разгрузки надеты на голый торс, были родом из Луганска и Луганской области. Они рассказывали про «безбашенных вояк из России», которые проводят «беспокоящие атаки» на аэропорт. Это о группе «Вагнера».

«Вагнеровцы» прибыли в Луганск в конце весны, когда город был уже под контролем ополченцев. В бывшем здании управления украинской госбезопасности засели власти свежепровозглашенной народной республики. Бывший военкомат Луганской области стал основной базой батальона «Заря». «Вагнеровцев» отрядили на блокирование аэропорта. На базу «Зари» они приезжали, чтобы пополнить боезапас. Теперь-то, когда «Вагнер» и его группа, переросшие в частную военную компанию, известны на весь мир, в медиа часто пишут о том, что позывной у командира группы появился, якобы, потому, что ему нравится музыка немецкого композитора Рихарда Вагнера. Не знаю. Ни разу, когда «вагнеровцы» приезжали в расположение «Зари», загнав свои «Уралы» на плац, они не включали музыку Вагнера. Хотя включать музыку на полную громкость было обычным делом до тех пор, пока наше расположение не

стало подвергаться регулярным артиллерийским ударам и авианалетам. Например, казаки включали свои разгульные песни, распахнув двери обшитых металлическими листами УАЗов, чтобы лучше было слышно. Десяток «кадыровцев», которые некоторое время ошивались в расположении батальона, тоже включали казачьи песни — никаких «лезгинок» или чего-то подобного. Они приехали на войну на дорогах внедорожниках (как они утверждали, их собственных, хотя, может быть, просто отобрали у кого-то из местных буржуев). Колонки в их джипах работали отлично. Когда бои за Луганск стали особенно ожесточенными, а базу «Зари» начали обстреливать каждый день, «кадыровцы» скрылись в неизвестную даль.

«Вагнеровцы» с незнакомыми ополченцами общались очень неохотно. По их повадкам, манере обращаться с оружием было ясно, что они обожают войну. Большинство луганских ополченцев и добровольцев, прибывших из России, Украины, Белоруссии, Сербии и других стран, раньше в боевых действиях не участвовали. Учились воевать на ходу. Все «вагнеровцы» имели по несколько войн за плечами. Пара моих знакомых луганчан пытались прибиться к группе «Вагнера». Но у них не было военного опыта, и им отказали. К тому же поговаривали, что в группу брали только тех, кого рекомендовал кто-то из состава группы. То есть даже наличие военного опыта не являлось решающим.

Это «вагнеровцы» отомстили за авианалет на Луганск второго июня. Украинская авиация отбомбилась по зданию бывшей областной администрации. Ополченцев в здании не было. Погибли восемь гражданских и двадцать восемь были ранены. Тогда луганское ополчение объявило, что будет сбивать все военные самолеты Украины, которые окажутся в воздушном пространстве народной республики. До того, например, украинские военно-транспортные самолеты спокойно садились и взлетали в аэропорту, доставляя грузы и военнослужащих. Ополчение не препятствовало. Глава народной республики Валерий Болотов пытался договориться с украинскими военными, чтобы они перешли на сторону сепаратирующей от Украины республики либо мирно покинули аэропорт. После второго июня переговоры прекратились. «Вагнеровцам» разрешили сбивать военно-транспортные самолеты, которые будут прибывать в аэропорт. Ночью четырнадцатого июня они подбили Ил-76, в котором находились экипаж из девяти человек и сорок украинских десантников. Никто не выжил. Киевские власти утверждают, что самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Со слов «вагнеровцев», знаю, что Ил-76 расстреляли из зенитной установки ЗУ-23М. Самолет снижался, заходя на посадку, двойной ствол ЗУ-23М распорол ему брюхо и перебил крылья. Рухнув, транспортник взорвался — шансов выжить ни у кого не было. Через день Болотов объявил, что ополчение уничтожило украинский самолет, потому что он нарушил воздушное пространство народной республики. Больше в луганском аэропорту не приземлилось ни одно воздушное судно.

В середине июля украинская армия попыталась деблокировать осажденную 80-ую бригаду. Тринадцатого июля одновременно с разных направлений были атакованы позиции ополченцев на окраинах Луганска. Мы гоняли из одного района города в другой, поддерживая наших минометным огнем. Вязкий бой шел весь день. Поздно ночью мы отстрелялись возле автодороги, ведущей в аэропорт. С северо-востока в аэропорт двигалась колонна украинской армии: около сорока танков, БТР и машины с пехотой. Мы успели захватить на базу и загрузились по полной. Надо было накрыть бронеколонну, чтобы затем другие подразделения ополченцев добились ее. «Уралы» стояли с потушенными фарами. Фонариками пользовались лишь для того, чтобы навести минометы. Разговаривали шепотом. Периметр прикрывали бойцы нашего же взвода — людей в тот день критически не хватало; по уму полагалось, чтобы наши выезды сопровождали бойцы из разведки. Ушли ночные птицы. Мимо проехал наш

БТР и длинной очередью прочесал окрестные кусты. Команда: «Работаем». Ослепительные огненные языки минометных выстрелов. В тишине между залпами было слышно, как продолжали ухать ночные птицы. Война не мешала им, не нарушала привычный ритм жизни. В стороне аэропорта мигающее зарево разрывов. Мы отстреляли весь боезапас. На базу возвращались в предрассветной синеве. С десятков единиц украинской бронетехники смогли прорваться в аэропорт. Однако колонна понесла тяжелые потери. Позднее генералы украинской армии обвиняли друг друга в плохом планировании операции. Конечно же, в том бою участвовали «вагнеровцы». И вроде бы среди них даже были убитые и раненые. Но про потери в ополчении в то время публично не говорили. Нас и без того было не столь много, чтобы озвучивать, насколько меньше стало. Должен сказать лишь, что благодаря нашей работе группа «Вагнера» потеряла меньше, чем могла бы. Кстати, ни разу «вагнеровцы» не предъявили нам, что мы плохо стреляем и закидываем минометными зарядами своих же. А ведь они, профи, наверняка отличали, под чьи разрывы попадают. Как только требовалось поддержать очередную активность в районе аэропорта, нас выдергивали из расположения — даже если базу «Зари» обстреливали, — и отправляли на позиции. Наш основной корректировщик, которого впоследствии назначили командовать всей артиллерией луганского ополчения, очень уважал «вагнеровцев» за профессионализм. Он и сам профи войны. Уроженец Санкт-Петербурга, успевший поработать в американской частной военной компании в Ираке. Он считал, что «вагнеровцы» прекрасно отдают себе отчет, когда решают провести ту или иную операцию. Поэтому, когда им требовалась поддержка минометов, он приходил к нам в расположение и сообщал, что пора на выезд.

Поговаривали, что численность группы «Вагнера» в Луганске составляла человек восемьдесят. Я лично видел не более тридцати. В летних боях они потеряли, по слухам, до тридцати процентов личного состава. Большие, очень большие потери для отряда из опытейших боевиков.

В конце августа 80-я десантно-штурмовая бригада украинской армии согласилась покинуть луганский аэропорт. Им позволили уйти, оставив тяжелое вооружение. Группу «Вагнера» перекинули на другой участок фронта.

В начале января 2015-го «вагнеровцев» впервые упомянули в медиа. Их обвинили в том, что они убили одного из командиров ополчения — Александра Беднова с позывным «Бэтмен». В мае 2015-го погиб командир ополченческой бригады «Призрак» Алексей Мозговой. Машину, в которой он ехал с охранниками и пресс-секретарем, расстреляли из засады. В покушении обвинили «Вагнера» и его людей. Мозговой вел себя слишком независимо. Он был неудобен и московским властям, и киевским. Мозговой рассуждал о создании настоящей народной власти в Луганской республике, а «Вагнер» предпочитал выполнять конкретные боевые задачи.

В конце 2015-го «вагнеровцы» объявились в Сирии, где помогали российской армии и местному правительству. Покинув сепаратистскую республику, они занялись борьбой со всякого рода сепаратистами в другой стране. Некоторые бывшие бойцы «Зари» тоже оказались в Сирии. Участие в «Заре» летом 2014-го стало хорошей рекомендацией, чтобы попасть в эту группу, которую в медиа принялись именовать частной военной компанией, ЧВК. Из нашего взвода в Сирию поехал только один боец. Позднее западные спецслужбы и издания «находили» «вагнеровцев» в Центральноафриканской республике, Судане, Ливии и даже на Мадагаскаре. Были это именно «вагнеровцы» или нет — не столь уж важно. Важно то, что имя «Вагнер» сейчас чаще ассоциируется с ЧВК, чем с музыкой.

Пой, манасчи!

Памяти Рамиса Рыскулова

В ночь на 27 января скончался последний великий кыргызский поэт XX века — Рамис Рыскулов. Мой старший друг в течение полувека. Красивый, беззаботный и «безземельный» Верлен этой части света. И немножко Модильяни... Вспоминают, что это был такой большой ребенок, в чем-то наивный и доверчивый, полный вселенской доброты. Стихи его сродни стихам Велемира Хлебникова, а живопись — в одном ряду с работами Мавриной, бабушки Мозес, отчасти Генералича, Пиромани... Беззащитный, полный музыки Слова, живший всегда в пламенных метафорах своего бытия.

Мир отвечал ему тем же. Его популярности в кыргызской столице середины 60-х обзавидовался бы любой Майкл Джексон. Когда он, молодой, чернокудрый — а его грива была шире плеч, куда там Чёрной Пантере Анджеле Дэвис! — шел, улыбаясь и воздымая красный флаг, на всём пути останавливались троллейбусы, и робкие кыргызские девушки, расширив до изумления чарующие восточные глаза, любовались своей воплощенной мечтой...

Он и был ею, этой мечтой.

И даже милиция как миленькая терпела и немислимую гриву, и трепещущий красный флаг, и стихи, которые тут же нараспев сочинялись этим местным принцем! Впрочем, может быть, ментам было указание — не связываться...

Я всю жизнь переводил его верлибры, которыми был устлан пол его маленькой комнатухи на «Ботанике», на краю города. Он прожил 86 лет.

Рамис, мы все проводили тебя...

Пусть встретят теперь тебя небесные картины — одна краше другой...

*Вячеслав ШАПОВАЛОВ,
Народный поэт Киргизии*

Песня лужицы

...Я — маленькая лужица,
во мне опрокинулось небо,
и оно меня переполняет
и сводит с ума своей высотой
бездонной.
Как мучительны первозданность мира,
мироздания вечный простор —
эти звёздные взлёты, салюты, сполохи
и сиянья,
эта безбрежность мартовских рассветов,
эти сумерки синих ноябрей!
Всё это —
во мне.
Как мне вместить этот мир,
что так легко воплотился
в моём маленьком сердце! —
иногда мне хочется
съёжиться, исчезнуть, затаиться,
пропасть.
Но и маленькой лужице
не убежать от себя.
И значит —
мне суждено ощутить
распирающее величье пространства,
головокруженье,
головокруженье,
жизнь,
смерть,
жизнь!..
И лишь ледяною ночью
под кованым ударом копыта
разобьётся мой мир
на тысячу
бесконечных
осколков.

Киргизский язык

Ещё самим собой не познан,
Он устремляется вперёд —
В солнцеворот земной
И в звёздный
Круговорот.
Напев его неудержимый —
Словно стремление рек в ночи.
Пой о веках, что мчались мимо,
Пой,
Манасчи!

Язык, сработанный на славу,
Познай
До сути корневой
И уподобься его нраву:
Как дышишь —
Пой!..

Чудятся лошади

мимо дома
карей тенью мгновенье промчалось
прозвенели копыта
у забора поросшего хмелем
всё затихло

дни идут
и на рыжей лошади
осень
остановилась у дома
слышу долгое тихое ржанье
слышу скрип деревянной калитки
не уходит рыжая лошадь
дни идут

белый конь стоит у ворот
словно лёд
звенит его сбруя
неумолчно звенит — а над домом
поднимается ветер
и снег начинает
свою бесконечную пляску

я давно отошёл от окна
и не знаю
что за время зовёт меня

рвётся сердце из-под крыши тяжёлой
и годы гудят
как затихающие грома
это звенят копыта
и с ума меня сводит
удаляющийся этот гром

и мне чудятся
чудятся
чудятся лошади

Не разлучайте влюблённых!

Не разлучайте влюблённых,
не разлучайте!
Не назначайте дознания, недоверия не излучайте,
не лезьте в их мир беззащитный —
это грешно,
не разрывайте сердец —
у влюблённых ведь сердце одно.
Не убивайте любви,
завистливых сплетен не надо,
ибо разлука для любящих — проклятие ада,
вспомним безумье Меджнуна,
расколотый Гамлета мир —
сколько печали!
Как хорошо им, влюблённым, вдвоём,
вы замечали?
Ивы плакучие,
нивы для них голубые! —
не разлучайте влюблённых,
какие красивые все они
и молодые...

Урюковые деревья

Зацвели на склонах урюковые рощи,
с каждым часом
всё неистовее бело-розовый пожар,
улететь собрались бушующие деревья —
вижу их, облегчённо-воздушных,
с невидимыми воскрылиями лепестков!..
И из каждого цветка
смотрит в мир смеющийся глаз,
смаргивая росинку слезы —
это весна так неожиданно зажглась,
это её бело-розовые следы.
Начинается
кратковременный праздник
не убравшейся вовремя жаркой зимы:
белым маревом урюка полна долина,
солнце выбирается из пчелиной кутерьмы:
как коротка эта жизнь,
но зато это — весна!..
Окружённый маревом пчёл, завидую пастуху,
который каждый день смотрит
на цветущий урюк
и держит каждый день в ладонях своих
весну —
живой бело-розовый смех,
огромный, как сердца стук!..

Красная береза

Ветви красной березы
Жжёт солнце и хлещет гроза.
Лиловой смородины гроздь
Горят, словно волчьи глаза.

Аргамак золотым чылбыром
трясёт! — его масть черна,
он ведёт кобыл по обрывам,
царь своего табуна.

Не веди, жеребец могучий,
свой косяк среди красных скал,
тогда бы и лучший табунщик
по ущельям табун растерял.

Толпы лесов на склонах
вершинами рвут облака,
горстями градин холодных
небо хвою сечёт свысока.

Восток рассекает зарница —
слышней тишины голоса,
и песнею греется птица,
и молча сгорает роса.

*Переводы с киргизского
Вячеслава ШАПОВАЛОВА*

ХУДОЖНИК РАМИС РЫСКУЛОВ — ЭТО ДЕТСТВО МИРА

Живопись Рамиса и поэзия Рамиса не могут существовать отдельно, они взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга. Силлабо-тоническое стихосложение с его устоявшимися структурами и классическая живопись с ее научно выверенной перспективой, строгими колористическими решениями и композиционной утонченностью противоречат стихийному менталитету поэта-подростка, художника-ребенка.

Рамис Рыскулов — это детство мира, ибо скучную и серую реальность повседневности он воспринимал в ярких праздничных красках, а стихи его — как лепет младенца, как предчувствие речи, как преодоление немоты. Именно поэтому он так свеж, наивен и чист. Картины Рыскулова созданы в традициях наивного искусства и стоят в одном ряду с творениями Пиросмани, Генералича, Пурыгина, Мавриной. Рыскулов схематичен, и холсты его отражают скорее внутренний, слегка смещенный мир человека, который выламывается из социума, находясь вроде бы внутри сообщества, но одновременно и вне его. Картины и рисунки Рыскулова — это еще и квинтэссенция одиночества, а если взглянуть с философской точки зрения — апология его. Рассматривая холсты Рамиса, задумываешься об особенностях и отдельности Рыскулова, о явной обособленности этого художественного явления. Стихия его творчества близка стихиям Владимира Яковлева и Анатолия Зверева, для которых реализм изображения всегда был на втором месте (а может, и на десятом), — на первом же всегда стояли чувство, страсть и пассионарный порыв.

Таков Рамис Рыскулов — творец вне рамок, вне правил и вне традиций.

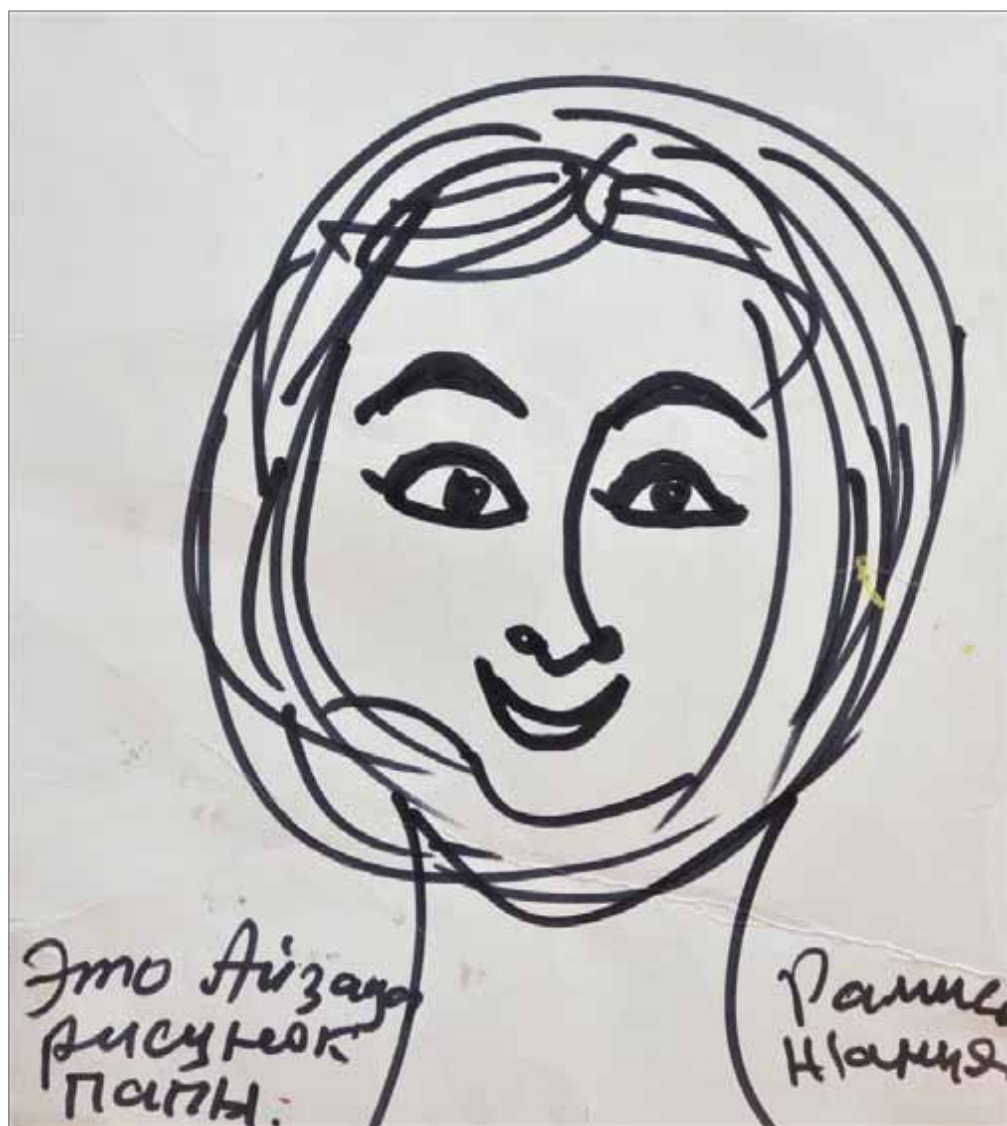
Владимир Лидский

















Олег Макоша, Александр Мелихов

Здесь и там

Письма из провинции в провинцию

Есть блаженное слово провинция.

Дон Аминадо

Александр Мелихов:

Когда я задумался о том, что будни провинции почти исчезли из наших журналов, я пожалел, что так давно оторвался от своих провинциальных корней. Хотя, мне кажется, в России, где все так зависит от власти, провинцией оказывается вся страна за пределами высших правительственных кругов. Но раз уж Петербург именуется тоже столицей, пусть всего лишь культурной, я решил написать отличному нижегородскому прозаику Олегу Макоше.

Олег Макоша:

Чтобы написать о провинции, надо пожить в столице.

Хотя бы год. Может быть, два. Или три.

В провинции — лучше.

Но и в столице — лучше.

Я когда пацаном был, каждое лето ездил на дачу в Ленинградскую область. В Зеленогорск, бывшие Териоки, в Комарово, которое песня, еще куда-то, сейчас уже не вспомню. Семья моей тетушки снимала там домик или половину избы, и вот я ездил к ним. Надолго.

И когда возвращался домой к первому сентября, к школе — в Нижний Новгород, — разницу чувствовал.

И пусть Ленинград не Москва, но он, конечно, был более центральный город, более столичный. По крайней мере, о большом теннисе или о виндсерфинге, не говоря уж о скейтборде, мои нижегородские одноклассники понятия не имели.

Макоша Олег Владимирович — прозаик. Родился и до последнего времени жил в Нижнем Новгороде. Работал: строителем, грузчиком, дворником, заведующим гаражом, слесарем-механиком в трамвайном депо, продавцом книжного магазина.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Мелихов Александр Мотелевич — прозаик, публицист, литературный критик. Родился в городе Россось Воронежской области. Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Живет в Санкт-Петербурге. Постоянный автор «Дружбы народов».

А я имел — в Комарово и корты были, и серфингисты, и финки, загоравшие топлес. Кстати, о финках... Ладно, о финках как-нибудь потом.

И еще книжки. В Ленинграде читали не то, что в Нижнем. О Пикуле я впервые услышал там. О Стругацких, конечно. Да и о «Мастере и Маргарите».

Теперь о провинции.

Никогда во мне не сидел комплекс провинциала, ни в ту сторону, ни в эту. Имею в виду, не было ненависти ни к столице, ни к своему городу. Хотя с годами даже стало нравиться, что я провинциал, а это тоже, конечно, комплекс через противное.

Опять отвлекся.

Чем мы тут живем по сравнению с Москвой?

Тем же самым, только всего меньше. Просто по масштабу. Весь Нижний Новгород — один какой-нибудь московский округ. И то сказать, в Нижнем народу 1,2 миллиона, а в Москве — 12. И только официально.

Это, наверное, главная отличительная черта. Не то чтобы границы стираются, но модель жизни строится по одному образцу. Воруя — но меньше, создают — но меньше, дороги — уже, пиво — водянистее (вру — одинаковое), хулиганы — не так модно одеты.

Может быть, только пьют больше, да и то не факт.

И кстати, об одежде. Я, когда через полгода жизни в Москве съездил в Нижний Новгород, — обратил внимание на то, в чем ходят люди. Да в том же, но это «то же» в Москве носили месяцев семь назад.

И еще.

Грубость. Нет ни малейшего желания порочить родных нижегородцев, но население, везде — на улице, в магазине, в автобусе — грубее. В Москве не так. В Москве, возможно, люди научились уживаться. Друг с другом. Черт его знает, на кого нарвешься, и поэтому грубить — опасно. Да и вообще, не один ты здесь такой резкий, все тут понаехавшие, а значит, пассионарные, предприимчивые и умеющие отстаивать собственное достоинство, особенно, когда никто на него не покушается. (И — да, есть у молодых москвичей и гостей столицы одна очень неприятная черта, которой нет у нас — людей классического советского воспитания и провинциалов. Они не уступают дорогу. Им так крепко внушили мысль «возлюби себя», почему-то напрочь выкинув «как ближнего», что им чисто запахло чуть податься в сторону, чтобы вы могли взаимоотношения разойтись).

То есть в провинции — все более домашнее.

Дали в ухо — но по-хорошему, так сказать. По-свойски. Чуть ли не любя.

Но это было в мой первый приезд.

А когда еще полгода спустя, наевшись столичных пирогов с котятами (нет, еще не досыта), я опять оказался в Нижнем, местные люди показались мне куда симпатичнее московских. Они — люди. Пусть часто грубые, глупые или страшные (ага, на себя посмотри), да хоть какие, но — люди. В Москве — стяжатели. Добыватели личного удовольствия, любым путем за счет окружающих (таких же, кстати, ухарей). Переиначивая фразу из того кино с Брэдом Питтом, можно сказать: «Москва не город, Москва — бизнес».

Но взгляд мой, естественно, односторонний.

Я почти не вижу людей вне их функций или движения.

И возможно, то есть — обязательно, в Москве есть люди тонкие, душевные и интеллигентные. Забегая вперед, скажу — да есть, встретил.

А пока если в Нижнем Новгороде (или любом другом провинциальном городе?) хамят, то делают это от души и всего сердца, в Москве — от деловой озабоченности и желания выгоды.

Значит ли это, что в провинции больше души? Понятия не имею. Но мне так показалось (посмотрим, что будет в мой третий приезд).

Хотя сервиса больше в Москве.

Здесь, когда тебя тормозят на подходе к эскалатору, то вежливо просят поставить поклажу на ленту осмотра, натянуть маску, перчатки и вообще не выпендриваться, а вести себя согласно указу президента. А потом желают счастливого пути. Это — правда. И это — здорово.

В провинции проще.

Я уже упоминал об этом. Главное, не доводить эту простоту до той, что хуже воровства.

(А вот о воровстве. Не имея фактов, опираясь только на априорный (не эмпирический), умозрительный опыт, думаю, а не воруют ли в Москве крупнее, а в провинции подлее? И вообще, не есть ли главный специалист по провинциальной жизни Салтыков-Щедрин? Ничего же, наверняка, в этом деле — расхищении средств и дурости начальников — принципиально не поменялось с его времен?)

И пробки!

Куда ж без них.

В Нижнем Новгороде, клянусь, пробки не такие упругие. И долгие. Опять же, потому что меньше машин. А ведь все знают, как мы не любим московские пробки.

А меньше пробок — меньше автохамства.

Хотя и в провинции его навалом.

За исключением города Владимира. Там, если подходишь к переходу, даже к бессветофорному, даже один, все автомобили дисциплинированно останавливаются и ждут, когда ты закончишь маневр. А не как в Москве или Нижнем — ты по одной половине дороги переходишь, а по другой машины летят на всех парусах, обдавая тебя грязным снегом из химических луж.

Еще в провинции много лет существует страшная легенда о московских заработках. Спроси любого, и любой скажет, что в Москве самый последний хмырь у гастронома получает двести тысяч рублей в месяц и такую же премию в конце года, а зарплаты ниже восьмидесяти тысяч пятисот рублей не существует.

И, естественно, все ее хотят.

Зарплату.

Для этого стремятся в Москву.

Что хотите мне рассказывайте, но из десяти моих знакомых, в столицу бы переехали девять с половиной. С половиной, потому что один колеблется или кобенится.

И еще мы, провинциалы, их, москвичей, не любим.

Потому что они всю Россию объедают. Потому что все деньги — сюда. В смысле, туда — к ним. Потому что у них — дороги, а у нас направления. Потому что у них медицина, а у нас поликлиники. У них бабы, а у нас... нет, у нас тоже бабы, да еще какие, почище московских.

И так далее, и тому подобное.

И всякое прочее.

Вот я и утверждаю: чтобы писать о провинции — надо пожить в Москве.

Александр Мелихов:

«Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» — меня всегда охватывал восторг, когда из гундосого репродуктора раздавался ликующий голос неведомого Бунчикова. Хорошо, я тогда еще не слышал каламбура «Хор мальчиков и Бунчиков», и Москва могла сиять в наших казахстанских степях незамутненным светом. В ту пору первые пробудившиеся амбиции властно побуждали меня любой ценой ассимилироваться, то есть уподобиться нашей поселковой братве, поклонявшейся, как я теперь понимаю, тоже чрезвычайно важной ценности — лихости. Беда была только в том, что за отсутствием других способов реализации она слишком часто принимала антисоциальные

формы: отнять на танцах наган у милиционера, подломить ларек, «пощекотать перышком» оскорбителя, в особенности возмнившего о себе чужака...

А в нашем шахтерском поселке чужаком ощущался всякий, кто позволял себе отступить от молодежной униформы: суконные клёши, чуб, начесанный на глаз, кепочка-восьмиклинка, надвинутая на чуб, — и чтобы козырек непременно в два пальца. Я самолично распарывал его и обрезал, а потом зашивал разнокалиберными стежками, не брезгуя «бабской» работой.

Мой папа, как и почти вся незначительная интеллигентская прослойка, попавший в эти гиблые края через тюрьму и ссылку, пытался переключить меня на поклонение иным кумирам — его богами были ученые, — однако для меня имя Менделеева звучало далеко не так чарующе, как имена Лупатого, Жорика Сухого, Витьки Казны...

Но однажды папа вдруг сказал с искренним состраданием (а значит и с неподдельным презрением): «Они же Москву никогда не увидят...» — и только тут до меня дошло, что истинных-то героев всегда награждают в Москве! Да мы и сами дарим любимой учительнице на Восьмое марта духи «Москва», а не одеколон «Тюрьма», хотя те, кто там побывал, резко повышали свой социальный статус. (Флакон «Москвы» был на диво прекрасен — кремлевская башня, отлитая из матового стекла, причем острая башенка просто снималась, открывая доступ к неземному аромату.) И моей маме, учительнице физики, ее ученики с косыми челками и фиксами желтого металла тоже подарили не бутылку «сучка», а расписную шкатулку с ночным видом нашей прекраснейшей в мире столицы: кремлевские рубиновые звезды сияли таким фосфорическим светом, что я, наверно, раз десять забирался с ними под одеяло, надеясь, что там они засияют еще вдесятеро ослепительнее — чем ночь темней, тем звезды ярче.

Но оказалось, даже столичные звезды могут светиться лишь отраженным светом...

Чтобы отвлечь свою предвыпускную братву от улицы, то есть от реальности, мама предложила ей полную зиму с весной поработать, чтобы на каникулах съездить в Москву, и братва каждое воскресенье как миленькая колола дрова, чистила снег, перекидывала щебенку на шахте, что-то там белила, красила — и таки добралась до начала всех начал: начинается земля, как известно, у Кремля! И вместе с примазавшимся молокососом — мною — увидела-таки эту рубиновую сказку! С Мавзолеем в придачу!..

Я попытался заглянуть еще и в ворота сказочной Спасской башни, но часовой вежливо произнес: «Сюда нельзя» — и даже не подсказал мне нужное направление коленкой!..

Но... Напротив храма власти размещался храм торговли — ГУМ. И самые продвинутые из наших орлов двинули туда пошукать у фарцы «джазуху». И купили за полста тогдашними «старыми» на гибкой рентгеновской пленке до ужаса развратную песню: «Ты сама под ласкою снимешь шёлк фаты» — кто ж знал, что фата это не... А самая *законная* джазуха для отвода глаз пряталась под невинной красной наклейкой песни о Москве.

Но когда в спортзале, где мы обретались на кирзовых матах, кто-то каким-то чудом раздобыл патефон, то из его гнусавых недр вырвался ликующий голос все того же Бунчикова: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» Братва, сунув за голенища финари, ринулась обратно к ГУМу — гостеприимных москвичей, разумеется, след простыл. Но справедливость восторжествовала! Хмырь-обманщик завтра же встретился нашим в метро: прибрахлившийся, он ехал в *ресторан* — роскошное и порочное капище, о котором нам приходилось лишь слышать. Несмотря на присутствие двух своих дружков, он только глянул на наши челки и фикса — и вынул из брючного *пистончика* ювелирно сложенную пятидесятирублевку.

Победа осталась за нами, но московская греза сильно поблекла. И когда я заканчивал школу, московскую сказку уже полностью оттеснила сказка ленинградская:

откуда-то я твердо усвоил, что москвичи карьеристичные и высокомерные, а ленинградцы вежливые и бескорыстные. И намного более культурные.

Теперь-то я хорошо понимаю, до какой степени все подобные сказки замешены на зависти — побежденные всегда убеждают мир и, прежде всего, самих себя, что проиграли они оттого, что были слишком честны и великодушны, а их более успешные конкуренты взяли верх потому, что были подлы и безжалостны, — вся наша духовная деятельность направлена на то, чтобы в мире фантазий взять реванш за наше бессилие в реальности. Ну так и что? Низкое происхождение не мешает достигать самых возвышенных вершин. Компенсаторные сказки имеют ту огромную ценность, что находятся простачки, которые принимают их всерьез. И сами становятся украшением города, народа, а то и человечества.

И меня серьезно тревожит, что мы сегодня попали под власть самой скучной и бесплодной сказки — унылой иллюзии, будто можно прожить вовсе без сказок.

Что буквально угрожает территориальной целостности страны, ибо территориальное единство создается прежде всего психологическим единством, единством мечтаний, а вовсе не единством экономических интересов. Какового нет и быть не может: экономическая целесообразность требует немедленно разрывать всякий контракт, едва он перестает быть выгодным.

На одном представительном социологическом семинаре недавно обсуждался вопрос, каковы главные признаки, отличающие столичный город от провинциального. И самый большой интерес вызвал такой критерий — взяткоемкость: где платятся самые большие взятки — там и вершатся самые большие дела. Уж не знаю почему, но мне априорно тоже кажется, что Петербург и по этому параметру вполне провинциален.

Но ведь невозможно сохранить поэтический образ страны, если ее столица ассоциируется с казнокрадством и вымогательством! А патриотическая любовь, как и всякая иная любовь, всегда направлена не на реальный предмет, а на опозитизированный образ. И чтобы Москва-сказка не была окончательно вытеснена Москвой-помойкой, необходимо диверсифицировать вонь, неотделимую от нашей деловой жизни, разнести ее функции по разным городам. Чтобы московский дух не ощущался в шедринском духе:

— Москвой запахло! — молвил Алемпий на козлах.

— Да, Москвой... — повторила матушка, проворно зажимая нос.

Столичный дух — эти слова лично у меня отзываются все-таки шиком и щегольством, а не взяткоемкостью. А слово «Москва» — Кремлём, Борисом Годуновым, Наполеоном и Бог его знает еще какими детскими сказками. Это в инфантильном филиальчике моей души. А во взрослом ее отделе Москва — это лет тридцать назад коллеги-ученые, теперь же — коллеги-литераторы, это множество любимых поэтических уголков, это любимые музеи...

Для меня каждая поездка в Москву до сих пор праздник. Как в былое время и для всех провинциалов — в советское время, мне кажется, зависть провинции к столице была гораздо меньше. В том числе, и неравенство доходов давало для зависти гораздо меньше поводов. Другое дело — неравенство возможностей даже и по части товаров.

А при нынешнем неравенстве — сохранился ли еще в провинции романтический образ столицы? Или ее окончательно вытеснил образ города-спрута?

Олег Макоша:

Люди, с которыми я общаюсь, в большинстве своем люди рабочие (представители не особо интеллектуального, умственного труда) в той или иной степени. Водители, экспедиторы, продавцы, есть провизор, повар, опять же грузчик, парочка охранников. И у них отношение к Москве — стереотипное. То, о котором я уже писал.

В Москве — все деньги.

А у нас — остатки.

Если сесть и поговорить более душевно и откровенно, то получится следующее: Москва им нравится и до сих пор остается гипотетической целью (об этом я тоже уже писал).

Почти у всех там есть друзья или приятели.

У некоторых — не бедные. Мой товарищ со своими женой и детьми часто ездит в гости к такому обеспеченному другу и, возвращаясь обратно, рассказывает о его жизни в загородном коттедже под Москвой с восхищением.

Но это все относительно молодые люди, тридцати-сорокалетние, уверенные или надеющиеся реализовать себя в столице.

Многие, кстати, пробовали. Не у всех получилось, и вернулись они уставшими, но не разочарованными.

Москва, конечно, манит.

Что касается людей старшего поколения, моего (как странно быть «старшим», в душе же мы все молодые, не сказать юные), то, опять же на мой взгляд, отношение к Москве не изменилось. Те, кто поумнее, считают, что все дела делаются там и дела эти — масштабны.

Те, кто попроще, уверены, что Москва — Вавилон, где иголку меняют не то что на верблюда, а на дворец. И простому человеку делать там нечего — затопчут и разорвут.

Многие просто довольны своей жизнью в родном городе (и таких я знаю немало, можно сказать — большинство).

И тише.

И надежнее.

И тебя все знают.

И ты всех.

А лично на меня всегда сильно действовали литературные коды, метки и прочие упоминания.

Все, о чем я читал: Арбат, ресторан «Прага», памятник Пушкину, Никитский бульвар, Смоленская площадь, ВДНХ, МХАТ и прочая, и прочая.

Меня потрясло, что они существуют на самом деле.

Я был уверен — это все выдумка, литература.

А оказалось — вот они.

Я у памятника Пушкину стоял сорок минут с открытым ртом. Честно. И полтора часа около мухинских Рабочего и Колхозницы.

Незабываемое впечатление.

Только ради этого стоило приехать.

Александр Мелихов:

Очень точное замечание. Именно искусство создает поэтические символы столичного города как, простите за советский штамп, «сердца нашей Родины». Когда-то мальчишкой я смотрел разинув рот на Мавзолей, на котором скромно светились самые прекрасные в мире имена: ЛЕНИН, СТАЛИН. И подобные символы остаются на всю жизнь, только чаще всего переосмысливаются как трагические и многозначные. Но все равно универсальные и значительные.

Власть культурных, национальных символов простирается только на особо впечатлительных, романтических детей и взрослых, в которых так до конца и не умирает ребенок, и вот эти-то не до конца повзрослевшие романтики и составляют ядро каждой культуры.

Такие типы очень редко попадают среди прагматиков, какими обычно бывают люмпены и торговые работники, это чаще всего удел интеллигенции — любить символы или ненавидеть символы. И у вас в Нижнем наверняка остались образованные друзья, для которых хотя бы в детстве были значимы Арбат и памятник Пушкина, а

может быть, и Кремль с Мавзолеем. Сохранилось ли теперь для них обаяние каких-то московских звуков и образов?

Олег Макоша:

Это зависит от общей культуры человека.

То, что раньше называлось начитанностью, а сейчас не знаю, как. Наверное, погруженностью в информационный поток. И если человек читал много и осмысленно, то да, обаяние сохранилось. Как можно было восхищаться «Войной и миром» и не полюбить Москвы?

Но есть символы, которые знают все.

Упоминаемый вами чуть выше — Мавзолей.

Все в СССР в него ходили или хотели сходить (не все попадали — очереди были огромны, а надо было еще по магазинам успеть. Это я о приезжих).

Это те (советские) коды, что передаются с кровью.

Я обсуждал возможность посещения Мавзолея со своими нижегородскими приятелями. Шуткой, полшуткой и всерьез. И те, кто хоть чуть-чуть застал Советский Союз, сходить хотели бы. В принципе, да. А из тех, кто совершенно не помнит ничего, — желающих мало. Но есть. Самые продвинутые — интересуются. Сейчас вообще заметен интерес ко всему советскому.

Что касается интеллигенции, кого бы мы теперь ни понимали под этим термином. Тем паче провинциальной интеллигенции, что всегда, на мой взгляд, была чуть лучше и чуть чище, не сказать наивнее. За диким и не всегда понятным отрицанием советских святынь в перестроечный период пришло несомненное отрезвление. Святыни вернулись на место. Почти вернулись. Сейчас жить оказалось не то чтобы хуже, но противнее. Не хочется говорить банальностей, но нравственные ориентиры напрочь отсутствуют. А те, что предлагаются, — не работают. Ни те, что сверху, ни те, что снизу. Есть только старые. Проверенные. Советские.

А где их центр?

Правильно, — в Москве.

Я бы сказал, что как была она сердцем страны, так и осталась.

Все меняется меньше, чем нам кажется.

Особенно в провинции.

Дружили Сашка, я и наш общий друг Герыч.

Этот Герычем был прозван за великую неумность характера и такую же необузданность. Человек из профессиональной уголовной семьи, где отец умер на зоне, обе сестры не по разу сидели, а их сожители воплощали в себе все самое ужасное, что несет бандитская среда. Такие иллюстрации из энциклопедии к статьям о плохо организованной преступности. У них дома, например, был настоящий обрез. Это помимо других прелестей. Мы с Сашкой Герыча очень любили, он был человеком сияющего благородства и адептом романтической воровской движухи.

Про Герыча еще вспоминается, как мы — я, Саша и он — сидели за столиком у сто шестнадцатого дома, и к нам подошел мужик, попросивший выпить. Сказал, что только откинулся, мол, налейте с освобождением. Герыч, естественно, разволновался, насыпал мужику стакан и завел с ним подходящий светский треп, мол, где сидел, да как сидел, да чего нового? Мужик ответил, что сидел на «двойке» и сидел козырно. Герыч тут же начал его бить. Ну, не то чтобы бить, а дал в бороду разок. «Двойка» у нас в области — женская зона, и дяденька прокололся.

Однажды Саша пришел ко мне ненормально рано утром, прошкандыбал на кухню, сел на свое любимое место — на офисный стул у стенки за столом — закурил мой «Кент» (я тогда еще дымил), судорожно, с адского похмелья, вздохнул и сказал:

«Бабы всегда выгораживают друг друга... даже незнакомые... То есть незнакомые и выгораживают... Корпоративность дамская... Мы тут устроили такой веселый праздник, сексуальный, как я думал... зависали на трое суток в гостиничном номере... Ты знаешь, в этом блядском притоне «Берег», около мусарни... И вот она, а я с ней в какой-то пивнушке познакомился... или не в пивнушке? В общем, представляешь, украла у меня любимый перстень с камнем, тот, как у Макаревича, золотой, твою зажигалку «Зиппо» и деньги из лопатника... Утром просыпаюсь — ничего нет... Все деньги... Интересно, сколько там оставалось?.. Правда, бутылку пива около кровати оставила... на полу... Гуманистка, тоже... Хотя, конечно, да...»

Я налил ему чаю, и он его с великим отвращением выпил.

А при чем здесь «корпоративные», спросил я.

Как это при чем, удивился Саша, они всегда друг за друга.

Про садик, где я работал совсем недавно — год назад.

Накормили меня один раз в садике. На субботнике. Я там мешки с мусором таскал. Отвозил на тележке по три-четыре за раз и складывал у дальних ворот. Начал в восемь утра, а закончил в двенадцать дня. Без перекуров. Гору накидал в два человеческих роста. За это время мой коллега, сторож-охранник Гоша, отнес куда-то две сухие веточки и подмел одну крышу веранды. Другие два сторожа, Миша и Лёша, просто не пришли. Но я не в обиде, дело не в этом, я опять вспомнил фразу Леночки Шиловой: «Кладут на того, кто возит». А тогда, после того как я закончил возить мешки, вынесла мне повар Нина Тимофеевна тарелку борща и тарелку жареной рыбы с луком, плюс хлеб и компот — было очень вкусно.

Все перепутал. На субботнике меня какая-то новая воспитательница чаем угостила, а борщом и рыбой Нина Тимофеевна кормила на выборы. Всем готовили, и мне досталось. «Всем» — это нашим воспитанкам, что дежурили на пунктах голосования. Им туда Санёк на своей «Шеве» еду в баках отвозил. Вот мне и сунула Нина Тимофеевна провианту, покормила.

Вкусно. Да.

Про мой микрорайон.

Если идти из магазина напрямую к моему дому, то надо пройти через некое пространство, где зимой и летом любители вытряхивают ковры, половики и просто холстины. А алкаши квасят почем зря. Иду намеренно, и вдруг меня окликают молодой мужчина, что как раз выбивает ковер. Здравствуйте, говорит. Здравствуйте, отвечаю, и нарезаю дальше — со мной много народа, которого я не знаю, здороваются в нашем микрорайоне. «Вы меня не узнаете?» — интересуется паренек мне в спину. Нет. А вы кто? И паренек говорит, а я сын вашего друга Игоря Ковалёва. И я вначале зависаю на секунду, а потом охреневаю. Елки-палки! Нет, елки ж-палки! «А тебе сколько лет, Макс?» — спрашиваю я, сразу вспомнив и имя, и паренька. Тридцать, отвечает Максим. И я продолжаю охреневать.

Вот жизнь идет...

Мы с его отцом подружились, когда нам было лет по двенадцать. Еще учась в разных, параллельных, классах, потом нас объединили в один. И с тех пор не терялись. А самого Максима я последний раз видел лет двадцать пять тому назад, когда мой друг Гоша Ковалёв разводился со своей женой Маней — матерью Макса.

Мы очень дружили в школе.

А теперь передо мной стоит его сын, которому тридцать лет, и это плохо укладывается у меня в голове. А должно бы уложиться — у самого такой же. На год младше, Глебу — двадцать девять. И видел я его относительно недавно, хотя мы чаще переписываемся в инете, чем встречаемся наяву, наверное, как многие в наше время.

Гоша Ковалёв был (и, надеюсь, есть) безупречный джентльмен. С врожденным, как вестибулярный аппарат, чувством порядочности. За всю жизнь я не помню за ним ни одного низкого или просто дурного поступка. Наш классный руководитель, Владимир Лазаревич, называл его «дамский угодник», имея в виду Гошины любезность и элегантность, но не умея этого выразить иначе. Хотя и девочкам Гоша, конечно, нравился — элегантность его была чисто настояще-мужичкой — офицерской и милицейской.

После школы и военного училища он ездил на новейшем и очень крутом по тем временам «Москвиче-2141» и был капитаном вооруженных сил (жаль, не майором, как гоголевский Ковалёв), правда, недолго.

Потом жизнь нас, как полагается, развела, и вот теперь передо мной стоит его сын Максимка-пулемет.

— Как вообще? — спросил я у тридцатилетнего ребенка.

— Нормально, — он улыбался.

— Дети есть?

— Дочка.

— Отец твой, Гоша, — дед ее, навещает внучку?

— Ну... — Макс замялся.

— Ясно, — сказал я, — сам такой...

Все мы такие. (Не все, слава богу, но многие).

Я пошел домой, а Максим остался довыколачивать ковер.

Еще про садик.

Моя работа в детском саду — прекрасна. Если разобраться. Возьмем, для примера, суточную смену (похоже на суточные щи). Весь день в твоём распоряжении. Пришел, принял смену, расписался в журнале, переоделся и пошел на участок стребать, допустим, разноцветную листву. Красота? Конечно, красота. Погреб листья, вернулся в здание, заварил чайку покрепче и, усевшись на диван с книжкой, попил с наслаждением. А можно без книжки, просто сидеть и думать о смысле жизни. Кто, если не ты? И тут еще такая штука — если никто не будет думать о смысле жизни, он из нее уйдет. Эти, казалось бы, непрофессиональные размышления над глобальными и насущными вопросами, в конце концов, формируют точку зрения, что будет главной в ближайшее время. Честное слово. Как мы о чем-то думаем, так оно потом и работает.

Зимой и того лучше, на улице мороз и солнце, а ты машешь лопатой — веселый, румяный, счастливый. А потом бегом обратно, и снова — чай, книги, размышления, нега. И оздоровительный сон на диванчике. И отличный аппетит после физических нагрузок. Откроешь консерву «Частик в томатном соусе» (у нас микроволновки нет, а холодная гречневая каша не самое вкусное блюдо, поэтому я ношу с собой консервы), отрежешь ржаного свежего хлеба кусок покрупнее, и ну давай наворачивать!

Корочка хрустит, фрагменты частика падают на газету, оставляя жирные ржавые следы, сам весь в соусе — здорово же!

А не хочется размышлять — ходи и просто гуляй.

И про Аллу.

Мы не виделись лет двадцать пять, и когда столкнулись в магазине, она сразу после здравствуй сказала: как ты постарел.

Я, конечно, не стал отвечать, мол, на себя посмотри.

Я промолчал — всегда теряюсь в такой ситуации, безапелляционных констатаций очевидного, но подаваемых как откровение, причем посетившее заявителя в одностороннем порядке.

Ах, ты ж, боже ж мой! Как ты постарел!

А ты как будто нет.

Зовут ее Алла, судя по всему, она думает, что обладает отрезвляющим эффектом, поэтому логично дать ей фамилию — Зельцер.

В общем, я выдавил улыбку и сказал, время-то идет.

Двадцать пять лет назад, а точнее, тридцать шесть лет тому, она была тонкая, звонкая, умная, красивая, загадочная и, не буду врать, сводила меня с ума. Любому, кто пытался срифмовать по тогдашней подростковой похабной, согласно возрасту, моде: «Алка-давалка», я бил в зубы. Однажды разбитые костяшки распухли, загноились, потемнели, и под толстой наросшей кожей явно прощупывалась какая-то мерзкая субстанция типа кровавого гноя. Я содрал болячку и ходил с перебинтованной рукой с полгода, если не больше. За это время на меня успел наехать некий местный молодой лев, жаждущий жизни, и мы забились перенести драку на время, когда рука заживет. Но она не заживала. Лев глумливо торжествовал и однажды, встреченный нами в кинотеатре на фильме с Бельмондо, был избит моим корешом Коляном. Просто так. В назидание и потому что надоел.

Бил его Коля внизу у выхода из зала.

Бил, приговаривая, ты зачем, сука, мешаешь культурному отдыху трудового крестьянства? (Коля был из деревни Грабиловка.)

А Алка меня «сдала» чуть попозже.

«Сдала», конечно, по моим и божеским меркам, по девичьим же — она не сделала ничего предосудительного. Молодой лев с приятелями завел с ней фривольную беседу, полную, опять же, по тогдашней, или вневременной? моде, сексуального игривого подтекста, а в конце прошелся по мне, и Алла с ним согласилась. Иди нахер, сказал я льву на перемене, хочешь, чтобы я тебе торец подравнял, чушок? Докажу, парировал лев. Ну.

И доказал.

Есть военное слово «рекогносцировка». Оно как нельзя больше подходило к ситуации. Мы пришли в подъезд Алки и огляделись. Лев предложил схему. Я встал ниже на одну площадку — между шестым и седьмым, а он, выше этажом, позвонил в дверь ее квартиры. Это была диспозиция, если уж продолжать пользоваться военными терминами. Дальше битва. Алка вышла, и лев затеял с ней тот же примерно разговор. Тогда с девочками беседовали на лестничных площадках часами. Мне было хорошо слышно. Она опять подтвердила. Я сейчас уже не помню. Допустим, он сказал, Олег ведь чмо? А она сказала, конечно, и засмеялась.

Я пошел вниз пешком. Я быстро пролетел все ступеньки, стараясь сделать это по возможности бесшумно, и вышел из подъезда.

Грудь мою разрывало бешенство пополам с дикой злобой на предательство Алки. Я был уверен, что у нас взаимная любовь. Я был уверен, что мы пойдем друг за друга на костер, голгофу или куда там еще ходят фанатики. Я был уверен, что она никогда не станет говорить мерзким кокетливым игрушечным голоском с таким говном, как молодой лев, жаждущий жизни. А она говорила... А она не пошла, а она... И так далее...

Я даже не стал дожидаться чувака, чтобы разобраться. Предъявить ему, по нашим, опять же тогдашним, понятиям было нечего. Можно было только свалить внезапным ударом в лицо и с наслаждением бить ногами до тех пор, пока тошнотворная усталость не сменит кровавый туман в голове и перед глазами. Но до такого все-таки мы, слава богу, не доходили.

Я поплелся домой.

Наверное, я курил одну за другой, не помню. Мы, мальчишки, всегда в подобных нервных ситуациях много курили. Мне и сейчас иногда хочется закурить, когда я психую. Хотя бросил десять лет назад. Курить, не психовать.

А спустя еще некоторое время мне стало стыдно.

Сразу и за все.

За весь этот сволочный случай «доказательства». Я не мог понять, как сумел втравить себя в поступок, бесконечно унижающий Алку. Мне было стыдно и больно за нее. На себя стало наплевать, все обиды и амбиции ушли куда-то. Остался только сырой, как руда, стыд. И ощущение, будто вляпался во что-то похуже коровьей лепешки, в которую я однажды наступил на турбазе.

Может, тогда я чуть-чуть повзрослел.

А может, и нет. Все эти рассказы про внезапное взросление после экстраординарных случаев полная ерунда. Люди не взрослеют никогда, так и помирают с обидами, испытанными в четвертом классе после летних каникул...

Молодой лев меня больше не интересовал, и я совершенно не знаю, что с ним случилось. А Алка, спустя двадцать, что ли, лет со дня последней, тоже случайной встречи, увидела меня в универсальном магазине, сощурилась и сказала, как же ты постарел.

Даже вот так — ого, как же ты постарел!

Александр Мелихов:

Очень яркие сцены провинциальной жизни, хотя подобных провинциальных уголков хватает и в столицах. Но их обитатели действительно меняются мало, они живут вне времени и культуры. Такое бывало и сорок лет назад, и будет, к сожалению, и через сорок лет тоже — никакой Моисей их оттуда не выведет. А вот что переменялось в жизни людей культурных?

У меня остались самые нежные воспоминания о провинциальной интеллигенции, к лучшим представителям которой принадлежали мои родители. Но для них все советские лозунги, с самым бесхитростным цинизмом расходящиеся с практическими делами начальства, были настолько очевидной демагогией, что их собственное «служение народу» они как будто почерпнули из досоветских народнических заветов. Однако не исключая, что когда-то в юности они действительно извлекли эти принципы из каких-то советских лозунгов и сохранили их вопреки тому, что советская власть с ними творила. Мамин отец, деревенский кузнец, бежал от раскулачивания, бросив все нажитое, и с семейной оравой долго мыкался по стране, спасаясь от голода; отец пять лет отсидел в Воркуте и попал в Северный Казахстан в качестве ссыльного. Так что, если бы его туда не выслали, он бы не встретил мою мать, а я бы не родился на свет. Но, несмотря на то что советской власти я обязан жизнью, я всю свою сознательную жизнь считал ее проповеди верхом лицемерия.

Однако из ваших слов я понял, что теперь, когда она уже перестала их дискредитировать, они снова начали становиться источниками морали. Можете ли вы подтвердить это подобными зарисовками из жизни ваших знакомых? Интеллигентных знакомых?

Олег Макоша:

Есть и такие.

Как пел тот же Окуджава, главная из них — моя мама.

Она как была чистым советским человеком, так и осталась. Да, возможно, и на нее какое-то время влияли процессы дискредитации всего советского, но потом приоритеты восстановились. Потому что она внимательно смотрит вокруг. И видит, в вопросах морали прогресса не наблюдается. С клубникой — да, есть прогресс. А с моралью — нет. Вы помните эту перестроечную популярную шутку? «Когда у вас появляется первая клубника? В шесть утра».

Вот и у нас сейчас — в шесть утра.

Моя мама говорит, никогда пенсионеры не жили так хорошо.

И, естественно, видит в этом заслугу Москвы. А что касается всех остальных символов и ценностей — то они как были неприкасаемыми, так и остались. Мама

много читает и классиков, и, еще больше, современников и всегда удивляется, если ей попадают строки, развенчивающие недавнее прошлое.

И это не старческий маразм.

Она адекватно оценивает ситуацию.

Я не во всем с ней согласен, но в ее адекватности и трезвости ума — уверен.

А еще я несколько раз беседовал в детском саду, где работал дворником, с воспитателями.

Которых вполне можно считать и просветителями, и провинциальными интеллигентами.

И — да, возможно, к их оценке примешивается тоска о времени, когда они были молоды и все казалось — впереди.

Но факт остается фактом — люди вспоминают советское с теплотой.

А есть другие:

Звонит мне наемный товарищ из Нижнего Новгорода, между прочим, директор музея (маленького), и говорит, привет, москвич.

Привет, отвечаю, «Жигули».

Это я так каламбурю.

Ну что? Продолжает товарищ, совсем там омосквичился?

Э-э-э... Начинаю тянуть я, но он поясняет свою мысль.

«Понаехали» уже стал говорить?

Игорь Александрович, отвечаю, здесь так никто не говорит, ни разу не слышал, ни в свой адрес, ни в чей-либо еще.

А что говорят?

«Патрики». Вся Москва Патриаршие пруды так называет.

Меняется, значит, столица? Уточняет товарищ.

Выходит, так.

Это хорошо, а то я помню, ездил в девяностые по делам, так без ужаса вспомнить не могу... Хотя, с другой стороны, веселое время было, мы тогда все только начинали свою просветительскую деятельность.

Ага-ага, соглашаюсь я, как же, представляю.

Нет, серьезно, это же центробежное движение всегда.

То есть?

Оттуда — сюда. Сам понимаешь, из Москвы — на места.

И как у вас это, на местах?

С большим рвением, чем в столице. Стараемся работать на опережение. В Москве на сто процентов, а мы на сто пятьдесят с половиной. Возьми хоть пандемию.

Давай не будем брать пандемию, прошу я, сил больше нет.

Давай, великодушно соглашается мой товарищ, я ж говорю — омосквичился.

Мы с Серёгой, он шофером на рейсовом автобусе работает, в спортзал ходим. Точнее, ездим на его машине, которую он, не поверите, купил в Подмоскovie, потому что там цены ниже, чем у нас. Долго искал и нашел в городе Электросталь. Съездил на поезд, а обратно вернулся уже на своих колесах.

И он, Серёга, всю поездку ругает нижегородские дороги. Может, они того и стоят. Противопоставляет их московским. Он в столице часто бывает по работе. И ездит туда именно на автомобиле. Утверждает, что шоссе в Москве отскрябано до асфальта.

Представляешь, говорит, как будто зимы нет, везде — чистота и порядок. Ни одного сугроба. Не представляю, отвечаю я, хотя фантазия у меня богатая. Я тебе говорю. В Москве — все деньги. Начальство, опять же. Вот оно для себя и старается — чистит. Чтобы им удобнее ездить было. Куда? интересуюсь я. В Думу,

уверенно отвечает Серёга, или на дачу в Барвиху. Тогда да. А ты думал! А у нас что же? У нас? У нас, Олега, все разворачиваются на первом этапе, на ранней, так сказать, стадии.

— И? — грустно спрашиваю я.

И конца этому не видно.

Вчера Вовчик, мой друган (владелец маленькой аптеки, точнее, аптечного пункта — площадки, арендуемой в магазине), вернулся от своего московского кореша. Мы сидим с ним в бане, пьем пиво и обсуждаем поездку.

Он ездил не первый раз и всегда, возвращаясь, подробно описывал мне свое пребывание в гостях.

Это большая семья, где два женатых сына со своими детьми, отец, если я ничего не путаю, крупный чин в органах, мать, вроде бы еще младшая дочка — сестра этих двух уже взрослых сыновей.

Живут они в загородном коттедже.

Но у них есть и городская квартира.

Не поверишь, восторгается (в коттедже он побывал впервые, обычно останавливался в квартире) Вовчик, у них эта самая баня — комплекс зданий.

Я глотаю из бутылки и делаю удивленные глаза, подходящие ситуации.

Ага. Сама баня, парилка, отдельно бассейн, фитнес-зал, комната отдыха. Как думаешь, сколько стоит?

Он тоже хлебает пива из горла.

Я пытаюсь прикинуть стоимость, опыта у меня в этих делах нет, и я говорю, полтора миллиона.

Вовчик заливается смехом и заодно пивом — трясется всем своим немаленьким телом и немного выплескивает на живот, обернутый простыней. Полтора? Ну ты даешь. Он делает паузу для пушного эффекта и выдает — двадцать два миллиона рублей! Произносит это четко и с наслаждением.

Двадцать два? Переспрашиваю я, чтобы сделать ему приятно и от действительного удивления.

Да! Двадцать два!

А откуда у них такие деньги?

Как откуда? Это же Москва!

И еще, если когда и были чистые провинциальные интеллигенты — то все кончились. Просто умерли, в силу возраста. А нынешние интеллигенты, если таковые вообще есть, ни чистыми, ни провинциальными не являются.

К сожалению.

И более всего к современной ситуации в провинции подходит, как это ни странно, термин Солженицына — образованщина.

Да и все.

Александр Мелихов:

И все-таки я верю — так назывался давнишний фильм Ромма. Наверняка пробиваются и даже где-то наверняка пробились ростки старого, вернее, вечного. Эту песню не задушишь, не убьешь.

«Господи, вспомни, ведь это же я...»

*О сборнике стихов Ефима БЕРШИНА «Мёртвое море»
размышляют Андрей ПЕРМЯКОВ и Нина ГАБРИЭЛЯН*

Андрей Пермяков

Своя война

Некоторое время назад электронный журнал «Формаслов» опубликовал подборку Ефима Бершина¹. Формат публикации оказался несколько неожиданным — все-таки, привычной, когда сетевые издания предпочитают новые тексты, а в данном случае читателю были представлены стихи, написанные более тридцати лет назад, во второй половине восьмидесятых. Выпускающий редактор, Яна-Мария Курмангалина, отметила: «Обычно в ранних текстах чувствуется некоторая неуверенность созревающей творческой личности, еще только нащупывающей свой путь, но здесь мы видим нечто совершенно иное, а именно — зоркий взгляд и суггестивную глубину, ту самую, которая в будущем станет одной из определяющих черт поэзии этого автора».

Абсолютно верно. Более того: атмосфера стихотворений напомнила вполне определенную вещь, созданную Бершиным гораздо позже: «Millenium»². Между совсем ранними стихами и той поэмой минуло несколько эпох, но город и Ойкумена менялись лишь внешне. Мир оставался страшным:

И расползалась по Москве,
как трёхголовая Химера,
пристегнутая к голове
нечеловеческая эра.

Уточним: «страшным» именно в блоковском смысле. Привлекательным в своей тотальности и алогичности. О таком мире лирический герой знает примерно всё, но здесь он чувствует себя именно героем, а не жертвой обстоятельств. Это уже немало, этого уже достаточно, чтоб изо рта вырывалась «лишь благодарность» — по формуле Бродского. Обратим внимание: и поэма начинается словом «спасибо», и в упомянутой выборке из ранних текстов это слово встречается чаще многих иных.

¹ Ефим Бершин. Через Москву, неведомо куда... (ред. Я.-М.Курмангалина)
<https://formasloff.ru/2020/03/01/efim-bershin-cherez-moskvu-nevedomo-kuda>

² Millenium: Поэма распада. — «Новый мир», 2010, № 12.

Кому адресована благодарность? Ответ неоднозначен и не слишком прост. Да, кто-то наблюдает за поэтом и даже обещает нечто. Как в стихотворении, впервые напечатанном в тот же год, когда появился «Millenium», но вошедшем в новую книгу:

На меня из тучи бородатой
пялится, глазееет с давних пор
то ли зритель
то ли соглядатай,
то ли вор.
<...>
Кто-то шепчет и шуршит над ухом,
и сулит награду, и поёт...
Словно я и вправду нищий духом,
и приидет царствие моё.

В суровой же прозе, точнее — в интервью, данном в том же 2011 году, звучат ответы более прямые:

«— У вас есть такая фраза: "Русский поэт — это переводчик с Божьего на русский".

— Да, я абсолютно убежден, что я — переводчик. Я сам не создаю никаких произведений, я просто перевожу на русский те импульсы, которые мне откуда-то являются. Вот и всё»¹.

Упоминаний Бога и обоих Его Заветов в новой книге немало. Однако тональность и даже грамматическое время разговоров, кажется, с течением лет переменялись:

Господи, вспомни, ведь это же я —
в новой матроске.
Рядом со мною мама моя
на перекрёстке.

Так и стоим под ослепшим дождём
южного полдня.
Словно чего-то по-прежнему ждём.
Господи, вспомни!

Сам меня выбрал и сам не узнал,
и никогда не узнаешь, похоже.
Я ничего Тебе не доказал.
Ты мне — тоже.

Мир остался прежним, напряженным; всякий город — Содом, каждое море — Мёртвое. Но трагедия сместилась вглубь: «Это во мне умирает Бог,/ который в меня так верил».

Вообще-то, отношения поэта Бершина с горными силами никогда не были простыми. Елена Черникова в материале, аннотированном как «Фрагменты незавершённой книги о Бершине» пишет: «Бершин есть перевоплощение Лермонтова и его раскалённого *зачем?* — Богу. Я не по словам сужу, я по звуку». И далее, характеризуя творчество на уровне не манеры, но идей: «...то спорит с Богом, то устраивает Ему форменные скандалы, то напрочь отказывается понимать, то просится в гости <...> — и всё в формах столь энергичных, в которых сие возможно разве что в семейной жизни, где все свои»².

¹ «Принципиальный противник умственного процесса». Беседа Ефима Бершина с Натальей Крофтс. — 45-я параллель, № 15 (183) от 21 мая 2011 г.

² Елена Черникова. Поэт Ефим Бершин и его сообщение. — Литклуб, 20.05.2016. http://lit.lib.ru/c/chernikowa_e_w/text_0310.shtml

Да, упоминание Лермонтова в этом контексте бесспорно, как, наверное, и Вениамина Блаженного. Однако Бершин ведь сам — автор интереснейших материалов-воспоминаний о старших современниках. В его случае «старшие» это и есть влияющие: в упомянутой беседе с Натальей Крофтс, состоявшейся, напомним, десять лет назад, самыми молодыми из названных им любимых авторов оказались Сергей Гандлевский и Марина Кудимова. Вообще, логично: говоря о метафизическом, необходимо видеть, сколько не сделано, сколько упущено предшественниками и современниками. А новые пусть начинают сами — тема такая, что всем хватит, никто не уйдет обиженным. Тем более, нынешняя теплостуденческая постсекулярность, снисходительно позволяющая вере быть, в массе своей не слишком интересна.

Список значимых поэтов оказался кратким, но, даже в нем легко обозначить двух авторов, особенно важных для Бершина. Для первого из них он нашел лаконичную, однако настолько исчерпывающую формулировку, что собеседнице все в том же интервью-разговоре осталось лишь ее процитировать: «— Но, помнится, в своей статье о Левитанском вы подвели очень конкретные итоги: он ввел “бесконечную” строфу и реабилитировал глагол»¹.

Оба момента в полной мере относятся и к самому Бершину. А взаимодействие со стихами Левитанского порой бывает у него довольно неожиданным. Вот, скажем, написанное не в пародию, но явно в пандан знаменитым строчкам про «будет апрель»:

И не взорвётся в июле воинственный дождь —
как не воротится в ствол раскалённая пуля.
Просто не будет июля. И ты не придёшь.
И хорошо. Проживём как-нибудь без июля.

Конечно, моменты технические, пусть и важные, служащие коммуникации через десятилетия, становятся, начиная с определённых высот, делом десятым. Есть у Бершина работа, возможно, даже более известная, чем заметки о Юрии Левитанском. Я имею в виду большое эссе, посвящённое Инне Лиснянской². И в том эссе, и в статье, посвященной Левитанскому, присутствует цитата из Мандельштама, одна из самых ранних и самых знаменитых у него: «Неужели я настоящий,/ и действительно смерть придёт?» В отношении Юрия Давидовича слова эти отражают, скорее, шок ухода — нас покинул очень молодой душевно человек. А в случае Лиснянской строки делаются основанием важнейшего ценностного конфликта: и поэт настоящий, и смерть придет, но насколько подлиннен сам окружающий мир? Кто стоит за и над этим миром? Тут лучше процитировать эссе: «Несоответствие между миром и представлением поэта об этом мире, как кремень и кресало, рожают искру-строку».

Несоответствие очень сходного рода во многом определяет ход новой книги Ефима Бершина. Несоответствие настолько жесткое, что заставляет вспомнить о войне. Точней, о разных войнах. Следы одной из них автор во всех подробностях застал в детстве. Романтизма в следах было крайне мало:

Я вырос на руинах той войны,
там, где за водкой и в кровавых драках
вернувшиеся с фронта пацаны
достреливали жизнь свою в бараках,

хватаясь за ножи и топоры,
размазывая братьев по заборам.
Я тоже мог по моде той поры
заделаться убийцей или вором.

¹ «И ни о чём не надо беспокоиться...». — 45-я параллель, № 10 (178) от 1 апреля 2011 г.

² «В лесу, где не бытует эхо...». Поэтическое бытие Инны Лиснянской (Обрывки мыслей). — «Дружба народов», 2006, № 11.

Но у меня своя была война,
свой вечный бой, который вечно длился
меж двух дворов.
И не моя вина,
что я родился там, где я родился.
<...>

Безногая, безрукая война
ещё блуждала в переулках стёртых,
выменивая хлеб на ордена,
сверкавшие на грязных гимнастёрках.

И что нам до Великой Мировой,
застрявшей в историческом провале,
когда уже и с нашей, дворовой,
иных уж нет, а те — отвоевали.

В середине этого достаточно длинного текста присутствует упоминание о войне внутри войны: евреям на Второй мировой досталось отдельно, а после выживших еще и попрекали фактом спасения. Есть в книге и отдельные стихи о подвиге еврейского солдата-мстителя. Однако про национальный вопрос сейчас мы поговорим в аспекте другой войны и другой книги того же автора.

Ефим Львович Бершин застал собственную войну. В начале девяностых, на своей малой родине, в городе Тирасполе. О той войне он, спустя десятилетие, написал книгу «Дикое поле. Приднестровский разлом»¹. Книга вызвала странную реакцию. Сторонникам безусловных национальных приоритетов и национальных же государств хроника ужаса понравиться не могла в принципе. Они книгу, в основном, проигнорировали. Зато в журнале «Свободная мысль-XXI» (бывший «Коммунист») появился огромный отзыв². В целом анализ был благожелательным. Иногда, кажется, — невольно-благожелательным. Например, характеристика автора: «Сам Бершин, чуждый классовому анализу...» — безусловный комплимент, на мой взгляд. Притом комплимент точный.

Хотя есть в «Приднестровском разломе» и вполне социальные суждения. Кто постарше помнят ведь, как всё начиналось. Базовыми лозунгами реформаторов были даже не национальные: они просто легко доступны массе, понятны, приметны, их легко подключить в нужный момент. Но в основе все же лежало, как и всегда, стремление к скоробогащению, требующее непрямого передела собственности и перелома общества. Зачем? Бершин задает тот же вопрос: «Зачем нужна эта груда неодушевленного, обездуховленного злата? Из любви к злату? Кому был бы нужен Париж без Лувра, без собора Парижской Богоматери, без влюбленных на берегах Сены? Может быть, я ошибаюсь? Может быть, в огромных состояниях существует нечто само по себе возвышающее душу? Нет... Из этого омута не выбраться». Над спрашивающими такое в Перестройку, увы, смеялись. Сначала только смеялись.

Но в целом Бершин смотрит на свершившуюся тогда катастрофу с иной стороны. Внеэкономической и неполитической. Хотя термин «со стороны» в данном случае ужасно неверен. Поэт оказался не в стороне, а в самом сердце беды. Беды, пришедшей внезапно, как и положено беде. Менее чем за год до разразившейся трагедии автор этой рецензии провел в Молдавии несколько месяцев. Напряжение ощущалось, разговоры велись разные, но из Григориополя и Тирасполя бегали автобусы в Кишинёв, а из Кишинёва ходил дизельный поезд до Одессы.

Тем не менее погромыхивало. Начиналось как фарс. Впрочем, фарс вырождался в кровопролитие мгновенно. Ефим Бершин, наблюдая совершенно бредовую акцию

¹ Ефим Бершин. Дикое поле: Приднестровский разлом. — М.: Текст/журнал «Дружба народов». — 2002.

² Александр Тарасов. Написанное болью. — «Свободная мысль-XXI», 2003, № 9, 10.

националистов¹, «...не выдержал и засмеялся. И в ту же секунду ощутил страшный удар в лицо. Даже не успел сообразить, кто его нанес. В глазах потемнело». Организаторами и участниками акции, кстати, были деятели культуры, литераторы. В «Приднестровском разломе» поэт в целом удерживается от прямых выводов — не считая, конечно, обвинений тех, кто стрелял и отдавал приказы стрелять, но факты отмечает. К примеру, такой: «Многолетняя политика искусственного выращивания национальных литератур наконец-то дала свои плоды. Те, кому внушили, что они должны писать, написали. Стихи и проза большинству из них не принесли всемирной славы. А ведь так хотелось. Впрочем, хотелось, видимо, не изнурительного литературного труда. Хотелось стать глашатаями народной воли. А слово здесь, конечно же, лучший помощник». Еще ведь не забудем: одной из сторон конфликта, в данном случае — наступавшей стороной, были декларативные христиане. Включившие определение своей религиозной принадлежности в название партии.

От слов быстро перешли к делу. Через несколько месяцев разразился вполне каноничный еврейский погром. Его по разным причинам предпочли не заметить ни в советской, ни в *свободной* прессе. Казалось, хуже и страшней некуда, но случившееся было лишь началом.

В «Приднестровском разломе» есть множество свидетельских показаний для военного трибунала или судебного психиатра. Но столь же потрясают фрагменты какой-то жуткой поэзии войны. Может, неуместной даже, но война сама не слишком уместна. Гражданская — тем более: «По правую руку замаячило странное сооружение — произведение советского придорожно-паркового искусства: гипсовый пионер, держащий в руке голубя. Вернее, державший когда-то. Чуть позже окопавшиеся за памятником гвардейцы рассказали, что первым делом снайперы вышибли из руки пионера гипсового голубя. Потом стали целить в голову. Но гвардейцы решили спасти гипсовый шедевр и надели на голову пионера каску. Так и стоял — без голубя и без руки. Но в каске».

Поэт смотрит в мир не через сложную систему линз и фильтров, позволяющих, конечно, учитывать массу нюансов, но вносящих неизбежные aberrации. Нет, он глядит обычным человеческим взором: тем самым, что позволяет заметить и голубя, и непредставимые трагедии войны, и при этом — фон, на котором та война идёт. Только это не фон. Цивилизация — это не театральная декорация, а своеобразный хор античной трагедии. Участник трагедии и соучастник.

Двадцатый век почти канонизировал в качестве жанра «Письмо немецкому другу». В книге «Приднестровский разлом» тоже есть подобное письмо, адресованное действительно другу и при этом — одному из немногих журналистов, пытавшихся разобраться в кошмаре скрупулезно и честно: «Моя цивилизация, Мартин, — это Пушкин и Мандельштам, Блок и Ахматова. Моя цивилизация — Чехов и Толстой, Левитан и Шагал. Моя цивилизация — это добро и зло нараспашку, слитые воедино, как и быть должно. Это щемящая музыка — от молдавской и еврейской до грузинской и русской. Это февральский снег. Это побагровевшая на свежих утрениках рябина. Это Невский проспект и Арбат, Дерибасовская и тираспольские набережные. Это Волга и Днестр. И я из этой цивилизации никуда не выпадал, Мартин. А современные телефоны, автомобили, отели, биржи, унитазы — это не цивилизация. Современное оружие — с лазерным наведением, сплошь компьютерное — не цивилизация. Видел бы ты, как "цивилизованно" оно стирает с лица земли целые города. Это не цивилизация. Это — безумие». Такая вот эпическая поэзия.

Зачем мы столь подробно вспомнили неновую, в общем-то, книгу? Затем, что при всей стилевой, жанровой, какой угодно разнице интонационно «Мёртвое море» очень напоминает «Приднестровский разлом». Примерно в той степени, в какой подборка юношеских стихов на «Формаслове» напомнила поэму «Millenium». Да и не только интонационно — варианты обращения с вышним похожи, к примеру:

¹ Самоназванные румыны, которые даже и румынами-то не были.

Хочу к Иисусу Христу,
туда, где луна — коромыслом,
где чёрных ночей пустоту
ещё не заполнили смыслом.

Где воеет, как раненый зверь,
песок, перемешанный с ветром.
И слово, скользнувшее в дверь,
ещё не назвали заветом.

Туда, где у самой воды
пока не устроены церкви,
и цели ещё не видны
и даже не выбраны цели...

«Цели» в завершающей фрагмент строфе побуждают вспомнить, скорее, военный, а не научный или менеджерский термин.

Вроде, мир остался прежним. Тревожным, но обыденным: «бредут, как люди, люди по Тверской». Вроде, даже если судить по репортажам из горячих точек, «законы и обычаи войны» (идиотское, но необходимое сочетание слов) стали соблюдаться чуть лучше, и местное население страдает меньше. Но история слишком часто ходит по кругу на протяжении одной человеческой жизни, и часто трагедия повторяется, как еще более жуткая трагедия.

Война-то ведь, честно скажем, не закончена. Она поставлена на паузу:

Когда закончится гражданская война,
нам будет явлена единственная милость
определить, чья большая вина
в том, что случилось или не случилось...

Хорошо, чтоб *не случилось* как можно больше. Призывать события и требовать навести справедливость, всегда понимаемую субъективно, поэт явно не желает.

У Игоря Иртеньева, одного из немногих, кого Бершин упомянул, перечисляя любимых поэтов-современников, есть известная строфа:

С рождения духом неистов,
Как всякий нормальный еврей,
Всегда презирав конформистов,
Всегда уважал бунтарей...

Имея в виду эти строки, а также из хулиганских побуждений, я хотел назвать свою рецензию «Ненормальный еврей». Но вышло бы какое-то дешевое сочетание скандального пиара, эпатажа, малоумной смысловой игры и всего такого скользкого. И неточное к тому ж.

Уже не раз упомянутый нами разговор с Натальей Крофтс состоялся перед шестидесятилетием поэта. Она спросила, не собирается ли тот подводить какие-то предварительные итоги? Вопрос был встречен недоумением. Зачем итоги?

Тем более не итог — эта вот книга. Эта книга — звучащая пауза. Предупреждение. Попытка «остановиться, оглянуться», когда сделать остановку необходимо. Разумеется, не автору стихов необходимо. Конечно же, никто поэта не послушает. Такое и раньше было маловероятным, а в мире, где белый шум глушит всё, кроме голосов антиразума, — абсолютно невозможно. Кроме того, смена интонации заметна при внимательном очень чтении, не то чтоб редком в наши времена, но характерном для тех, кто и так понимает многое.

Нет, создание книги — деяние самодостаточное. Единственное, что поэт должен миру. Да и не миру он должен, честно говоря. Ефим Бершин это знает безусловно.

Нина Габриэлян

Конец геометрий

Читая новую книгу стихов Ефима Бершина, обнаруживаешь, что оказался в мире, в котором не так просто сориентироваться, поскольку он находится за пределами привычных представлений:

Море — форточка неба, которую выбил Бог.
И свобода — уже не свобода, а пепел Завета.
Я влачусь по пустыне уже за пределом свобод,
за пределом любви, за пределом пространства и света.

Перепуганный ястреб растаял в пространстве пустом,
в беспорядочном свете, как в стае взбесившейся моли.
Что ни город вдали — обязательно город Содом.
Что ни море у ног — обязательно Мёртвое море.

И куда ни пойду, и чего ни коснётся рука —
всё уходит в песок, обращается всё в пепелище.
Я влачусь по пустыне.
Я — часть мирового песка
из песочных часов,
у которых оторвано днище.

Это мир зыблущихся, взаимопроницаемых форм, в котором «Все спутано. И контурные карты/ ...играют нами в дурака». Он неудобен ни для созерцания, ни для передвижения по нему: «Потому что уже наступает конец геометрий/ и из точки "я" все труднее добраться до точки "ты"». Привычная модель мира с ее устойчивыми представлениями о пространстве, времени, структуре, системе связей между явлениями и объектами здесь не работает. Это мир, то ли разрушающийся, то ли находящийся в процессе трансформации. В нем все сдвинуто с привычных мест, и вслед за автором мы наблюдаем «Исчезновение географий./ Кровосмещение улиц и планет». Верх и низ могут меняться местами, и, устремляясь вглубь, можно узреть высь («Море — форточка неба...») Пространство зыбится, выгибается, выворачивается наизнанку, изменяя и звуковую картину мира: «Наизнанку развёрнутый свет. Наизнанку развёрнутый звук». А порой и вовсе исчезает:

Пространства нет! Есть вечная дыра
в окаменевшем облике пространства.
Уйти из дома — как взойти на крест.
И стать крестом, как злаку — коркой хлеба.
Так свищет над планетой Эверест,
смирненно принимая форму неба.
Мы вмертвую держались за скобу
родного дома. Но скрипит со стоном
гнилая дверь. Не обмануть судьбу.
Ты чувствуешь? Уносит! Вместе с домом.

Удержаться «за скобу родного дома», то есть за привычные представления, не удастся: странный, непонятный мир подступает вплотную к зоне психологического комфорта, пытается проникнуть в нее, подает сигналы, которые невозможно идентифицировать:

Вороватое небо крадётся в закрытую дверь,
то вселенским дождём, то дверною цепочкой звеня.
Бьётся голубь в стекло. Неопознанный раненый зверь
причитает в ночи: «Это я, это я, это я».
Кто-то воет в окне. То ли пьяная баба с метлой,
то ли дождь затяжной, то ли свора бездомных дворняг.
Догорает осина. И пахнет печною золой.
И в дырявую дверь проникает внезапный сквозняк.

Трансформация пространства влияет и на восприятие времени, влечет за собой смешение времен и эпох, реального мира и вымышленного — вплоть до их взаимопроникновения: мифологическое время просачивается в историческое, прошлое проникает в настоящее, авторы и герои зарубежных книг разгуливают по московскому двору вместе с персонажами античных мифов:

И мы бежали вглубь двора,
в котором бледный, как пергамент,
с какой-то тенью до утра
шептался сумасшедший Гамлет.
Где в маске, как на Новый год,
срывая голос песней хриплой,
меж стен шатался Гесиод,
как между Сциллой и Харибдой.
Где с Геей обнимался Лир,
как будто здесь уже навеки
смешались разом этот мир
и тот, что выдумали греки.

Мир в стихах Бершина не имеет четких очертаний, он предстает не как структура, но как процесс. Точнее, как некая совокупность разнонаправленных процессов. В этом мире нет жесткой отделенности объектов друг от друга. Здесь все проницаемо: сочится, течет, вибрирует:

Что сказать тебе, друг, про бездомную жизнь сквозняка,
бесконечную жизнь, что сочится, не зная границ,
и внезапным ознобом доносит к тебе сквозь века
вереницу событий и тени исчезнувших лиц?

По сути, это мир, не вмещающийся в ньютоно-картезианскую модель: здесь плохо работают линейные причинно-следственные связи, и потому становятся возможными парадоксальные сближения разноуровневых явлений, объектов, качеств: «Вселенная бездомна, как огонь,/ кочующий по воющим каминам,/ как осень,/ как отцепленный вагон,/ как запах облетевшего жасмина». Человек уподобляется знаковой системе и может прочитываться как некая всеобъемлющая формула: «фигура бесприютного бомжа —/ как сторбленная формула вселенной...» Становятся возможными превращения людей в часть городского ландшафта или в воздушный поток:

Давай с тобой уйдём через забор,
через дыру.
И станем переулком.
И станем ветром.
И закончим спор
на перекрёстке суетном и гулком.

Если попытаться составить частотный словарь поэзии Бершина, то мы увидим, что в нем лидируют такие слова как «дождь», «ветер», «песок», «пустыня», «пустота», «небо», а также их аналоги и дериваты. Причем употребляются они не только и не

столько в прямом значении (для обозначения места действия, явления природы, качества предметов), сколько в значении переносном и, как правило, несут на себе символическую нагрузку.

Так ветер (вариант — сквозняк) зачастую предстает и как причина трансформации восприятия мира, и как символ этой трансформации, и как ее действующая сила. Именно ветер в стихах Бершина приводит все в движение, срывает покровы с предметов, совлекает ментальные оболочки, налагаемые на них обыденным сознанием. Понятное вновь становится непонятным, известное — неизвестным, обыденное — таинственным. Мир утрачивает свою цельность и определенность, «расколдовываются» энергии, дремавшие «под личиной вещества бесстрастной» (выражение Тютчева), пронизывая собой стихи сборника, придавая им высокий градус напряжения, как правило, трагического.

Но как сориентироваться в этом непонятном мире, где «крылья летают отдельно от птиц.../ И блуждают зрачки в отдалении от лиц,/ одинокие,/ как голова Олоферна»?

Можно сказать, это просто метафоры. Да, метафоры. Но метафоры чего? Дезинтеграции, распада привычных представлений. Но где и как искать смысл явлений, как и вокруг какого центра собрать распадающуюся картину мира, если «Ум неподвластен собственному уму»? И если непонятно, кто ты сам? «Я... всего лишь текст,/ недописанный до поры». «Сам живу, как чужой перевод/ с неопознанного подстрочника». Если ощущаешь себя не отдельной самостоятельной сущностью, но частью «мирового песка/ из песочных часов,/ у которых оторвано днище»?

Автор не отвечает. Он — не экскурсовод по этому миру, дающий подробные разъяснения увиденному. Он очевидец явлений, которые открываются за пределами обыденного зрения, и вместе с тем частица мирового процесса, пытающаяся этот процесс постичь и понять. Путник, откликнувшийся на «таинственный зов сквозняка», странник, гонимый разыгравшимися стихиями:

Не понимая, где восток, где — запад,
сорвавшись, словно сука с поводка,
бегу, ориентируясь на запахах...

Возможно, был прав (отчасти) Андрей Вознесенский, который в свое время написал: «В ответы не втиснуты судьбы и слёзы./ В вопросе и истина./ Поэты — вопросы».

Однако было бы неверным считать, что автор этих стихов является лишь пассивным игралищем мировых стихий. Он упорно движется к некоей цели, ищет смысла, вопрошает открывающуюся ему реальность, внешнюю и внутреннюю. При этом он обладает важными качествами: силой воли и мужеством. В частности, мужеством пройти своего рода инициацию через пустоту, то есть в данном случае через исчезновение смыслов.

«Пустота» — это, как уже упоминалось, еще одно слово, лидирующее в частотном словаре поэзии Бершина. Пустота может принимать разные обличья. Например, такое: «Пространственная форма пустоты — дыра в заборе или кукиш рамы».

Преодолев одну пустоту, можно оказаться в другой:

За пустотой поникшего куста
сплошной пустыней обреченно стынет
иная жизнь, иная пустота,
иных пустот бесплодней и пустыней.

Но надо пройти и через нее и идти дальше — по внешнему миру и по ландшафтам собственной психики. До тех пор, пока не поймешь, что:

Пространство — фикция. Оно
к себе притягивает страстно
лишь тех, которым не дано
перемещаться вне пространства.

Ищущему становится ясно, что путь к искомой цели может лежать и вне пространства, а то, что ищешь, чего взыскуешь, находится, на самом деле, в над-пространственной области:

Мы крались подмосковными лесами
под небом, перевёрнутым вверх дном,
уже порой не понимая сами,
куда идём и для чего идём.
И заблудились. И когда над бездной
явился город, белый, словно снег,
мы поняли, что город был небесным —
не тем, что нам привиделся во сне.
Горел рассвет. Как рог единорога,
белела башня в мареве огней.
И оставалось два шага до Бога.
(Когда мы шли с тобой в Ерушалаим...)

Как было сказано выше, пустота в поэзии Бершина — это не просто отсутствие физической материи или ее зримых признаков, но, в первую очередь, потеря привычных смыслов. А это влечет за собой и утрату целеполагания — «куда идём и для чего идём». Пустота оказывается областью безмыслия и бессмысленности. И именно в этом состоянии, в этом странном, мучительном отсутствии всяческих представлений, ищущему вдруг открывается Небесный Град. Новый, более высокий смысл появляется только после исчезновения старых смыслов. Ибо «никто не вливает молодого вина в мехи ветхие» (От Луки 5:37).

Бершин не богослов, не создатель философских трактатов. Он поэт, фиксирующий в стихах свой живой опыт, в том числе и опыт страдания, который он выражает средствами поэзии — метафорами, символами... Пустота в его стихах — это еще и символ муки. Однако он знает, что за пустотой брезжит то, что можно узреть только через страдание:

Лишь в сквозную дыру от пробитой гвоздём ладони
можно вечность увидеть и прочий нездешний свет.

С метафорой пустоты в стихах поэта перекликается и образ пустыни:

Что же делать, мой друг? Да и стоит ли наших забот
в опустевшем пространстве искать золотого кумира?
Если выйдет пустыня — сюда переселится Бог
и сыграет на скрипке своё сотворение мира.

Х.Э. Керлот в «Словаре символов» отмечает «специфический символизм пустыни как наиболее благоприятного места для божественного откровения».

И неслучайно в пушкинском «Пророке» шестикрылый серафим является герою именно там:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.

Поэзия Бершина — явление многослойное и многоуровневое. Она может быть прочитана под разными углами зрения: кто-то увидит там реальные события жизни автора, кто-то — его психологический портрет, кто-то просто «подключится» к высокой, почти что зашкаливающей энергии его строк. И все будут правы. Мне же ближе всего понимание этих стихов как своего рода духовного странствия: из области крушения старых смыслов — через страдание и пустоту — туда, где брезжат новые горизонты.

Дмитрий Стахов

«Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые...»

В советском мифологическом сознании, ныне активно возрождаемом и приобретающем гротескные черты, Великая Отечественная состояла из подвигов и самопожертвования на поле боя, из мудрых, рожденных в результате совещаний с героическими маршалами, решений великого генералиссимуса, из подвигов партизан и подпольщиков и завершилась алым знаменем над поверженным черно-белым Рейхстагом. (Что, как в театре абсурда, теперь привело к стикерам на автомобилях — «Можем повторить!».)

Авторы двенадцати дневников военного времени, составивших основу книги Павла Поляна «Если только буду жив...», — красноармейцы из действующей армии (особист и штрафник), коллаборант, оказавшийся в 1945 году в Лихтенштейне, трое военнопленных, четыре оstarбайтера и двое, пережившие оккупацию, в том числе — узница гетто.

Разумеется, выбранные для книги дневники (и их авторы) не охватывают все категории участников и жертв войны. Более того — имеется значительный, видимый крен в сторону как раз жертв. И это вполне объяснимо. Как подчеркивает Павел Полян, в рамках победного мифа «негласное правомочие на причастность к торжествам имеют не все, а только генералитет, герои и ветераны боевых действий». Миллионы же военнопленных (предатели) и десятки миллионов гражданского населения оккупированных врагом

территорий, как угнанного, так и не угнанного в Германию (пособники врага), считались неким побочным продуктом великой победоносной поступи. В новой России вряд ли «официальная линия» кардинально поменялась. Как и прежде, те, кто попал меж жерновов или имел смелость не погибнуть («Вызывает меня особый отдел:/ — Почему ты вместе с танком не сгорел? А я им говорю,/ Что в следующем бою обязательно сгорю!»), видятся людьми с сомнительным прошлым, доверять воспоминаниям которых не следует. Они якобы были озабочены в первую очередь не судьбой родины и не тем, как приблизить победу, а собственным выживанием. Или судьбами своих близких.

Книгу открывает раздел «Гуманитарные аспекты войны: участники и жертвы». В нем Павел Полян затрагивает такие важнейшие вопросы, как систематику участников войны и её жертв, дает анализ русскоязычных публикаций, посвященных советским военнопленным и оstarбайтерам, насильно угнанным для рабского труда в «тысячелетнем Рейхе». Ни тех, ни других, в соответствии с упомянутой выше «официальной линией», положено было не замечать, «делать вид, что их вовсе не было».

Автор-составитель пишет об «уродливо-своеобразном совпадении государства и граждан». Государству было удобно замолчать свои просчеты, из-за которых миллионы советских солдат оказались в плену, а гигантские территории были оккупированы и мирные граждане использовались в качестве рабочего материала. Бывшие военнопленные и

Павел Полян. «Если только буду жив...»: 12 дневников военных лет. — СПб.: Нестор-История, 2021.

остарбайтеры молчали потому, что они и так уже расплачивались «клеимом» изменников, фашистских наймитов и пособников. «В стране абсолютного бесправия, — пишет Павел Полян, — эти миллионы несчастных были еще более, нежели другие, ущемлены в правах и поставлены перед необходимостью избегать малейших упоминаний о вынужденном путешествии в Третий Рейх».

Поэтому несомненным достоинством книги является «встреча» под одной обложкой дневников особи́ста и военнопленного, красноармейца и коллаборанта. Такая «встреча», организатором которой стал Павел Полян, показывает глубокие сдвиги в восприятии Второй мировой войны и Великой Отечественной войны как ее части. Каждый из дневников сопровождается вводной, в которой дается биография автора дневника, контекст сопутствующих событий, библиографические сведения.

Первый дневник, интернированного в конце весны — начале лета 1945 года в Лихтенштейне пропагандиста-коллаборанта Георгия Томина, служившего в Первой русской национальной армии (РНА) под командованием Бориса Смысловского. События тех дней, кстати, нашли отражение в любопытном фильме «Ветер с востока» (1993 год) с Малькольмом Макдауэллом в роли Смысловского. Сам дневник Томина краток, дальнейшая судьба Томина неизвестна. Тех же, кто решил вернуться в СССР, Томин называет «добровольцы смерти»: «Советская комиссия еще здесь, но дела у них идут слабо: никто почти не хочет ехать на Родину, а если едут, то после долгих уговоров и часто почти силой. Нас не трогают, но безосновательно обвиняют в пропаганде среди молодых. Глупцы! Нужна ли наша пропаганда тем, кто недавно из СССР? Им лучше знать, чем нам, и если они не хотят возвращаться, они знают почему».

Дневник особи́ста Ивана Шебалина оказался «дважды трофейным». Найденный в планшете или в кармане убитого в бою особи́ста, он сначала попал в штаб германской группы армий «Центр», был переведен на немецкий язык, использовался в качестве пропагандистского материала, а потом был «отбит» советскими войсками и вновь переведен, с немецкого на русский.

Дневник Шабалина довольно беспристрастно фиксирует этапы общеармейского коллапса (контрнаступление армий группы «Центр» осенью 1941 года после попытки войск Брянского фронта остановить вермахт), описывает детали быта и дает представление о переживаниях автора, но почти ничего не сообщает о самой работе «особи́ста» — об арестах, допросах и расстрелах. Майора НКВД Шабалина (звание соответствует армейскому генерал-майору) в основном заботит отсутствие горячей пищи, непролазные дороги, невозможность помыться. Правда, Шабалин позволяет себе «критические высказывания»: «Армия не является такой, какой мы привыкли представлять ее себе на родине. Громадные недостатки. Атаки наших армий разочаровывают». Однако постепенно в дневнике прорастает истинная картина: «В 22.00 я поехал в лес и говорил с командующим армии — генерал-майором Петровым об обстановке. Он спросил меня: “Сколько людей расстреляли вы за это время?” Что это должно означать? Комендант принес литр водки. Ах, теперь пить и спать, может быть тогда будет легче. Перспективы войны далеко не розовы, так как противник вогнал мощный клин в наш фронт. Но у нас, как всегда, потеряли голову и не способны ни к каким активным действиям».

Любопытно, что Шабалин разделяет окружающих на две категории — чекистов и всех прочих: «Это ужасно, у меня кружится голова; трупы, ужас войны, мы непрерывно под обстрелом. Снова я голоден и не спал. Я достал фляжку спирта. <...> Армия разбита, обоз уничтожен. Я пишу в лесу у огня. Утром я потерял всех чекистов, остался один среди чужих людей. Армия распалась».

Здесь следует отметить, что Павел Полян стремится — и это логично — полнее представить авторов дневников и описываемые ими события через комментарии, примечания и ссылки. Но порой эти уточнения кажутся избыточными, воспринимаются как недоверие составителя книги ее читателям. Вряд ли среди них будет много случайных, тех, кому необходимо объяснять, что такое дивизион, или способных в соответствующем контексте спутать скрывающуюся за аббревиатурой СД службу безопасности со стрелковой дивизией. Примечания к буквально страшным,

сочащимся страданием страницам дневника военнопленного Сергея Воропаева (8 октября 1944 года он записывает: «Жизнь на крошках. Сегодня также из английского лагеря привозили суп, досталось по 3 ложки. Порой привозят больше...»), работавшего в плену в угольной шахте и умершего вскоре после освобождения, вообще приобретают какой-то inferнально-ироничный оттенок. Скажем, уже больной, находящийся в госпитале Воропаев упоминает прочитанные книги: «Чайльд-Гарольд», «Отцы и дети», «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Квентин Дорвард»... Приведенный в ссылке список авторов этих хрестоматийных текстов выглядит почти как издёвка над читателем. Кроме того, начиная с дневников штрафника Александра Контарева, Павел Полян часто оценивает их с морально-этических позиций. Причем даже не лейтмотив дневников (у того же Контарева выраженный предельно ясно — «Выжить!»), а глубинные свойства самой личности автора. «Жлоб и хам» (Полян цитирует Алексея Симонова) Контарев — к слову, как штрафник ходивший в атаки на вражеские позиции и участвовавший в жесточайших рукопашных схватках, — предстал бы в совершенно ином виде, если бы на авансцену были выдвинуты его оценки того, что он наблюдает в Восточной Пруссии. Эти страницы читать непросто: «До сих пор не встречал ни одного живого человека, а сейчас беспрерывно идут, по большей части старики и старухи, очень редко молодые девушки. Они, по-видимому, все уходят с армией. Ну, счастье им, а тобсолдат потешился бы на славу. Я, вообще-то, не представляю себе, как это так, а ведь недавно дивизионная разведка захватила одну девушку, и здесь же ее изнасиловали 23 человека. Сегодня в соседний с нашим дом зашли немки, так все туда кинулись, как шакалы. Зачем все это?..»

Однако всё это досадные для меня-читателя, но частности. Эмоциональный градус книги неуклонно возрастает от дневника к дневнику. Свидетельства оstarбайтера и трудбательновца Бориса Андреева, пережившего оккупацию Николая Саенко и, в особенности, уцелевшей в гетто Тамары Лазерсон, обладают огромной силой, показывают индивидуальное, личностное в том пространстве, где вроде бы нет места личности, где индивидуальное уже не имеет никакого значения и смысла.

Так дневник Андреева предстает перед читателем как уникальное свидетельство принудительного труда и на благо Рейха, и для блага СССР. Вот на благо Рейха: «29.01.44. Стал очень бить меня немец в шахте. Сегодня за то, что я нечаянно разбил себе руку, он меня здорово побил». Вот на благо СССР, куда Андреев вернулся из Саарбрюкена пешком (!): «2.X.45. Распределили по работам. Меня послали работать по строительству. Оskabливаю бревна. Норма — 100 метров оскоблить бревен в день. Я смог оскоблить только 46 метров» (при росте метр семьдесят пять Андреев весил пятьдесят два килограмма). Между этими записями — освобождение: «16.IV.45. Ночью приходил пьяный американский солдат к нам в барак. Все разбежались. Я остался лежать на койке. Солдат пошарил по койкам, никого не нашел. Три раза выстрелил из пистолета, потом лег и уснул. Утром ушел в свою часть».

Николай Саенко, летописец оккупации Таганрога, временами так же бесстрастен, как бесстрастны (внешне, конечно) и другие авторы. Вот запись от 4 апреля 1942 года: «В городе все спокойно, по временам бывают выстрелы немецкой охранной артиллерии, с фронта тоже слышны отдельные выстрелы. В деревню, где Золотая коса, ночью зашли красные и пошли по квартирам, где стояли немцы, с одной квартиры в окно выскочил немецкий офицер, и его убили, а в дом стучались, а хозяева не отворили, то они им бросили в окно гранату, а сами скрылись, не потеряв ни одного человека».

В дневнике Саенко есть упоминания о расстрелах в Таганроге, которые проводила зондеркоманда 10-а айнзатцгруппы D под командованием оберштурмбаннфюрера СС Кристмана с активным участием местной полиции. В записи от 29 октября 1941 года Саенко фиксирует, что «всем евреям приказано собраться на Красную площадь для выселения, но неизвестно куда. Велено взять харчей и сколько можно на себе унести багажа», а уже на следующий день пишет, что «за городом за аэродромом 31 завода расстреляны евреи, все собранные в городе старики и дети».

Саенко не упускает случая покритиковать молодежь, особенно тех, кто использует любую возможность избежать отправки в Германию, а также тех, кто позволяет критиковать бывшие советские порядки. Кроме того, он выступает

как суровый моралист, осуждая поведение молодых женщин, пытающихся увильнуть от отправки в Рейх — 13 мая 1942 года он пишет: «...нужно пойти с офицером, куда он поведет, на ночь, и тогда получает на руки бумажку и остается на месте в Таганроге». Сам же Саенко, бесстрастно фиксируя происходящее, по сути озабочен только одним — выжить, причем желательно с комфортом и не испытывая голода.

Дневник Тамары Лазерсон вообще-то, как мне кажется, было бы лучше изъять из корпуса книги, соединить с подобными ему трагическими свидетельствами (например, Марии Рольникайте). Павел Полян дает подробную преамбулу к дневнику, описывая историю семьи Тамары и то, что произошло с Каунасским гетто и его обитателями. Собственно, что произошло, становится ясно из двух цифр: 35 тысяч евреев было в Каунасе до войны, после освобождения города Красной армией 1 августа 1944 года их осталось 634. Среди погибших были и трое из семьи Лазерсонов — родители и старший сын, двое — младший сын и Тамара — уцелели. Несмотря на то, что отец говорил младшему сыну, Виктору: «Пиши дневник. Мы живем в интересное историческое время», — автором фактической летописи Каунасского гетто стала Тамара.

Павел Полян совершенно прав, когда пишет об удивительных параллелях между дневником Тамары Лазерсон и дневником Анны Франк, но признает, что это две чрезвычайно разные судьбы и два совершенно разных документа.

Тамара пытается писать о «приятном»: «Положение улучшается. На рынке гетто дешевают продукты, так как много их поступает через забор. Жить становится легче. Между прочим, рассказывают, что наши мучители NSKK 4-й батальон погибли на фронте. На здоровье им!» Но общий трагизм нарастает: «Тревожные дни. Опять оханье, плач. Опять разделяют семьи, отделяют мужчин от женщин. Прямо страшно, что здесь творится. Мы живем недалеко от кутузки, откуда раздаются душераздирающие крики младенцев» (запись от 17 октября 1942 года).

Тамару спасло прекрасное знание литовского языка, «фактически родного». Она стала Элянтой Савицкайте и попала в 1944 году в бригаду литовских рабочих: «Отец проводил меня до самой бригады, в которую я должна

была внедриться. С бригадиром, очевидно, было все оговорено заранее. Никто ни о чем не спрашивал. Я попрощалась с отцом, и он двинулся в обратный путь. Перед моим взором на всю жизнь осталась сутулая фигура отца, согнувшаяся под непосильной ношей. Так, в сущности, и было. Он отпустил свою малолетнюю дочь одну в этот коварный и злой мир. И, наверное, терзался сомнением — правильно ли поступил. Старшего сына папа не хотел отпускать, и брат погиб в пятнадцатилетнем возрасте. Может быть, эта трагедия подвигла отца отпустить меня?..»

...Один выдающийся историк очень давно рассуждал об истине и правде истории. Истина, по его мнению, всегда одна, но сводится по преимуществу к фактам, датам и тому подобному. Вот правда уже может дробиться на «составляющие части», вплоть до того, что может называться правдой персональной, индивидуальной. Эта правда может выглядеть — даже при условии «оправдания» ее носителя — ужасно или сомнительно с морализаторской позиции. Но подлинный, человеческий, часто пугающий лик истории складывается из этих «правд».

Дневники из книги Павла Поляна призваны показать заинтересованному читателю индивидуальную правду истории в ее, так сказать, неприглядной наготе. В них показаны физические и моральные страдания авторов дневников, голод и холод, унижения со стороны врагов, нередко и от своих, попытки — часто неуспешные — приспособиться к реальности и выжить. Сам Полян считает, что дневники, «составляющие ядро книги, являют собой общее и единое поле битвы между установкой государственно-патриотической, бесчеловечной («Умри же за родину, герой!») и индивидуалистической («Ни в коем случае не умереть — выжить!»).

Из авторов двенадцати отобранных для книги дневников выжили десять. Представляется, что Павел Полян выдержал такое соотношение, исходя из собственных благородных установок. В трагическом столкновении индивидуального и коллективного, в «опорной дихотомии «Я vs МЫ» он на стороне «Я», на стороне индивидуального. В наше время, когда окончательная победа коллективного не за горами, его позиция ничего, кроме как уважения, не заслуживает.

Николай Александров

Интересная Фаина и нарративные практики

Я бы сказал так: современный хаос, спутанность времен, языков, стилистик, осколков идей и мнений, раздробленное существование всего во всем, относительность и неустойчивость любого мнения, взгляда, голоса — с трудом разрешается в художественном слове. Даже если стараться этот хаос просто «зафиксировать», уловить, представить, все равно нужно придумать, как и, главное, чем это сделать. Нужен инструмент. Конечно, их в богатой литературной традиции множество. В распоряжении писателя — любые стили, жанры, каноны, способы письма. Множество образцов на любой вкус: от железобетонного реализма до легких постмодернистских конструкций. Но вот в чем проблема. Выбранная интонация, нарративная практика (не говоря уже о жанре) делают писателя — вне зависимости от того, к какой теме он обращается, — заложником, диктуют ему способ видения, метод преобразования мира. То есть она (нарративная практика) уже сама по себе становится проблемой, несет в себе ущербность, недостаточность. Так ординарный регулярный размер в современной поэзии мгновенно переносит поэта в круг уже сказанного, написанного, выученного наизусть, то есть банального, в конечном счете, а потому вроде бы требующего разрушения. Однако и этот отказ от классического канона, который манифестируют синтаксическая и ритмическая раскованность и свобода, намеренная «прикровенность» или «темнота» высказывания, случайность и необязательность образов, маски цитат и аллюзий, замкнутость, герметизм текста, — в свою очередь, становится расхожим средством, устоявшейся методикой,

привычной парадигмой, новой банальностью. Лирика лишь ярче и рельефнее отражает общую проблему художественного письма. Ведь и в прозе то же самое, и показательно, что наиболее любопытные прозаические опыты — у поэтов (Алла Горбунова, Мария Степанова и др.). Ну или у авторов, не чуждых поэтического, с поэтическим темпераментом.

Но доминирует все-таки сугубый реализм. Канон реалистического описания в прозе не то чтобы устарел или исчерпал себя — в нем чувствуется недостаточность, неполнота. Он выглядит архаичным инструментом — как каменный топор, которым забивают гвоздь в современном интерьере, — он мгновенно переносит нас в ушедшую эпоху понятного и устоявшегося, ставит в череду повторений. Иными словами, нужно придумать, как этим топором пользоваться. Например, поместить его в музей (роман Александра Соболева «Грифоны охраняют лиру»), украсить яростной экспрессией (тексты Натальи Мещаниновой, Аллы Горбуновой). Вот эти сдвиги и неожиданности в способе применения письма (будь то классическое или деструктивное), пожалуй, и интересны более всего. В каком-то смысле, современный автор обречен строить свой мир из сползаний, осознает он это (как Мария Степанова, скажем) или нет.

Роман Аллы Хемлин «Интересная Фаина» — второе произведение писательницы. Первое — роман «Заморок» — вышло в издательстве Corpus (лонг-лист «Большой книги»-2019). У «Интересной Фаины» пока нет бумажного издания. Она существует только в электронном виде.

Чем интересна эта «Интересная Фаина» Аллы Хемлин?

Как раз избранным способом применения письма. Генетическая связь ее текстов с произведениями Маргариты Хемлин —

особая тема, вполне оправданная, но более широкая. Хотя, конечно же, свободное погружение в разные дискурсы и языки, колорит украинско-русской речи, умение выстраивать динамичный увлекательный сюжет (как в «Дознавателе» Маргариты Хемлин) указывают на кровное физическое и художественное родство и как будто оправдывают давние подозрения, что сестры раньше писали тексты вдвоем. Но вернемся к «Интересной Фаине» (кстати, показательно, что роман посвящен сестре). Дело здесь не только в полудетективном или приключенческом сюжете: из дома терпимости в Батуме мать Фаины отправляется в Одессу на встречу с богатым женихом; пароход тонет, мать Фаины погибает, жених берет Фаину к себе в дом, она оказывается наследницей солидного состояния и объектом корыстных поползновений разных мошенников. И не только в выборе героини — слабоумная (?), аутичная (?), социопатка (?)... — от лица которой, точнее, из сознания которой ведется повествование. Такое тоже уже бывало, и если говорить о последних примерах, можно назвать новеллу Ольги Медведковой в ее книге «Три персонажа в поисках любви и бессмертия», рассказывающую о ментально ушербной средневековой принцессе, попадающей в другую страну, где царит Возрождение. Уже в этой выбранной и известной практике есть неожиданность. Фаина рассказывает о своем детстве и отрочестве (дореволюционные Батум, Одесса, Киев) из другого, уже советского времени, и языком этого времени — разумеется, насколько и как этот язык (расхожие казенные формулы и штампы, примитивная речь советского обывателя) был усвоен ее сознанием. И вот это и есть ключевая составляющая «Интересной Фаины», главный инструмент строительства художественного мира и одновременно, если угодно, «многофункциональный» ключ, открывающий этот мир.

Роман начинается (ну, практически открывается) описанием кораблекрушения: «Еще раньше капитан на пароходе приказал всем рубить топорами все на свете плавучее вроде двери? и кидать в воду. Все начали рубить от души и нарубили кто сколько мог. Потому мать Фаины упала не в пустую воду, а головой? попала в нарубленную дверь и

крепко ударилась. Тут как раз пришла большая волна. Большая волна сдвинула ударенную мать в сторонку и накрыла всю с ударенной? головой?. Фаина своими глазами видела, что волна накрыла мать. У волны была белая бахрома и цвет такой? же, как у шали, которой? мать накрывала Фаину дома. Ночью у Фаины было одеяло, а днем была дорогая шаль с коричневым пятном на самом краю. Мать хотела нагладить после стирки, а силу горячего утюга не посчитала. Мать накрывала шалью дочечку от плохого. Мать говорила, что по шелку все на свете плохое скатится. Почему мать не накрывала свою дочечку шелком ночью, хоть бы и сверх одеяла, непонятно. И вот мать пошла себе на дно. Фаина быстренько тоже засобиралась на дно, чтоб успеть все-таки схватиться за материну руку. Но как-то так получилось, что вместо дна Фаина осталась на воде. Фаина не умела плавать и просто била воду с пяти сторон — двумя руками, двумя ногами и одной? головой? тоже. Фаина не запомнила вокруг себя людей? — ни на воде, ни на лодках, ни на кто на чем. А запомнила, как ее рука ударила не по воде, а по дереву, которое получилось дверями с ручкой?. Какая-то сила взяла и дотянула руку Фаины до этой? ручки, как до руки матери».

Значимый эпизод. Ведь это и смерть, и рождение одновременно. Смерть, потому что детское, бессознательное, внутриутробное существование ушло, завершилось. Вместо руки матери — ручка двери в другой мир и в другую, уже автономную жизнь. Но само начало этой автономности, возникновение самосознания — поражено (или порождено) травмой. В этом переходе от небытия (или недобытия) к индивидуальному, внешнему существованию нет света и ясности. Мир заслонен толщей воды. Сквозь эту воду, через эту травму, через это пережитое потопление и говорит с нами героиня. Говорит своим «утробным», дефектным, неправильным языком.

Здесь важны не только бросающиеся в глаза лексические и синтаксические особенности речи, ее особая выразительность или невыразительность (или потуги выразить что-то, преодолевая бедность имеющихся средств). Это метафора (она затем будет неоднократно возникать в романе) рождения мира и сознания

героини — то есть стремления воплотить то, что было, вернуть в слове утонувшее время с его обломками реалий, голосами, бликами, отсветами, красками. Представить канувшее минувшее языком, который сам по себе ущербен и недостаточен, но который несет в себе эхо разноречия: русская, украинская речь, суржик, даже французский язык, которому училась Фаина. К этому стоит добавить ее «живописную» одаренность, ее страсть к книгам, породившую склонность к сочинительству. Последнее более чем существенно. Фаина — другая, советская, удаленная в будущее, — не столько вспоминает, сколько придумывает свою судьбу, воображает ее на основе прочитанных книг, усвоенных цитат, услышанных рассказов.

Что было пережито ею, а что сочинено, — сказать трудно. Так, в одном из эпизодов Фаина выслушивает рассказы о себе (о ней, то есть) некоего авантюриста (одного из тех, кто хочет прибрать к рукам ее богатое наследство). Этот эпизод почти весь строится на пересказах известных текстов. В частности, мелькает даже стихотворение Блока «На железной дороге» («Под насыпью, во рву...»). Любопытно здесь не только вроде бы не вполне оправданное использование блоковского произведения. Любопытно то, что и с самой Фаиной случится «смерть» у железной дороги, как в стихах Блока, и сюжетно роман должен был бы закончиться именно так. Но ведь рассказ ведется из будущего, и героиня должна остаться жива. Поэтому читателя и ожидает чудесное (фантастическое уж точно) воскрешение Фаины.

Показательно также, что ущербность сознания героини лишь подчеркивает ущербность памяти, которая склонна вытеснять

и забывать пережитое и усвоенное (у Фаины это забвение — «расчистка места в голове» — превращается в специальную медитацию). Или заменять реально бывшее выдуманным и прочитанным.

Это мир не до конца проясненный, незавершенный (сюжет обрывается смертью и неожиданным воскресением героини). Он сам по себе обломок чего-то большего. Он и не может стать по-настоящему цельным, поскольку неполноценность — душевная, ментальная, языковая — его определяющее свойство. Здесь нет строгой номинативности, просто потому что для многих вещей и явлений нет имен и названий, или они растворены в эвфемизмах, обобщенных описательных оборотах. Мир заражен речевой невнятистью. Он строится пожилым человеком, который остается ребенком. В нем амнезия соперничает со слабоумием (или умственной и душевной скудостью). Он лишь отражение отражений. Он не преодолевает хаоса, но, скорее, манифестирует его. Он непредсказуем и случаен, как неожиданные повороты в повествовании романа. И эта случайность — важный знак.

Случайность, если хотите, тренд дня сегодняшнего. Случайность (не просто как явление, но как свойство мира), выражающая себя в том, что, кажется, нет ничего обязательного, безусловного, необходимого. Любое движение, действие, намерение, мысль, эмоция могут обернуться чем угодно и привести к результатам прямо противоположным. Более того, уже в себе это противоположное содержать. Всякая опора неустойчива, всякая основа зыбка. И есть лишь интуитивно осознаваемый, не определяемый точно образ прочного существования, неколебимого бытия.

Сергей Шабалин

Время тревоги нашей

«Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, если даже спасся от снарядов», — гласит эпиграф к знаменитому роману Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен». Еще совсем недавно вряд ли можно было предположить, что роман участника Первой Мировой войны, изданный в неизмеримо далеком 1929 году, вновь окажется востребованным в литературном дискурсе современности. Однако название новой книги стихов Геннадия Кацова «На Западном фронте», посвященной потрясшим Америку и мир событиям 2020 года, — более чем очевидная отсылка к книге Ремарка:

на площадь не сунься, не выйди в подъезд —
в театре военных, объявленных действий
посадочных хватит на каждого мест,
включая детей, чтоб испортить им детство

Понятно, что речь идет о смертоносной вспышке коронавируса, равно как и о расовых беспорядках невиданного прежде масштаба, захлестнувших Америку в прошлом году. Одно потрясение самым чудовищным образом наложилось на другое и, возведенное в квадрат, заставило планету вздрогнуть. Уже подоспела годовщина рокового весенне-летнего времени, но эпидемия продолжается, и вопросов по-прежнему больше, чем ответов. 2020 год — что это было? Давняя, затянувшаяся и перешедшая в метастазы болезнь общества? Восстание масс, прелюдия к войне?..

Судя по названию книги, ее оформлению (в качестве виньетки на страницах сборника изображено ружье), а самое главное —

по содержанию книги, автор убежден в том, что мы — свидетели новой, сверхсовременной и странно-гибридной войны. Войны, в которой контуры врага порой плохо различимы, а театр боевых действий непредсказуемо подвижен.

Книга разделена на три части. Первая из них называется «Ковидии. Стихи карантинного времени». Здесь доминирует минорно-сосредоточенная интонация, реминисценции реалий совсем недавнего, но, возможно, безнадежно утраченного, по ощущениям автора, прошлого:

вечером выйдешь к океану сопереживать закат
без перчаток и маски, что в последнее время
подарок,
и попадаешь невольно в недавнее прошлое
за так,
в докарантинную, словно декоративную,
эпоху задаром

Навеянные новой реальностью мысли, картины и образы, как правило, мрачны, но предельно точны и правдивы. Предпринятые властью антиковидные меры (разумны они или нет) превратили жизнь в тотальный полицейский кошмар, пахивающий диктатурой, где даже обычная прогулка в парке выводит на неизбежную тропу угрюмых раздумий, пронизанных ощущением опасности, а безобидные тополя и клены предстают в облике суровых стражей нового порядка:

иное имеет значение «ствол» —
в него от корней поступают патроны,
и тополь (сержант) прошлогодней листвой
стреляет с двух веток раскрывшейся кроны

Да, невесело время, герой которого ностальгически вспоминает о таких банальных и некогда общедоступных вещах, как, скажем, посещение питейных мест по вечерам:

«ещё ты помнишь январь-то?/ пар изо рта, бычки в снегу,/ под пневматические ритмы/ из тёмных баров — трубный гул». Неестественна жизнь, в которой простые удовольствия постепенно становятся чем-то вроде реликта. Но даже убогость подобного существования меркнет в сравнении с «первыми выстрелами» гражданской войны. Если соотнести вышеупомянутые события на шкале экзистенциального ужаса, то «Ковидии», безусловно, меркнут в сравнении с «Актуалиями. Хрониками военного времени» — вторым разделом книги Геннадия Кацова.

Представленные в книге стихи сотканы из аллюзий, центонов и, если так можно выразиться, настоянных на центонах строчках. (Например: «достать “шанель”, пойти домой...», «я с детства не любил напалм...» — Окуджавы и Павел Коган, соответственно. Характерный для автора прием, который можно определить нехитрой формулой «центон + авторская импровизация».) Метафоры Кацова, как правило, искусны и неожиданны. Однако иные его строфы впечатляют именно отсутствием желания впечатлить — почти тривиальной, но на деле — разяще-откровенной точностью. Так бывает, когда речь идет об общественных недугах, известных всем и замалчиваемых всеми. Замалчиваемых до тех пор, пока не находится человек, который больше не намерен не замечать очевидного: «повсюду призрак психбольницы/ диагноз признан, но лечиться/ нет времени, пространства, сил...»

С некоторых пор герой книги живет в атмосфере гнетущего страха: «так и умрешь, семью не защитив,/ без пистолета и к нему патронов...», в режиме предощущения новых трагедий и отнюдь не беспочвенных кошмарных видений: «толпа всё заполняла твой квартал,/ затем этаж, сейчас уже квартиру,/ и ты врубился: коль твой час настал —/ не нужен ты ни городу, ни миру».

В этой новой американской трагедии слезы чередуются со смехом, а ужас соседствует с абсурдом, и все становится возможным, особенно на экране телевизора. Даже столь фантастический сюжет, как поединок по джиу-джитсу между Дэйвидом Боуи и... Сергеем Есениным:

я не из тех, кто по вечерам выбирает боулинг,
я выбираю тебя — моего джина в джинсах:
давай закажем поединок есенина с боуи
на канале эйч-би-чмо, средний вес
в джиу-джитсу

Телевидение, манипулирующее массовым сознанием в политических целях, — отнюдь не новость, но прошлыми весной и летом стало очевидным, что через ТВ, помноженное на сетевые ресурсы, можно протолкнуть все что угодно. Любая ахиня в привлекательной обертке, любая ложь и подтасовка фактов спокойно проглатываются под «чипсы и Будвайзер».

Впрочем, несмотря на то, что «досок с гвоздями и бейсбольных бит/ сполна припасено для разговора», автор (или его герой, в этой книге они почти неотделимы) не повержен и эффектно превращает кошмар в самоиронию: «к беде колокола в ушах звенят!/ как тут не закурить, хотя и бросил:/я долго думал, что реальный ад —/ смешать текилу и мартини-росси». Но у реального ада несколько иная рецептура. Его отблески видятся, скажем, в том, с каким упоением и азартом молодые американские радикалы уничтожают памятники, ставшие для них, по сути, исторической абстракцией. В подавляющем большинстве случаев разрушители и вандалы ничего (или почти ничего) не знают о персонажах, увековеченных в камне, однако весной-летом 2020-го они (бунтовщики) — ни много, ни мало — вершители судеб мира. Все это напоминает поэту отечественную историю, снос монументов на пепелище Октябрьской революции и российские реалии начала 1990-х годов. Ведь мы наблюдаем не просто снос памятников, а смену эпох:

брёдёшь по руинам разрушенных скверов,
что повод не есть для сердечных ударов,
ведь столько активных здесь, как пионеров-
тимуровцев в лучших рассказах гайдара

Подобные картинки чередуются с нарезкой новостных кадров массового разграбления магазинов и торговых центров от Нью-Йорка до Монреаля, впечатляющими лозунгами антифа и BLM или, скажем, продолжавшимися захватами радикалами почти месяц центра Сизтла и четыре — Портленда, и общая картина

гражданского противостояния (чтобы не сказать — войны) становится законченной. Здесь не важно, по какую сторону баррикад находится очевидец, ведь пуля (бейсбольная бита), как известно, не выбирает: «а ночами вообще зер гут:/ жжём машины, магазины грабим,/ можно бабу трахнуть на бегу —/здесь нет копов, значит, нет и правил».

Познакомившись с натурными зарисовками кацовского ада, читатель ожидает апогея ужасов в третьей части книги — ожидаемым финалом «Ковидий» и «Актуалий» могла бы стать глава под названием «Апокалиптии». Но фокус внимания автора резко смещается. «Персоналии. От первого лица» — называется эта часть. «Уйдя в себя на фоне адовом» и «снимая пустоту покадрово», на первый план выходит сам автор книги — его мысли о собственной жизни и его раздумья о вечном, о бездонной вселенской пустоте, об уходящем — в полете снежинок и шелесте листьев — времени:

их в тёмном контуре наклон
осеннюю скрывает тайну,
и бледный лист — снежинки клон —
тень касаясь, тут же тает

Ничем не успокаивая своего собеседника-читателя, по факту автор все же дарит ему надежду: да, мы живем в тяжелое, даже страшное время, но поблагодарим судьбу, Бога или молекулярное стечение обстоятельств за то, что мы вообще здесь — за утреннюю чашку кофе и свежую газету, наконец:

поскольку, судя по газете, я
попал в сей час в 2020-й
о чём мечтать лет пятьдесят назад
в том тыща девятьсот семидесятом
не мог у автоматов с газводой
в автобусах икарусного типа

Разве это не сногшибательно само по себе — из эпохи «Икарусов» и автоматов с газводой переместиться в «пейзаж эппллов или нокий, как будто писанный в кватроченто»?! Ведь у нас есть два пути: или, подобно кацовскому капитану, забившему на жизнь, умереть раньше смерти:

и набьёт крепко в трубку
капитан табачок
смерть бывает без трупа
будто жизнь ни при чем...

или, несмотря на поистине трагические, однако не фатальные реалии 2020 года, уверовать в то, что жизнь все-таки, простите за банальность, — чудо, равно как и в то, что искусство, в частности поэзия, — чудо, а чудо должно победить, не так ли?

гул машины для мойки посуды —
мой любимый трехстопный анапест:
хочешь — верь, что поэзия чудо,
хочешь — нет, и пошли её на фиг

Что ж, жизнь заявит о себе сама, а в чудо, в творчество и в чудотворство нас заставляет поверить поэзия Геннадия Кацова. В частности, его новая, десятая по счету книга.

Ольга Гертман

Не путайте мурмурацию с мурмурином

Нет, ну в самом деле. У этих слов — которые в заголовке для привлечения, как водится, внимания, — даже корни (почти) разные: у первого — латинский, у второго... в конечном счете тоже, конечно, латинский, но в первейшем приближении — английский, и это приводит к тому, что у двух слов, убедительно притворяющихся близнецами, — совсем, совсем разные значения. Сросшиеся своими латинскими корнями, эти вполне сиамские близнецы смотрят в совершенно разные стороны.

Собственно, *мурмурация* с *мурмурином* бросились нам в глаза и напросились стать началом разговора о книге в целом только потому, что это — единственный на весь словарь яркий случай квазиблизнечества. Остальные яркие случаи из жизни слов (а они тут все яркие) — о другом и устроены иначе. Главное же — есть нечто, решающим образом объединяющее всю собранную сюда разноязыкую и даже разнографичную лексику: все эти слова возникли и начали потихоньку овладевать массовым сознанием в одно время — в первые два десятилетия XXI века и могут быть — по мысли авторов — прочитаны как симптомы культурного, интеллектуального, эмоционального состояния этого времени.

Значения уже упомянутых слов мы, конечно, из особенной вредности тут раскрывать не станем: зачем пересказывать читателю то, что он и сам узнает на страницах

книги?.. если, конечно, ему удастся ее раздобыть: место издания у этого целиком русскоязычного словаря, признаться, экзотическое. Хапур — это в индийском штате Уттар Прадеш (кстати, даже не столица его). Не допытывайся, читатель, почему, — сами не знаем. Однако точно знаем то, что духу предприятия, лежащего в основе словаря, это совершенно соответствует. Он, вообще-то, по замыслу — всемирный и повсеместный.

Приближение, обещанное подзаголовком книги, — действительно, самое первое. (Автор предисловия, он же составитель книги, Игорь Сид говорит, что это — только «дайджест-анонс», и вскоре нас ждет выход полного первого тома словаря, объем которого превысит нынешний примерно в два раза). Понятно, что неполными двумя сотнями страниц не охватить ни всех неологизмов, заведшихся во всех языках мира в XXI веке, ни даже, наверное, всех тенденций слово- и смыслообразования в языках этого времени. А ведь задачу себе участники этого грандиозного, не лишнего авантюристических обертонів, интеллектуального предприятия поставили именно такую: отследить новейшие слова — или новейшее употребление старых — во всех, всех возможных языках, какие только существуют. Тематический охват — максимальный, от (первым делом идущих на ум) технических новшеств вроде «умного дома», «умной одежды» и «умной пыли» и (идущих на ум на втором шаге) обозначений новейших политических реалий вроде филиппинского *трапо* (слово новое, явление старое: корыстный политик, игнорирующий интересы избирателей) до экспрессивного неологизма с оттенком просторечия в современном египетском диалекте арабского языка

Словарь культуры XXI века. Первое приближение / Составление, предисловие — Игорь Сид. Научный редактор Вадим Руднев. Члены редколлегии Анна Бражкина (Россия), Сарали Гинцбург (Испания), Игорь Сатановский (США). — Хапур: Kie Publication, 2020. — 196 с.

«уэр-уэр» (одобрительное междометие и прилагательное, означающее высокое качество, свежесть и чистоту) и — ну, скажем, словечка, обозначающего явление, которое существует, думаю, вообще примерно с сотворения мира (умильно посмотреть в нужный момент и выпросить желаемое), но заведшегося в речи словенцев — или, по крайней мере, замеченного в ней словарями — только в текущем столетии (это слово *?panjelizirati* — спаниелить).

Нет, систематическое описание тут по определению потерпело бы поражение.

И вот поэтому авторы (а с ними и составители, и авторы идеи всего словаря в целом) отказались от занудного в своей правильности академизма с самого начала и, надо думать, навсегда (словарь ведь намерен продолжаться и расти). Нет, за корректность сказанного они отвечают: в состав рабочей группы словаря входит научный редактор, который за нею следит. А это, между прочим, не кто иной, как философ Вадим Руднев — именно его, вышедший в конце прошлого столетия, «Словарь культуры XX века» — единоличный, авторский! — стал первообразом словаря культуры века XXI-го и стимулом к его возникновению; зерном, из которого выросла идея, — мы теперь застаем ее еще только в самом начале ветвления. Кстати, Рудневу же принадлежит и одна из словарных статей — о «странных объектах». Второй отец-основатель проекта — Михаил Эпштейн (он тут тоже один из авторов, анализирующий «начекизм» — им же самим предлагаемый возможный перевод новейшего американского *woke*) с его идеей *проективного словаря*, словаря будущей и возможной лексики, он же, по-английски, *predictionary (dictionary+prediction)*.

В отличие, правда, от Эпштейна, авторы словаря пишут о настоящем и его уже возникших словах — но ищут в нем ростки будущего.

Прекрасно помня о неминуемой условности и неполноте любого описания процессов настолько громадных масштабов, авторы избрали своей стилистической и интонационной стратегией эссеизм, близкий иной раз к публицистичности, роднящей статьи словаря со статьями ну если и не в газетах, то уж, во всяком случае, в толстых журналах. Особенно это заметно там, где речь заходит о словах, обозначающих что-то возникшее

совсем недавно, — вроде описываемой в словаре по совсем уж горячим, еще и не думающим застывать следам пандемии коронавируса. Выразительный пример — умная, основательная статья Евгения Бунимовича о «хоумскулинге», домашнем обучении, — строго говоря, о «способе получения образования, предполагающем изучение общеобразовательных предметов вне школы», — который за последний год сами-знаете-чего насытился новыми небывалыми значениями, включая эмоциональные. Стремительно, тремя абзацами очертив историю понятия, автор (педагог, знающий ситуацию изнутри) описывает новейшее состояние и термина, и обозначаемого им явления таким трогательным образом: «Массовый авральный переход миллионов школьников на обучение на дому привел к огромному числу проблем для родителей и детей — образовательных, психологических, социальных, технических. В русском языке это отразилось и в особенностях нынешнего широкого использования термина хоумскулинг. Дело в том, что в России есть глагол “скулить” [skulit'] — т.е. жалобно повизгивать, тихо выть, его чаще используют в разговоре о собаках, поэтому “скулинг” как часть термина “хоумскулинг” можно иронически трактовать как псевдоанглийское отглагольное существительное, означающее “тихое жалобное выть”. В результате термин “хоумскулинг” в русском языке обрел не только общеупотребительный для всех языков смысл семейной формы обучения ребенка, но и дополнительный жалобно-иронический смысл, означающий “достал этот ваш перевод всех детей на домашнее обучение, нет больше сил, хочется выть.”»

(Сразу, кстати, видно, что, будучи русскоязычным в своем нынешнем облике, словарь постоянно имеет в виду свои — будущие? — переводы, свою изначальную адресованность и иноязычным аудиториям — поскольку объясняет вещи, носителю русского языка очевидные.)

Да, все это органичнее смотрелось бы на страницах толстого журнала, чем словаря в его сколько-нибудь традиционном понимании. Однако упомянутая публицистичность — ни в коем случае не недостаток ни процитированного текста в частности, ни книги

вообще, она, скорее, — их жанровая особенность: самым адекватным для себя эти тексты чувствуют расположиться между жанрами, избирательно используя возможности каждой из них. (И, кстати, обратим внимание на то, что в цитированном тексте характерным для словаря образом упоминаются свойственные представляемой автором культуре приметы бытования слова.) В случае книги в целом, кажется, уместнее всего говорить о «мерцающей» стилистической позиции и жанровой принадлежности, от статьи к статье смещающейся в сторону то культурологического анализизма (как, например, в «Аватаре» Татьяны Бонч-Осмоловской или в «Поляризованной биосфере» Владимира Каганского — пожалуй, одного из самых научных текстов книги, с которым соперничает в этом отношении разве что лишь основательнейший «Трансгуманизм» Данилы Давыдова), то, наоборот, к эссеистичности вроде той, с которой Илья Фальковский рассказывает о труднопереводимом с китайского выражении «чжаньдоу миньцзу» (обозначающего, между прочим, национальные особенности русских — в представлении, конечно, китайцев. А вот опять не скажу, что это значит. Ищите книжку!). Таким гибким, пластичным стилистическим и интонационным инструментом лучше всего схватывается то, что, пребывая в становлении, только обретает свое место в культуре, между чем и нами, этот предмет наблюдающими, еще не образовалась дистанция, способствующая объективности, бесстрастности, а с ними и чистой теоретичности.

Другая особенность представленного в книге коллективного взгляда — то, что в поле его зрения то и дело попадает лексика, совсем уж экзотичная для обитателей тех областей мира, которые привыкли почитать себя центральными и нормообразующими (ну, вы поняли: стран евро-американского культурного круга), и вряд ли, честно сказать, известная за пределами породившего ее локуса. Да, кругозор это расширяет чрезвычайно — можно даже сказать, делает читателя-европейца более гибким и разнообразным внутренне, поскольку представляет ему совсем не очевидные для

того модели мышления и действия. Выразительный пример — «Сиракоро», «Под бабабом» на африканских языках бамана и малинке: статья об этом слове на самом деле имеет более широкую тему — обычай называть города, деревни, автобусные остановки «древесными» топонимами в благодарную память о деревьях, которых уже нет. Практика, характерная для Африки (особенно — Западной) и вряд ли существующая в иных краях (а также — стоит задаться вопросом — действительно ли появившаяся именно в XXI веке, которому посвящен словарь? на это в статье не указывает ничто).

Но да: при всем неминуемом разбросе внимания и эссеистичности основного количества вошедших сюда словарных статей, при всей экзотичности значительных объемов втянутого в орбиту их внимания материала авторы, безусловно, намерены отслеживать именно глобальные тенденции. Более того, они — посредством ныне представляемого издания — намерены активно их формировать. В частности, в этих целях они вытягивают экзотические слова из тех областей мира, что кажутся нам окраинами, и предлагают ввести их во всеобщий оборот (а заодно и нас с вами вывести из слишком жесткой идентификации себя с хорошо обжитыми этническими, языковыми, культурными группами), способствовать филологическому диалогу. И даже (создаваемым многовекторностью и полицентризмом словаря) «легким шизофреническим эффектом» (как говорит Игорь Сид) намерены не только портретировать вполне себе шизофреничный XXI век, но — куда более и важнее того! — «дезориентируя читателя <...>, оказывать на него терапевтическое воздействие, повышая его адаптивность в мире с непрерывно дрейфующими ориентирами».

Тут, конечно, самое время раскрыть некоторые карты (не все, не все). Дело в том, что автор этих, усиленно старающихся быть объективными, строк — и сам(а) в числе участников этого предприятия (к оправданию дерзкого принятия ею на себя роли рецензента пусть послужит то, что словарь в целом предстал ее взору, только уже будучи изданным, новым и неожиданным, — и только тогда все его

особенности стали, наконец, видны). Но тут уж автор спешит провозгласить, что ценностные основы и пафос этого издания он(а) разделяет всем сердцем и то критическое, что мог(ла) бы о книге высказать, — адресует и себе тоже.

(Тут рецензент снимает маску и начинает говорить от первого лица: теперь-то ведь можно?)

Так вот, мне, признаюсь, академизма, аналитичности и теоретичности в книге все-таки не хватило, а с ними иной раз ощутимо недоставало и основательности — родной сестры (согласна, не близнеца) глубины. А еще не хватило мне у каждой статьи, как это в словарях и энциклопедиях вообще-то заведено, хоть небольшого списка литературы, который позволил бы проследить историю рассматриваемых здесь понятий и разнообразие существующих взглядов на них (а заодно связало бы книгу с большими контекстами).

Ну, честно сказать, мне еще и венгерских слов тут не хватило (чего это африканские есть, а венгерских нет?), хотя могла бы постараться хоть одно раздобыть. А взамен того написала об одном вросшем в русский язык англицизме, но очень любопытном, между прочим.

Однако, во всяком случае, важно и интересно, что этот словарь активно втягивает в поле своего внимания лексику из неевропейских (неевроамериканских) областей мира, выявляя тем самым новые, практически не освоенные вниманием, источники смысла, и что он — словарь-процесс, созданный нарочно для того, чтобы наращиваться с самых разных сторон и ветвиться в самых непредсказуемых направлениях. Не будь он вынужденным печататься на бумаге, его бы стоило выстроить в форме — вращающегося и постоянно растущего — шара.

Уэр-уэр!

Ольга Балла

Свои претензии адресуйте дьяволу

Алексей ИВАНОВ. Тени тевтонов: Роман. — М.: РИПОЛ классик, 2021.

Вообще, есть сильный соблазн прочитать новейший роман Алексея Иванова (того самого, автора «Географа», пропившего глобус, «Сердца Пармы», «Золота бунта»...) как текст более сложный, многоплановый и умышленный, чем тот, что упорно предстает поверхностному взгляду. Как-то даже жаль не прочитать его таким образом, поскольку потенциал у этого замысла — богатейший. Скорее, у его смысловой ауры, потому что сам по себе замысел, хммм... ну не очень замысловатый.

История приключений и злоключений представителей двух разных поколений польского аристократического рода Клиховских, разыскивающих по дьяволу наущению сокровище Тевтонского ордена — волшебный меч Лигуэт, которым была отсечена голова Иоанна Крестителя, вышла вначале в виде аудиокниги (даже — аудиосериала, в шести частях) и теперь обрела форму бумажной книги. Благодаря этому, к счастью, ее можно наконец читать в собственном ритме и собственным внутренним голосом, останавливая внимание на том, что на это напрашивается. Обыкновенно такое чтение идет книгам на пользу. Эта — не исключение.

Повествование двуплановое — в двух, неизъяснимым образом параллельных друг другу временах: 1457 год (с заглядываниями и еще глубже, в предысторию, и в 1410 год, и в 1310-й) — и середина мая 1945-го, первые дни после краха фашистской Германии. Объединяет две сюжетные линии (которым назначено просвечивать друг сквозь друга, не вполне совпадая, — они и просвечивают, и не совпадают) помимо — и даже прежде — розысков Лигуэта основное место действия: Восточная Пруссия. В первом временном пласте под натиском противника рушится столица Тевтонского ордена Мариенбург, и магистр — прихватив меч, — спасается бегством в Пруссию. В 1945-м советская армия захватывает город Пиллау, нынешний Балтийск, и оттуда бежит в Латинскую Америку гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох, которого ловят советские контрразведчики. Меч опять-таки принадлежит ему — не представляющему, с чем он имеет дело. В первом случае шляхтич Каетан Клиховский разыскивает меч, чтобы вернуть его дьяволу и избавиться тем самым от родового проклятия. Поскольку задуманное не удастся, пять столетий спустя тем же самым занимается потомок Клиховского Винцент (поэтому за Кохом, соперничая и отчасти поневоле сотрудничая с советской контрразведкой, охотится и он). Траектория его поисков — независимо от его собственных усилий — обнаруживает множество признаков, общих с историей Каетана, как будто повторяет ее, а вместе с нею обретают свое повторение-

отражение — неточное, как бы смещенное — и другие события и персонажи того времени.

Вообще, у книги много черт, располагающих к медленному ее чтению, которого, может быть, автор не предполагал и сам. Что он точно предполагал, тут можно не сомневаться (и что в смысле соответствия жанровой модели вполне удалось), — это крутой экшн, с погонями, убийствами, загадками, расследованиями и преследованиями, со всем классическим набором признаков от таинственного зла до неминуемой любовной линии (множественных любовных линий, которые в некотором смысле все — варианты одной, главной). Словом, наличествует весь арсенал средств, выработанных и отточенных массовой культурой специально для того, чтобы у читателя захватывало дух, чтобы его не отпускало напряжение до самого — разумеется, неожиданного — конца. О да: чем ближе к концу, тем вернее все происходит именно так, делаясь все более похожим на сценарий блокбастера или — что, пожалуй, еще вернее — компьютерной игры. И будет даже удивительно, если по мотивам романа таковая не окажется созданной: весь необходимый видеоряд в книге прописан уже настолько подробно, что буквально предстает перед глазами: «Артиллерия, авиация и уличные бои превратили город в свалку дырявых и пустых коробок, полузасыпанных щебнем, битым кирпичом и черепицей. Балтийский ветер сдул дым пожаров и тучи пыли, и мертвый город лежал на полуострове, вывернув внутренности, во всем очевидном ужасе недавнего штурма. Над руинами торчала красно-белая башня маяка — маяк не тронули, потому что он служил ориентиром для русских бомбардировщиков. Воды утихших гаваней отражениями удваивали перекошенные надстройки и мачты затопленных судов. На площади у памятника курфюрсту беззвучно разевали рты старинные гвинейские пушки — они словно выли, взывая к небу: “Пиллау-у! Пиллау-у!..”»

Все это и вправду сделано крепко и ладно, с точным соблюдением жанровых требований (даже нескольких жанров: аудиосериал нынче, оказывается, уже вовсе кристаллизуется как самостоятельная разновидность искусства со своими правилами, и Иванов сам признавался в том, что старался им следовать: в аудиосериале, говорил он, «авторская речь должна быть краткой, емкой и ясной, и слушатель всегда должен видеть за текстом картинку»¹). Но, строго говоря, к литературным достоинствам в точном смысле слова этого не причтешь, что было замечено даже не критиками, а уже и так называемыми «простыми» читателями со вполне расхожими запросами и ожиданиями.

«Когда начал читать, — пишет автор одного из отзывов на книгу на «Лабиринте», — постоянно смотрел на обложку — это точно Иванов, тот самый Иванов? Уровень языка — комиксы марвел, одобренные Википедией. Шаблонные герои, типовые диалоги, персонажи, обладающие сверхпроницательностью, куча роялей в кустах. И это автор Тобола, не говоря уже о Золоте Бунта или Сердце Пармы?»²

Ну, по совести сказать, в сторону массовой культуры Иванов двигался уже давно и уверенно: «Псоглавцы», «Комьюнити» и особенно «Пищеблок» были предыдущими остановками на этом пути, теперь, так и хочется сказать, приехали.

¹ <https://rg.ru/2021/01/14/laureat-bolshoj-knigi-aleksej-ivanov-vypustil-svoj-pervyj-audioserial.html>

² <https://www.labirint.ru/reviews/show/2260176/> Пунктуация и орфография здесь и далее — авторов рецензий.

Откровенную кинематографичность книги упоминает, говоря о ней, практически каждый. «Алексей Иванов один из немногих у нас, кто умеет делать добротные и качественные, крепкие и захватывающие голливудские блокбастеры <...> как сценарист восхищен и поражен в самое сердечко», — признается один читатель, действительно профессиональный кинематографист¹. «Образ Бафомета-дьявола просто киношен»², — пишет другой. «По сути это расширенный киносценарий с вкраплением исторических фактов <...> Сюжет интригующий по меркам блокбастера <...> все сделано по кино лекалам и большинство ходов угадывается»³, — подтверждает третий. «...получился простенький сценарий, словно сляпанный быстро, приторный»⁴, — раздражается третий. «...Так и воспринимается, почти как сценарий»⁵, — удовлетворенно констатирует еще одна, благорасположенная к тексту и автору рецензентка. «По сути это отличный сценарий для добротного приключенческого фильма»⁶, — соглашается следующая.

Именно поэтому от плавающих на поверхности ассоциаций с кинематографом правильнее всего отвлечься и посмотреть, что есть в романе помимо ящика с полным набором инструментов массовой культуры.

(Ну, небольшой спойлер: если бы вся эта гонка, которую автор нагнетает к концу, закончилась страстно ожидаемым зрителями... тьфу ты, читателями — хэппи эндом, — было бы приторно уже совсем. По счастью, Иванову достало мудрости этого избежать — как и однозначного конца вообще.)

А есть там, в основе всей этой двуплановой, единосущностной истории — целая историософия. И даже онтология. Собственная авторская онтология, между прочим!

Вот во что надо всмотреться. Тем более что, как мы помним, когда-то, в связи еще с «Золотом бунта», Дмитрий Быков обещал: «когда Иванов окончательно победит Традиционный Русский Роман, он вытолкнет русскую прозу на глубокую воду новой метафизики и новой смелости»⁷.

Увы: чаемой (кем только? — явно не автором) новой метафизики что-то не получается, да и с новой смелостью не так хорошо, как стоило бы. «Все они — и русские, и немцы — только орудия в руках Бафомета». А вот свидетельство из второго времени романа: «Рыцарь не хотел служить демонице, но и не служить не мог. В этом мире людям принадлежат желания, а исполняет их дьявол». Есть еще представление — непонятно откуда взявшееся в 1945 году в голове солдата советской армии — об «особых законах» судьбы: «Плывать на все планы — судьба свершается по своим особым законам». Так размышляет влюбленный в юную немку Хельгу безупречно положительный Володя Нечаев, которому, оказывается, глубоко безразлично все, ради чего он вообще здесь, в этой Восточной Пруссии: «Ему нет никакого дела до гауляйтера Коха в глубине катакомб...» «...коловращение судьбы не прекратится уже никогда», — отзывается Нечаеву из своего XV века католик Каetan Клиховский.

Мда, глубоко.

¹ Арсений Гончуков. <https://www.labirint.ru/reviews/show/2256763/>

² <https://www.labirint.ru/reviews/show/2258025/>

³ <https://www.labirint.ru/reviews/show/2280457/>

⁴ <https://www.labirint.ru/reviews/show/2276923/>

⁵ <https://www.labirint.ru/reviews/show/2275054/>

⁶ <https://www.labirint.ru/reviews/show/2268252/>

⁷ https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2006/1/splavshhik-dushu-vynul-ili-v-lesah-drugih-vozmozhnostej.html

Это даже не тянет на архетипическое представление о лежащей в основе всех исторических и внеисторических процессов борьбе как бы то ни было персонифицированных Добра и Зла, потому что противоборствующие стороны толком не представлены. Зло в образе Бафомета и его мелких подручных типа суккубов (они же, в духе любимой Ивановым темы, заодно и вампиры) как-то еще присутствует для оживления пейзажа, но вот его Противника днем с огнем не сыскать. За Добро представляют довольно плоские герои с их несомненно достойными (но совершенно посюсторонними и человекосоразмерными — без малейших метафизических проекций) ценностями доброты, сочувствия, эмпатии, честности, верности, противопоставляемыми сатанинскому самоутверждению. Все это больше, чем стоило бы, похоже на старое доброе морализаторство о том, что добрым и честным быть хорошо, гораздо симпатичнее, чем злым и лживым. Ради доказательства этой яркой мысли, конечно, стоило поминать Дьявола. Не говоря уже о том, что между победителями и побеждаемыми — где бы и когда бы дело ни происходило — у Иванова нет никакой существенной разницы: просто сила силу пересилила; о защищаемых ценностях речь идет крайне невнятно, если вообще.

Еще из метафизического: события разных времен почему-то (и, видимо, не постоянно — время от времени; до мая 1945-го никаких параллелей с 1457-м, похоже, не прослеживалось) отражаются друг в друге, повторяют друг друга — независимо от собственных соображений и усилий участников событий (ну да, они же все — не более чем «орудия в руках Бафомета»). Почему? А нипочему. Отражаются — и всё. «В обыденном и ничем не примечательном настоящем беззвучно, как вода, проступало прошлое».

(Это события мая 1945 года ничем не примечательны?.. Кстати, насчет «беззвучности» тоже можно очень даже поспорить.)

Впрочем, мысль о проступании и его беззвучности как бы даже и не (вполне) авторская. Она принадлежит искателю Лигуэта Винценту Клиховскому, никак не глубокому мыслителю, который в одном из разговоров признается: «Не я управляю историей. Свои претензии адресуйте дьяволу».

(Интересно, а сам автор-то что думает?)

Метафизическая мысль в основе ивановского беллетристического построения (если это вообще мысль, а не фигура воображения) — во-первых, настолько скучная и во-вторых, так мало продуманная, что за автора, право, обидно: мы давно уже успели узнать Иванова как писателя, умеющего быть и тонким, и глубоким, хорошо чувствующим и сложность языка, и неоднозначность человеческой природы (это его умение не раз вспоминается при виде картонных персонажей «Теней тевтонов» и плоских их диалогов).

Вообще: много оборванных линий, которые, будучи как следует развиты, могли бы породить самостоятельные, интересные и событийные, и смысловые ходы. Меч Лигуэт, вокруг которого как бы, по идее, вертится все действие, способен, если верить героям романа, на интересные вещи: «Этот меч создает воинов, которым нет равных» (так шепчет армариус Рето возлюбленному суккубу). «Греки называли их анастифонтами. Если вонзить Лигуэт в сердце человека, то человек умрет и станет анастифонтom. Он исполнит любой приказ того, кто владеет священным мечом. Он не изменит, не обессилит и ничего не убоится. А когда Лигуэт принимает в свое сердце немец, он воскресает тевтоном.»

В принципе из одних только этих анастифонов (христианский вариант зомби? — стоило бы продумать отличия), из особенностей их самовосприятия и поведения, их взаимодействия с миром можно было бы развить мощную сюжетную линию. Тем более, что кое-кому в романе даже удалось ими стать. Но нет.

Главное же: и вся метафизическая конструкция, и «сам Дьявол», крайне бледная и бессильная тут фигура, — неспособный практически ни на что, даже на то, чтобы самостоятельно забрать нужный ему предмет, оказываются не более чем поводом для выстраивания «закрученного сюжета». Который, в общем-то, можно было бы с тем же успехом закрутить и без всякого дьявола — и, кстати, в той самой, наиболее динамичной заключительной части романа, которая уже чистый и классический экшн, Иванов прекрасно без него обходится. Подобно тому, как, по словам Быкова, «Золото бунта» когда-то «выпрастывалось» «из этой примитивной оболочки, из грубой шкуры чтива»¹, — здесь происходит обратный процесс: роман в грубую шкуру чтива старательно заворачивается.

Однако не будем упрощать Иванова и его работу. Автора, как мы могли заметить, при формировании текстов издавна раздирали разнонаправленные задачи и стремления. Вот и теперь он очевидным образом поставил перед собой сразу несколько задач, настолько разных по своему устройству и смыслу, что едва ли не взаимоисключающих. Одну из них — создание текстовой основы для зрелищного и захватывающего блокбастера — он честно и вполне качественно выполнил. Из задачи моделирования психологии героев, особенно исторически мотивированной и исторически же достоверной, не вышло настолько ничего достойного упоминания, что, по всей видимости, он ею и не задавался. Было ли выстраивание собственной историософии и онтологии самостоятельной задачей или они возникли в качестве побочного продукта — не так очевидно; скорее, в силу непродуманности этих идейных основ, все-таки второе. И, несомненно, была еще одна задача: рассказать о прошлом Восточной Пруссии, причем сразу в двух его пластах — историческом и мифологическом: историю событий и верований, сознания дневного и сумеречного, христианского и языческого. О немцах и поляках, о тевтонах и пруссах...

Эту последнюю задачу — несмотря на публичные уверения в том, что роман его вовсе «не исторический, а постмодернистский»², что «в современном мире, мире постмодерна, писать исторический роман про то, как это было в двадцатом веке, уже никому не интересно. Историю надо изучать по учебникам...»³ — Иванов очень старался выполнить. В силу этого текст оказался выстроенным неравномерно: несущийся сломя голову хоть к какой-нибудь уже развязке в самом конце, в предшествующих частях романа он вязко-подробен, усердно, до занудства, этнографичен — будто автор читает нам лекцию, пишет тот самый учебник — только в образах. Описание, изобилующее материалом, медленное, щедрое, плотное, перевешивает замысел, претендуя на самооценность.

«В кирпичную кладку могучих стен Бальги были вмурованы дикие валуны — фильдиги. С вершины бургфрида, главной башни, дозорные видели дальнюю косу Фрише Нерунг, отделяющую Фриш-Гаф от моря, и пролив Зеетиф — судовой ход. Волны плясали вокруг башни-данцкера, соединенной с замком галереями на арках, и

¹ https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2006/1/splavshhik-dushu-vynul-ili-v-lesah-drugih-vozmozhnostej.html

² <https://kgd.ru/news/kultura/item/86310-misticheskie-teni-tevtonov-aleksej-ivanov-rasskazal-o-rabote-nad-kaliningradskim-romanom>

³ Там же.

пушки данцкера держали под прицелом гавань, чтобы вражеские корабли не осмелились приблизиться к причалу. С другой стороны замка выкопали глубокий ров и перекрыли его подъемным мостом. За рвом расположился форбург — городок для полубратьев, тоже огороженный стеной, а дальше возле кирхи рассыпались избушки пруссов-витингов с амбарами и корчмами. Багровые башни и черепичные крыши замка, вечно мокрые от балтийской непогоды, вздымались над соломенными крышами предместья, как дракон в медной чешуе».

Да, по этому описанию можно изучать устройство тевтонской крепости и ее окрестностей, быт и нравы — куда еще эффективнее, чем по учебнику, потому что тут всё живое. Но более того. Один только собранный сюда, с плотной конспективностью изложенный материал, несмотря на обилие узкоспециальной лексики, всех этих фильдигов, бургфридов и данцкеров (а отчасти даже благодаря ей: в словах — воздух времени, фактура его), — вообще и ярче, и сложнее, и физиогномически выразительнее и Володи Нечаева — прекрасного положительного героя, и возлюбленной его Хельги, и армариуса Рето фон Тиендорфа, и обоих Клиховских, не представляющих из себя примерно ничего самостоятельного, и самого дьявола.

Самое сильное, наиболее чутко ухваченное у Иванова в этом романе, кажется мне, — жизнь и память пространства, большого, памятливого природно-культурного топоса — Восточной Пруссии, который и сегодня все еще не перестал быть плохо зарубцевавшейся раной. Сам факт написания этого романа — один из симптомов потребности проговорить трагическую историю этой земли на русском языке, осмыслить ее русским сознанием. Попытка удалась не очень, но она — одно из несомненных свидетельств того, что такие усилия прикладывать необходимо, потому что рана болит до сих пор, в теле уже не Германии, а России — ране всё равно всё больно.

Борис Минаев

СКТВР и другие города

Спектакль «СКТВР», показанный Молодёжным театром из Сыктывкара в рамках «Золотой маски» на сцене МТЮЗа, привлекает прежде всего возможностью узнать то, чего ты в ином случае никогда не узнаешь. Сыктывкар (название спектакля — по хештегу в твиттере, это всегда пишется без гласных), Воркута, республика Коми — ну что мы об этом знаем: тайга, север, мороз, бесконечные лагерные зоны вокруг, шахтеры, газовики, суровый мужской труд, система исполнения наказаний, угрюмый народ и угрюмая природа... — так вот, изначально ты подсознательно ждешь, что спектакль будет переворачивать твои стереотипы. И если ты готов к переворачиванию стереотипов, — тебе сюда.

Стереотипам и вправду тут не место — вся сцена представляет собой залитое водой пространство. Ну, в прямом смысле слова — огромную лужу, мелкое озерцо, болото — называйте как угодно. Именно здесь существуют герои — по щиколотку в воде, иногда погружаясь в нее целиком, купаясь и плавая, совершая кульбиты и бухаясь на колени, они постепенно становятся мокрыми насквозь — часть зрителей даже пересели из первого ряда, чтобы не оказаться тоже в «водной стихии», — и надо сказать, что все это совершенно не случайно.

Я не знаю, кто первым придумал этот театральный прием: говорить со зрителем в буквальном смысле «из воды», — заимствован он или оригинален, но мокрый актер общается с залом совсем по-другому, чем сухой.

Окативший себя несколько раз, всерьез повалявшийся в этом озере-болоте-луже, облепленный одеждой, — он и чувствует себя иначе, и иначе передает свои ощущения. Его внезапный выброс физиологической энергии безусловно передается зрителю.

Такие мощные образы не имеют, разумеется, одной разгадки, одного плоского смысла — и «читать» эту водяную историю можно совершенно в разные стороны: это и вечная грязь, вода под ногами у жителей провинциального русского города, где элементарно не хватает денег на уборку улиц, и особенности климата, географической зоны, и мифология, сама собой вырастающая из заповедных глубин — тайги, тундры, бесконечного леса и бесконечного болота: духи, ведьмы, странные люди, обладающие каким-то особым качеством характера. Недаром у спектакля есть подзаголовок — «Миф».

При этом сценография спектакля осознанно противоположна его словесной ткани: шероховатым историям обычных людей, жителей города Сыктывкара, записанным на диктофон, расшифрованным, переплетенным в единое полотно. То есть это спектакль-вербатим — модный ныне жанр, кочующий из одного города в другой. В данном случае — вербатим, который объединяет истории людей исключительно

по географическому признаку, потому что это именно местные, локальные истории, истории отношений человека и места, где он живет.

Грубо говоря, это спектакль, посвященный местному патриотизму, региональному менталитету и характеру.

Такой спектакль, например, довольно давно существует в Екатеринбурге, где я частенько бываю, и он проходит в автобусе — специальный театральный автобус, который идет по привычному горожанам маршруту из центра в район Уралмаша, и по ходу действия там рассказывают истории людей, которые когда-то работали на этом огромном заводе. Завод, кстати, по-прежнему в строю, но людей там теперь гораздо меньше, и сам район разительно изменился. А уралмашевский уличный «вербатим» — местные истории, персонажи, легенды — остался в целости, он сохранен не только в фольклоре, но и вот в этом экспериментальном спектакле. Существуют подобные постановки-вербатим об историях горожан в Воронеже и в других городах.

Кстати, о Екатеринбурге. Бывая там регулярно, разговаривая с местными интеллигентами, музейщиками, художниками, библиотекарями, просто жителями города, — я вдруг постепенно осознал одну интересную вещь. Я тут выше сказал о «региональном» патриотизме. Само-то слово заезженное, заплеванное еще во времена советской власти, да и сейчас сильно девальвированное. Но свято место пусто не бывает — где-то в душе должен существовать этот химический элемент, разные валентности должны как-то сцепляться в нашем мозгу — и вот на место «общего», тотального, вытравленного пропагандой, затоптанного штампами патриотизма встал другой — локальный.

Я и раньше, конечно, его замечал во время командировок — но раньше местные интеллигенты говорили о «своих» звездах театра и кино, литературы и искусства, художниках, о своих музеях, легендах, историях — как-то чуть стесняясь, даже стыдливо: ну да, мы понимаем, основной сюжет творится у вас там в Москве, но все же...

А вот сейчас интонация изменилась: с горящими глазами, с полной грудью, с чувством глубокой гордости рассказывают и о лучшем в мире Екатеринбургском театре оперы и балета, и об уникальной художественной индустриальной биеннале, и о расцвете рок-музыки, который без уральских рок-групп не состоялся бы в 80-е, и о музеях, и о писателях (а в том, что уральская особенная литература действительно есть, меня убеждать не надо). Да и деньги на местную культуру в этом пересменке, на переходе от одной эпохи к другой, наконец появились, и все пошло в рост.

Так вот, спектакль Сыктывкарского молодежного театра убедил меня в том, что тенденция по всей стране едина: местный культурный, гуманитарный, человеческий, неполитизированный патриотизм важнее общенационального — с его избитыми истинами, туманной и противоречивой мифологией.

Проявилось это и в спектакле «на воде», «СКТВР».

Все истории в спектакле разные, у рассказчиков совсем разные оптика, интонация, масштаб мысли, угол зрения — и тем не менее, все сливается, все скрепляется — и не только энергетикой актеров, «пляшущих» на этой северной, глухой воде, подсвеченной фонариками и голосами. Скрепляется оно, как бы это сказать поточнее, — искренней верой в то, что человек сам по себе — это ценность, ценность безусловная и непреходящая.

Причем это не декларируется прямо, не формулируется в лоб, не рисуется в драматургии намеренно, а следует из подсознательной логики чувства.

Ну, скажем, что объединяет рассказ человека, который вспоминает о сыктывкарских подростковых группировках 70-х или 80-х годов, об их нравах, когда старшие вступались за младших и устраивали показательные разборки, драки, избиения «чужих», а герой чем-то провинился перед какой-то из этих районных банд? И за него вдруг вступился весь духовой оркестр из дома пионеров, куда он ходил учиться играть на трубе? История потрясающая, но внешне она ничем не связана, например, с

целым блоком рассказов про «борьбу за Шиес», место, где около года продолжались акции протеста против строительства мусоро-перерабатывающего завода. Были такие акции, такие митинги и в самом Сыктывкаре, региональной столице, и если в Шиесе больше не останавливаются поезда, чтобы не «провоцировать» новые акции, то в Сыктывкаре прекращали движение автобусов к месту митинга... Шиес стал локальным символом протеста, борьбы за справедливость социальную и моральную, за экологию — и это в спектакле не спрятано, не убрано стыдливо на второй план. Что общего с рассказом о ребенке, которого еле выносили в роддоме? С рассказом о человеке (история, кстати, получившая широкую федеральную известность), который сохранил летную полосу местного маленького аэропорта, сохранил из чистого профессионального упрямства, и тем спас жизни пассажиров самолета, который совершал аварийную посадку?

Общее в рассказах — это упрямая вера в то, что человеческое не потеряно, не растворилось в этой общей на всех «телевизионной картинке», заголовках отвратительных новостей, безличном пространстве, куда запикивает нас глобальная история. Вера в то, что люди вокруг — это именно люди, с чувством собственного достоинства, а не электоральная масса, подверженная самым примитивным социальным инстинктам.

Я бы сравнил, как ни странно, эту довольно экспериментальную театральную историю (режиссер — Максим Соколов) с другим экспериментом — увиденной мной в онлайн постановке оперы Моцарта «Тит милосердный» (Большой театр оперы и балета Женева, режиссер Мило Рау, дирижер — Максим Емельянычев). В последнее время самая, возможно, скучная и дидактичная опера великого композитора обрела новую жизнь благодаря своей политической подоплеке — в опере совершается покушение на римского императора, но он, буруеваемый благородными чувствами, прощает террористов и объявляет о начале новой «эры милосердия».

В Швейцарии тоже подошли к известному сюжету небанально.

Если в Сыктывкаре сцену залили водой, то в Женеве ее завалили городским мусором — пакетами, пустыми коробками, самодельными картонными строениями, бочками для сжигания этого мусора, словом, максимально приблизили к среде обитания беженцев, которые живут даже не в лагерях для перемещенных лиц, а просто на улице. В этом спектакле масса визуальных и иных эффектов, но все же главный прием, который явно можно считать основным, — тоже из арсенала театра вербатим: весь спектакль вместе с молодыми актерами оперного театра на сцене присутствуют реальные люди — иммигранты, попросившие убежища в Швейцарии, то есть в буквальном смысле слова *новые жители* этого города, этой страны. «Рефужье», как говорил о таких людях Герцен в «Былом и думах». Жизни, мироощущению этих людей и посвящен, собственно, этот спектакль — спектакль о милосердии, о прощении, о необходимости принятия иных, новых людей в привычном для тебя пространстве и приятия иного времени, иной культуры.

Конечно, эти «самодеятельные артисты» не просто сидят на сцене на стульчиках — они глубоко переживают все происходящее (в зрительном зале при этом, сообразно нынешним пандемийным временам, нет никаких зрителей, присутствует только оркестр, занявший их место). Актеры «играют» неподвижно, то есть они глубоко переживают, и выхваченные крупным планом и спроецированные на большой экран их лица озарены волнением, глаза устремлены в какую-то иную, нездешнюю реальность: в прошлое, в будущее — кто знает.

Ну и, наконец, рассказы беженцев, иммигрантов — они титрами сопровождают оперу, вместе с документальными кадрами их историй: армянская семья, женщины из Конго, выходцы из Ньянмы, из Северной Африки и Сирии, — все они так или иначе пострадали в этом волнующемся, качающемся мире, который все никак не станет прогнозируемым, спокойным, неподвижным — все плывет, отваливаются и загораются

новые куски территорий, вспыхивают гражданские войны, эпидемии, гуманитарные катастрофы... Здесь же, на этом клочке твердой суши под названием «город Женева», где по крайней мере «все работает»: то есть врачи лечат больных в поликлиниках, в магазине всегда продается хлеб, можно купить дешевую машину и заправляться бензином, арендовать жилье, есть горячая вода, тепло и электричество, — эти «рефужье» мечтают обрести новую жизнь: стать художниками и артистами, медсестрами и бизнесменами, словом, кем-нибудь, в ком нуждается город. Город не просто как географическая или административная точка, а город как цивилизация, как целый мир, многообразный и сложный.

Собственно, именно это и объединяет два этих непохожих спектакля — ощущение, что нынешний, современный человек находит опору не в стране, не в нации, не в этносе (то есть в своих кровных связях), не в привычном национальном патриотизме — а именно в современном городе как в цивилизационном проекте.

Нам всем знакома эта тема, так ярко выраженная в жевском «Тите Милосердном», — по нашей современной Москве. Мы каждый день видим, как тяжело, но надолго в ней обживаются представители разных этносов, как они пускают корни в эту землю, не любящую чужаков, как это происходит.

Удивительно, что московскому зрителю так же удивительно видеть, что «и в Сыктывкаре такие же люди живут», как и европейскому, — что и «в Африке люди живут». И удивительно, что именно театр становится той последней ниточкой, которая связывает разные миры.

Неожиданный постскрипtum нашелся в соцсетях. Пишет искусствовед и художественный критик Людмила Лунина: «Я тут слетала в город Сыктывкар. Пьер-Кристиан Броше¹ стал там советником по культуре, и завертелась движуха. Думаю, в ближайший год туда ещё много кто полетит. Ну, что сказать. Отдельная цивилизация, сотни лет назад сформировавшаяся вокруг Архангельска, Вологды — северных торговых гаваней. Екатерина II подарила городу планировку Версаля: центральные улицы веером расходятся из одной “точки” — большого парка на берегу реки. Гигантская березовая роща. Березы нереальной высоты, у нас такие дубы. 250 тыс жителей, 3-этажная застройка, изумительные дореволюционные деревянные дома. В центре 7 музеев. Передвигаться можно пешком. Даже дойти до аэропорта из центра займет минут 15. Моднo говорить на коми. Сильны языческие традиции. Это смешно, конечно, но был разгар Масленицы, у нас была несколько фольклорная поездка, и хоть бы одна живая душа о празднике вспомнила. В Москве бы закармлили блинами. Зато не однажды вспоминали староверов, протопопа Аввакума, ГУЛАГ. В историческом музее большая экспозиция посвящена Андрею Дмитриевичу Сахарову. Такое вот выражение коллективного бессознательного».

Так что сравнивать Жеву и СКТВР — это не прихоть автора. Культуры перемешиваются, хотим мы этого или нет.

¹ Пьер-Кристиан Броше (род. 29 сентября 1960 г., Шательро, Франция) — издатель, коллекционер произведений современного искусства, кинопродюсер. С 1989 года живет в России. С 2013 года — ведущий программы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Культура». С 2020 года — президент Национальной галереи Коми. Живет в Сыктывкаре. — *Прим. ред.*

Olga Pogodina-Kuzmina. The Birds of War

This long-short story is about the events that took place around the Helsinki Olympiad-1952. Among the secret agents flocking into the city from many countries there is an agent of the American intelligence service Cyrus Cramp who had held an important post in Gestapo during the war and is guilty of the execution of German and French communists in June, 1941. The Soviet sportsman Alexei Nesterov exposes him. It was one of the first episodes of the "cold war" which was destined to go on for more than one decade.

The stories by Igor Kornienko "Mesopotamia" and Anna Pestereva "Box, Raptor, Me - a Shield" are about the unrecoverable aftermath of another, Chechen war. Its victims – both federals and civilians – equally blame themselves by their memory. Nonfictional stories by Alexander Rybin grow out of the impressions got by the author in the Balkans, Syria and Iraqi Kurdistan. These are the subjects rarely covered by mass media.

Judy Batalion. The Light of Days. Translated from English

This book is a comprehensive workup of the theme which is still poorly researched: the valiant participation of women in the Resistance movement of the Jewish ghettos during World War II. In Russian translation the book will be published in "ACT Publishing House". We present here some small fragments from it.

Poetry

Grandsons of the soldiers of the Great Patriotic War Jan Brushtein, Ivan Volosyuk and Alexander Orlov are trying to imagine what their fathers and grandfathers had to come through at that dreadful war.

To the Memory of Ramis Ryskulov

To the memory of this great Kirgiz poet and artist are dedicated the publication of his wonderful vers libres in Russian translation by Vyacheslav Shapovalov and our insert: pictures of Ramis Ryskulov and the essay by Vladimir Lidskij about the naive painting of the poet.

Alexander Melikhov, Oleg Mackosha. Here and There

In their "Letters from Province to Province" the two writers are comparing the past century and this one.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Малый Гнездиковский пер., 12/27)

«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**6/2021****Читайте:****Марина Кудимова.****Роман «Поля фильтрации»:**

«— Понимаешь... Оправа боли — терпение. Как багетная рама. Терпение — ширма боли, ее грим. Врачи презирают тех, кто орет во всю глотку, хотя понимают, что такая реакция приносит иллюзию облегчения. Надпочечники адреналин выбрасывают. Предпочтение отдается пациентам, которые тихонько скулят и жалобно смотрят. У бабушки был артрит, непереносимые боли в ногах. Ничего не помогало. Знакомая докторица сказала: "В вашем возрасте уже все терпят". Еще она говорила: "Человека делает боль!" Так только Бог может сказать. Но врач и должен быть безжалостен, как Бог. Не зря в книге сына Сирахова писано: "Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание, и от Царя получает он дар..."»

Алексей Устименко.**Повесть «Барса-Кельмес»:**

«Любовь издавна куда безопасней ближней любви. Любви-соприкосновения. Не важно — к кому или к чему. К смуглой ли женщине, к идее, обещающей рай, ко всей Средней Азии или к коркам ржавых страниц засаленной древней книги под деревянной обложкой на защелке из медной петли.

Чтобы выжить — надо не существовать.

Писатель Сергеев когда-нибудь напишет об этом обо всем. Ведь, действительно, всюду учат: возлюбите друг друга. Но не учат: отторгайте любовь, поскольку она убивает. Отторгайте любовь, чтобы спасти себя..."»

